63.3(2)
П-48
63.3(0)6
717

1947
Включено
в
карт.

25437

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ

обозначенного здесь срока

Тип. им. А. С. по зак. 4575.—5.0000.

9(47)"18"
63.3(2)
9(47)
П48

М. Н. Покровский

1987
80 1955
1933
БИБЛИОТЕКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА РАБОТНИКОВ
Инв. № 25437-2717
ПРОВЕРЕНО
91

ДИПЛОМАТИЯ и ВОЙНЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ

В XIX СТОЛЕТИИ

СБОРНИК СТАТЕЙ

46103
25437
9(47)
1066

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ"
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ ◇ МОСКВА ◇ 1923

9(47)
1066

Главлит. № 11035. Тираж 15.000 экз.

„Мосполиграф" — 20 тип. „Красный Пролетарий". Пименовская ул., д. 1/6

1.

Внешняя политика России в первые десятилетия XIX века.

Тильзит.

В 1807 году Савари доносил Наполеону из Петербурга, что половина тысячи двухсот кораблей, входящих ежегодно в Неву, носят британский флаг. Все петербургское купечество обязано своим благосостоянием торговле с Англией; большая часть купцов—англичане или английского происхождения; для остальных—немцев или русских—коммерческий интерес сделал Англию вторым отечеством. Сами дворяне—данники Великобритании; продавая ей лес из своих обширных вотчин, они видят в этом свой наиболее прочный доход; сверх того, они привыкли смотреть на нее, как на присяжного поставщика большей части того, что им необходимо. Произведения английской промышленности повсюду распространены в России; каждую весну они привозятся в огромном количестве; а те, на которые наложена запретительная пошлина, изготовляются на месте, в России — но английскими рабочими, переселившимися сюда нарочно с этой целью. Англия доставляет дворянам сукно для их одежды, мебель для их домов, посуду для их стола — все, включительно до бумаги, перьев и чернил; и, подчиняя себе их вкусы и привычки, приучая их к своему комфорту, она связала с собою всю Россию тонкими, но бесчисленными и прочными узами [1]).

Основная ось внешней политики России определялась таким образом сама собою: единственным прочным и постоянным союзником Александра I могла быть только Англия. Русский император мог не понимать этого и стремиться к другим союзам; русское дворянство могло иногда не видеть этого: объективный ход вещей был сильнее индивидуальных склонностей, сильнее сознательных влечений той или другой общественной группы. От союза с Англией зависело будущее русского капитализма. Только под сенью этого союза его развитие могло итти бес-

[1]) A. Vandal, Napoléon et Alexandre I, I, 140.

препятственно; малейшее уклонение в сторону усиливало родовые муки нового экономического строя, ставило под вопрос хозяйственную обеспеченность завтрашнего дня и, вызывая негодование всех, кто владел и правил, грозило самой непосредственной опасностью виновникам совершенной дипломатической ошибки. 11 марта 1801 года висело в воздухе все время недолгого союза Александра I с Наполеоном. О возможности дворцового переворота открыто говорили в это время в петербургском обществе, а за границей даже писали и печатали. И постоянно около центра предполагаемого заговора мы находим спокойную и самоуверенную фигуру английского дипломата. Александр Павлович мог негодовать на это, сколько угодно; он мог уверять—и быть может искренно—Наполеона, что он «ненавидит англичан столько же», как и его собеседник. Красный мундир все равно был подле: и если Александр не хотел видеть его в качестве врага, ему оставалось только сделать его своим другом.

Опыт одиннадцати лет царствования убедил его, что другого выхода не оставалось. Но то, что представляется нам теперь ясным a priori, никогда не бывает таким для современников. Дипломатическая история первого царствования XIX века и начинается с попыток сойти с проторенного пути и открыть новую дорогу,—которую считают лучшей именно потому, что она новая. Само собою разумеется, что ничего абсолютно нового придумать не могли: на шахматной доске русской дипломатии, как и всякой другой, были одни и те же определенные фигуры; можно было играть по выбору ферзем или ладьей—но нельзя было сделать ладью ферзем. Внешняя торговля России,—с тех пор, как старый, московский путь через Архангельск стал проселком,—могла итти или через Балтику или по Черному морю. Берега Балтики раньше достались в наши руки—за балтийской торговлей было преимущество традиции. Но этот путь был закрыт почти полгода. Лес переставал быть главною статьею русского отпуска; его все больше и больше вытесняла пшеница. Наиболее интересные для мирового хлебного рынка черноземные губернии России с их лучшей в Европе пшеницей выходили как раз к Черному морю и были очень удалены от Балтийского. Здесь, на юге, навигация была возможна круглый год. И со времени Ясского мира (1791 года) Россия была на северном берегу Черного моря такой же хозяйкой, как и на восточных берегах Балтики. Мысль—перенести центр тяжести русской торговли на юг—была слишком соблазнительна для всякого, кто искал новых путей в международной торговле, а стало быть, и в международной политике.

Эту мысль впервые высказал всеми словами тот, для кого разрыв России с Англией был самым жизненным делом. 16 фев-

раля 1802 года Наполеон Бонапарт, тогда еще первый консул Французской республики, писал императору Александру I: „Государство вашего величества и Франция приобрели бы много выгод, если бы открылась прямая торговля между нашими портами на Средиземном море и Россией через Черное море. У Екатерины был такой план. То было бы одно из самых полезных торговых движений: оно самое прямое и пошло бы по морям, всегда доступным плаванию между владениями в. в-ва и Францией. Мы могли бы везти из Марсели прямо в порты Черного моря произведения наших колоний и мануфактур, а взамен получали бы хлеб, лес и другие предметы, легко доставляемые по большим рекам, впадающим в Черное море. Если бы входило в виды в. в-ва покровительствовать этой торговле и дать ей движение, это прославило бы ваше царствование и скрепило бы новыми общими выгодами соединение наших двух великих держав“[1]). Александр, повидимому, был очень заинтересован этим проектом. Он оказывал всяческое покровительство французской торговле и французским купцам. Наполеон не забыл упомянуть в своем письме, между прочим, о том горячем чувстве благодарности, которую питали к русскому императору владельцы лионских шелко-ткацких фабрик. Завоевание французской буржуазией нового рынка—если не самого выгодного сейчас, то обещавшего стать таковым в близком будущем—повидимому, готово было совершиться, при том мирным, бескровным путем. Одна—а может быть, ряд завоевательных войн, повидимому, были сбережены для Франции. Но Англия отнюдь не была такой соперницей, которую можно было бы застать врасплох. В 1802 году мы находим уже в Петербурге „английскую партию“, которую называли еще „партией войны“. Очень характерно, что во главе ее оказывались как раз „молодые друзья“ Александра: Строганов и Чарторыйский распространялись о „властолюбивых видах Франции“, Кочубей толковал о „нестерпимом угнетении“ Францией прочих государств. Русское дворянство имело в их лице таких же верных защитников своих интересов во внешней политике, как и во внутренней. С русско-французским союзом случилось то же, что и с мечтами об ограничении крепостного права. Очень скоро обнаружилось, что с делом отнюдь не следует спешить. Поведение французов на берегах Босфора внушало сильнейшее недоверие. Бонапарт, правда, охотно разговаривал с русским послом на ту тему, что „Турецкая империя готова рухнуть в Европе“, что она „разрушается до того, что остается только

---

[1]) Письмо от 27 плювиоза X года ($^{3}/_{15}$ февраля 1802 г.). Сборник Русск. Истор. Общ. т. 70-й, стр. 338 и сл.

подобрать ее остатки", и что он, первый консул, не помешает, если эти остатки примутся подбирать Австрия и Россия. Но в то же время в Константинополь отправилась целая французская экспедиция „из офицеров всех родов оружия, в особенности же инженерных". А французский флот начал обнаруживать явный интерес к берегам той же «разрушающейся» Турции. Все эти факты с торжеством подхватывались „английской" партией—и скоро Александр стал ясно видеть все „коварство" политики Бонапарта на Востоке. Наиболее желательной союзницей здесь оказывалась не Франция, но Австрия. С конца 1802 года война с Францией уже висела в воздухе.

Союз с Австрией был традицией для русской дипломатии еще с первой половины XVIII века. У обеих империй был общий враг на Дунае. В то же время они были естественными конкурентками на Балканском полуострове: одна не могла шагу ступить без того, чтобы не опередить другую. Обе старались поэтому итти вместе, не столько помогая друг другу, сколько следя друг за другом. Усиление России было ослаблением Австрии и наоборот: „союзницы" больше всего боялись, как бы одна не использовала другую в своих односторонних выгодах. Поэтому, когда Александр впервые заговорил с австрийским правительством о коалиции против Франции, ответы получались уклончивые. Пока Франция держалась в известных границах, Австрия не желала возобновлять опыта революционных войн, отнюдь не оставивших по себе приятного воспоминания. Кампания 1799—1800 г.г. показывала, что и союз с Россией вовсе не является полной гарантией успеха. Притом та же кампания оставила весьма плохую память о русском императоре, как союзнике весьма капризном и требовательном, больше берущем, чем дающем. Правда, тогдашнего императора уже не было в живых. Но его наследник был еще живой загадкой: в области внешней политики, как мы сейчас увидим, он был загадкой даже для самого себя.

Александру приходилось прибегать к угрозам, чтобы склонить австрийскую дипломатию на решительные шаги. Смотрите, говорил русский император о Наполеоне, „он помышляет только о вашей гибели". „Если европейские державы желают во что бы то ни стало погубить себя,—прибавлял он с деланным равнодушием, — я буду вынужден запереть все свои границы, чтобы не быть запутанным в их гибели. Впрочем, я могу оставаться спокойным зрителем всех их несчастий. Со мною ничего не случится; когда я захочу, я могу жить здесь, как в Китае". Но Австрия прекрасно понимала, что ее разгром будет торжеством для России на Дунае. Делать из своего трупа мост, по которому Россия могла бы торжественно вступить на Балкан-

ский полуостров, вовсе не входило в планы габсбургского правительства. И оно оставалось в выжидательной позиции так долго, как только это было возможно.

Внешние обстоятельства, независевшие от его воли, вывели его из состояния равновесия. После короткого роздыха (Амьенский мир 27 марта 1802 года) борьба Англии и Франции вспыхнула вновь с прежней силой. Все внимание и все силы Наполеона были обращены на запад, к берегам Атлантического океана. Момент был необыкновенно благоприятный для того, чтобы попытаться вытеснить французов из средней Европы. В то же время каждый шаг Наполеона был новым вызовом для такого гнезда легитимизма, каким был венский двор. Нарушение наследственных прав итальянских государей,—самых священных прав, какие только существовали, в глазах людей старого порядка,—расстреляние герцога Энгьенского—второе цареубийство в глазах тех же людей, наконец, принятие бывшим артиллерийским поручиком императорского титула—все это должно было переполнить чашу терпения австрийских феодалов так же, как и их русских друзей. Отзывы императора Александра о поведении европейских держав стали особенно горькими именно около эпохи коронации Бонапарта (лето 1804 года). Искушение было слишком сильно, чтобы Австрия могла его выдержать: 13 октября 1804 года союзный договор с Россией был заключен.

К этому времени сама Россия давно уже находилась в дипломатической войне с Францией. Александр Павлович только что пережил последнее колебание между двумя союзами. Когда между Францией и Англией возник спор из-за о. Мальты—тот спор, который и привел их к новой войне,—Наполеон сделал последнюю попытку удержать Россию на своей стороне и отдал спор на третейский суд русского императора. Французское предложение очень польстило Александру; он признавал также, что формальное право в этом вопросе было на стороне Франции. Окружавшим императора представителям русского дворянства пришлось употребить не мало усилий, чтобы направить дело в духе „национальной системы“,—т.-е. союза с Англией. Государственный канцлер гр. Александр Воронцов в Петербурге, его брат Семен Воронцов в Лондоне, гр. Морков в Париже защищали английские интересы с неустанной энергией и с искусством, далеко превышавшим искусство британской дипломатии. Их усилиями для принятия французского предложения о посредничестве были выработаны такие условия, на которые Франция никак не могла пойти; англичане соглашались говорить о чем угодно, только не о Мальте. Наполеон отказался от третейского суда русского императора—и отправился в Бу-

лонь подготовлять свою знаменитую экспедицию против Англии. Настроение французского общества было таково, что, к великому удовольствию русских дипломатов, о мире не могло быть и речи. К их неменьшему удовольствию, самолюбие Александра было сильно задето неудачей его посредничества, и коалиция против Франции с этого времени все более и более становится его любимой мечтой.

В то же время гр. Морков, парижский посол России, старался найти и другую слабую струну Александра, струну, которая пока звучала слабо, но на которой впоследствии Меттерниху удавалось достигать поразительного эффекта. При всем своем либерализме и даже республиканизме, Александр был достаточно государем старого порядка, чтобы ни питать никакого сочувствия к якобинской эпохе французской истории. „С прискорбием, но и с правдивостью я должен сказать вашему императорскому величеству,—доносил Морков,—что все бумаги и все поступки (французского правительства) отдают навсегда ненавистными временами Робеспьера и Директории и стремятся пробудить повсюду идеи мятежа и переворота, от которых—как льстили себя некоторое время мыслью—это правительство будто бы совершенно отказалось". Под маской борьбы с „идеями мятежа и переворота" контр-революция во Франции все более и более становится одной из главнейших задач коалиции,—и нам придется встречаться с нею на каждом шагу. В 1804 году уже достаточно определенно обрисовывался впереди 1814-й г.

Материальная сторона дела могла считаться обеспеченной, раз в нем участвовала Англия. Уже при самом начале ее конфликта с Наполеоном английскому послу в Петербурге было поручено заявить, что если бы Пруссия и Австрия соединились против Франции, то „его британское в-ство готов бы был подписать с Россией договор о взаимной помощи, размеры которой зависели бы от числа употребленных сил и оказанных услуг". Нельзя было деликатнее—и в то же время прозрачнее —предложить наем русских штыков на английскую службу. Но так как щекотливое самолюбие русского императора могло быть задето даже таким предложением, то английское правительство спешило скрасить грубую сделку найма в высокой степени лестной для Александра перспективой—стать Агамемноном Европы,—и заранее соглашалось на то, чтобы союз континентальных держав „против видов и замыслов Франции" был поставлен „под влияние его императорского величества".

Но Агамемноном Европы легче было сделаться под пером английских дипломатов, чем в действительности. Мы видели,

что даже феодальную Австрию, которой, во всяком случае, контр-революционные планы были вполне понятны и симпатичны,—даже ее удалось втянуть в коалицию не без труда. Еще более труда пришлось потратить с Пруссией, которая в своих действиях гораздо больше руководилась соображениями „реальной политики", чем феодальными вожделениями. При всей личной дружбе Фридриха-Вильгельма и Александра, никто больше не испортил крови русскому императору в 1804—5 гг., как именно Пруссия. Ей отнюдь не казалась ужасной перспектива разгрома Австрии Наполеоном; конкуренция Австрии и Пруссии в Германии была таким же эмпирическим законом дипломатической истории XVIII века, как конкуренция Франции и Англии в Европе вообще. При этом в своем близоруком оппортунизме Пруссия не замечала, что поражение Австрии приведет к переходу Германии под влияние Франции, гораздо более страшное. Когда после Аустерлица прусское правительство поняло это,—оно было очень смущено: но чтобы оно могло это понять, нужен был именно Аустерлиц со всеми его последствиями. Раньше Александру приходилось прибегать к мерам, совершенно героическим, чтобы вывести Пруссию из ее нейтралитета. Дело доходило до прямых угроз—начать войну в случае неприсоединения Пруссии к союзу. Особая армия была двинута на прусские границы—и была заготовлена особая декларация, долженствовавшая объяснить несколько удивленному миру, из-за чего русские войска напали на владения „друга" русского императора. „Его величество твердо решился начать войну против Пруссии", писал русский министр иностранных дел Чарторыйский русскому послу при венском дворе (в сентябре 1805 года). Но на Пруссию не могли подействовать в то время никакие угрозы. Александр должен был убедиться, что энергические мероприятия в этом направлении могли бы привести лишь к одному: к союзу Пруссии с Францией. Прусский министр иностранных дел Гарденберг откровенно говорил русскому посланнику: „Не заставьте нас увеличить армию Наполеона на 200.000 человек". В конце-концов, коалиционному рвению русского императора пришлось пойти на уступки. От участия прусских войск в первой войне своей против Франции Александр должен был отказаться. Путем личного свидания с Фридрихом-Вильгельмом ему удалось лишь добиться для русских войск пропуска через прусскую территорию; но и то лишь после того, как французы первые нарушили нейтралитет прусского короля, проведя свои войска через Ансбах и Байрейт.

Уже этот первый опыт свидетельствовал с достаточной убедительностью, насколько оптимистичны были расчеты петер-

бургского правительства и насколько правы были те, кто, подобно Австрии, приступал к коалиции с большой неохотой и осторожностью. В военных планах Александра 200.000 пруссаков с самого начала были зачислены в актив на стороне союзников: отсутствие их уменьшало предполагаемые силы коалиции ровно на треть (400.000 вместо 600.000 ч.) и совершенно лишало смысла те операции на севере Германии — на нижней Эльбе и нижнем Везере,—которые должны были раздробить силы Наполеона, помешать сосредоточению его корпусов на Рейне и Дунае и обеспечить победное шествие австро-русской армии к французским границам. Теперь для этих северо-германских операций оставалось рассчитывать только на английский десант, явившийся на место, что называется, к шапочному разбору, да на полумифическую шведскую армию, не имевшую ни артиллерии, ни кавалерии, ни обоза. Посланный туда вспомогательный русский корпус только потерял даром время, так как помогать было здесь некому. Сосредоточение французской армии на Дунае произошло совершенно беспрепятственно, и силы, собранные Австрией и Россией в южной Германии, оказались единственным, с чем приходилось считаться Наполеону.

Но и расчет этих единственных реальных сил был сделан в Петербурге с неменьшим легкомыслием. На бумаге в южной Германии и Италии значилось 250.000 австрийцев и 180.000 русских. Австрийский двор был несколько умереннее в своих ожиданиях: он определял союзныя силы в этих местах лишь в 320.000 чел. вместо 430.000 чел. Действительность оказалась несравненно скромнее и этого: к началу военных действий в Баварию удалось двинуть лишь 80.000 австрийцев. Приблизительно такие же австрийские силы были сосредоточены на итальянской границе. Из русских же войск осенью 1805 года сравнительно близко к театру войны был лишь пятидесятитысячный корпус Кутузова, к которому только спустя полтора месяца присоединились еще 40.000 человек—в то время, как от первой из двух австрийских армий не оставалось уже и следа. Так как, вдобавок, австрийская и русская половины южно-германской армии союзников не были объединены,—а вскоре, благодаря быстрому натиску французов, потеряли даже друг друга из виду,—то численный перевес с самого начала был обеспечен за армией Наполеона. Ему оставалось только использовать легкомыслие своих противников.

Кампания с самого начала приобретала совершенно безнадежный вид. Инструкция Александра Кутузову ясно показывает, на что оставалось надеяться союзным правительствам, когда расчеты на поддержку Пруссии окончательно пали и

развеялись в воздухе фантастические цифры австро-русских сил, которыми кружили себе голову союзники. Пункт 6-й этой инструкции гласит: учредить сношения с недовольными во Франции, ибо, когда там сделается известна цель, с какою ведем мы войну, то, вероятно, большая часть жителей присоединятся к нам для низвержения Наполеонова правительства. Эта нелепость,—усердно внушавшаяся реакционным правительствам Европы эмигрантами еще с первых лет революции—была настолько популярна среди вождей коалиции, контр-революция во Франции настолько являлась последним якорем спасения для союзников, что слухами о восстании французов против Наполеона определился даже операционный план австрийцев в Баварии: определился, конечно, к прямой выгоде французского императора, который и создал эти слухи через своих шпионов.

Внешний ход кампании 1805 года вполне соответствовал тому, чего можно было ожидать при таких предпосылках: катастрофа в первую же неделю войны, фактически выведшая из строя одного из союзников—Австрию, продолжительное бегство ничтожной, сравнительно, русской армии перед тройными силами противника,—бегство, так драматически описанное Толстым, что о нем не приходится рассказывать еще раз русскому читателю, наконец, отчаянная попытка загладить позор уже проигранной войны решительным ударом,—при чем легкомыслие этой попытки далеко превзошло все, бывшее до этих пор. Австрийцы, втянувшиеся в войну отчасти под влиянием преувеличенных надежд на возможную помощь со стороны России, отчасти, повидимому, действительно, уверенные эмигрантами в возможности контр-революции во Франции, очень быстро охладели к делу, как только выяснилось, что Австрии не приходится рассчитывать не только на блестящую и легкую победу, но даже на сколько-нибудь самостоятельную роль. В сущности, ей было все равно от чьей милости зависеть, Александра или Наполеона—и переговоры с последним начались тотчас же, как только была подписана капитуляция, сдававшая французам австрийскую армию в Баварии, и через посредство того самого генерала Мака, который эту капитуляцию подписал. Отпущенный на свободу Наполеоном, он привез с собой письмо последнего к императору Францу с предложением—выйти из коалиции и заключить отдельный мир. Переписка продолжалась и после, и одно из писем Наполеона к Францу попало в руки Кутузова в присутствии нескольких австрийских генералов. Но последние нисколько не смутились и только настаивали, чтобы письмо было как можно скорее отправлено к их государю. За короткий промежуток двух месяцев (октябрь—ноябрь 1805 года) до формального начала сепаратных перего-

воров дело не успело дойти, но после взятия французами Вены, которую Кутузов по вполне основательным стратегическим соображениям прямо отказался защищать, австрийцы утратили всякий интерес к войне и смотрели на нее, как на очень скучную и неприятную обязанность. Приближенные императора Александра доходили до того, что обвиняли их в прямом соглашении с Наполеоном: так именно изображал дело прусскому королю князь Долгоруков, по его собственному признанию (в письме к императору Александру). Едва ли дело заходило так далеко: крайняя небрежность австрийского правительства в исполнении им союзнических обязанностей едва ли нуждается для своего объяснения в предположениях, подобных тем, какие высказывал кн. Долгоруков. Но, оставляя в стороне исторически мало интересный вопрос о „злом умысле", тот факт, что союзники русского императора не кормили русской армии и довели ее до голодовки, что они крайне плохо берегли военную тайну и давали возможность Наполеону знать русско-австрийские диспозиции лучше, чем их знали сами союзные генералы, что сами эти диспозиции, составлявшиеся австрийским штабом—отличались поразительной небрежностью (под Аустерлицем, напр., расстояние между важнейшими пунктами было показано совершенно неверно)—все это не только изолировало русскую армию, но ставило ее в положение гораздо худшее, чем если бы она вовсе не имела союзников. При первом же столкновении Александра и Наполеона коалиция превратилась в единоборство России и Франции в условиях, наименее выгодных для первой.

Последним—хронологически—из этих условий было появление в армии самого императора Александра Павловича. К тому времени, когда он прибыл в лагерь под Ольмюцем (6/18 ноября 1805 г.), в военном отношении кампания была закончена—и закончена относительно благополучно для русской армии. Она не была разбита, несмотря на колоссальное превосходство французов в силах. Перед ней был открыт путь отступления в Россию. С каждым шагом по этому пути она выигрывала, притягивая к себе все новые и новые резервы; французы, напротив, проигрывали, так как они были вынуждены постоянно отделять часть своих сил для охраны своей все более и более растягивавшейся операционной линии. На границе Баварии Наполеон был втрое сильнее Кутузова: под Ольмюцем он не был сильнее даже вдвое. Дальнейшее отступление, может быть, вовсе спасло бы русскую армию от генерального сражения, во всех отношениях для нее невыгодного. В то же время получавшаяся таким путем отсрочка критического момента войны давала полную возможность развить кампанию дипломатическую. Та же Пруссия, конечно, не отказалась бы воспользоваться

затруднительным положением Наполеона и, не дав нам, может быть, поддержки военной—хотя и на нее шансы все более и более увеличивались—произвела бы дипломатическое давление на Францию в нашу пользу. Планы Кутузова строились, повидимому, на этих или подобных соображениях: и нельзя не сказать, что эта тактика была единственно целесообразной в том тупике, куда завела Россию первая коалиция.

Прибытие императора Александра прежде всего лишило Кутузова всякой фактической власти; на свои вопросы о дальнейших движениях армии он получал ответ: „это вас не касается" (cela ne vous regarde pas). Права, если не обязанности, главного штаба перешли к императорской главной квартире. Здесь, как этого и следовало ожидать, чисто военные соображения, которыми руководился Кутузов, должны были уступить место соображениям чисто придворным. Император не мог приехать в армию для того только, чтобы быть пассивным свидетелем отступления своих войск. Для удовлетворения его самолюбия должна была быть одержана победа: дело военных отыскать средство, как ее достигнуть. Придворным казалось, что средства эти найти легко, и что Кутузов просто по лености и неспособности не умел этого сделать до сих пор. Они нашли в этом случае полную поддержку в австрийских генералах. Австрии во что бы то ни стало нужна была развязка и притом скорая; война давно уже была для нее бессмыслицей, и австрийское правительство не могло равнодушно видеть разорение своей страны ради этой бессмыслицы. Пусть будет сражение: победят французы—тогда уйдут русские и дело, как никак, кончится; победят русские—уйдут французы, и австрийская территория будет освобождена от всех тягостей и бед, связанных с войною. В обоих случаях австрийцы выигрывали—и они охотно поддакивали придворным Александра Павловича, когда те требовали наступления.

Надо прибавить, что какое-нибудь движение, наступательное или отступательное, было абсолютно необходимо: оставаться на месте было нельзя; русская армия съела все в окрестностях Ольмюца, подвоз был организован крайне плохо, и запасных магазинов в этой части страны австрийцы не приготовили, отговариваясь тем, что они предполагали вести войну в Баварии, а не в Моравии. Все описанные выше условия вели к переходу в наступление. В честь русского государя был устроен военный парад в боевой обстановке. Сравнение с парадом не случайное—и не даром в известном разговоре перед началом Аустерлицского сражения Александру припомнился Царицын луг, где производились парады в Петербурге. Ведя несчастных солдат на бойню, их заставляли маршировать в ногу, как на настоя-

щем параде,—и сражение начали, как развод, в тот момент, когда император подъехал к фронту. Результаты Аустерлица слишком хорошо известны, чтобы их стоило рассказывать здесь: русский солдат дорого заплатил за удовольствие видеть своего государя на поле битвы.

Аустерлицкое сражение ($\frac{20\text{ ноября}}{2\text{ декабря}}$ 1805 г.) для Австрии, действительно, оказалось желанной развязкой войны: Александр не имел теперь уже никаких оснований помешать императору Францу закончить свои секретные переговоры с Наполеоном открытым выступлением из коалиции и отдельным миром. Русскому императору оставалось только заявить, что переговоры Франции и Австрии не касаются его и его армии—на что австрийцы согласились очень охотно, под условием, что русская армия возможно быстро очистит австрийскую территорию. На некоторое время Александр остался единственным паладином коалиции на европейском континенте, так как даже Англия и Швеция отозвали назад свои войска после Аустерлица. Самого Александра неудача далеко не отрезвила: услужливыми устами придворных вся вина была взвалена на безвластного Кутузова, поражение было объявлено печальной случайностью, и ничто, казалось, не мешало попробовать счастья вторично. Немедленному возобновлению войны препятствовало только то обстоятельство, что между враждующими сторонами лежала широкая полоса нейтральных территорий, так как Пруссия после выхода Австрии из коалиции окончательно сблизилась с Наполеоном и приняла из его рук Ганновер, отнятый французами у Англии. Расширение в эту сторону Пруссия ставила главным условием своего участия в коалиции в течение всех переговоров: и Александр употребил всю свою энергию, чтобы убедить английского короля поступиться своими наследственными владениями ради „самого прекрасного и самого справедливого дела“—как называл русский император борьбу с Францией. Но фактически хозяином в Ганновере был Наполеон—и он легко перекупил Пруссию, предложив ей от себя то, чего она ждала от коалиции. То был единственный момент, когда Александр, повидимому, сам поколебался на одну минуту: стоит ли продолжать „прекрасное и справедливое дело“? Во Францию был отправлен русский уполномоченный для предварительных переговоров о мире. Но франко-прусское соглашение очень быстро наткнулось на тот подводный камень, на котором впоследствии должен был разбиться союз Александра с Наполеоном. Дружба с Францией означала вражду с Англией. Морская торговля Пруссии стала с момента заключения нового союза. Более 400 прусских кораблей было захвачено английскими крейсерами, все гавани Пруссии были блокированы. Старый соперник Гогенцол-

лернов на Балтийским море, Швеция не отказала себе в удовольствии использовать этот конфликт—шведские корабли присоединились к английским, и скоро почти не осталось гавани, куда могло бы укрыться судно под прусским флагом. Прусский капитализм начала XIX века был значительно развитее русского: перерыв торговых сношений был для Пруссии еще более тяжелым ударом, чем для России, и взрыв общественного мнения против французского союза был еще острее, чем был он у нас. Хотели или не хотели этого король и его министры—прусская буржуазия навязывала им антифранцузскую политику. Прусское дворянство, не менее русского заинтересованное в сбыте продуктов своих имений в Англии, было в данном случае на стороне буржуазии. Гвардейское офицерство требовало войны с Наполеоном и—как это было и у нас—„партия войны" быстро нашла себе точку опоры при дворе, в лице королевы Луизы. Близкие отношения последней к императору Александру должны были еще ускорить дело. Александр, за несколько месяцев перед этим вынужденный робко заговаривать с Пруссией об оборонительном, в крайнем случае, союзе (в январе 1806 года)—осенью увидел перед собою широкую перспективу наступательной войны против Наполеона рука об руку с прусской армией—лучшей армией в мире по глубокому убеждению всех друзей старого порядка. Только что завязанные переговоры с Наполеоном были тотчас же прерваны—и манифест 3 сентября 1806 г. фактически возвестил русскому народу начало новой, второй войны с Францией.

Наполеон и на этот раз не дал коалиции времени стать реальностью: прусские и русские войска были еще очень далеки от соединения, когда рядом решительных битв первые были сведены почти к нулю. В конце сентября началась война,—а в конце октября русская армия одна осталась в поле: уцелевшие прусские войска скорее служили символом союза, чем играли сколько-нибудь серьезную роль в военных действиях.

Ход кампании 1806—7 гг. был иной, чем первой войны Александра с Наполеоном. Вторая война скорее могла создать иллюзию о возможности борьбы России с наполеоновской Францией и дольше могла эту иллюзию поддерживать. Существенным моментом были географические условия того края, где приходилось действовать: старо-прусские провинции между низовьями Вислы и Немана по климату недалеки уже от России, и зимняя кампания представляла здесь для французской армии совершенно необычные трудности. Для нанесения решительного удара Наполеон должен был дожидаться лета 1807 года. Тем временем ряд полу-побед, полу-поражений давал возможность русским главнокомандующим обнадеживать и своего государя и

свою армию, что вот-вот, еще одно усилие—и они справятся с Наполеоном. Это была совершенно призрачная надежда—русская армия 1806—7 гг. была нисколько не лучше своей предшественницы, разбитой при Аустерлице. Прежде всего, как и тогда, ее размеры на добрую долю представляли фикцию: в главном корпусе Беннигсена, где должно было быть 55.000 человек, само непосредственное начальство насчитывало не более 40.000,—а в действительности было, вероятно, и того менее. Желание пополнить ряды войска привело к мысли о сформировании народного ополчения („милиции") в 612.000 человек (манифест 30 ноября 1806 г.). Но что было выиграно в количестве, было проиграно на качестве: только пятую часть „милиции" удалось вооружить ружьями, у остальных были лишь пики. Такое войско едва ли могло быть грозным противником для первой армии в Европе—и на деле „милиция" осталась декоративным войском, почти не покидавшим русских пределов и не видавшим неприятеля. Действительную войну вела все-таки лишь немногочисленная регулярная армия. Как и в войну 1805 года, она крайне скудно была снабжена всем необходимым: запасов не было, подвоз был организован плохо, войско жило исключительно насчет местного населения, скоро довело до голода его и голодало само. Голодные солдаты дезертировали массами, шайки мародеров грабили все и вся, три раза пытались ограбить русскую главную квартиру—однажды ворвавшись даже в кабинет главнокомандующего Беннигсена. В ответ на донесение об этом, Александр не сумел найти ничего лучшего, как предписать дежурному генералу расстреливать дезертиров на месте, „без малейшего сострадания" (собственноручное письмо к графу Толстому от 3 января 1807 г.) Об устранении причин дезорганизации речи не было в этом случае—как и во многих других, аналогичных. Остается прибавить, что управлялась дезорганизованная армия не лучше, чем ее предшественница. Кутузова,—сыгравшего роль козла отпущения за Аустерлицкую неудачу—не сумели заменить кем-нибудь хотя бы приблизительно равноценным. Сначала выбор Александра пал на полу-сумасшедшего Каменского, который был как-будто нарочно создан, чтобы довести до апогея хаос, и без того царивший в армии. Благодаря распоряжениям Каменского все до такой степени перепуталось, что в течение нескольких дней никто из отдельных начальников не имел представления, где армия, и что с ней и даже существует ли она вообще. Полки шли чуть не по солнцу и скоплялись в тех или других местах в зависимости от совершенно случайных причин. В конце-концов, главнокомандующий официально закрепил всю эту путаницу, объявив в приказе, что „как ему в

Прусски дороги неизвестны, то самим генералам и бригадным командирам наведываться о кратчайшем тракте к нашей границе". Неожиданным благим последствием было то, что и неприятель в этой безурядице утратил ясное представление о нашей армии,—результатом чего был ряд ошибок Наполеона и первая полу-победа русских в эту войну—Беннигсена под Пултуском. Это сражение сделало Беннигсена главнокомандующим, но, пока по тогдашней медленной почте назначение пришло в действующую армию, последняя пережила целый ряд перипетий,—то не имея ни одного главнокомандующего, когда Каменский уехал с тою внезапностью, какая отличала все его действия, то имея целых трех—Кнорринга, Буксгевдена и Беннигсена, из которых первый враждовал с обоими остальными, а последние были в столь враждебных отношениях друг к другу, что жгли даже мосты между собою, дабы избежать всякого соприкосновения. Когда, наконец, назначение Беннигсена положило конец этой своеобразной „тройственной схизме", дело немногим изменилось к лучшему. Новый главнокомандующий был тяжко болен—у него была каменная болезнь, доводившая его до обмороков. Это был человек мнительный и мелочно-самолюбивый: он никогда не решался ни на один сколько-нибудь рискованный шаг, пропускал таким путем все удобные случаи, терпел неудачи там, где мог бы быть победителем—и всегда в неудаче оказывались виноваты или другие генералы или слепая случайность. В своих записках для оправдания своей репутации он не стесняется отрицать самые очевидные факты—и Фридландское сражение, например, где Наполеон на голову разбил русскую армию, в его изображении является совсем маловажным делом, притом вовсе не особенно несчастливым для русских. Нельзя было придумать худшего главнокомандующего для войны, где инициатива с самого начала и до конца была в руках противника, и русским приходилось больше пользоваться его ошибками, чем действовать самостоятельно.

Если, при всех своих недостатках, Беннигсену все-таки удалось стяжать себе репутацию единственного русского генерала, способного сражаться с Наполеоном, то в этом ему помогла, действительно, слепая случайность,—вернее, те географические условия театра войны, о которых мы только что говорили. Продовольствование французской армии в прусской Польше представляло для французов не менее сложную задачу, чем для русских. Наполеон разрешил ее гораздо удачнее своего противника,—но и он должен был считаться с целым рядом неудобств. Главным из них была необходимость возможно шире растянуть фронт армии, тянувшийся почти от Данцига до Варшавы и

2777
25437

даже южнее. Более тесное расположение исключалось невозможностью найти на небольшой площади пропитание для массы людей. Два раза русские главнокомандующие—в декабре 1806 года Каменский, в январе следующего года Беннигсен—впадали в искушение прорвать тонкую цепь французских корпусов и, если не разрезать армии Наполеона пополам, то отхватить от нее то или другое крыло. Полная спутанность движений Каменского, медленность и нерешительность Беннигсена помешали им довести эту задачу до конца—или хотя бы сколько-нибудь серьезно приступить к ее разрешению. Оба раза Наполеон умел сосредоточить свои силы во-время, и, в свою очередь, пользуясь своим численным превосходством, пытался охватить противника. Но тут на помощь русским снова приходили климат—и „шестая стихия" восточной Европы, грязь: по ужасным дорогам французские маршалы никогда не успевали своевременно выполнить движений, предписанных им их императором; на поле битвы никогда своевременно не сходились все войска, которые должны были там быть по диспозиции Наполеона. Беннигсен имел полную возможность „отступить с боем", отбитый, но не разбитый—и заключить свои донесения в Петербург классической фразой, что „все атаки противника отражены с блестящим успехом". И в Петербурге верили, что мы находимся накануне еще более блестящих успехов—и надеждой на них пытались снова втянуть в войну только что разгромленную Австрию. Но Австрия и на этот раз была более, чем права в своей сдержанности [1]). Едва на смену русской союзнице—зиме пришло лето, и климатические условия стали нормальными для французской армии—картина резко изменилась, и третья попытка русской армии перейти в наступление кончилась ее полным разгромом. Если Пултуск (в декабре 1806 г.) и Прейсиш-Эйлау (27 января 1807 г.) могли быть представлены в официальных донесениях некоторым подобием победы, то Фридланд (2 июня 1807 г.) совершенно не поддавался подобному объяснению. Характерно, что в двух первых битвах, где холодное оружие играло преобладающую роль, русская армия еще держалась на одном уровне с французской; перевес последней оказался вне всякого спора в бою, решенном исключительно оружием нового времени, артиллерией.

Фридландское поражение далеко однако не означало собою истребления русской армии. Она потеряла не более 25% своего состава и всего 10 орудий. На выручку ей подходила резерв-

[1]) Характерно, что на этот раз австрийцы упорно отказывались верить русским показаниям о размерах русских сил и посылали особого генерала со специальной целью—узнать истину на этот счет.

ная армия кн. Лобанова-Ростовского—могли быть мобилизованы и дальнейшие резервы. Словом, Александр вовсе еще не лишен был военных средств продолжать борьбу. Конец резне положило финансовое истощение коалиции. Союзники жили преимущественно, если не исключительно, английскими субсидиями. Но Англия постепенно приходила к убеждению, что продолжение борьбы в прежних формах для нее прямо невыгодно. Неудачи коалиции на сухом пути привели к тому, что громадная береговая линия от Любека до Данцига и Кенигсберга, до тех пор нейтральная или полу-нейтральная, была наглухо закрыта для британской торговли. Англия поддерживала вторую войну Александра против Наполеона в надежде наверстать то, что было упущено по легкомыслию прусского правительства в конце 1805 года—когда пруссаки приняли из рук Наполеона Ганновер и порвали с Англией. Теперь пруссаки давно раскаялись в своей легкомысленной жадности,—но англичанам было от этого не легче. Пруссия была в руках врага, и враг беспощадно пользовался своим перевесом: именно в завоеванном французскими войсками Берлине был подписан (21 ноября 1806 года) декрет, положивший основание „континентальной системе"—объявлявший все британские острова в блокаде, и всякие сношения с ними строжайше запрещенными как для французов, так и для всех союзников Франции. Практически исполнение этого декрета равнялось уничтожению всей английской морской торговли—и ответом на него могла быть только попытка призвать французов к благоразумию, разорив морскую торговлю их и их союзников. Англия объявила состоящими в блокаде гавани всех континентальных государств, так или иначе примкнувших к Франции. При подавляющем перевесе английского флота над французским (после Трафальгарской битвы, 6 ноября 1805 года, об этом уже не могло быть спора) это отнюдь не было пустой угрозой. На этом пути Англия могла чего-нибудь добиться. Содержание же континентальных армий, хронически терпевших поражения от Наполеона и отдававших в его полную власть одну милю берега за другой, становилось явно убыточным предприятием. Мнение английского правительства на этот счет впоследствии снова изменилось,—когда в Испании Наполеона постигла первая неудача на сухом пути. Но в 1807 году англичане твердо решили даром денег не тратить. И когда Александр в начале этого года обратился к английскому правительству с просьбой—гарантировать заключаемый Россией в Лондоне заем в 6 миллионов фунтов (замаскированная форма субсидии)—он получил категорический отказ. Английский кабинет отказал даже во всяком содействии частного характера—и заем не мог быть заключен. Вести войну

более было не на что—и с „врагом рода человеческого“ волею неволею приходилось мириться.

Эволюционировать в этом направлении русской политике пришлось очень быстро. Еще весной 1807 года обширный реставрационный план был формулирован перед лицом всей Европы в так называемой Бартенштейнской конвенции (14 апреля). Этот договор России и Пруссии—фактически это было волеизъявление одной России, так как Пруссия в то время была лишь географическим термином—ставил своей задачей не более, но менее, как разрушение всего, созданного Наполеоном с первых лет XIX века[1]), возвращение Франции к границам первой республики, а отчасти даже и за эти границы (именно в Италии). К участию в этом,—как мы знаем, „самом прекрасном и самом справедливом“ деле,—союзные монархи приглашали Австрию, Англию и Швецию. Конвенция формулировала однако же лишь программу-минимум этого союза. О максимуме проговорился Александр Павлович лишь в частном разговоре с Людовиком XVIII, которого он посетил в Митаве по дороге в Пруссию. „Я буду считать лучшим днем своей жизни тот, когда я помогу вам вернуться во Францию“, сказал русский император изгнанному Бурбону.

Все это было лишь в марте—апреле 1807 года, а в июне состоялось знаменитое тильзитское свидание, после которого Александр и Наполеон расстались союзниками—и врагами тех, кого совсем еще недавно звал в союзники первый. „Я ненавижу англичан столько же, сколько и вы“—было одной из первых фраз Александра Павловича.

При данной обстановке она была более чем понятна. Не кто другой, как Англия, заставляла теперь императора и самодержца всероссийского признать своим братом, своим ровней бывшего артиллерийского поручика. В свое время Александр был до глубины души возмущен одним известием о том, что этот поручик принял императорский титул—теперь пришлось самому называть его государем. Александр умел скрыть свои истинные чувства под маской той „обворожительности“, которую так хорошо знало русское дворянское общество. И лишь в очень интимном кругу он давал волю своему действительному настроению. „Льстите его тщеславию,—говорил он о Наполеоне одному из своих прусских друзей как раз в дни тильзитских торжеств.—Я вам советую это, как честный и преданный друг вашего короля“.

1) Возвращение Пруссии и Австрии всех их владений, уничтожение Рейнского союза, находившегося под протекторатом Наполеона, вознаграждение королей сардинского, неаполитанского etc. Специально для успокоения Австрии была оговорена неприкосновенность Турции.

Но, пока что, Россия шла на все уступки, каких требовал ее победитель. „Император Александр гораздо умнее, чем казалось", с чувством удовлетворения писал Наполеон императрице Жозефине. Союз с Англией, как по волшебству, сменился союзом против Англии: не Наполеон, а вчерашний союзник Александра должен быть возвращать теперь все свои завоевания с начала века. Тильзитский договор в этом пункте однако же сохранил то сходство с Бартенштейнской конвенцией, что как тот, так и другая остались на бумаге: отобрать у Англии ее колониальные приобретения было ничуть не легче, чем отнять у Наполеона захваченные им области Германии и Италии. Реальным ударом для Англии было присоединение России к „континентальной системе": повидимому, британское правительство не ожидало от нас такого самоубийственного шага, когда отказывало Александру во всякой поддержке. Во всяком случае, здесь Россия теряла больше, чем Англия. Еще менее страшна была для последней война, которую Россия должна была ей объявить, как только предъявленные ею к Англии требования—о возвращении и проч. - не будут удовлетворены к назначенному сроку: русский флот отнюдь не был более грозной величиной, чем французский. К категории тех же чисто принципиальных уступок относилось и признание Александром как Рейнского союза, так и всех бесчисленных государей, сотворенных и предполагавшихся к сотворению Наполеоном: т.-е. всего того, на что ополчалась Бартенштейнская конвенция. Наконец, принципиальное же значение—отречения от прошлого,—имело и то чисто символическое участие, какое приняла Россия в разделе второй ее недавней союзницы, Пруссии: из ее останков нам достался город Белосток с его округом. Французский министр иностранных дел, Талейран, убеждая русских принять от Наполеона этот клочок земли, аргументировал тем простым соображением, что, ведь, Белосток у пруссаков все равно отнимут: и ежели его не возьмут себе русские, он достанется герцогству Варшавскому.

Согласие на образование этого нового государства из обломков прусской Польши было, после принятия „континентальной системы", второй реальной уступкой побежденного победителю. Как ни старались золотить эту пилюлю, было ясно, что на границе России воскресает сила, с которой перестали считаться, которая была вычеркнута из списка живых,—но которая теперь являлась на сцену одухотворенная тою жгучею ненавистью, какую воспитала в поляках эпоха разделов. Наполеон был, конечно, буквально прав, когда он утверждал, что не имеет ни малейшего желания восстановлять Польшу: ему нужна была не польская национальность, а польская армия. Но

армия не могла обойтись без национального базиса: еще в эмиграции польские полки были зародышем новой Польши. Возвращенные на родину, притом родину, только что освобожденную от иноземного гнета, они должны были дать могучий толчок национальному движению: в Тильзитском мире были уже зародыши восстания 1831 года.

Венец дипломатического искусства Наполеона и Талейрана заключался в том, что они нанесли России тяжелый удар, наполовину уничтоживший результат нашей политики XVIII века, — формально не коснувшись ни пяди русской территории, даже увеличив ее городом Белостоком. Россию наказали, ограбив Пруссию. Наполеон сумел пощадить личное самолюбие Александра, верно подметив господствующую индивидуальную черту этого государя. Мало того, он сумел устроить дело так, что, потерпев не только военное, а и дипломатическое поражение, равного которому Россия давно не испытывала, Александр почувствовал себя польщенным и ободренным и, почти искренно, мог уверять своих подданных, что от Тильзитского мира Россия много выиграла.

Качество этого выигрыша можно видеть на одном примере. Россия в то время находилась в войне с Турцией, втянувшись в нее не без участия французского императора, содействовавшего султану чем только можно: деньгами, оружием, посылкой офицеров, советами своих агентов. Мы рассмотрим восточную политику России в другой связи. Теперь для нас важно то употребление, какое сделал из русско-турецкой войны Наполеон. Оно было двоякое. В официальном тексте договора стояло вмешательство Франции в пользу Турции,—как и следовало ожидать, принимая во внимание их союзнические отношения. Русские обязывались очистить уже занятые ими дунайские княжества (теперешнюю Румынию) и вступить в переговоры с Портой при посредстве французского правительства: переговоры и вестись должны были в Париже. Наполеон обязывался употребить все усилия, чтобы склонить турок заключить мир. Но что должно было статься с фактическим приобретением России—дунайскими княжествами? Об этом текст договора—и явный и секретный—говорил лишь одно: русским выйти из княжеств, туркам не занимать их до заключения мира. Дальнейшая судьба спорной территории определялась уже устными комментариями Наполеона к договору: он заявлял, что ничего не имеет против присоединения к России не только княжеств, но и части задунайских владений Турции,—исключая только Константинополь и непосредственно прилегающую к нему область, и давал понять, что Франция не остановится перед самым энергичным содействием своему новому союзнику в этом

случае. Комментарии эти ничем не были закреплены: Александр рассматривал княжества уже как свою собственность, видел в их приобретении главное средство сделать Тильзитский мир хотя сколько-нибудь популярным в России,—между тем как французская дипломатия, опираясь на букву договора, постоянно твердила, что на это приобретение Россия не имеет никакого права, что Тильзитским миром была условлена только нейтрализация, по крайней мере, временная, дунайских княжеств, а отнюдь не присоединение их к России. Впоследствии Александру пришлось затратить много энергии, чтобы отстоять (в Эрфуртском соглашении 30 сентября 1808 года) свое право отнять у Турции спорную область: право, не возбуждавшее никаких сомнений до Тильзитского мира. О разделе остальной Турции уже и речи не было, так же, как и о содействии французских войск против Порты.

Так весьма реальные невыгоды договора 1807 года уравновешивались совершенно идеальными и очень проблематическими уступками Франции, которые на практике оказывались перепродажей России того, что ей давно уже принадлежало. Полную параллель к дунайским княжествам представляла Финляндия: Наполеон обнаруживал большую заботу о том, чтобы гром шведских пушек не беспокоил петербургских красавиц. Он высказывал решительное недоумение, как это русские допускают присутствие своего старинного врага почти у ворот своей столицы. Словом, он внушал императору Александру мысль завоевать Финляндию —мысль, которая, повидимому, была очень далека от Александра в предшествующие годы, когда Швеция являлась желанной союзницей России. Финляндию оказалось легче завоевать, чем дунайские княжества: но и для этого понадобилась двухлетняя война (1808—1809 г.г.), в которой Франция не помогла нам ни одним солдатом. А между тем, разоряя и подчиняя франко-русскому влиянию скандинавскую союзницу Англии, Россия выполняла на севере работу, в высокой степени полезную для „континентальной системы"—и позволяла творцу этой системы направить все силы для упрочения своего положения на западе и юго-западе Европы.

Первые месяцы после Тильзита оба императора еще довольно успешно разыгрывали роль „друзей"—которую они усвоили себе на историческом плоту посреди Немана. Александр шел навстречу всем желаниям Наполеона. Человек, недавно еще мечтавший, как о счастливейшем дне своей жизни, о возвращении Людовика XVIII во Францию, теперь теснил эмигрантов и запрещал им носить в России белую бурбонскую кокарду. Государь, два года назад до глубины души возмущавшийся тем, что у сардинского короля отобрали часть его вла-

дений, теперь находил совершенно естественным, что у испанского короля вовсе отняли его королевство. Получив известие о байонском coup d'état, Александр поздравлял Наполеона с открытием „новой блестящей страницы“ его истории—и одним из первых поспешил признать королем Испании Жозефа Бонапарта. Наполеон отвечал любезностями на любезность: но отвечал весьма расчетливо. В ответ на определенные политические шаги Александр вправе был ожидать таких же встречных шагов от своего нового союзника: вместо этого получалось—то драгоценное оружие, то картина, писанная на фарфоре—настоящий шедевр севрской мануфактуры,—то платья из Парижа для г-жи Нарышкиной, по личному выбору Наполеона, который проявил себя большим знатоком в этом вопросе. Александр говорил по всем этим случаям множество комплиментов французскому посланнику,—но затем переходил на более деловую почву: заводил, например, речь о дунайских княжествах. В ответ из Парижа получалось длинное и весьма живо написанное письмо, где чувствовалась богатая фантазия императора французов: в нем говорилось о походе на Индию, о близком взятии русскими Стокгольма, о многих других приятных для русского самолюбия вещах; но практический вопрос о княжествах нисколько вперед не двигался. Мало того—французские войска не двигались с Вислы и продолжали занимать Пруссию. И от русского императора не могло быть тайной, что на Балканском полуострове „союзник“ всеми мерами старался натравить на Россию ее постоянную соперницу в этих краях, Австрию. Перед австрийским посланником, Меттернихом, Наполеон долго распространялся на тему о „московской опасности“, признавал совершенно справедливыми притязания Австрии на долину Дуная,—ибо они „основаны на географии“,—и обещал не допускать раздела Турции, а если бы таковой случился вопреки ожиданиям, призвать к участию в нем Австрию в первую голову.

Между тем оборотная сторона Тильзита начинала чувствоваться в России сильнее с каждым месяцем: весной 1808 года экономический кризис, созданный континентальной блокадой, был уже в полном разгаре—и Александру пришлось уже наткнуться на оппозицию в лице лучших друзей своей молодости, продолжавших отстаивать интересы Англии; он должен был расстаться с Кочубеем, Строгановым и Новосильцевым. Ему начинало казаться, что он принес уже достаточно жертв новому союзу, чтобы получить в обмен не один севрский фарфор. Он желал лично выяснить недоразумение, повидавшись с Наполеоном—главным образом он желал путем этого свидания окончательно уладить восточный вопрос, который казался так

хорошо разрешенным в Тильзите — и вдруг стал неразрешимее, чем когда бы то ни было. Наполеон ничуть не был в принципе против нового свидания,—но определить его время оказывалось очень затруднительно: у императора французов было так много дела, что не легко было найти две-три недели, чтобы съездить в Эрфурт (где свидание предполагалось—как на полдороге от французской до русской границы). Кроме того, ему казалось очень неудобным связывать свои переговоры с Александром заранее определенной программой—например, приурочивать к свиданию ликвидацию восточного вопроса. К чему предупреждать события? Словом, с эрфуртским свиданием грозила повториться история дунайских княжеств.

Развязка пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. Казалось, Испания всего меньше могла доставить Наполеону военных затруднений. Ее армия почти не существовала; то, что было, находилось фактически в плену у французов,—в качестве „союзников", испанские войска стояли в северной Германии. Небольшие силы, оставшиеся дома, были разбиты в первой же стычке тремя французскими дивизиями. Оставались толпы кое-как вооруженных испанских мужиков,—скорее объект карательных экспедиций, чем войско, с которым стоило бы считаться. И как удар грома из ясного неба пришла в середине лета 1808 года весть, что французская армия в Андалузии положила оружие перед этими мужиками. Байленская капитуляция отняла у Наполеона ничтожную часть его „Большой армии": всего семнадцать тысяч человек сдались вместе с генералом Дюпоном. Но по своему моральному впечатлению это был удар, какого еще не переживала наполеоновская Франция. Им начинался второй период наполеоновских войн,—кончившийся катастрофой 1812 года и взятием Парижа.

Ничтожная в военном отношении неудача почти возвращала Францию к положению 1805 года—до Аустерлица и Фридланда. Реальной основой владычества Наполеона в Германии было постоянное присутствие французской армии между Эльбой и Вислой. Она сжимала в тисках Пруссию, сторожила Австрию, служила грозным напоминанием Александру. Теперь для того, чтобы восстановить положение в Испании, понадобилось взять три корпуса из Германии—на сто тысяч солдат ослабить силы, оккупировавшие Пруссию. Того, что оставалось—60—80 тысяч человек—едва хватало для надзора за этой последней: Россия и Австрия, даже каждая в отдельности, были теперь, по крайней мере, равносильны французам, если не сильнее их. Польская армия только формировалась: два года спустя, она еще не превышала пятидесяти тысяч человек. Возобновление коалиции в этот момент заставило бы Наполеона

бросить Испанию—и тем закрепить моральное впечатление Байлена на Европу: Жозефу уже пришлось покинуть Мадрид, и невозможность вернуть в Испанию только что посаженного туда короля равнялась признанию, что французы не в состоянии удержаться на Пиренейском полуострове, что у Франции фактически уже отобрана часть ее завоеваний. Этого следовало избегать во всяком случае и во что бы то ни стало. Между тем 1809 год как раз был сроком, к которому оканчивалась реорганизация австрийской армии, долженствовавшая, действительно, довести ее до нормы, оставшейся лишь проектом в 1805 году. В 1807 году Австрия отказалась присоединиться к Бартенштейнскому соглашению, ссылаясь именно на этот срок, и России было хорошо известно, что теперь уклонившийся тогда союзник готов вступить в бой с Наполеоном. Сама Россия была почти свободна; Шведская война отнимала ничтожную долю ее сил, Турецкая—немногим больше, притом с Турцией всегда легко было заключить мир, отказавшись на время от дунайских княжеств.

Положение Наполеона было до крайности затруднительное. Германии чрезвычайно тяжело доставался гнет „континентальной системы“: при всем раболепстве государей Рейнского союза перед Францией, они не смогли бы удержать своих подданных от присоединения к Австрии и России, раз войска коалиции вступили бы на германскую почву. Но Австрии и России здравый смысл диктовал—пользоваться минутой. Нужно было во что бы то ни стало расколоть возможных союзников раньше, чем они успели столковаться. Нужно было произвести демонстрацию, которая ослепила бы глаза наивных немцев—и заставила бы их думать, что могущество Наполеона так же прочно, как оно было год тому назад. А для этого нужно было показаться в центре Германии рука об руку со своим „другом“, императором Александром; пусть люди верят, что союз России и Франции несокрушим и вечен, тогда они десять раз подумают прежде, чем ссориться с Наполеоном. А затем, мы уже видели, как ловко пользовался император французов чужим добром, останками еще живой Турции, чтобы бросить яблоко раздора между державами старого порядка: Александр твердо надеялся привезти из Эрфурта „кусок Турции“, и на этом надо было играть. Игра была ведена мастерски: Эрфуртский конгресс на три года отсрочил столкновение с Россией, на четыре—образование коалиции и дал возможность Франции скопить такие запасы сил, которые самую коалицию помогли ей растянуть почти на три года.

Само собою разумеется, что такой результат не мог быть достигнут личным уменьем Наполеона, как бы велико оно не

было. В сентябре 1808 года объективные условия на востоке Европы были за него. Прежде всего крайне выгодно для него было соотношение сил внутри России. Оппозиция, вызванная Тильзитским миром, еще не успела охватить народной массы. Настроение даже широких кругов дворянства еще не вполне определилось: к проектам Сперанского только что приступали, и Александр еще твердо надеялся осуществлением этих проектов примирить с собою дворянское общество. Будировали пока только придворные круги, верхушки землевладельческой знати: но их оппозиция сразу приняла такую форму, которая должна была до чрезвычайности раздражать самую чувствительную сторону Александра,—его личное самолюбие. Уже разрыв с Англией поставил дело на эту, личную, почву: английская дипломатия, правильно оценивая социальный вес дворянства, но несколько торопясь использовать его в своих целях, поспешила популяризировать в петербургских салонах только что появившиеся памфлеты против Тильзита. Одна из брошюр, особенно обидная лично для Александра Павловича, была услужливо доставлена ему французским посланником: это было непосредственным поводом к тому разрыву с „молодыми друзьями", о котором мы уже говорили. Петербургская оппозиция должна была на некоторое время стушеваться: скоро она опять ожила в Павловске, в гостиных императрицы Марии Феодоровны. То, что говорилось здесь вполголоса и с придворными умолчаниями, гораздо громче можно было слышать в Вене. Аристократические кружки двух центров легитимизма были связаны тысячами нитей. Русский посланник в Вене, Разумовский, был более австрийцем, чем любой из старых слуг габсбургского дома. В салонах его и его австрийской родни совершенно открыто предавались воспоминаниям об 11 матра 1801 года. Русско-французский союз при таких обстоятельствах становился личным делом Александра; ему надо было доказать во что бы то ни стало, что прав он, а не его придворные критики, что Тильзит, действительно, облагодетельствовал Россию. И пока давление снизу не было настолько сильно, чтобы разбудить в нем чувство самосохранения—как это случилось позже, в 1811 году—чувство собственного достоинства не позволяло ему спустить флаг перед аристократической камарильей Вены и Павловска. Не даром „молодых друзей" из родовитого дворянства сменил около него как раз в это время плебей Сперанский, поехавший с ним в Эрфурт

Канва, на которой мог вышивать Наполеон, была готова. Александр давно требовал эвакуации Польши и Пруссии „Большой армией": едва узнав о Байлене, Наполеон известил своего союзника о своем полном согласии на эвакуацию, позаботив-

шись о том, чтобы это извещение дошло до Петербурга раньше новости о байленской катастрофе. Правда, через несколько дней истинная связь явлений стала более или менее понятна Александру—но первое впечатление было сделано. Александр давно требовал личного свидания, давно осаждал Коленкура вопросами: „когда же мы едем?“ Уже 22 мая он отказался от своего первоначального условия—разрешить при свидании восточный вопрос—и готов был ехать без всяких условий; Наполеон под разными предлогами оттягивал дело. Теперь все затруднения исчезли. По команде французского императора все государи Рейнского союза собрались в Эрфурт—приветствовать гостя Германии, друга императора Наполеона. Сам господин этих коронованных лакеев выехал навстречу Александру за город, за несколько верст. Возобновились дружеские излияния Тильзита. Правда, придворная хроника сообщала о некоторых шероховатостях; из уст в уста передавались слова Наполеона, что он подвергает себя всем этим неприятностям только из-за Испании; рассказывали о сильной сцене между ним и его союзником, когда Наполеон бросил на пол шляпу и топтал ее ногами; передавали о некоторых намеренных бестактностях, способных уколоть императора Александра,—в роде раздачи наград за Фридланд в его присутствии. Но все это было более или менее за кулисами. Официально все обстояло благополучно—и Александр уехал из Эрфурта попрежнему союзником Наполеона, увозя с собою желанный „кусок Турции“: по поводу дунайских княжеств состоялось соглашение, отвечавшее желаниям России.

Когда от Австрии пришло предложение по поводу коалиции; оно было встречено в Петербурге так же, как встретили подобное же предложение в Вене в 1807 году, после Бартенштейнской конвенции. Правда, Александр обещал австрийскому посланнику, Шварценбергу, сделать „все человечески возможное“, чтобы—в качестве союзника Франции—причинить Австрии как можно меньше вреда: и сдержал это обещание. Участие России в начинавшейся вслед затем австро-французской войне было чисто номинальным. Но дальше этого его жертвы в пользу „самаго прекрасного и самого справедливого дела“ не пошли. Наполеон достиг своей цели: он расколол коалицию еще раньше, чем она успела образоваться. Он мог уничтожить союзников 1805 года по частям: покончив с Австрией в 1809 году, он имел теперь полную возможность, на досуге и не спеша, подготовлять поход 1812 года в Россию.

2.

Война за „освобождение Европы".

1. Разрыв русско-французского союза.

Около 1810 года борьба между Англией и Францией дошла до своего критического момента. Континентальная блокада, поддерживаемая со всей суровостью военного положения, начинала давать некоторые результаты. Французская промышленность, освобожденная от конкуренции, понемногу завоевывала европейский рынок; с Францией делили ее выгоды другие страны, попавшие „под иго Наполеона": расцвет текстильного производства в Саксонии падает как раз на это время. Европейская буржуазия оказывалась все более и более заинтересованной в поддержании французского владычества. Пережив первое тяжелое время, она могла освоиться с континентальной блокадой, привыкнуть обходиться без английских фабрикатов, перенеся к себе домой английскую технику. Наоборот, дальнейшее развитие этой последней было крайне затруднено суженьем рынка; перепроизводство уже теперь чувствовалось; количество безработных росло—и рядом с этим французские агенты с радостью извещали свое правительство о все новых и новых банкротствах в Сити. Англия начинала вариться в собственном соку. Оставалось, повидимому, только позаботиться о том, чтобы китайская стена, воздвигнутая вокруг английских мануфактур, становилась все выше и прочнее. В ней был однако же один дефект: Пиренейский полуостров, пока на нем держалась английская армия, пока не было подавлено восстание испанского крестьянства, был постоянной зияющей брешью в „континентальной системе". Попытке заделать эту брешь теперь после Венского мира (1809 г.), связавшего Австрию по рукам и ногам, были посвящены все наличные силы Наполеона: к началу 1811 года в Испании было сосредоточено до 270.000 войска—в полтора раза больше, чем понадобилось ему в 1805 году, чтобы разгромить Австрию, и в 1806, чтобы превратить Пруссию в географический термин. Но на Пиренейском полуострове все пропадало, как в бездонной бочке. И вот, как раз теперь, с каждым месяцем становилось все яснее, что система имеет и другую брешь: и что эту другую брешь представляют собою владения „друга" и „союзника" французского императора.

К Наполеону приходили известия, что шестьсот—потом говорили о тысяче двухстах—кораблей под разными флагами, но нагруженных английским товаром, направляются к северо-восточным портам. Готенбург на берегах Швеции был бли-

жайшим этапом: оттуда шло распределение запретного груза небольшими, мало заметными партиями по всем портам Балтийского моря. Львиная доля должна была достаться России,— гораздо больше, чем она могла потребить при тогдашнем развитии своего хозяйства. Континентальная блокада создавала в России оригинальный транзит: английские товары шли в западную Европу по нашим речным путям, как некогда, в дни киевской Руси, шли таким образом мануфактурные произведения Востока. С берегов Балтики английская контрабанда шла на австрийскую границу, к Бродам,—где образовался передаточный пункт почти не меньшей важности, чем в Готенбурге. Отсюда запретные товары наводняли герцогство Варшавское. Австрию и Пруссию, пробираясь далее до южной Германии и даже Швейцарии. Здесь контрабанда, шедшая с северо-востока, подавала руку контрабанде, шедшей с юго-запада через все еще не покоренную Испанию.

Английские контрабандисты удостоились высокой чести— быть предметом непосредственной переписки двух „владык мира". Шестьсот кораблей, о которых мы упоминали выше, дав уже ранее предмет для дипломатических нот, в конце концов вызвали осенью 1810 года специальное послание Наполеона к императору Александру, отправленное притом в Петербург не обычным путем, а с особо доверенным лицом, флигель-адъютантом русского императора Чернышевым.

„Англичане очень страдают от присоединения (к Франции) Голландии и от предписанной мною оккупации портов Мекленбурга и Пруссии," писал Наполеон. „Каждую неделю в Лондоне происходят банкротства, вносящие смятение в Сити. Фабрики стоят без дела; склады переполнены. Я только что приказал конфисковать во Франкфурте и в Швейцарии огромное количество английских и колониальных товаров. Шестьсот английских судов, которые блуждали в Балтийском море и не были приняты ни в Мекленбурге, ни в Пруссии, направились к владениям вашего величества. Если вы их примете, война будет продолжаться; если вы их секвеструете и конфискуете их груз в гавани или уже на берегу, Англии будет нанесен страшный удар: все эти товары принадлежат англичанам. От вашего величества зависит иметь мир или продолжать войну. Мир есть и должен быть вашим желанием. Вашему величеству ясно, что мы достигнем его, если Россия конфискует эти шестьсот судов и их груз. Какие бы бумаги у них ни были, чьим бы именем они ни прикрывались, выдавали ли бы они себя за французов, немцев, испанцев, датчан, русских, шведов—ваше величество можете быть уверены, что это англичане".

От конфискации английской контрабанды зависел мир Европы... Такие строки можно было написать только в отчаянии,—и только отчаянием, сознанием невозможности задавить Англию, какие бы убытки она ни терпела, можно объяснить странные колебания в экономической политике Наполеона, до тех пор такой твердой и последовательной. Бессильный заткнуть все дыры в континентальной блокаде, он приходит к химерической идее: устроить, по крайней мере, так, чтобы сами нарушения блокады шли на пользу Франции.

В блокаде были две стороны. Одной она опиралась на вполне реальные потребности континентального капитализма—на борьбу за рынки более отсталой промышленности материка с самой передовой промышленностью Европы. В данном случае блокада играла ту же роль, что и всякая сильная таможенная охрана вновь возникающей промышленности: она ускоряла развитие последней, поскольку у нее были свои собственные корни, и была вредна не производителям, а потребителям, вынужденным в течение некоторого времени переплачивать на мануфактурных произведениях. Пока речь шла об обмене фабрикатов, наполеоновская система, таким образом, не вступала в борьбу с законами природы, а лишь форсировала те тенденции, которые всегда и везде были свойственны полицейскому государству—и которые вполне привычны для всякой буржуазии на первых стадиях капиталистического развития. Оттого в этой области блокада и была, как мы видели, успешна—всюду, где были данные для самостоятельного развития крупной промышленности. Но в „системе“ была и другая сторона,—где „система“ являлась противоестественной, вступала в борьбу не только с иноземными конкурентами Франции, а с законами природы—и где поэтому она неизбежно терпела полное поражение. Это была область обмена сырья. Без колониальных продуктов Европа не могла обходиться: если бы даже удалось заменить какими-нибудь суррогатами чай и кофе (как это удалось относительно сахара), если бы даже примириться с лишением американского табака,—то как раз возникающая текстильная промышленность не могла обойтись без хлопка. Но все, что привозилось из-за океана, с точки зрения „континентальной системы“, было английским товаром, потому что ни один колониальный продукт не мог проникнуть в Европу иначе, как на английском судне или, по крайней мере, с дозволения англичан—что для Наполеона было одно и то же. Все попытки прекратить контрабанду этого рода били в лицо ту самую буржуазию, ради интересов которой были запрещены к привозу английские фабрикаты. И как раз после того, как переход всех испанских колоний в руки Англии окончательно закрепил ее

перевес в этой области, Наполеон был вынужден узаконить колониальную контрабанду. Так называемый „трианонский“ тариф, утвержденный Наполеоном 5 августа 1810 г., разрешал ввоз колониальных товаров—хотя бы и прошедших через английские руки, с уплатой высокой таможенной пошлины. Тариф дополнялся системой „разрешений“ (licences), позволяющих фактически и прямую торговлю с Англией колониальными продуктами—под условием вывоза произведений французской промышленности на равную сумму. Licences давали повод к массе всевозможных злоупотреблений: посредством них в сущности, было можно просто откупиться от „континентальной системы“. Совершенно правильно их рассматривают поэтому, как один из симптомов разложения наполеоновского господства вообще. Но на первых порах французское правительство ревниво оберегало свою монополию выдавать „разрешения“. Всякий товар английского происхождения, кроме колониального, оплаченного высокой пошлиной, подлежал истреблению немедленно по обнаружении. Это было еще раз подтверждено Трианонским тарифом, и к этому неустанно приглашались все союзники императора Наполеона.

Трианонский тариф провел резкую демаркационную черту между двумя половинами континентальной Европы. Он был выгоден для стран, уже обладавших большими зачатками крупной промышленности: Саксония, западная Германия, Бельгия, северная Италия были теперь теснее привязаны к Франции, чем когда бы то ни было ранее. Но он был смертельным ударом для стран, живших вывозом сырья, покупавших, а не продававших фабрикаты: Швеция, вывозившая в Англию лес и продукты своих рудников, северо-восточная Германия, Польша и Россия, где крупное землевладение одинаково было заинтересовано в хлебном экспорте,—все они остались по ту сторону этой демаркационной черты. Можно сказать, что Трианонский тариф наметил основную группировку будущей коалиции. Вопреки всем политическим предвидениям, Пруссия, Швеция и Россия должны были стать ее непременными членами—Пруссия, несмотря на то, что ее король, окончательно терроризированный разгромом Австрии, в это время не уступал в сервилизме ни одному из немецких государей и всего ждал от союза с Наполеоном, Швеция, несмотря на то, что французский маршал только что сделался в ней наследным принцем и фактическим государем, в виду дряхлости номинального короля. Для России отказ принять Трианонский тариф был тем Рубиконом, за которым начался Двенадцатый год: все остальное, от мелких недоразумений личного свойства, в роде неудачного сватовства Наполеона за русскую великую

княжну или обиды, нанесенной тем же Наполеоном владетельным правам голштинской династии в Ольденбурге,—до самого крупного по внешности конфликта из-за вопроса о восстановлении Польши, все это, так или иначе, тянет к основной причине—экономическому разрыву на почве Трианонского декрета 1810 г.

„Если англичане продержатся еще несколько времени, я не знаю, что тогда будет и что нам делать," сказал однажды Наполеон Чернышеву—в полной уверенности, конечно, что его слова не замедлят дойти до Александра Павловича. Союзники Франции должны были понять, что вопрос о континентальной блокаде есть вопрос жизни и смерти для империи Наполеона. Если они не умели или не хотели этого понять, они уже не были союзниками, хуже того—они были изменниками. Их нужно было силой принудить к повиновению—середины не было. Отказ России от блокады, прямой или хотя бы косвенный, должен был заставить Наполеона воевать, хотел он этого или нет: вот почему спор о том, кто был виновником войны 1812 года, является совершенно праздным. Виноваты были те самые объективные условия, которые в 1809 году предупредили войну. Если в дни эрфуртского свидания настроение русского общества было таково, что Александр мог в последний раз сыграть роль „друга" императора французов и мог надеяться извлечь из этого пользу, то в конце 1810 года рискованность подобной попытки была слишком очевидна: это был тот момент, когда все наблюдатели, без различия направлений, констатировали полное отсутствие „доверенности и усердия" к русскому правительству со стороны его подданных. Становилось совершенно ясно, что переломить экономическое развитие России было бы безумием; что воевать легче, чем переносить долее тягости континентальной блокады, и когда Александру категорически было предъявлено двойное требование: во-первых, не пускать к себе англичан, „за кого бы они себя ни выдавали", и беспощадно истреблять всякий подозрительный груз, каким бы нейтральным флагом он ни прикрывался; и, во-вторых, признать новый французский тариф обязательным и для России,—у русского императора уже не было более колебаний. Он не только отказался слушать второе требование, заявляя, что таможенные тарифы представляют внутреннее дело страны, в которое другие державы, хотя бы союзные, не имеют права вмешиваться, что принять Трианонский тариф значило бы обнаружить „слишком мало забот о благосостоянии своих подданных". Он не только продолжал пускать к себе англичан, если они являлись в наши порты под американским флагом, и позволил беспрепятственно выгрузиться между прочим большей части тех шестисот кораблей (сам Александр насчиты-

вал их только сто), о которых так хлопотал Наполеон. Он сделал гораздо больше: он ответил на Трианонский декрет русским тарифом 31 декабря 1810 года, представлявшим собою не что иное, как формальное объявление таможенной войны Франции.

Английская торговля уносила из России дешевое сырье и давала в обмен или золото или ценные фабрикаты. К совсем иным последствиям должна была вести торговля с Францией. В первое время после Тильзитского мира Наполеон делал попытки эксплоатировать русское сырье; но при крайней дороговизне сухопутной перевозки на лошадях, это можно было сделать только на месте. Французское правительство пробовало заказывать в России корабли—но они оказывались неважными в техническом отношении и не стоили тех хлопот, какие доставляла их переправа во Францию по морям, усеянным английскими крейсерами. Выгоднее было закупить лес, пеньку для канатов, холст для парусов где-нибудь поближе,—например, в Германии,—хотя часто все это и было русского происхождения. Стоимость сухопутной перевозки выдерживали зато лионские шелковые материи и другие предметы роскоши: но в обмен на них из России уходило не сырье, а золото. С точки зрения меркантилизма,—по старой рутине определявшего взгляды тогдашних русских финансистов, хотя бы и читавших Адама Смита,—в этом была главная причина падения курса ассигнаций. „Не надо выпускать золото из страны", учил меркантилизм: а для этого надо не пускать в страну предметов роскоши, или пускать их возможно меньше и осторожнее. Тариф 1810 года вдохновлялся в сущности теми же идеями, как и старый „ново-торговый устав" 1667 года. Высокая, иногда запретительная пошлина на шелковые материи, кружева и тому подобное и строжайшие меры против контрабандной торговли этими предметами: вот к чему в основном сводился поворот в русской таможенной политике, отмеченный указом 18/31 декабря. При официальном, по крайней мере, разрыве торговых сношений с Англией эта мера могла бить только подданных императора Наполеона и никого другого: то, что от нового тарифа страдали немецкие его подданные из государств Рейнского союза наравне с французами,—как пробовал указывать русский посол Куракин,—было самым плохим утешением, какое только можно придумать. А чтобы не было сомнений, что дело шло о нанесении удара французской торговле, как наиболее вредной, строгие постановления о контрабанде распространялись только на товары, привезенные сухим путем: морская, т.-е. английская, контрабанда преследовалась гораздо мягче, ввезенные морем товары конфисковались, но не сжигались. После

этого Александр сколько угодно мог утверждать, что он не собирается мириться с Англией: фактически экономический мир с Англией был заключен в ту самую минуту, когда Франции была объявлена таможенная война. Надо прибавить, что указ 18 декабря (ст. ст.) был формальным нарушением Тильзитского договора, ставившего торговые сношения между Россией и Францией на почву трактата 1787 года — и, само собою разумеется, подразумевавшего, что всякие изменения в status quo должны устанавливаться по обоюдному соглашению. Когда русскому правительству было указано на это, оно ответило, что Францией также были повышены пошлины на поташ, чай, ревень, рыбий жир и другие предметы, привозимые из России, без какого-либо соглашения с последней. Нет надобности объяснять, что пошлина на рыбий жир в двадцать лет не могла вынуть из русского кармана столько, сколько могла вложить туда в один год пошлина на лионский бархат.

Александр не знал еще тогда, что в его распоряжении уже имеется гораздо лучший ответ на всякие упреки формального свойства. Русский указ еще никому не мог быть известен во Франции, когда французский сенат нанес Тильзитскому договору если не более существенное, то, во всяком случае, гораздо более явное оскорбление. В Тильзите была гарантирована между прочим неприкосновенность владений германских родственников русского императорского дома, в том числе герцога Ольденбургского. В конце 1810 года, в борьбе с английской контрабандой, Наполеон почувствовал необходимость взять под непосредственное наблюдение императорского правительства всю береговую линию Германии: 13 декабря сенат постановил, что ганзейские города со всеми их владениями и прилегающими к ним территориями присоединяются к французской империи. В числе этих прилегающих территорий было и герцогство Ольденбургское. Сам Наполеон, повидимому, желал еще в то время по возможности щадить родственника русского государя и вступил со злосчастным герцогом в некоторое подобие переговоров. Но императорская администрация привыкла действовать быстро, по военному: в один прекрасный день Ольденбург занят был французскими войсками, французские чиновники расположились в нем, как дома, а герцогу было заявлено, что если он не намерен принять французское подданство, то должен будет выселиться на территорию, которую императору французов угодно будет ему пожаловать взамен Ольденбурга. Неизвестно, признал ли бы действия своей администрации Наполеон в обычное время: но одновременно с докладом об ольденбургском деле в Париж должно было притти и известие об объявлении Россией Франции таможенной войны.

Маленький родственник русского царя должен был стать первой его жертвой: декретом 22 января 1811 года Ольденбург был без дальних околичностей присоединен к Франции.

Современные французские историки оспаривают, чтобы этой выходкой Наполеон желал ответить личным оскорблением Александра на удар, нанесенный русской политикой экономическим интересам Франции. Если это случилось и нечаянно, во всяком случае нарочно нельзя было ударить больнее. Мы уже знаем, как сильно было развито личное самолюбие у Александра; мы знаем, как его соблазняла роль покровителя Европы, защитника слабых—при чем в числе этих слабых, нуждавшихся в защите Александра, бывали короли и даже императоры. И вот теперь на его глазах оскорбляли члена его собственной семьи, и ему не мог он помочь. Он сам почти попадал в то положение безнаказанно обижаемого, в каком он привык видеть короля прусского и до которого он никогда не рассчитывал унизиться. До чего может зарваться этот выскочка—должен был он подумать, услыхав, что его родственнику, члену одной из древнейших династий, предки которого в продолжение 700 лет носили корону,—предлагали сделаться ни более, ни менее—как французским подданным. Не даром обида герцога Ольденбургского играет в последней переписке Александра с Наполеоном такую выдающуюся роль: и читая, как русский император подробно и тщательно перечисляет права своего дома на Ольденбург, вы чувствуете, что здесь идет речь о его личном, кровном деле, и что он не потому только поминутно к нему возвращается, что трудно было найти лучший формальный предлог для разрыва союза.

Мы сказали: „предлог". Ольденбургское дело часто рассматривали, как одну из причин войны 1812 года—и, слегка поддаваясь настроению самого Александра Павловича, как одну из главных причин. Письма, напечатанные в приложении к мемуарам Чарторыйского, должны совершенно устранить такое толкование: война была решена в уме Александра раньше, чем он узнал о захвате Ольденбургского герцогства французами. Обстоятельства, а не личная воля русского императора, были виною того, что Наполеон получил в свое распоряжение лишний год, и притом самый ценный для него год, для подготовки русского похода. Весной 1811 года Россия была готова начать войну при самых благоприятных для нее условиях. Преувеличивая, по обыкновению, свои силы, Александр считал возможным бросить на западную границу от двухсот до двухсот пятидесяти тысяч человек: больше он не имел и в июне 1812 года. Но вместо полумиллионной „Большой армии" за год раньше перед ним было 46 тысяч французов маршала Да-

ву, разбросанных по всей Пруссии, да едва пятидесятитысячная польская армия,—которую притом он готов был считать в числе союзников, а не врагов. Ибо на этом вертелся весь план кампании 1811 года, как рисовался он Александру Павловичу: восстановление Польши руками России и переход, в уплату за это, польской армии от Наполеона к Александру—такова была центральная идея этого плана.

Мы видели, что в свое время образование Герцогства Варшавского было главным ударом, какой нанес Тильзитский договор русской политике. Это была такая же зияющая брешь на русской западной границе, какую сама Россия представляла в системе континентальной блокады. Она пугала не столько настоящим, сколько будущим. Призрак восстановленной Польши все время не оставлял встревоженного воображения русских дипломатов—получить от Наполеона гарантию того, что Польша „никогда не будет восстановлена", составляло мечту императора Александра. Только в самые последние месяцы перед разрывом решился он поставить это требование в такой обнаженной форме: и отказ Наполеона,—отказ, которого ожидали, мог лишь убедить его, что разрыв неизбежен. Но раньше этого были годы испытаний и колебаний, в течение которых французский император и его министры не раз давали торжественные уверения, что французскому правительству и в голову не приходит восстановлять Польшу—и каждый раз достаточно скоро появлялось достаточно фактов, чтобы опровергнуть эти уверения или, по крайней мере, сделать их весьма сомнительными. Венский мир, увеличивший население Герцогства Варшавского почти на два миллиона душ, должен был окончательно укрепить эти сомнения: теперь три четверти этнографической Польши были уже объединены под одной властью. За последней четвертью дело не могло остановиться надолго, а возрождение польской национальности, естественно, ставило дальнейший вопрос о возрождении исторической Польши,—об отобрании у России Литвы и всего, что ей досталось в часы трех „разборов". После разрыва Наполеон уже не скрывал своей мысли—восстановить Польшу *против* России. Александр обнаружил большую проницательность, попытавшись сделать из Польши ближайшую опору своей анти-французской политики. Имея Польшу на своей стороне, он вырывал из рук Наполеона главное оружие,—и сразу переносил театр войны на четыреста верст от русской границы.

Расчет Александра, несомненно, имел под собою социальные основания. Подчиненная наполеоновскому кодексу и французской бюрократии, Польша попрежнему оставалась дворянской страной. Но польское дворянство было не меньше русского

заинтересовано в сбыте своих продуктов на запад: по отношению к „континентальной системе“ у него были интересы, общие с русским и прусским дворянством, а совсем не с французской буржуазией. В лице Чарторыйского Александр имел посредника в переговорах с польской знатью, лучше которого было трудно найти. Он должен был убедить поляков, что русский император обеспечит их национальную независимость не хуже Наполеона: но что он даст больше Наполеона, даровав Польше свободные, конституционные учреждения. Экономические и политические вожделения польского дворянства удовлетворялись таким путем сразу: за это от него требовали только одного—измены человеку, который первый подал разделенной Польше надежду на политическое воскресение. Неизвестно, как отнеслось бы польское дворянство к подобному предложению, если бы русские войска стояли в Варшаве: три года спустя, оно довольно легко забыло Наполеона. Но в 1811 году Александр ждал первого знака от поляков—и его должна была подать польская армия,—та часть польского народа, которая ближе всего стояла к революции и Наполеону. Спайка оказалась крепче, чем думали в Петербурге: польская армия в лице своего главнокомандующего, Понятовского, лишь только познакомилась с планами России, поспешила их выдать Наполеону. В такой обстановке замыслы Александра могли достичь лишь одной цели: они показали французскому императору, что с войной надо спешить, не теряя ни минуты.

2. Двенадцатый год.

„Говорю это для вас одного“, писал в ноябре 1811 года французский министр иностранных дел французскому послу в Петербурге, Лористону: „ольденбургское дело не имеет значения ни для нас, ни для России: вся суть в торговых интересах и континентальной системе“.

„Но Александр об этом никогда не заговорил бы первый, а Наполеон твердо решил заговорить только во главе пятисот тысяч солдат“, замечает по поводу этих слов новейший историк Наполеона. Пока в Париже Куракин усиливался передать протест по ольденбургскому делу, пятьсот тысяч солдат начали медленно двигаться по направлению к Висле.

Поход на Россию в известном смысле напоминал эрфуртский конгресс: и там, и тут не малую роль играло желание произвести манифестацию, способную укрепить престиж Наполеона там, где он начинал падать, и освежить страх тех, кто переставал бояться. Заранее распространялись совершенно невероятные цифры вооруженных сил империи,—напоминавшие наивные рассказы греческих историков о полчищах Ксеркса.

Наполеон не хуже Александра умел вздувать размеры своих армий: разница только в том, что он обманывал ими не себя и своих союзников, а своих врагов. Русский патриотизм, как и греческий патриотизм Геродота в свое время, охотно затверживал эти мнимые величины,—раздувая свою победу количеством пораженных врагов. Даже серьезные русские историки готовы были считать наполеоновскую армию в шестьсот тысяч человек. На самом деле „списочный" состав ее доходил до 387.343 человек (не считая „вспомогательных", но весьма мало помогавших, прусского и австрийского корпусов, первого в 20, второго в 26 тысяч человек). Реальный состав обыкновенно бывает на 10% ниже списочного, и едва ли Наполеон очень уменьшил свои силы 1812 года, когда впоследствии на о. св. Елены он определял их в 400.000 человек всего на все, вместе с союзниками. Во всяком случае, это была самая крупная армия, какую когда-либо выдвигала Франция на одном театре войны. Она была почти вдвое сильнее армий (их было три), сосредоточенных Александром за западной границе: 280 тысяч всего, 200 тысяч без запасных и гарнизонов. Фантастические размеры еще увеличивались в том густом мраке, которым было окружено каждое движение армии. Полки выступали в поход внезапно, часто глухой ночью, и шли, избегая больших городов. Маршалу Жюно было приказано выехать к месту своего командования так, чтобы даже его адъютанты и прислуга не знали, куда он направляется. Едва ли все эти меры могли обмануть русских шпионов, если таковые были: впоследствии Наполеон превосходно знал число и расположение русских войск не на основании рассказов уличных зевак, а по точным сведениям о количестве съестных припасов и фуража, доставлявшихся в тот или другой пункт. Таких вещей от наблюдателей-специалистов скрыть нельзя—и ночные походы больше были сценическим эффектом, рассчитанным на воображение публики, чем серьезной мерой предосторожности. Но для той же цели, если армия скрывалась, то ее вождь ехал на войну с необычайным, показным великолепием. Сотни и тысячи экипажей провожали императорский кортеж; на несколько дней были прерваны все сношения между Парижем и восточной границей Франции, все средства сообщения были монополизированы императором, его двором и штабом. В Германии население целых областей было поднято на ноги для того, чтобы исправлять дороги, по которым он ехал. Ночью огромные костры освещали путь, и зарево, подобно пожару, издали возвещало о приближении императорского поезда. Весь двор с полным комплектом камергеров, шталмейстеров и пажей и со всей женской свитой императрицы ехал до Дрездена—где было назначено rendez-vous импера-

тора с его вольными и невольными союзниками и где он должен был расстаться с Марией-Луизой. Здесь строго соблюдали весь придворный чин Тюильри и С. Клу. Парадный серебряный сервиз и коронные бриллианты были перевезены в Дрезден: все показное великолепие величайшей в мире империи развертывалось во всей своей широте перед ошеломленными обитателями захолустной немецкой столицы. Кто сказал бы, что этого великого и могущественного государя гонит к холодным русским равнинам грубая экономическая необходимость? А между тем это было так. Трудно придумать более резкий контраст, чем тот, который существовал между великолепием императорского двора и состоянием народных масс во Франции. Этот контраст бросался в глаза уже в дни празднеств, сопровождавших крещение наследника Наполеона, „короля Римского", летом 1811 года. Мрачные толпы безработных бродили по улицам С. Антуанского предместья, мастерские были пусты—но не потому, что народ желал праздновать. По ночам в разных местах на стенах домов появлялись прокламации, призывавшие народ к восстанию против наполеоновского режима. Императорский кортеж встречало озлобленное молчание,—и к наемным ура полицейских шпионов время от времени примешивались пока еще робкие, но достаточно явственные свистки. К началу 1812 года дело нисколько не улучшилось. К промышленному кризису присоединилась дороговизна съестных припасов. В Нормандии уже вспыхивали хлебные бунты, которые пришлось усмирять оружием. Наполеон должен был вспомнить времена Конвента—и установить maximum императорским декретом. Но в других отношениях Франция совсем не напоминала времен Конвента: в армию не только не стремились толпы волонтеров, как в 1792 г., но не легко было получить в ряды и тех, кто был обязан служить. Франция была покрыта отрядами подвижной жандармерии, разыскивавшей беглых рекрутов. Всюду шла охота за людьми—и то там, то сям можно было видеть, как полицейские с торжеством вели закованных в цепи будущих солдат „великой армии". Что делать, если неудача „континентальной системы" продлит подобное положение вещей—этот вопрос стоял не перед одним Наполеоном. И среди самой императорской администрации находились люди, пророчившие близкий конец империи и реставрацию Бурбонов.

Как разоряющийся купец сорит деньгами, чтобы поддержать в глазах толпы свой фактически уже не существующий кредит, так первая империя маскировала свое критическое положение утрированной роскошью. Но сам Наполеон не мог не сознавать, хотя бы по временам, что у него не все идет, как следует,—что много признаков, указывающих скорее на

упадок, чем на подъем. „Мне оказал бы большую услугу тот, кто избавил бы меня от этой войны", говорил он Савари: „но что же делать—вот она пришла; пора с ней развязаться". Другому своему сотруднику он охарактеризовал русский поход, как „самое трудное предприятие, за которое он когда-либо брался". „Но раз что начато, надо кончать", прибавил он. Теперь настала его очередь питаться химерическими надеждами, которыми убаюкивали себя некогда его противники первых коалиций. Он высказывал уверенность, что война продлится недолго, и не однажды на разные лады возвращался к той мысли, что дворяне (les grands seigneurs) заставят Александра просить мира. Нельзя было быть в большем заблуждении относительно истинных интересов и стремлений тогдашнего русского дворянства. Но в противоположность своим врагам 1805 г., он не строил своей тактики на подобных самоутешениях и отнюдь не возлагал на внутренний кризис у неприятеля того, что не могли сделать его собственные войска. Он готовился к войне 1812 года, как он не готовился ни к одной войне раньше,—за колоссальными размерами своих средств и сил, не упуская ни одной мелочи, которая могла так или иначе повлиять на ход событий.

Ядро „Большой армии" (la Grande armée—что у нас неправильно переводится, обыкновенно, „Великая армия") должны были составить войска, расположенные вдоль берегов Немецкого и Балтийского морей, от Голландии до Пруссии. Здесь, от Утрехта до Стральзунда, стояло девять пехотных дивизий, образовавших 1-й и 2-й корпуса армии, двинутой против России. В эпоху мира с Россией эти войска фактически осуществляли континентальную блокаду,—это была сила, направленная прежде всего против Англии: идя „бить англичан в Москве", Наполеон двинул ее в первую линию. В тактическом и административном отношении эти войска, особенно 1-й корпус маршала Даву, были лучшим, чем располагала Франция, после императорской гвардии. Это были отборные солдаты под командой опытных боевых генералов, имена которых постоянно встречаются на страницах истории наполеоновских войн (Даву, Удино, Гюден, Компан, Фриан, Жерар). Даву был лучшим военным администратором Франции. Свой корпус он называл подвижной колонией, которую можно было перенести в любую страну—и она везде нашла бы средства существовать и действовать „В каждой роте есть портные, сапожники, каменщики, хлебопеки, оружейники, словом—всякие рабочие", писал он Наполеону. Эти отборные войска были в самых широких размерах снабжены всем необходимым. Нам придется действовать в скудной стране, говорил Наполеон, которую, по всей вероятности, неприятель опустошит,—и мы должны быть готовы во всем об-

ходиться собственными средствами. Никогда еще французская армия не брала с собой такого огромного запаса провианта. Каждая часть должна была иметь при себе двадцать пять дневных рационов на каждого солдата. Кроме того, провиант следовал за войсками живьем, в виде целых батальонов воловьих фур. Когда фуры приходили на место, волов убивали—и войска были, таким образом, обеспечены свежей говядиной. Армия брала с собой двадцать восемь миллионов бутылок вина, два миллиона бутылок водки. А в виде резерва для всего этого на Висле были устроены запасные магазины, из которых четыреста тысяч человек могли прокормиться целый год. Хлеб в зерне и фураж для конницы рассчитывали иметь на месте—для этого поход предполагалось начать в июне, так что разгар кампании должен был прийтись во время жатвы. Для перемалывания зерна в муку были заказаны специальные ручные мельницы, которые должен был иметь при себе каждый полк. Словом, казалось, что все было предусмотрено для того, чтобы застраховать французские войска от той участи, которая их постигла.

Если все эти меры предосторожности не избавили солдат Наполеона от необходимости питаться кониной, начиная с четвертого и даже с третьего месяца кампании, то виной этого являлся отнюдь не недостаток предусмотрительности. Скорее как раз наоборот: именно избыток предусмотрительности привел к тому, что предприятие очень быстро переросло границы технической осуществимости для своего времени. В самом деле, одна перевозка провианта (не считая пороха, запасной аммуниции, одежды и т. д.) требовала пяти или шести тысяч повозок с 8—10 тысячами погонщиков и 18—20 тысячами лошадей и волов. Это был целый дополнительный корпус: он продовольствовал армию, но приходилось заботиться о пропитании его самого, и это была в высшей степени трудная задача, так как он шел сзади армии, которая съедала и истребляла все на своем пути. Весь фураж доставался на долю кавалерии,—которая тем не менее постоянно страдала от его недостатка; артиллерии доставалось еще меньше,—а на долю обоза не оставалось совсем ничего. Лошади, а в особенности волы, падали тысячами—и в результате войска не получали ни самих волов, ни того, что было в воловьих фурах. Оставалось одно—везти фураж для обоза в готовом виде: но тогда вставала новая задача—о прокормлении тех, кто вез этот фураж,—и так далее до бесконечности.

Но технические трудности, хоть и с усилиями, непонятными нашему времени, времени железных дорог, еще можно было бы преодолеть,—если бы было кому их преодолевать. Ахиллесова пята „Большой армии“ заключалась не столько в

сложности ее механизма, сколько в крайне плохом качестве того материала, из которого этот механизм был сделан. Гигантские размеры экспедиции—первая и наиболее очевидная причина ее неудачи,—тем именно и обусловливались, что количеством приходилось заменять качество. Если бы Наполеон имел с собою своих аустерлицких солдат, он мог бы ограничиться на треть меньшим контингентом: но под его командой были теперь войска далеко низшего уровня. Двумя первыми корпусами—Даву и Удино—почти исчерпывались старые—и притом чисто французские войска, жившие традициями революционных войн и первых войн империи, создавшие тактику, о которую, как стекло, разбилась армия Фридриха Великого в 1806 году. К ним можно было прибавить только императорскую гвардию да несколько дивизий отборной тяжелой кавалерии. Но и эти части были уже в значительной степени испорчены примесью полков, не имевших ничего общего с вышедшей из войн революции наполеоновской армией и состоявших из солдат, отчасти совершенно равнодушных к войне, отчасти искренно ненавидевших Францию и ее императора. В корпусе Даву был полк, сформированный из ганзейских немцев, который почти весь разбежался во время похода еще по Германии; так как население оказывало всякую поддержку дезертирам, и раз убежавшего солдата не легко было найти, то Даву применял самые свирепые меры, чтобы страхом удержать солдат в рядах: он расстреливал даже просто отсталых за „намерение дезертировать“; но ничто не помогало—и несчастный полк пришлось вести к русской границе под сильным конвоем французской пехоты и кавалерии. В корпусе Удино был полк швейцарцев, где треть солдат были больны. Удино объяснял это тем, что в полку много рекрут, приведенных в армию закованными в кандалах и страшно истомленных таким путешествием. В рядах молодой гвардии были испанцы, португальцы и голландцы, преданность которых своим номинальным государям была более, нежели сомнительна: впоследствии из испанских дезертиров был сформирован целый партизанский отряд, действовавший против французов. Начиная с 3-го корпуса, маршала Нея, эта примесь плохих „союзных“ войск, на которые Наполеон ни в коем случае не мог положиться, как на свои, становится все заметнее: у Нея, была уже целая дивизия вюртембергцев,—постоянный источник беспорядка и путаницы, официально отмеченный в приказах по армии. Дальше или корпуса, почти целиком составленные из иностранцев, принудительно завербованных во французскую службу: лучшими из них были итальянцы (4-й корпус), страшно терпевшие от русского климата, и поляки (5-й корпус); гораздо хуже были баварцы, саксонцы, осо-

бенно вестфальцы, по части буйства и грабежей превзошедшие даже вюртембергцев: в общем не менее 150.000 немцев, которые настолько же неохотно следовали за Наполеоном, насколько они были плохи, как армия. Когда они действовали вместе с более надежными частями, их можно было употреблять только в качестве подмоги, но не для самостоятельной роли; когда они оставались одни, их били (баварцев на Двине, саксонцев на Волыни)—и приходилось более ценные войска отправлять им на выручку.

Было бы однако же совершенно ошибочно думать, что чисто французские войска—только в силу того, что они французские, были лучше „союзных“: слабая сторона последних заключалась в том, что они были переполнены рекрутами, еще не успевшими пропитаться искусственной казарменной атмосферой и принесшими в ряды армии все то острое недовольство режимом первой империи, которое было особенно сильно в покоренных странах, но которое к 1812 году было уже не менее сильно и в самой Франции. Мы видели, к каким экстренным мерам приходилось прибегать и здесь, чтобы получить от населения солдат. Между тем, по свидетельству маршала Нея, рекруты составляли подавляющее большинство французских полков, кроме первых трех корпусов и старой гвардии. И, благодаря этому, чисто французские полки представляли нередко ту же картину, что и союзники: та же масса отсталых, те же дезертиры, то же мародерство. Стихийный протест против принуждения выражался в наполеоновской армии 1812 года так же, как он выражается всегда и всюду в этих случаях, в России или в Маньчжурии безразлично, в массовом и остром упадке дисциплины, перед которым высшее начальство останавливается в тупом недоумении. И, как всегда бывает, „Большая армия“ таяла под влиянием этого упадка с поразительной быстротой: от границы до Смоленска она потеряла не менее 80 тысяч человек, из них не более 10 тысяч было убито или ранено. В главных силах под непосредственной командой Наполеона было 280.000 человек при переходе границы и лишь 140.000 через два месяца под Бородиным. При таких условиях время было первым и главным союзником русских,—гораздо раньше, чем начал действовать второй их союзник, климат.

В то время, как французская армия к концу наполеоновских войн все более ухудшалась, растворяясь в массе „союзников“,—русская, наоборот, приобрела некоторые боевые качества, которых она была лишена на 1805 году. Две коалиции, война с Швецией, почти непрерывно шесть лет тянувшаяся война с турками (1806—1812),—которая окончилась почти в

ничью[1]) только потому, что Александру стали необходимы 60 тысяч солдат, занятых на Дунае—все это было очень хорошей военной школой для плацпарадной армии, оставленной в наследство своему сыну Павлом. Война выдвинула целый ряд генералов и офицеров, если и не очень талантливых, то, во всяком случае, с несомненной боевой опытностью—и, отучив солдат несколько от шагистики, выучила их стрелять. Но размеры этой армии росли весьма туго—и финансы России были совсем не в таком положении, чтобы ускорить этот процесс. Английские же субсидии явились слишком поздно—только уже в самом начале войны: их значение сказалось больше в 1813, чем в 1812 году. Мы уже упоминали, что к началу военных действий Александр имел на берегах Немана и Буга до двухсот тысяч человек—по спискам и, вероятно, несколько менее в действительности. Даже с дунайской армией, которая подошла лишь к началу осени, это было раза в полтора меньше „Больной армии" Наполеона. Вооружение народа, образование ополчения было теперь еще более настоятельной необходимостью, чем в 1806 году. Русское дворянство очень охотно жертвовало своими крепостными ради такой „национальной" войны, какой была возобновившаяся борьба с Наполеоном. Александр был очень доволен достигнутыми результатами, или, по крайней мере, старался казаться довольным. „Последствия превзошли мои ожидания", писал он 18 июля адмиралу Чичагову, вновь назначенному командиру дунайской армии: „Смоленск мне дал 15.000 чел., Москва—80.000, Калуга,—23.000. Каждый час я ожидаю донесений из других губерний"... В действительности все это было повторением бутафорской „милиции" 1806 года. „Поспешность, с которою было составлено ополчение 1-го округа[2]), не позволила ни снарядить его надлежащим образом, ни дать ему достаточное военное образование", пишет официальный историк Отечественной войны. „Ратники большею частью были вооружены только пиками и рогатинами и обуты в лапти, что заставило употреблять их почти исключительно для подания помощи раненым, либо ставить в третью шеренгу пехоты регулярных войск"[3]). Некоторое военное значение имело только петербургское ополчение (2-го округа): и пример его служил блестящим доказательством, что при некоторой подготовке народная армия отнюдь не была мечтой, и что уже в начале XIX века казарменная каторга технически вовсе не

[1]) Бухарестским миром—15 мая 1812 г. Княжества остались за турками, которые уступили России только восточный берег Прута.

[2]) Обнимавшего 8 губерний, наиболее близких к театру военных действий: Московскую, Тверскую, Ярославскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Рязанскую.

[3]) Богданович.—История Отечественной войны 1812 года, т. II, стр. 51.

была необходима для выработки вполне пригодных солдат. Петербургские ополченцы были обучены всем фронтовым приемам в пять дней—и достигли таких успехов, что на присутствовавшего при их ученьи английского военного агента они произвели впечатление настоящей армии, „выросшей из земли“. Но в общем ходе войны значение этого небольшого отряда (около 13.000 чел.) было ничтожно. Как и в 1806—7 г.г., вся тяжесть борьбы легла на регулярные войска с некоторою помощью казаков,—которые однако стали опасны противнику и полезны армии лишь с той поры, когда французы были окончательно расстроены боями, голодом и холодом[1]).

Количественно слабая, качественно лучшая, чем когда-либо в предшествовавшие войны с Наполеоном, эта армия управлялась так же плохо, как и всегда. Первоначальный план кампании был рассчитан на наступление: в связи с этим, между прочим, все запасные магазины были придвинуты к самой границе, что, разумеется, осуждало их на неизбежную гибель в случае отступления. Благодаря этому, армия в течение всей кампании в России жила исключительно средствами тех губерний, где происходили военные действия—чем „опустошение страны“, которого так боялся Наполеон, достигалось само собою в максимальных размерах. Привычка пропитываться собственными средствами естественно вела за собою привычку к мародерству и грабежу. „Я обогнал много бродяг, отставших от войны на целый переход, в самом отвратительном виде“, писал Александр Павлович Барклаю-де-Толли от 6-го июля—через две недели после начала войны. В ответ на требование императора „прекратить эти беспорядки“ главнокомандующий не умел найти ничего, кроме старого, давно доказавшего свою бесполезность средства—расстреливать всех мародеров или подозреваемых в мародерстве. Сам Барклай сомневался в его действительности и применял эту меру больше по обычаю[2]). Во всяком случае, грабежи не прекращались; грабили и около Вильны, и около Витебска, и под Смоленском, и под Москвой: и не грабить было нельзя, ибо солдатам надо было что-нибудь есть. Надо прибавить, что если солдаты грабили просто под непосредственным давлением голода, то высшие чины грабили не меньше, но с большим комфортом и с меньшей опасностью. Начальник штаба первой армии, генерал Ермолов, рассказывает целый ряд весьма поучительных случаев из этой области, как очевидец. Один из опорных пунктов при отступлении нашей армии на северо-восток, прикрывавшая дорогу на Петербург

[1]) „Никто более казаков не рассуждает об опасности и едва ли кто смотрит на нее с большим ужасом“, говорит ген. Ермолов в своих записках (стр. 171).

[2]) См. его донесения императору из-под Смоленска 9 августа.

крепость Динабург (теперь Двинск), „строилась около двух лет большим весьма иждивением: более 5.000 человек военных погребено при работах и в таком же или большем числе рассеяла смертность“; в результате о крепости „надобно было расспрашивать, где она: линии оной даже не были означены“. „Все время“, заключает Ермолов, „повидимому, употреблено было, дабы дать правдоподобие расходам похищенной суммы“[1]). Само собою разумеется, что динабургская крепость никакой роли в кампанию не сыграла и была очищена без сопротивления. Таковы были инженеры: но, как и можно ожидать, пальма первенства принадлежала интендантскому ведомству. Мы выше упомянули, что при отступлении пришлось сжечь или бросить неприятелю запасные магазины. Это дало повод к колоссальным злоупотреблениям: горели магазины, в которых, по всем данным, физически не могло быть ни одной четверти овса и ни одного пуда сена[2]).

Относительно плана кампании после того, как рушились все надежды на поддержку поляков, с одной стороны, а с другой, стало известно о союзе Наполеона с Австрией и Пруссией, в русском главном штабе царствовал полный хаос. „В то время, когда Наполеон готовился вторгнуться в Россию“, говорит уже цитированный нами официальный историк войны 1812 года, „никто у нас не мог в точности определить—ни образа действий наших армий, ни направления, по которому следовало двигаться в случае отступления, ни конечного пункта, к коему довелось нам отступать“[3]). Официальный историк объясняет это естественной и непреодолимой ограниченностью человеческого предвидения: не трудно однако же заметить, что полного отсутствия плана кампании одним этим объяснить нельзя. Казалось бы, при всех естественных недостатках человеческого ума, можно и должно было ответить себе на вопрос: хотим ли мы давать сражение Наполеону или нет? Очень распространено мнение, что „скифская тактика“ заманивания французской армии вглубь России была решена с самого начала—по крайней мере, с того момента, когда мы отказались от вторжения в Польшу. В подтверждение этого мнения цитируют отдельные фразы Александра и Барклая-де-Толли, сказанные, отчасти, еще задолго до войны. Между тем не было сколько-нибудь удобной—или казавшейся удобной позиции—на пространстве от Вильны до Москвы, где наша армия не готовилась бы принять бой. Ее главнокомандующий, Барклай-де-Толли, неоднократно заявлял о своей готовности и решимости дать сражение Напо-

---

1) Записки Ермолова, стр. 15.
2) Там, же стр. 65.
3) Богданович, цит. т. I, 94.

леону,—заявлял это не только публично, что могло бы еще быть объяснено, как средство поднять упавшее настроение войска, но и в частных письмах делового характера. Император же Александр даже после того, как оборонительная тактика блестяще оправдалась полным разложением французской армии, все еще находил возможность пенять Барклаю, что он не принял сражения под Смоленском,—т.-е. не отступил от оборонительной тактики. Очевидно, что и у того, и у другого или не было полной искренности, когда они грозили Наполеону заманить его чуть не в Камчатку, или не хватало духа привести подобный план в исполнение. Как бы то ни было, это были одни слова, не имевшие никакого влияния на действия русских войск. Отступление от Вильны до Москвы было результатом не сознательного расчета, а просто механического толчка, данного нам „Большой армией" Наполеона. По справедливому замечанию Ермолова, „средство отступления, единственное в положении вашем... слишком хорошо истолковано было превосходством сил неприятельских". Но как и куда отступать, это оставалось опять-таки совершенной загадкой для руководителей русской армии. Повидимому, ими был принят план Фуля,—прусского генерала, перешедшего на русскую службу. Он состоял в комбинации системы укрепленных лагерей, представлявших тогда последнее слово стратегии, практически подтвержденное опытом португальской кампании Веллингтона (лагерь у Торрес-Ведрас),—с полузабытым опытом Семилетней войны. В нем было два момента: один состоял в устройстве обширного укрепленного лагеря, где могла бы укрыться целая армия, другой—в разделении самой этой армии на две части, одна из которых удерживала бы неприятеля перед этим лагерем, другая действовала бы ему во фланг и тыл. Такова была теория плана: но, нужно сказать, Фуль был совершенно неповинен в той практической форме, какую придали его плану русские генералы. Для его плана вовсе не было нужно, чтобы русская армия была растянута вдоль всей западной границы на протяжении нескольких сот верст отдельными корпусами, которые потом соединялись перед лицом превосходных сил неприятеля с величайшим трудом и постоянной опасностью быть отрезанными. Такое расположение войска имело бы смысл только в том случае, если бы предполагалось упорно защищать линию Немана—но это не входило ни в план Фуля, ни, повидимому, в намерения русского штаба, так как Наполеону было предоставлено переправиться через Неман без единого выстрела. Далее, для фулевского плана было существенно необходимо, чтобы вторая армия, направленная на фланг и тыл Наполеона, обладала достаточными размерами для самостоятельных дей-

ствий: между тем, в то время, как первая армия, сосредоточенная в лагере при Дриссе, заключала в себе 110—120 тыс. человек, вторая армия Багратиона имела не более 40 тыс.[1]) В таком виде 2-я армия была слабее двух наполеоновских корпусов, вместе взятых,—а в главных силах Наполеона таких корпусов было восемь,—и ей ничего не оставалось, кроме самого поспешного отступления в глубь страны, впредь до соединения с первой армией. Такое распределение сил—в корне обессмыслившее операционный план Фуля—опять-таки едва ли можно объяснить естественной ограниченностью человеческого предвидения. Скорее тут можно видеть один из образчиков перевеса придворных соображений над военными, какие мы видали и раньше. При первой армии был император, она должна была закрывать дорогу на Петербург, если бы Наполеон избрал это направление—причины слишком достаточные, чтобы в руках Барклая сосредоточить втрое больше солдат, чем у Багратиона.

Наполеон не пошел этой дорогой. Завладеть Петербургом вовсе не входило в его планы—поход вдоль берегов Балтийского моря все время подставлял бы его левый фланг под удары англичан и шведов. Кроме того, обладание административным центром России ни к чему непосредственно не вело. Правда, оно дало бы возможность замкнуть кольцо континентальной блокады,—но в то же время все экономические ресурсы страны оставались бы в руках Александра, который мог продолжать войну до бесконечности. Между тем,—и это было еще одной из причин катастрофы,—войну нужно было кончать скоро: выносить одновременно две таких болячки на своем теле, как Россия и Испания, империя не могла. Попытка покончить с Испанией не удалась—нужно было покончить с Россией возможно скорее. Для этого нужно было ударить в центр экономической жизни России, захватить в свои руки узел тех речных дорог, которые являлись тогда почти единственными грузовыми трактами, отрезать Петербург от губерний, снабжавших его хлебом и заблокировать Александра в его столице. Став между Окой и Волгой, Наполеон достигал всех этих целей; а поднять французское знамя на башнях Кремля, значило дополнить реальный успех одним из тех сценических эффектов, которые этот великий актер так ценил—и без которых никогда не обходилась его политика от похода к пирамидам

[1]) 3-я или „резервная“ армия, приблизительно таких же размеров, под командою Тормасова предназначалась первоначально для прикрытия юго-западных губерний, а потом вместе с войсками, возвратившимися с Дуная, для действий на сообщениях „Большой армии“. В первую половину кампании она не играла большой роли, оперируя против австрийцев и саксонцев, которым, в свою очередь, в плане Наполеона была отведена чисто демонстративная роль.

до высадки в Канне в 1815 году. Что саморазложение французских войск пойдет так быстро, что он дойдет до Москвы лишь с обломками своей „Большой армии“ и не найдет в самой Москве ничего, кроме развалин, это были случайности, к которым он не был готов и о которые разбился весь его план. Но в июне 1812 года план этот казался вполне осуществимым, французские солдаты знали, что они идут в Москву, и надеждой придти туда жила вся армия.

Известие о переходе французами границы застало Александра, как известно, врасплох. У нас были уверены, что главные силы Наполеона еще под Варшавой, что вдоль Немана стоят лишь незначительные передовые отряды „Большой армии“. На этом основании у нас позволяли себе мечтать о наступлении почти накануне открытия военных действий (еще 1 апреля, напр., в этом смысле дано было предписание генерал-интенданту Канкрину). При всей внешней выдержке русский император обнаружил полную растерянность в своих действиях, когда в истинном положении дела уже нельзя было более сомневаться. Пытаясь сделать вид, что переход Наполеоном границы есть лишь последствие простого недоразумения, случайной неловкости русского посла в Париже, Куракина (потребовавшего без разрешения и ведома русского правительства своих паспортов), Александр написал в этом смысле письмо императору французов и отправил его с Балашовым,—в явной надежде выиграть несколько дней для отступления русской армии. Но он имел дело с слишком опытным военным человеком для того, чтобы такой простой маневр мог удаться: Балашова Наполеон принял, хотя не тотчас, и даже удостоил его весьма продолжительной беседы, французские же армии продолжали двигаться вперед безостановочно. На помощь нам сразу же пришел климат: почти тропические ливни превратили дорогу в сплошной кисель; лошади французской кавалерии, плохо кормленные зелеными, скошенными на корню овсом и рожью, не выдержали тяжелых переходов и падали массами: в несколько дней их погибло до десяти тысяч. Обозы безнадежно отстали—и французская армия после всех сложных и дорогих приготовлений с первых переходов начала голодать—и грабить. Население—те самые литвины, на сочувствие которых, со слов польских помещиков, так надеялись во французской армии—бежало в леса и не оказывало никаких услуг. В довершение, французский штаб страшно путался в незнакомой стране—несмотря на то, что все меры опять-таки и здесь были приняты: в распоряжении Наполеона была подробная русская карта официального издания; по его приказанию, она была перегравирована и роздана во все полки: но русская официальная карта была

так плоха, что пользование ею приводило к самым отрицательным результатам.

В конце концов первая армия отступила от Вильны к Дриссе благополучно—и так быстро притом, что неприятель на несколько дней был потерян из виду, и пришлось отправлять специальные разъезды, чтобы напасть на его следы. Правда, благодаря этой быстроте была брошена большая часть обозов, но это было еще лучшее, что могло случиться. План Фуля практически был уже упразднен событиями вторая армия была безнадежно отрезана от первой французами, и о ней в Дриссе имели еще менее точные сведения, чем о положении неприятеля. Поэтому совершенно независимо от удобств или неудобств несчастного лагеря при Дриссе, держаться в нем не имело ни малейшего смысла. Так как император не мог отступить—это было ниже его достоинства—то Александр Павлович поспешил уехать из армии в Москву—воодушевлять население: больше ему, действительно, ничего не оставалось. А Барклай, незадолго перед тем писавший Багратиону, что он надеется, что „бог помилует нас от отступления", и назначивший генеральное сражение под Свенцянами (близ Вильны)—Барклай должен был взять на себя бремя непопулярности и приняться за руководство дальнейшим спасением первой армии от Наполеона.

Задачи последнего теперь, когда не удалось разбить русскую армию по частям на границе, сводились к двум: во-первых, помешать дальнейшей концентрации русских сил—и ни в каком случае не допускать соединения Барклая с Багратионом. Во-вторых, отрезать главные силы русских—т.-е. первую армию Барклая-де-Толли—от южных и, буде возможно, от центральных губерний, заставив ее переменить восточное направление на северо-восточное или даже прямо на северное. Первую задачу должен был выполнять корпус Даву—но великий администратор французской армии здесь оказался не на высоте положения и под Могилевом дал Багратиону опередить себя на один переход. Этого было достаточно, чтобы обе армии соединились под Смоленском. Тогда Наполеон с удвоенной энергией принялся за разрешение второй задачи—и едва не успел в этом. Соединившись, русские главнокомандующие не могли воздержаться от искушения—переменить оборонительную тактику на наступательную: обе армии двинулись к северо-западу от Смоленска обратно по дороге на Витебск, без ясно определенной цели—в качестве смутной возможности рисовалась победа над крайним левым крылом „Большой армии"—итальянцами 4-го корпуса, слишком оттянувшимися от главных сил. Этот переход в наступление, на который Барклай согласился

крайне неохотно, выполнялся в высшей степени не стройно и медленно. Отношения между главнокомандующими весьма напоминали отношения Беннигсена и Буксгевдена в 1806 году. „Никогда главнокомандующий какой-либо армии не находился в столь неприятном положении, как я в сие время", писал впоследствии Барклай Александру I. Багратион обвинял своего коллегу прямо в государственной измене и притом не только устно, а и на письме. „Мы проданы", писал он начальнику штаба 1-й армии, Ермолову: „я вижу, нас ведут на гибель". „Я служил моему природному государю, а не Бонапарте", прибавлял он, намекая, что кто-то другой служит именно Бонапарте. Поставленный между двух огней—опасением погрома, который Барклай в глубине души считал неизбежным в случае столкновения с главными силами Наполеона, и нежеланием быть ославленным, как изменник (а, может быть, и больше, чем просто ославленным: участь Сперанского была еще свежа в памяти всех)—главнокомандующий первой армией изображал шаг на месте, в сущности не идя вперед, и все время имел в виду не столько положение французов, сколько отношения к себе главнокомандующего второй армией. „Я должен был льстить его самолюбию", признавался он впоследствии Александру, „и уступать ему в разных случаях против собственного своего удостоверения". Тем временем французы быстро перебросили главную массу „Большой армии" на левый берег Днепра и через Красный попытались охватить левое крыло соединенных русских армий,—отрезывая их этим движением от южных губерний и от резервной армии Тормасова, а в случае дальнейшей удачи—захвата Смоленска—и от Москвы. Тут вторично в кампании 1812 года обнаружилось, что наполеоновские маршалы за глазами своего императора способны действовать не лучше русских генералов. Мюрат повторил ошибку Даву—дав отступить во время небольшому сторожевому отряду, прикрывавшему наш левый фланг, и позволив, благодаря этому, русским сосредоточить наспех достаточные силы для защиты Смоленска.

Бой под Смоленском (4—5 августа)—первое крупное сражение в эту кампанию, которое Багратион и его сторонники очень желали превратить в генеральную битву—были отчаянной попыткой французов исправить ошибку Мюрата под Красным. При всем численном перевесе армии Наполеона, местные условия были однако настолько выгодными для нас, что попытка эта не удалась. Старая смоленская крепость, построенная еще при Борисе Годунове, оказалась способной выполнять свою задачу и в начале XIX века: так мало прогрессировала военная техника с того времени. Смоленские стены в течение двух дней выдерживали огонь даже батарейной (тяжелой полевой) артилле-

рии: чтобы их разрушить, нужны были осадные орудия, которых при „Большой армии", не рассчитывавшей иметь дело с крепостями, не было [1]). Несмотря на огромные потери, город был взят лишь тогда, когда русские пожелали его отдать—после того, как обе армии отошли за Смоленск и были, таким образом, в безопасности. Это был несомненный успех, и успехом этим русская армия была обязана Барклаю-де Толли: он добился того, что и вторая из задач, стоявших перед Наполеоном в начале первого периода кампании, не была разрешена так, как было нужно для французов. В первый раз с начала войны Наполеон заговорил со своими маршалами о возможности—закончить кампанию 1812 года, не доходя до Москвы, и расположиться на зимние квартиры между Витебском и Смоленском. Несколько дней спустя, в разговоре с пленным русским генералом Тучковым, он пошел еще дальше, заявляя, что он ничего не желает более, как прекратить миром военные действия. „Мы уже довольно сожгли пороха, и довольно пролито крови; ведь когда же нибудь надобно покончить! За что мы деремся?"— Повидимому, ради заключения мира Наполеон не прочь был даже от некоторых уступок в области континентальной блокады. „Вы хотите иметь сахар и кофе", говорил он: „вы будете иметь их". Обо всем этом он просил Тучкова довести до сведения императора Александра—через посредство брата Тучкова (корпусного командира).

Трудно сказать, какое впечатление произвели бы эти симптомы в Петербурге, если бы они там стали известны во-время. Но при тогдашней медленности сношений судьбы армии и войны решались в столице, обыкновенно, очень задним числом. В то время, как происходили бои под Смоленском, столичная публика была под впечатлением удачного соединения армий, с одной стороны, „нерешительности и медленности" Барклая, с другой. Все истинные патриоты требовали немедленного перехода в наступление—и перемены главнокомандующего. Известия из лагеря Багратиона и его сторонников в сильной степени подогревали настроение. Императору Александру, чувствовавшему свою ответственность за Барклая, которого он, и никто другой, вывел в люди, сделал военным министром и главнокомандующим, предстояло решиться на шаг, аналогичный перевороту 17 марта 1812 года: чтобы удовлетворить общественное мнение русского дворянства, тогда он расстался со Сперанским; теперь для той же цели нужно было не только заменить Барклая кем-нибудь другим—но и выбрать этого другого непременно из

[1]) Осадный парк имелся только при корпусе Макдональда, оперировавшем против Риги.

оппозиции. Александ Павлович видел необходимость пойти на эту уступку—и весьма антипатичный ему еще с Аустерлица Кутузов стал главнокомандующим. По обыкновению, дело было обставлено некоторой конституционной комедией: в вечер второго смоленского сражения (5 августа) особое совещание из высших военных чинов, некоторых министров и членов государственного совета, в течение трех часов заслушав и обсудив отчеты Барклая-де-Толли о ходе военных действий, „пришло к заключению", что необходимо назначить одного, общего главнокомандующего всеми вооруженными силами России и что этим главнокомандующим должен быть Кутузов. Последний за несколько дней перед тем был возведен в княжеское достоинство, и весь Петербург знал, что главнокомандующим будет назначен именно он.

Отправляясь в армию, Кутузов откровенно заявлял близким людям, что он не надеется разбить Наполеона, но надеется его обмануть. Первое очень скоро оправдалось в точности—второго пришлось ждать довольно долго. С новым главнокомандующим в армию явилось много новых лиц,—которые начали с того, разумеется, что стали выживать старых руководителей и заводить новые порядки. Кутузов был слишком стар, чтобы положить конец этой грызне,—вообще он оказался слишком стар для каких бы то ни было решительных действий—и, повидимому, помимо этого, слишком хорошо помнил Аустерлиц. Но если тогда его военные соображения были парализованы придворными расчетами, то теперь в дела вмешивался на каждом шагу другой элемент не-военного характера: давление дворянских „патриотов", уверенных, как и все представители этой разновидности во все времена, что неприятеля можно шапками закидать. Про себя Кутузов смотрел на дело, может быть, более пессимистически, чем нужно было: но ради удовлетворения общественного мнения он должен был казаться гораздо более дерзким, чем следовало. Результаты получились обратные тем, каких ожидали в Петербурге от перемены главнокомандующего. С назначением Кутузова—и до конца кампании, в сущности—армия лишилась всякого центрального руководства. События развивались совершенно стихийным путем—и генеральное сражение, о котором мечтали „патриоты", но которое было нужно Наполеону, а никак не русским, застало нашу армию в самых невыгодных условиях, на позиции, крайне неудачно выбранной и еще хуже укрепленной. Она была неприступна с той стороны, откуда нам никто не угрожал, и настолько доступна со стороны, обращенной к неприятелю, что Наполеон, как известно, брал наши батареи кавалерийскими атаками. На этой позиции русская армия стояла, пассивно ожидая противника,—и фактически п р и н я л а

сражение вместо того, чтобы его дать. Между тем, теперь шансы вовсе не были так безнадежны, как в начале кампании. На 130.000 штыков и сабель Наполеона русские имели 105.000 (не считая ополчения и казаков): но почти 20.000 штыков гвардии Наполеон не пустил в дело и не расположен был пускать ни при каких условиях. При почти равном числе сражающихся мы имели крупный перевес в главном огнестрельном оружии эпохи, в артиллерии: у русских было 640 орудий против 587 французских. притом почти четверть наших орудий были батарейные, тогда как у Наполеона едва десятая часть,—остальные по дальности и силе боя далеко уступали русским батарейным орудиям. Если прибавить к этому, что обычный маневр Наполеона—охват левого русского крыла—тактически также не удался под Бородином, как не удался он под Смоленском стратегически. (командующие левым флангом высоты были своевременно заняты русскими, хотя и относительно слабыми силами, но достаточными, чтобы задержать обходное движение поляков и вестфальцев), и что самую сильную часть нашей позиции корпусам Даву и Нея пришлось брать в лоб, фронтальными атаками,—то придется признать, что результаты Бородинского боя были несравненно ниже того, на что позволяли надеяться имевшиеся в распоряжении Кутузова данные. Он достиг только того, что не был разбит на-голову—при всех не весьма добросовестных усилиях его рапорта изобразить дело, как полу-победу, его нельзя было назвать даже нерешительным. К вечеру все наши позиции [1]) были в руках французов; неприятель имел двадцатитысячный совершенно нетронутый резерв,—тогда как из русских армий вторая не существовала вовсе, а первая была почти совершенно расстроена, потеряв до 40%, если не более. Вообще наши потери поражали своею непропорциональностью сравнительно с французскими; в то время, как более слабая артиллерией и все время наступавшая самым энергичным образом армия Наполеона потеряла только 28.000 человек, русские лишились не менее 44.000,—в результате чего на другой день боя Наполеон оказался вдвое сильнее Кутузова, тогда как накануне он был сильнее его всего на 25%. Причиной было крайне бестолковое расположение наших войск,—теснившихся, без всякой нужды, на небольшом пространстве, так что неприятельские ядра могли бить все четыре линии наших корпусов вплоть до резервов.

Бородинское сражение дало Наполеону—без всякой необходимости—последний формальный успех: взятие Москвы. Если бы все атаки французов на Бородинском поле были от

[1]) Левого крыла и центра: о правом не приходится говорить, так как французы вовсе его не атаковали.

биты, в чем не было, как мы сейчас могли видеть, ничего невероятного, „Большой армии“ пришлось бы возвращаться к Смоленску и там располагаться на зимовку. Чтобы лишить ее возможности зимовать в Москве, пришлось прибегнуть к героическим мерам: по предписанию ген.-губернатора Растопчина полиция сожгла город [1]), оставленный жителями—где, по крайней мере, не осталось „ни одного дворянина“ по заверению Кутузова. Это было самое главное,—прочие сословия могли и потерпеть. Как всегда бывает, полиция пришла в данном случае на помощь „патриотизму“ обывателей,—которые сами по себе, по свидетельству очевидцев, патриотические чувства обнаруживали в весьма слабой степени. Ермолов дает, например, весьма выразительную картину отношения москвичей к раненым, вполне оправдывающую его слова об „оскорбительном равнодушии столицы к бедственному состоянию солдат“ [2]). Как бы то ни было—непосредственной военной цели Растопчин достиг; зимовать французам, действительно, было негде. При невозможности остаться в Москве, пребывание в ней могло только довести до конца разложение „Большой армии“, начавшееся еще на границе. Среди хаоса и развалин не было никакой возможности поддержать дисциплину в переутомленных походом войсках. Даже старая гвардия поддалась общей дезорганизации: не только ближайшее начальство потеряло всякий авторитет, но в присутствии самого императора войска вели себя так, что поведение их приходилось отмечать в приказах. О „союзниках“ и говорить не приходилось: вспомогательные войска превратились в Москве просто в банду мародеров.

Это мародерство автоматически создавало сначала в окрестностях Москвы, а затем и далее то, чего не удавалось достигнуть красноречию правительственных манифестов и воззваний: народную войну. На защиту от разбойников, одетых во французские, вюртембергские, вестфальские и иные мундиры, поднималось крестьянство, вооруженное чем попало: и так как оно имело дело с неприятелем до последней степени дезорганизованным, то победа, и часто довольно легкая, оставалась на стороне крестьянства. На множестве отдельных примеров можно проследить, как именно этим путем защиты своего

---

[1]) Вопрос о том, кому принадлежит честь или на кого падает вина московского пожара, в сущности, разрешен до конца еще Богдановичем в 50-х гг. Из приводимых у него данных с несомненностью вытекает, 1) что у Растопчина был такой план еще за несколько недель до оставления города; 2) что им были приняты все меры к осуществлению этого плана (напр., увезены все пожарные инструменты); 3) что им были даны соответствующие инструкции полицейским приставам, некоторые из которых приняли, по собственному признанию, непосредственное участие в поджогах. См. «Историю Отечественной войны», т. II, стр. 312—315.

[2]) См. его „Записки“, стр. 191 Ср. стр. 145,—об истном характере „патриотических проявлений“.

очага от мародеров пробуждался в массах тот патриотизм, о котором так много и так бесплодно говорили наверху. „Если бы вместо зверства, злодейств и насилий неприятель употребил кроткое с поселянами обращение и к тому еще не пожалел денег, то армия (французская) не только не подверглась бы бедствиям ужаснейшего голода, но и вооружение жителей или совсем не имело бы места, или было бы не столь общее и не столь пагубное", говорит Ермолов [1]). А на почве массового вооружения развивалась и крепла та партизанская война, с которой французы четыре года безуспешно боролись на Пиренейском полуострове. Русские партизаны были малочисленнее гверильясов и менее их предприимчивы; на их долю не выпало ни одного такого крупного дела, как Байлен. Но одной, основной, цели они достигали; фуражировки и реквизиции, единственное средство прокормиться в стране, где французы не имели запасных магазинов, а русские были уничтожены, стали невозможны. Маленькие отряды фуражиров не могли на десять верст отойти от армии, не рискуя быть истребленными; приходилось посылать на фуражировку пехоту с пушками—но и это не помогало. Между тем немного в стороне от большой дороги было множество деревень, совершенно нетронутых—откуда потом с успехом продовольствовалась русская армия, преследовавшая Наполеона.

Разложение французских войск сказалось весьма быстро—в первые же дни по занятии ими Москвы (2 сентября ст. ст.). Главным образом этим приходится объяснить благополучное маневрирование в конец расстроенной русской армии по южным уездам Московской губернии, между рязанской дорогой (по которой первоначально пошел Кутузов) и калужской. Благодаря тому маразму, в который впала „Большая армия", Наполеон до 14 сентября не предпринял даже сколько-нибудь обстоятельной рекогносцировки, чтобы узнать, куда же именно ушел Кутузов. Это дало время русскому штабу принять некоторые меры против стихийного хаоса, водворившегося в армии уже со времени отступления от Смоленска и достигшего крайней степени после оставления Москвы. Сторожевая служба упала до того, что однажды два эскадрона неприятельской кавалерии едва не взяли в плен самого начальника арриергарда, Милорадовича, незаметно подъехав к дому, где он ночевал. Другой раз в хвосте нашей армии, в непосредственном соприкосновении с французскими передовыми постами, оказалась пехота с тяжелой (батарейной) артиллерией,—конница же, которая должна была прикрывать отступление именно этой артиллерии и не-

[1]) „Записки", стр. 242.

хоты, далеко ушла вперед. Любопытным памятником этого хаоса осталась особая присяга, которую именно в это время предполагалось брать с нижних чинов: „не отлучаться от команды и не грабить". Присяга была прислана из Петербурга—но на месте нашли неудобным так обнаруживать свое отчаяние и ограничились строгим приказом по армии.

Единственным средством привести армию в порядок было—перевести ее на несколько недель на мирное положение: этой цели и отвечала стоянка в Тарутинском лагере, куда русская армия вступила 20 сентября. С этого дня и до 6-го октября было нечто в роде перемирия, хотя формально и не заключенного. Военные действия выражались в эти две недели только в набегах партизанов—регулярные же войска обеих сторон мирно созерцали друг друга, а начальники авангардов, Мюрат и Милорадович, ездили друг к другу в гости. Тем временем Наполеон должен был окончательно убедиться, что его надежды на богатые московские запасы были совершенно неосновательны. Французам горьким опытом доставалось знакомство с тем полу-натуральным хозяйством, каким жила средняя полоса России в начале XIX века. В первый раз за все свои походы в Европе они наткнулись на город, населенный исключительно потребителями—где производительные классы населения составляли ничтожное меньшинство. Пока в городе были эти потребители—помещики с их челядью—припасы туда стекались в изобилии. Стоило потребителям выехать—и город обращался в настоящую пустыню, где труднее было что-нибудь найти, чем в деревне. Только к концу своего пятинедельного пребывания в Москве французы начали осваиваться несколько с этим положением вещей, давно забытым западной Европой. Появились прокламации, приглашавшие окрестное крестьянство свозить свои продукты на базар, при чем гарантировалась неприкосновенность как самим продуктам, так и их хозяевам. Но эта попытка „Большой армии" выступить самой в роли потребителя, заменив собою выехавшее из Москвы дворянство, кончилась полной неудачей. Ближайшие окрестности города были уже опустошены дочиста—а в более дальних терроризированные и озлобленные крестьяне уже начинали партизанскую войну. Необходимость выйти из-под Москвы и передвинуться на зимние квартиры ближе к западной границе, ясная с первого дня, становилась все настоятельнее. Но представлялся вопрос: как добраться до ближайшего этапа на этой дороге, Смоленска, отделенного от Москвы двадцатью переходами, на протяжении которых Наполеон не позаботился устроить ни одного магазина—так тверды были его надежды на московские запасы. Во французском штабе знали о существовании старой

дороги из Москвы в Смоленск—на Боровск, Малоярославец и Медынь, и французские топографы получили приказ ее исследовать. Выйдя на эту дорогу, французы вступали в совершенно нетронутый войной край, где можно было надеяться прокормиться местными средствами; в то же время они охватывали левое крыло армии Кутузова, стоявшей под Тарутином и, в случае удачи, отбрасывали ее на юго-восток, врезываясь клином между главной армией, с одной стороны, резервной армией Тормасова и дунайской—Чичагова, с другой. Одновременно с этим только что прибывший из Франции свежий корпус (9-й—маршала Виктора) должен был отбросить к Петербургу войска Витгенштейна,—подвигавшиеся на юг, тесня Удино и баварцев, оставленных Наполеоном на Двине для охраны левого фланга „Большой армии". Таким образом, кольцо, которое пытались образовать русские вокруг последней, было бы разорвано, и Наполеон, имея преимущество действовать по внутренним операционным линиям, бил русские силы по частям.

По странной случайности, обе армии пришли в движение одновременно. В тот самый день, когда Наполеон перед выступлением из Москвы делал смотр своим войскам, войска Кутузова вышли из своей тарутинской позиции и атаковали авангард Мюрата на р. Чернишне (6 октября). Это сражение—самое беспорядочное за всю кампанию, что не помешало Кутузову в собственноручном донесении Александру уподобить его „учебному маневру, с рачением приготовленному"—кончилось победой русских, которые располагали в этом бою всеми своими силами (около 95 тысяч человек) против 15.000 французов. Этот успех повел к частичному переходу в наступление и на других пунктах. Двигаясь на север, русская кавалерия вышла на ту дорогу, по которой должны были проходить главные силы Наполеона—и скоро столкнулась с этими последними. Захваченные отсталые удостоверили, что Наполеон уже пятый день, как вышел из Москвы со всей „Большой армией". Хотя он двигался гораздо быстрее Кутузов,—русская армия была предупреждена все же достаточно заблаговременно, чтобы стать поперек дороги французам. При Малоярославце произошло столкновение. Наполеону удалось сосредоточить здесь только 70.000 человек, так что он был почти на треть слабее противника; орудий у него было уже вдвое менее, чем у русских. Вопрос о том, принимать или не принимать сражение, пришлось теперь решать ему. После долгого колебания, он решил его отрицательно: французская армия потянулась на свою прежнюю дорогу, по которой она пришла в Москву, к Можайску.

Малоярославец был поворотным пунктом кампании: раз перейдя в отступление, Наполеон вышел из этого состояния

только в Германии. Война упростилась до последней степени: французы бежали, как только хватало сил; уже в первые дни по выходе из Москвы у них был недостаток в продовольствии; вся кавалерия свелась к четырем с небольшим тысячам человек; разложение армии шло в ужасающей прогрессии.—вестфальский корпус, который шел в голове всех войск, т.-е. дальше всего от неприятеля, за два дня потерял отсталыми 9% своего состава. Кольцо, которое надеялся разорвать Наполеон, должно было стягиваться все туже и туже. Если ему все-таки удалось разорвать его в последнюю минуту, то этим он был обязан исключительно русским генералам. Прежде всего Кутузов, все продолжавший видеть перед собою победителей при Аустерлице, никак не мог освоиться с мыслью, что он теперь сильнее Наполеона. Под Малоярославцем он уже отдал приказ об отступлении, когда узнал, что отступает его противник. Под Вязьмой он мог принять на поле битвы со всей армией, но оставил всю тяжесть боя на плечах передовых отрядов—с очевидной целью, в случае неудачи, отделаться возможно дешевле. Даже когда Наполеон бросил Смоленск, что уже само по себе было явным доказательством полного расстройства „Большой армии", наполеоновская гвардия казалась Кутузову очень страшной, и он не решился стать ей поперек дороги, ограничиваясь добиванием по частям остальных французских корпусов. Только потом, как бы раскаиваясь, что он не решился дать сражение Наполеону, он изобразил это дело (под Красным, 5 ноября) генеральным сражением в своей реляции. На дальнейшем марше Наполеон значительно опередил русскую армию—так что кульминационный пункт бегства „Большой армии", переправа через Березину, прошел совершенно без участия Кутузова; только его авангард был свидетелем—не не участником, боя. Здесь судьба Наполеона была в руках гр. Витгенштейна (командира корпуса, защищавшего Петербург) и Чичагова (командовавшего дунайской армией). Отношения этих двух генералов весьма напоминали отношение Барклая и Багратиона под Смоленском; оба весьма не желали сблизиться,—особенно Витгенштейн не желал соединяться с Чичаговым, опасаясь попасть к нему под команду. К тому же, подобно Кутузову, он питал большое уважение даже к остаткам наполеоновской армии и тесния своих непосредственных противников, Удино и Виктора, ровно настолько, насколько это было необходимо, чтобы засвидетельствовать свое участие в деле. Вся тяжесть боя пала на армию Чичагова, который, разбросав свои войска на большом пространстве, успел соединить к месту переправы Наполеона—и то с опозданием—лишь 22.000 человек. Против этого Наполеон имел еще до 40.000 вполне исправных солдат—не считая

толпы отсталых и безоружных. В результате составленный Александром (еще в августе) сложный план пленения всей французской армии не был исполнен даже приблизительно;—в наши руки не попал не только Наполеон, но и ни один из его маршалов, ни один батальон его гвардии. Казаки подбирали бесчисленное количество полузамерзших французов, брошенных вместе с обозом и артиллерией: этими трофеями и приходилось утешать себя. Погибли во время отступления преимущественно молодежь и „союзники“: кадры „Большой армии“ уцелели и послужили ядром новой армии, которая дала Наполеону возможность провести кампанию 1813 и 1814 гг. Не считая австрийцев, пруссаков и саксонцев, действовавших отдельно, через русскую границу перешло обратно около 42.000 наполеоновских войск [1]); русская армия, сильно изнуренная стремительным зимним походом, пострадала почти не менее: армия Кутузова, выступившая из Тарутина в количестве 85.000, имела на границе всего 27.000 человек, армия Чичагова—не более 10.000. Кутузов был прав, когда говорил, что для новой кампании придется создавать и новую армию. Но он сам же и был главной причиной того, что эту новую кампанию приходилось вести.

---

3. Третья коалиция.

Две первые коалиции свелись в конце-концов к единоборству России и Франции. Третья сама была последствием,—и последствием неизбежным, — такого единоборства. В России многие—и в том числе сам Кутузов—были убеждены, что раз французы изгнаны из России, задача борьбы с Наполеоном разрешена так, как только мы могли бы пожелать для себя. Продолжение войны, заграничный поход 1813—1814 гг., рассматривался, как личный каприз императора Александра—как одно из проявлений обычного якобы для этого государя донкихотства. Освободив Россию, он желал освободить и Европу. При этом патриоты, и тогдашние, и позднейшие, проливали не мало слез по поводу принесения в жертву истинно-русских интересов интересам чуждых нам и враждебных западно-европейских держав. Мы уже не раз имели случай заметить, что донкихотство было в высокой степени чуждо Александру Павловичу, всегда — и в вопросах внутренней, и в вопросах внешней политики—весьма трезво смотревшему на

---

[1]) Из них в строю было в Вильне 4.500 штыков и сабель, остальные—безоружные. Как известно, главные потери от мороза французская армия понесла именно на пути между Березиной и Вильной.

вещи. Если что нарушало иногда эту трезвость, то не столько увлечение собственной фразеологией — сначала либерального, потом мистического оттенка—а разве чрезвычайно остро развитое личное самолюбие. Это последнее, несомненно, должно было толкать его к продолжению войны: Наполеон был в Москве. Александр должен был подписать мир в Париже. Но необходимость продолжать войну определялась не одним этим мотивом: даже если бы он не существовал, нашлись бы другие, более солидные. Целый ряд обязательств вынуждал Россию биться до конца, до разрушения наполеоновской империи. Если бы Александр помирился со своим противником, то его настоящие союзники не могли с ним помириться—а его союзники возможные и будущие легко могли превратиться в его врагов. Он должен был попытаться создать коалицию, если он не хотел иметь ее против себя.

Два союзника, по отношению к которым было уже приняты на себя известные обязательства,—были в хронологическом порядке—Швеция и Англия. Швецией тогда фактически правил французский маршал, сделавшийся наследником шведского престола не без прямого участия Наполеона [1]). Он должен был служить живой связью между побежденной русским оружием союзницей Англии и французской империей. В то же время тот факт, что орудием „континентальной системы" по отношению к Швеции явилась Россия, что результат русских побед, Фридрихсгамский мир (5 сентября 1809 г.), окончательно лишил Швецию того положения хозяйки Балтийского моря, какое она завоевала себе в дни Густава-Адольфа—все это, казалось бы, должно было навсегда поссорить Швецию с Россией. Но экономическая солидарность оказалась сильнее политической вражды. В начале XIX века берега Ботнического залива имели для Швеции минимальное значение: развивавшаяся с каждым годом контрабандная торговля с Англией через Готенбург (см. выше) перемещала центр ее внимания в другую сторону—ей теперь нужны были берега океана. Но они принадлежали тогда союзнице Наполеона, Дании: датский король был в то же время и государем Норвегии. А отношение к континентальной блокаде в Стокгольме и Петербурге скоро стало тождественным: она одинаково не давала жить как России, так и Швеции. Присутствие француза на шведском престоле ничего не могло изменить в этой естественным путем складывавшейся комбинации: Швеция вместе с Россией против Дании, а стало быть, и Франции. Бернадоту оставалось на вы-

[1]) Маршал Бернадот, родственник Наполеона, избран сеймом в Оребро (21 августа 1810 года), как кандидат, предлагаемый Францией.

бор или потерять всякую популярность на своей новой родине, или сделаться проводником шведской политики в борьбе с политикой Наполеона. Если прибавить, что этот родственник французского императора не питал никакой личной привязанности к последнему, считая возвышение Бонапарта, такого же солдата революции, как и он сам, чуть ли не личною для себя обидой—то политически неожиданная роль Бернадота станет для нас психологически совершенно понятна. В начале 1812 года в Петербург приехал его генерал-адъютант, Левенгельм, с письмом к Александру Павловичу, где наследник шведского престола развертывал перед русским императором необычайно смелую, широкую и заманчивую картину новой коалиции против Наполеона. Прежде всего Бернадот брался примирить Россию с Англией: это было легче всего в данный момент. Англия, Швеция и Россия образовывали северный полукруг нового антифранцузского союза, Пруссия не могла остаться нейтральной,— и переговоры, которые она как раз в это время пыталась завязать с Александром, ясно показывали, в какую сторону склоняются ее симпатии. Данию, охваченную кольцом коалиции, легко было силой принудить войти в нее. Северо-восточная Европа оказывалась таким путем объединенной против Франции. Оставалось нейтрализовать Австрию, которой Бернадот, в виду ее родственных отношений (незадолго перед тем Наполеон женился на австрийской эрцгерцогине), доверял меньше, чем Пруссии. Наследный принц шведский надеялся этого достигнуть при помощи диверсии с юга, использовав для России тот естественный союз турок и шведов, который сложился на почве их общей борьбы против России. При посредничестве Швеции, Александр заключал мир с Портой,— силы которой направлялись на австрийскую границу. Для себя лично бывший французский маршал выбирал самую активную и самую решительную роль: с армией, составленной из шведов, русских и англичан он обрушивался на ближайшего союзника Наполеона, датского короля, овладевал Копенгагеном, принуждал датское правительство отдать свою армию в распоряжение коалиции,—и со всеми находившимися теперь в его распоряжении силами, включая и северных немцев, наносил смертельный удар в тыл „Большой“, удерживаемой тем временем русскими войсками между Вислой и Неманом. За все эти услуги Бернадот требовал лишь одного вознаграждения—но оно было непременным условием союза: присоединения Норвегии к Швеции.

Александр едва ли был ослеплен этим продуктом гасконской фантазии Бернадота. Но для него не могло не быть ясно одно, что согласившись на ограбление датского короля, он получал возможность увести с берегов Балтийского моря все свои войска

до последнего солдата. Если бы одновременно удалось заключить мир с турками—при посредстве Швеции или без нее: все равно,—линия обороны сокращалась до минимальных размеров, и все боевые силы могли быть сосредоточены против Наполеона. Пренебрегать шведским союзом, очевидно, ни коим образом не следовало. Некоторые угрызения совести, вызывавшиеся предполагаемой операцией над датским королем—с которым у России были наилучшие отношения—были легко успокоены: его можно вознаградить, решал Александр,—хотя бы отдав ему тот самый Ольденбург, из-за которого было столько разговоров с французами. Норвегия была обещана Бернадоту, и 24 марта (5 апреля) 1812 года был подписан союзный договор между Россией и Швецией. А три дня спустя Александр отправил ноту французскому правительству,—где впервые он решительно и открыто переходил в наступление, требуя удаления французских войск за линию Эльбы. Новый союз таким образом сразу же свел русскую политику с той мертвой точки, на которую она стала в момент неудачи польского плана.

Экспедиция в Данию осталась пока в проекте: впоследствии Бернадот при личной встрече с Александром в Або (в августе) сам совершенно основательно указывал, что в случае победы коалиции Дания все равно вынуждена будет уступить все, что от нее потребуют, и что было бы стратегически нелепо отделять для этой авантюры часть сил, необходимых для борьбы с Наполеоном. Мира с Турцией Александр добился собственными усилиями. Посредничеством Швеции он воспользовался только для того, чтобы оформить свои отношения к Англии—больше, чем оформления, они не требовали—всякий государь, воюющий с Наполеоном, по существу уже был союзником британского правительства. 6 (18) июля в Örebro, в Швеции, был подписан договор, главное содержание которого сводилось к обязательству Англии уплачивать России военную субсидию. В ответ на это все русские гавани были немедленно открыты для английских торговых судов—в виде особенной любезности открыты даже ранее, чем договор был ратифицирован английским правительством. Континентальная блокада официально перестала существовать на восточных берегах Балтики.

Швеции легко было изменить Наполеону: русская граница была ее единственной континентальной границей; со всех других сторон, пока существовал британский флот, она была в такой же безопасности, как сама Англия. Гораздо сложнее было положение Пруссии. Вся история внешней политики этой последней, с осени 1811 года до весны 1813, представляет собою ряд колебаний необычно длинного размаха между двумя прямо противоположными союзами—с Россией и с Францией. С ха-

рактерным для Пруссии оппортунизмом правительство Фридриха-Вильгельма начало с заискивания перед более сильным: оно первое предложило союз Наполеону. Но император французов отнесся к этому предложению весьма скептически; правительство „друга“ императора Александра I не внушало ему никакого доверия; резкое антифранцузское настроение берлинских военных кругов не могло быть для него секретом. В военном отношении Пруссия в его глазах была самой плохой опорой, какую только можно себе представить. Если он впоследствии все же потребовал у нее двадцатитысячного вспомогательного корпуса, то, главным образом, ради того, чтобы взять половину всех наличных сил Пруссии [1]) под непосредственный надзор французов. Пруссия ему была нужна не как союзник, а как база для его русского похода; она обязана была снабжать „Большую армию“ квартирами и провиантом: „заставьте платить Пруссию“, писал Наполеон маршалу Даву—„сколько бы она ни заплатила, она все-таки еще будет нам должна“; через нее проходили пути сообщения „Большой армии“ с Францией: иметь страну между Эльбой и Вислой в полном своем распоряжении, быть хозяином у себя в тылу, вот к чему сводилась главная задача Наполеона по отношению к Пруссии. Отсюда его манера держать себя—в высшей степени странная, если бы он считал Фридриха-Вильгельма своим военным союзником: он не только не заботился о том, чтобы Пруссия возможно лучше приготовилась к войне, он мешал ей готовиться. Он требовал не вооружения, а разоружения прусских крепостей, не мобилизации, а демобилизации сосредоточенных в них войск—и посылал специальных агентов следить, все ли запасные, действительно, распущены, как было предписано. Такие меры предосторожности, стратегически вполне понятные, терроризировали прусское правительство: его нечистая совесть подсказывала ему самые мрачные опасения. В Берлине готовы были верить, что Наполеон решил воспользоваться походом на Россию, чтобы покончить недоделанное в 1807 году, что „Большая армия“ мимоходом сотрет Пруссию с лица земли и превратит ее во французскую провинцию,—какой незадолго перед тем стал Ольденбург. У этих зловещих предчувствий могло быть нечто в роде реальной основы в тех инструкциях, которые получил Даву—и о которых смутные слухи могли дойти до берлинского двора: в случае малейших признаков измены Наполеон, действительно, решил не церемониться с Пруссией, и Даву с помощью поляков, саксонцев и вестфальцев должен был быть готов немедленно превратить „союзницу“ в завоеванную страну. Страх доводит до отчаяния:

[1]) Как известно, после Тильзитского мира постоянная армия Пруссии была ограничена 42.000 чел.

предупредительные меры Наполеона толкнули прусское правительство как-раз к той измене, которой он опасался. Фактический военный министр Пруссии, Шарнгорст, осенью 1811 года под величайшим секретом отправился в Петербург—договариваться о союзе с Александром. Пруссия соглашалась бесповоротно стать на сторону России и связать с нею свою судьбу—но под одним непременным условием: немедленного вступления русской армии в прусские пределы. Иначе прусская армия была бы раздавлена в процессе мобилизации: и союз Фридриха-Вильгельма с Александром только облегчил бы Наполеону исполнение тех планов, в которых его подозревала Пруссия. Русскому императору, значит, предстояло покинуть свои позиции на Немане и оставить самое Россию без защиты, или ослабить эту защиту, если он хотел воспользоваться предложением Шарнгорста. Александр не решился взять на себя такую ответственность. Он хотел сначала знать, не будет ли открыта Наполеону для нападения на Россию другая, южная дорога—через Австрию; не обнажит ли он своего левого фланга, вступив в Пруссию,—и не даст ли тем противнику возможность обойти себя с тыла. По крайней мере, дружественный нейтралитет Австрии был для него совершенно необходим. Пока он не был в нем уверен, он соглашался только прикрыть русскими войсками Кенигсберг—не более. Для Фридриха-Вильгельма этого было, очевидно, слишком мало. Шарнгорст должен был из Петербурга поехать в Вену. Здесь он узнал, что не только не приходится думать о дружественном нейтралитете тестя французского императора в предстоящей борьбе—но что Австрия накануне заключения наступательного и оборонительного союза с Францией. План русско-прусского союза падал сам собою. Тем временем французской дипломатии удалось несколько рассеять страхи берлинского правительства; в феврале 1812 года союз Пруссии с Францией был формально закреплен договором—и двадцать тысяч пруссаков перешли русскую границу вместе с „Большой армией“. Наполеон сознательно избегал дать им сколько-нибудь ответственную роль. Поставленные на крайнем левом фланге, в Курляндии, они номинально должны были служить для осады Риги—за которую французы так и не принялись во все время кампании. Фактически, как уже упомянуто, они должны были служить заложниками добросовестного поведения Пруссии; непосредственно за ними наблюдали войска маршала Макдональда, в корпус которого они были включены,—а сзади их стерег двадцатитысячный данцигский гарнизон. Императору французов и в голову не приходило, что когда-нибудь эти войска могут приобрести для него военное значение. А между тем, когда остатки „Большой армии“, в виде толпы полу-безоружных

беглецов, переправлялись через Неман, корпуса Макдональда на левом крыле, Шварценберга (австрийцы) и Ренье (саксонцы) на правом представлялись единственной организованной силой, какой располагала Франция на русских границах. Если бы Пруссия и Австрия остались верны союзу с Наполеоном, он даже теперь был бы не слабее Александра: потому что русские армии, пришедшие в декабре 1812 года на Неман, имели в строю не больше людей, чем три корпуса, оставшиеся у Наполеона.

Фридрих-Вильгельм опять переживал минуты мучительного томления. Поражение французов было ясно: момент избавления, казалось, наконец, пришел. Но люди, запуганные Наполеоном, не решались верить своим глазам и ушам: „ничтожества",—окружавшие прусского короля, по словам Штейна,—никак не могли освоиться с мыслью, что Франция оказалась слабее России: мы не будем к ним так строги, как Штейн, если вспомнить, что с этой мыслью долго не мог освоиться и сам главнокомандующий победоносной русской армии. Фридриху-Вильгельму казалось, что Александр, осмелившись победить Наполеона, идет на явную гибель—и хочет увлечь с собой несчастную Пруссию. Его дипломаты то выступали с крайне нелепыми проектами посредничества,—предлагая Наполеону удалиться за Эльбу под условием, что Александр не перейдет Вислы: как нельзя быть более наивный способ добиться эвакуации Пруссии от останков „Большой армии". То они пытались извлечь из великой катастрофы маленькую пользу, требуя от Наполеона возврата 94 милл. франков, переплаченных прусским правительством за съестные припасы для французских войск, и очищения некоторых прусских крепостей—повидимому, соглашаясь на этих условиях продолжить союз с Францией. Положение до крайности осложнялось еще тем, что король, окруженный в Берлине войсками маршала Ожеро (сменившего Даву в роли сторожа Пруссии), постоянно трепетал за свою личную безопасность. Дело, в конце концов, разрешилось само собой—и Фридриху-Вильгельму оставалось только покориться своей судьбе. Командир прусского вспомогательного корпуса, ген. Порк, нашел способ отделиться от французских войск Макдональда—и совершенно неожиданно для своего французского начальника заключил конвенцию с Виттенштейном, в силу которой прусские войска должны были оставаться нейтральными впредь до решения вопроса о союзе с Россией прусским правительством. А вслед затем ландтаг Восточной Пруссии, первой прусской провинции, занятой русскими войсками, сделал еще шаг дальше—собственной властью созвав под знамена ландвер, т.-е. предприняв, именно, ту мобилизацию, которая была строжайше

запрещена Наполеоном. Прусскому королю оставалось одно из двух—или соединиться с французами против своих войск и подданных—или вслед за ними перейти на сторону России. Он и тут колебался некоторое время—и демонстративно отрешил Йорка от командования. Но русские войска после некоторой остановки на Немане двигались вперед быстро: в феврале 1813 г. главная квартира Александра и Кутузова была уже в Калише у самой прусской границы. Тогда Фридрих-Вильгельм, наконец, решился; тем временем не без труда выбравшись из-под надзора войск Ожеро,—он $^{15}/_{16}$ февраля заключил союзный договор с Александром в Калише. Своевременный переход русскими войсками границы сразу оторвал одного союзника у Наполеона и дал Александру лишних сто тысяч войска.

Он обеспечил в то же время и другое необходимое условие—нейтралитет Австрии. Корпус Шварценберга в течение войны действовал против русских не многим более энергично, чем русские против австрийцев в 1809 году. Едва получив точные сведения о разгроме „Большой армии", австрийский фельдмаршал поспешил также нейтрализовать свои войска, заключив с русскими отдельное трехмесячное перемирие. Но руководитель австрийской политики, канцлер Меттерних, вовсе не расположен был еще подражать примеру Фридриха-Вильгельма и отдавать австрийскую армию в распоряжение Александра. По совершенно верному наблюдению русского агента в Вене, Штакельберга, дальнейшее поведение Австрии всецело зависело от того, какое положение займет относительно нас Германия. Если бы настроение Германии сложилось безусловно в пользу коалиции, Австрия должна была бы вмешаться, чтобы не дать Пруссии единоличным руководством в „освободительной" борьбе закрепить свою гегемонию над немцами. В случае же неудачи коалиции Австрия с ее нетронутой армией легко могла бы выступить в качестве вершительницы судеб утомленных боем противников и заставить дорого купить свое посредничество. В ожидании она вела переговоры на обе стороны—и трехмесячное перемирие, заключенное Шварценбергом, было ей как нельзя более на руку.

Итак, для того, чтобы завершить коалицию, нужно было иметь на своей стороне Германию—а для этого, в свою очередь, нужно было быстрым шагом, не останавливаясь, итти вперед—чтобы возможно большие массы поставить в соприкосновение с союзными войсками раньше, чем на сцене появится новая армия Наполеона. В северной и восточной Германии дело шло необыкновенно ходко. Войска Ожеро уступили Берлин почти без сопротивления. Ганзейские города приветствовали русско-прусские передовые отряды, как избавителей: здесь, казалось,

французы совсем стушевались. Правда, это только казалось; очень скоро Даву опять появился в Гамбурге, который, в конце-концов, дольше удержался во французских руках, чем большая часть крепостей Германии. Значительно меньший энтузиазм нашли союзные войска в Саксонии—где начинались уже области, связанные с французской империей не путем голого насилия, а общими экономическими интересами. Но в военном отношении и здесь был на первых порах полный успех—русские и пруссаки заняли Дрезден еще легче, чем Берлин; саксонский король должен был выехать из своей страны—он укрылся в Праге, в Австрии, как бы собираясь разделить ее нейтралитет.

Картина резко изменилась, как только „Большая армия" воскресла в Германии. Теперь, правда, в ней было еще больше рекрутов (хотя были и старые войска, вызванные из брошенной на произвол судьбы Испании). Но армии союзников были немногим лучше в этом отношении—чтобы развернуть в настоящие дивизии и корпуса те кадры, из которых состояла прусская армия и в которые обратилась русская после зимнего похода, их пришлось пополнить тем же элементом. Тем не менее весною 1813 года они были количественно слабее наполеоновской армии и имели во главе в лице Витгенштейна совершенно неспособного главнокомандующего (Кутузов умер 16 апреля). Первое же большое сражение (при Люцене 20 апреля 1813 г.) стоило союзникам левого берега Эльбы — они вынуждены были отступить за Дрезден. Это отступление страшно обескуражило Фридриха-Вильгельма, которому уже стала мерещиться кампания 1806 года и его мемельское изгнание. 30 апреля Наполеон вместе с королем саксонским торжественно въехал в Дрезден, а 8 и 9 мая союзники вновь были разбиты в восточной Саксонии при Бауцене: пришлось отступить на прусскую территорию, в Силезию. Император Александр начинал уже снова находить неприличным свое пребывание на войне, раз дела шли так плохо: с поля сражения при Бауцене он уехал, не дождавшись своей армии, заявив Витгенштейну, что он „не хочет быть свидетелем такого растройства" (déconfiture). Несколько дней спустя французы заняли и Бреславль—мы были откинуты почти к Висле.

Из критического положения вывел союзников сам Наполеон. Уже тотчас после Люцена он пытался вступить в переговоры с императором Александром. Но союзники считали свою неудачу случайностью—и французские предложения были отклонены. После Бауцена обе армии—и прусская, и, в особенности, русская были так расстроены, что приостановка военных действий являлась для них существенной необходимостью: новый главнокомандующий, Барклай-де-Толли, в течение нескольких

дней не мог определить ни состава, ни численности своей армии—так все перепуталось. Теперь поэтому согласились на перемирие,—которое продолжалось около двух месяцев. С первого взгляда представляется загадочным, зачем понадобилось это перемирие победителю. Но мы поймем это, если вспомним, что новая армия Наполеона была по составу еще хуже, то-есть еще более способна к саморазложению, чем „Большая армия" 1812 года. Несмотря на строжайшие приказы и расстреливание дезертиров, даже гвардейские полки таяли день-ото-дня без всяких сражений. Мародерство было неистовое—целые дивизии и бригады превращались в банды разбойников, наводивших ужас на союзных Наполеону саксонцев. Но нужно прибавить, что если французы оставляли ряды поодиночке или маленькими партиями—то немецкие „союзники" делали то же организованно, переходя к неприятелю целыми частями в полном боевом порядке, со штабом и артиллерией. Углубляться с такой армией в неприятельскую страну значило итти навстречу новой Березине гораздо быстрее, чем то было в 1812 году. Две блестящие победы давали Наполеону некоторое удовлетворение за московский поход. Опираясь на их моральный эффект, он мог рассчитывать, что добьется максимально выгодных условий: несколько месяцев спустя, комбинация могла быть далеко хуже.

Расчет был слишком ясен—и именно поэтому не мог удаться. Россия и Пруссия далеко не истратили еще всех своих рессурсов—им не было никакого расчета мириться на условиях, сколько-нибудь выгодных для Наполеона. Они тянули дело, пополняя и приводя в порядок свои расстроенные войска. Когда, наконец, Наполеон добился от них ясного и точного изложения их пожеланий, то оказалось, что последние сводятся в существе к восстановлению status quo ante 1805 года. Пруссия и Австрия должны были быть восстановлены в первоначальных пределах—какие они имели перед началом первой коалиции. Рейнский союз уничтожен, Голландия и северная Германия очищены французами,—т.-е. фактически упразднена континентальная блокада. Услыхав в первый раз эти предложения, Наполеон назвал их „неслыханным оскорблением"—и весьма грубо заподозрил передававшего ему их австрийского канцлера, Меттерниха, в том, что тот, просто-напросто, подкуплен англичанами. Со своей стороны, император французов соглашался пожертвовать только Герцогством Варшавским—да теми провинциями, которые он отобрал у Австрии в 1809 году. Другими словами, он рассчитывал расколоть коалицию, дав „национальное" удовлетворение России—и династическое своему тестю, императору Францу. Но это было такой же утопией, как и мечты русских патриотов: коалиция была прочно спаяна дого-

ворами Пруссии и России с Англией (2 и 3 июня); Англия оплачивала все издержки, но зато союзники обязаны были положить оружие не прежде, как добившись того, что нужно Англии. Мало-по-малу и Наполеон стал понимать эту логику коалиции и начал склоняться на уступки более общего характера, но было уже слишком поздно. Он имел теперь против себя не только север и восток Европы, но и ее центр в лице Австрии. Два условия, главным образом, определили присоединение сначала нейтральной, потом посредничавшей Австрии к коалиции. Первым из них был тот народный характер, который стала принимать война в Германии: ультра-феодальному правительству императора Франца никоим образом не могла нравиться картина подданных, действующих помимо воли своих государей и вынуждающих последних совершать такие шаги, которых они сами, может быть, и не сделали бы,—как это случилось с Фридрихом-Вильгельмом прусским. Надо было бороться с этой „якобинской заразой"—а для этого взять германское движение под свою опеку, вмешавшись в него возможно энергичнее. Другим были наблюдения над поведением Наполеона во время переговоров: его уступчивость не внушала доверия к его силе. Уже то, что он так охотно жертвовал поляками, своим авангардом на Висле, показывало австрийским дипломатам, что они имеют дело не с тем Наполеоном, каким он был в 1807 году. Готовность к дальнейшим пожертвованиям окончательно укрепила их в убеждении, что „великий человек пошатнулся на престоле" (le grand homme est á côté du trône). Примкнуть к коалиции, очевидно, было надежнее, чем оставаться вместе с Наполеоном; и Франц сначала объявил союзный договор, заключенный им в 1812 году с зятем, не существующим, а затем 12 августа (н. ст.) объявил ему войну. Коалиция развертывалась теперь перед Наполеоном в таком полном составе, какого она еще никогда не имела.

Присоединение Австрии увеличило силы союзников, и без того значительно возросшие за время перемирия, еще на 110.000 человек: численный перевес, и притом громадный, был теперь безусловно на стороне коалиции. Тем не менее первые шаги союзников по открытии военных действий живо напомнали сцены из двух первых коалиций. Главнокомандующим союзных армий был назначен австрийский фельдмаршал Шварценберг,—хороший дипломат, оставшийся таковым и на поле битвы. Он заботился не столько о единстве и целесообразности своих распоряжений, сколько о том, чтобы они не вызывали возражений со стороны союзных монархов, в полном составе присутствовавших при армии [1]). Под Дрезденом он был за

[1]) Кроме, разумеется, сумасшедшего короля английского, Георга III. Наследный принц шведский присоединился под Лейпцигом.

штурм, когда думал, что Александр Павлович его желает—и против штурма, как только выяснилось обратное. В результате, штурм не был формально предписан, но не был формально и отменен, отдельные колонны действовали по вдохновению своих начальников, и поражение было полное. Этот учтивый главнокомандующий и его штаб настолько мало были подготовлены к своей задаче, что у них не было даже порядочной карты театра войны—хотя дело шло не о центральной Африке, а о соседней с Австрией Саксонии—и окрестности Дрездена представляли для них землю, весьма мало исследованную, полную всяких географических неожиданностей. Разведочная часть была поставлена так, что, составляя операционный план, в главной квартире полагали Наполеона с главными силами, находящимся около Лейпцига, к западу от Эльбы: а на самом деле „Большая армия" была далеко на восток от этой реки, на границе Силезии. Из заблуждения союзники были выведены случайно, благодаря дезертирству двух вестфальских полков, целиком ушедших от Наполеона. Вдобавок, с присоединением австрийцев, союзники усвоили себе классическую медлительность этой армии—и шестидесятиверстное расстояние от границ Богемии до Дрездена было едва пройдено в четыре дня, что дало возможность Наполеону сосредоточить все свои силы к угрожаемому пункту. Когда штурм Дрездена был отбит с громадными потерями (до 30-ти тысяч человек), главною квартирой союзников овладело такое уныние, что даже не наиболее пессимистически настроенные предлагали перейти к обороне, заняв „крепкую центральную позицию"—т.-е, отдав всю инициативу кампании в руки Наполеона. Только случайная победа русских над неосторожно выдвинувшимся вперед корпусом Вандама несколько подняла настроение. Мало-по-малу решено было снова перейти в наступление—при чем, ради обеспечения успеха, перед французскими позициями у Лейпцига, где стал Наполеон, прикрывая свои сообщения, должны были соединиться все силы, какими располагала коалиция: русско-австро-прусская главная армия из Богемии, прусско-русский корпус Блюхера из Силезии и шведско-прусско-русско-английская армия Бернадота из северной Германии: всего до 270.000 солдат, которым Наполеон мог противопоставить не более 160.000. Тем не менее ему едва не удалось после трехдневного боя отделаться тем, чего достиг в свое время Кутузов под Бородиным: проигранным сражением без уничтожения армии. Половина французских войск уже успела отступить в полном порядке, когда, по несчастному недоразумению, были взорваны мосты, по которым должна была отступать другая половина. Несколько десятков тысяч человек оказались отрезанными и были частью истреблены, частью взяты в плен союзниками.

Лейпциг отдал Германию в руки коалиции. Саксонцы перешли на самом поле битвы, баварцы попытались загородить дорогу отступившим войскам Наполеона: победа над ними была последним триумфом „Большой армии". Спустя год после обратного перехода ее предшественницы через Неман, союзные войска стояли на Рейне. Дипломатические способности союзного главнокомандующего, трения в главной квартире коалиции, отчаянная храбрость последних солдат Франции, последние вспышки военной гениальности Наполеона—все это еще на три месяца отсрочило развязку. Но кампания 1814 года была уже агонией, и конец ее был заранее предрешен; $^{19}/_{31}$ марта самолюбие императора Александра было удовлетворено в полной мере: победителем Наполеона он вступил в Париж.

3.

Священный Союз.

С момента взятия Парижа коалиция могла считаться достигнувшей своей цели, а потому неизбежно должна была распасться. Англичане готовы были мириться уже на Рейне. При первой заминке в походе 1814 года, обнаружившей, что даже с агонизирующей „Большой армией" бороться не так легко: их представитель в главной квартире коалиции, лорд Кэстльри, настоятельно советовал императору Александру—вступить в переговоры с Наполеоном, не дожидаясь необходимости перейти обратно за Рейн. Английский дипломат ссылался в данном случае на инструкции, данные ему парламентом, и прибавил: „наша коалиция все равно распадается". Кэстльри был совершенно прав: австрийцы крайне неохотно углублялись во Францию и были увлечены к движению на Париж почти силой русскими и пруссаками. „Я не могу каждый раз бегать к вам на помощь за полторы тысячи верст", ответил Александр Павлович, настаивая, чтобы дело было во что бы то ни стало доведено до конца, т.-е. до низложения Наполеона. Но наступил, наконец, и этот момент—и теперь, повидимому, ничего не оставалось, как разойтись каждому к своим делам. Расхождение во внешней политике было так велико, что державы-союзницы чуть не на другой же день после изгнания Бонапарта из Франции едва не начали между собою войны. Связующее начало было однако же найдено—и оно оказалось достаточно прочным, чтобы превратить коалицию в некоторое подобие постоянного учреждения, известного под именем „Священного Союза". Но

оно было найдено не в области международных отношений, хотя и маскировалось ими: его основой были общие интересы союзных правительств в их внутренней политике.

В области внешней политики то общее, на чем могли сойтись члены коалиции, было формулировано уже при самом ее образовании в августе 1813 года. Это общее заключалось: 1) в разрушении империи Наполеона—т.-е. в „освобождении" приблизительно 32 миллионов итальянцев, швейцарцев, голландцев, немцев и т. д. из-под „ига" французского „угнетателя"; из этого следовало два дальнейшие условия: так как „освобожденных" нельзя же было предоставить самим себе—стоит вспомнить, что у многих из них даже „законных государей" в то время не было, и с точки зрения дипломатии старого порядка они представлялись истинными овцами без пастыря—то 2) необходимо было или образовать из этих беспризорных миллионов новые государства, притом так, чтобы коалиции не приходилось чего-нибудь опасаться от этих государств в будущем,—или распределить их по государствам, уже существующим. Последнее было очень удобной формой для того, чтобы обеспечить должное вознаграждение союзникам. С другой стороны, из этого же разрушения империи вытекало, в 3-х,—возвращение в первобытное состояние Франции—т.-е. сметение без остатка всех результатов великой революции, поскольку они выразились в территориальных переменах: Франция должна была стать такой, какой она была 1 января 1792 года.

Таким образом, победа коалиции должна была привести к дипломатической реставрации. Из этого логически еще вовсе не вытекало, что она должна сопровождаться и реставрацией политической,—воскрешением тех учреждений, какие имела старая Франция до низвержения монархии,—со старой династией включительно. Но, как мы увидим ниже, одно было довольно тесно связано с другим. Однако, уже выполнение этой дипломатической реставрации наталкивалось на целый ряд затруднений. В числе „мятежников", которые, по крайней мере юридически, оставались еще в 1814 году законопротивными, были такие, в существовании которых были весьма близко заинтересованы наиболее влиятельные члены союза, только что одержавшего победу над Наполеоном. Такие прежде всего в очень большом числе оказывались вне Европы: все американские колонии Испании,—Венецуэла, Перу, Боливия, Чили, Ла-Плата, Аргентина[1]), находились в полном восстании против своего законного государя и явно обнаруживали преступную тенденцию стать республиками. Этого, конечно, нельзя было

[1]) Вскоре к ним присоединилась и Мексика.

терпеть: но добраться до мятежников в данном случае было трудно без содействия британского флота—и совсем невозможно при его противодействии. Англия же экономически была в высокой степени заинтересована в том, чтобы колонии Испании ни под каким видом не попадали под опеку держав европейского континента. Это были ее новые рынки—ее добыча от испанской войны; выпустить ее из рук она не соглашалась ни в каком случае. Все настояния императора Александра о возвращении заокеанских земель их законному владетелю разбивались об упорное сопротивление его недавней союзницы. Самое большое, на что соглашались англичане, это, ради приличия, поддерживать в отпавших колониях монархический принцип против республиканского. Но когда заокеанские испанцы обнаружили непреодолимое отвращение к монархии, и мексиканцы расстреляли смелого человека, решившегося воцариться над их республикой,—английское правительство не стало усложнять дела своей настойчивостью. Мексиканский император долго не имел подражателей,—почти полстолетия. По ту сторону океана интересы, оскорбленные революцией, не нашли себе удовлетворения.

Но Америка в силу уже чисто географических условий не была на первом плане у спорящих союзников. Был народ, на глазах всей Европы восставший против своих законных владетелей,—и о нем теперь в первую очередь ставился вопрос: возвращаться ему в прежнее состояние или нет? Комбинация сил на этом вопросе была тем любопытнее, что глава коалиции, император Александр, был в данном случае против реставрации, а за нее—была Франция; правда, Франция, уже не наполеоновская, революционная, а Франция Бурбонов, контр-революционная,—хотя интересы ее и представлял бывший министр иностранных дел Наполеона, оставшийся ему в наследство от революции.

Этим народом были поляки. В 1807 году они, прусские подданные, решительно восстали по зову счастливого победителя Пруссии—и завоевали себе первый зачаток политической независимости, Варшавское Герцогство. В 1809 году то же повторилось с австрийскими подданными польской национальности. В 1814 году приходилось вновь повторять польские разделы—дробить уже сложившееся вновь государство. Но уже в 1812 году, переходя с войсками границу, Александр твердо решил этого не делать и не допускать, чтобы это сделали другие. Польша должна была целиком перейти к нему,—стать его личной „собственностью“ (его подлинное выражение впоследствии) скорее, чем владением России. Он хлопотал не о том, чтобы в качестве русского императора получить несколько мил-

лионов польских подданных, а о том, чтобы, кроме русского императора, стать еще и польским королем. В этом смысле он весьма категорически высказался перед кн. Чарторыйским, поспешившим приехать в русскую главную квартиру.

Такие намерения русского императора очень дразнили тогдашних патриотов—даже столь просвещенных, как некоторые из декабристов. Не трудно было однако же видеть, что даже с узко военной, стратегической точки зрения Александр поступал вполне разумно. В своем заграничном походе он сразу обеспечивал этим свой тыл: в кампании 1813—14 г.г. никому и в голову не приходило беспокоиться о наших сообщениях через Польшу—несмотря на то, что поляки были наиболее преданными Наполеону „союзниками" во время похода на Москву, и даже под Лейпцигом польская гвардия еще дралась в рядах „Большой армии". Стоило вспомнить, что в 1812 году мы могли бы встретить Наполеона не на Немане, а на Висле, что будь Польша за нас, нам ничего не стоило бы выполнить то требование, которое пруссаки выставляли непременным условием своего присоединения к коалиции,—и, быть может, от разорения двенадцатого года Россия была бы вообще избавлена. Но поведение Александра находит себе гораздо более глубокое политическое оправдание. В начале XIX века он превосходно понимал то, чего не могли понять полстолетия спустя русские политики муравьевской школы: что раз польскую нацию нельзя уничтожить, надо постараться иметь ее на своей стороне,—иначе, под видом подданных, Россия будет иметь на западной границе столько же неприятелей. Ненависть к иноземцу, воспитанную в поляках эпохой разделов, гораздо практичнее было вылить на голову своим соседям, Австрии и Пруссии, нежели копить ее для себя. „Польское царство послужит нам авангардом во всех войнах, которые мы можем иметь в Европе", говорил Александр. „Сверх того, для нас есть еще та выгода, что давно присоединенные к России польские губернии при могущей встретиться войне не зашевелятся, как то бывало прежде, и что опасности сей подвергнуты Пруссия, которая имеет Познань, и Австрия, у которой есть Галиция"...

Словом, с большой меткостью политического взгляда, Александр в корне уничтожал одно из двух главных реальных последствий Тильзита: раз навсегда вынимал польскую занозу из своего бока. Так как другое реальное последствие тильзитского унижения—континентальная блокада, пало само собою еще в процессе войны,—то Россия фактически возвращалась в то положение, какое она занимала до начала наполеоновских войн, но при несравненно более выгодных условиях. Нацио-

нальное удовлетворение Россия получала полное—и, если не смешивать национальных интересов с грабежом явно чужого и ненужного, никакой патриот по совести не мог бы ничего возразить против результатов третьей коалиции. Но, именно, поэтому временные друзья России имели возразить очень многое. То соображение, которое, с точки зрения Александра, говорило за сохранение политической самобытности бывшего Варшавского Герцогства, должно было для Австрии и Пруссии служить доводом против: они желали бы видеть Россию в роли соучастницы ограбления Польши, в равной с другими доле пользующейся законной ненавистью поляков,—а вовсе не в роли покровительницы воскресшей польской национальности, пользующейся дружбою этой последней во вред австрийцам и пруссакам. Меттерних ничего не имел против того, чтобы доля—и очень добрая—польской территории отошла к России: но он всеми силами души был против превращения Александра в короля польского. К весьма неприятному удивлению Александра, на стороне Меттерниха оказался в этом случае и представитель Франции на Венском конгрессе, Талейран. Александр, когда вырабатывались условия мира, щадил Францию—надеясь иметь в ней впоследствии известный противовес жадности своих союзников,—особенно Австрии. „Я полагаю, что Франция мне кое-чем обязана", с упреком сказал он Талейрану при свидании[1]). Но Франция искала вернуть себе свободу, а не облегчить рабство. Пока в массах шло глухое брожение, подготовлявшее возврат Наполеона, вторичное изгнание Бурбонов и Сто дней, верхи французского общества в лице Талейрана добивались дипломатической эмансипации, и, как сейчас увидим, добились ее. Спешно приходилось искать себе новых союзников против Австрии и Франции: и Александр одного сейчас же нашел. Продолжая свою политику—парализование Германии посредством умелого распределения территорий на ее восточной окраине—он привязал к себе Пруссию, предложив ей обмен за признание его королем польским уступку всей Саксонии. За миллион беспокойных подданных, которых Фридрих-Вильгельм терял в бывшем Варшавском Герцогстве, он приобретал два миллиона добрых немцев и чрезвычайно завидное округление гогенцоллернских владений к югу. Это было так соблазнительно, что Пруссия немедленно стала самым горячим защитником нового „доброго дела", каким являлась теперь передача Польши в полном виде в руки Александра I.

Саксонский король был третьим из законопреступников, судьба которых должна была затруднить членов коалиции, собра-

[1]) Фактически она была обязана ему избавлением от контрибуции: вместо 132 мил. франков, которые требовала одна Пруссия, она заплатила 25 милл. всего.

винился на конгресс [1]). После Лейпцигской битвы этого несчастного союзника Наполеона перевезли в Австрию и держали там под строгим надзором. Он представлял собою странную фигуру административно арестованного короля, которого не решаются судить, несмотря на то, что Александр громко называл его изменником, заслуживающим умереть в ссылке. Разговоры, которые происходили у русского императора с Талейраном по поводу судьбы Саксонии и ее государя, должны, казалось бы, раз навсегда устранить всякие упреки в донкихотстве и фантазерстве, которые все еще иногда повторяются по адресу Александра. Талейран приехал на конгресс принципиально последовательным сторонником „законности", как ее понимал старый порядок: бывший революционер правильно находил такую роль наиболее выигрышной для только что восстановленных в своих правах Бурбонов, которых он представлял в Вене. С точки зрения этой „законности" не могло быть королей-изменников,—потому что измена заключалась, именно, в неповиновении воле короля и ни в чем другом. Такие мысли Талейран неустанно развивал перед императором Александром,—сердя его этим до чрезвычайности. „Вы всегда говорите мне о принципах: ваше общественное право (droit public) для меня ровно ничего не значит; я не знаю, что это такое. Какое употребление, думаете вы, я могу сделать из всех ваших пергаментов и трактатов?..." „У меня двести тысяч человек в Герцогстве Варшавском", говорил в тот же раз Александр по поводу Польши: „пусть же меня выгонят!" „Необходимо, чтобы в них (наших делах) каждый нашел свою выгоду", бросил он другой раз: „я сохраню то, что занимаю". Если можно уловить в этих речах какой-нибудь „идеальный" мотив, то разве тот мотив личного самолюбия, который нам так хорошо знаком. „Для меня одно выше всего,—это данное мною слово. Я его дал и сдержу: я обещал Саксонию прусскому королю..." „Убедите пруссаков, чтобы они вернули мне мое слово", говорил Александр Талейрану позднее, когда вопрос о Польше был уже близок к ликвидации в благоприятном для русского императора смысле—и саксонский вопрос начинал его тяготить. Последнее звучало почти изменой по отношению к бедному Фридриху-Вильгельму, послушно исполнявшему все приказания Александра по дипломатической части и принуждавшему своих оппортунистически настроенных министров к большой „принципиальности" в этом случае. Характерно, впрочем, что оппортунист Гарденберг, тайно беседовавший с Талейраном на тему о возможном союзе против России, употреблял почти тот же язык, что и русский император: „госу-

[1]) Венский конгресс, открывшийся официально 1 ноября (п. ст.) 1814 г. Александр и другие представители держав коалиции съехались уже в сентябре.

дарственное право" (droit public) и для него было нелепым сочетанием звуков, и он очень сердился, когда этот термин пытались употреблять в документах конгресса.

Но при всей энергии, с какой наступали Пруссия и Россия, они не могли ждать от австрийского правительства уступки в саксонском вопросе. Отдать Саксонию Гогенцоллернам, это значило отдать в руки соперника и возможного врага ключ от своего собственного дома—это значило сделать пруссаков хозяевами тех горных проходов в Богемию, которыми прусские войска так превосходно воспользовались потом, в 1866 году; словом, это значило воткнуть себе в бок занозу похуже той, какую Наполеон оставил России в Тильзитском трактате. Но австрийцы после победы над Наполеоном чувствовали себя вовсе не так, как Александр после Фридландского поражения. Как ни страшны были соединенные силы русской и прусской армий, при поддержке со стороны, Австрия надеялась выдержать бой; а такую поддержку она нашла не у одной Франции: Англия, использовав Россию до конца, в сущности уже не нуждалась в ней после разрушения первой империи; а делать из Александра второго Наполеона, вершителя судеб континента, вовсе не входило в ее планы. Александр уже смешивал, на словах, „выгоды Европы" со своими собственными: не следовало давать развиваться такому честолюбию.

К средине зимы 1814—15 гг. отношения до того обострились, что Пруссия и Россия нашли своевременной военную оккупацию спорных территорий,—при чем вновь назначенный главнокомандующий польской армией, цесаревич Константин Павлович, в приказе призывал поляков „к защите отечества". У Наполеона кое-чему научились... С своей стороны, Меттерних, Кэстльри и Талейран подписали (3 января н. ст. 1815 г). конвенцию, согласно которой Австрия, Англия и Франция обязывались выставить по полутораста тысяч человек каждая. Военные действия должны были начаться в марте. Талейран мог поздравить себя с блестящим успехом; Франция не только не была одинока и порабощена, ее полная самостоятельность была признана, и в защите ее она могла опереться на двух главных участниц только что победившей ее коалиции.

Кризис во Франции оборвал развитие этого, исторически высоко любопытного процесса. Известие о возвращении Наполеона с острова Эльбы [1]) сразу смешало шашки. Воскресший император вовсе не был расположен итти по стопам Людовика XVIII вместе с Австрией; беря быка за рога, он предложил союз Александру. Но Александр, уже умудренный опытом по-

[1]) В феврале 1815 г.

следней коалиции, уже зная, что Наполеона можно побить—совсем не склонен был сразу жертвовать половиной достигнутого успеха, создавая себе соперника. В то же время Англия, перед которой вновь встал призрак континентальной блокады, сразу и решительно повернула к прежним союзам. Четвертая коалиция сорганизовалась гораздо быстрее, чем третья. Поставленные на очередь крупные вопросы заставили быть уступчивее в мелочах. Александр пожертвовал частью поляков („своей собственностью“) и уступил Пруссии Познань, а Австрии Галицию. Впоследствии, как мы видели, он даже усматривал в этом известную для себя выгоду. Но титул польского короля (или „царя“, как довольно нелепо перевели титул для удовольствия русских патриотов) он оставил за собой. Оставлена была также и самостоятельная польская конституция.—и хотя Александр понимал свои конституционные права и обязанности довольно своеобразно,—все же иллюзия политического возрождения польской национальности на первых порах получалась довольно полная. Сладились и относительно Саксонии—при чем в этом споре не только вотчинные интересы и понятия, но и вотчинная терминология господствовали совершенно явно. Торгуясь с саксонским королем, ему обещали сначала 350.000 „душ“, потом 700.000,—наконец, перешли за миллион: оставляя в стороне размеры, можно было подумать, что имеешь перед собой добрых русских помещиков. Сошлись в конце-концов на том, что административно ссыльный король сохранил $^3/_5$ своей вотчины и получил возможность умереть с надлежащим церемониалом в Дрездене,—а не в русском изгнании, как сулил ему сначала Александр I.

Мы нарочно подробно коснулись спора из-за Саксонии: он лучше поясняет сущность тех переговоров, которые велись в Вене под аккомпанемент балов и концертов, нежели это мог бы сделать анализ трактатов [1]). Не смотря на громкие фразы о „благе Европы“ или даже о благе „всего христианства“, от современников, и притом наиболее предубежденных, не могло укрыться, чем, собственно, занимались в Вене. Это был „дележ между победителями имущества побежденного“—по точному определению правой руки Меттерниха, реакционного публициста Генца. Вотчинники, благополучие которых было так или иначе задето Французской революцией, победив, наконец, последнюю в лице военной диктатуры Наполеона, собрались устраивать свои дела. После земельной жадности—главнаго интереса всякого вотчинника, их следующий ближайший интерес был в том, чтобы потрясение отнюдь не повторялось. Надо

[1]) Заключительный акт Венскаго конгреса („l'Acte final“) подписан 9 июняп. ст. 1815 года.

было взаимно застраховать полученную добычу от новой революции[1]). Этой цели и отвечал договор, подписанный в сентябре 1815 года вождями коалиции—акт основания Священного Союза.

Внешняя форма этого документа, до тошноты пропитанного тем ханжеским духом, который был так свойствен императору Александру в эти годы, так же мало дает понятия о его действительном значении, как текст любого трактата того времени— и даже еще менее: из всех „звучных и пустых" документов эпохи конгрессов—это наиболее „звучный и пустой",— здесь Меттерних был совершенно прав. Благочестивое настроение овладевало тогда Александром Павловичем по всякому важному и неважному поводу: после удачного смотра войск при Вертю, например, он так умилился, что сердце его, по собственным его словам, „наполнилось любовью к его врагам, и он мог горячо молиться за них всех". При таком интимном общении с богом в каждом будничном случае своей жизни, мог ли Александр не применять религии к такому решительному шагу, как основание „союза государей против народов"? Но мы жестоко ошиблись бы, если бы стали искать источника нового союза в религиозном настроении русского императора. Державы-союзницы могли действовать вместе и совершенно деловым образом, не поминая имени господа бога всуе. Таким практическим проявлением Священного Союза были, например, протоколы, подписанные державами-союзницами в ноябре 1815 г.—и дополняемые инструкциями, полученными главнокомандующим оккупационной армии во Франции, Веллингтоном[2]). Трактат 20 ноября (н. ст.) интересен в том отношении, что он представляет собою новое издание двух договоров, заключенных ранее—1 марта (н. ст.) 1814 г. (Шомонский трактат) перед первым взятием Парижа союзниками и 25 марта (н. ст.) 1815 г., перед началом последней войны с Наполеоном,— но издание дополненное. Дополнение вызвано именно тем случаем, который дал повод к возобновлению войны: воскресение бонапартизма в его новом—и тем более опасном—виде, в союзе с демократическими идеями. Поэтому, оговорив исключение навсегда от престолонаследия Наполеона и всех членов его семьи, документ продолжает: „А так как революционные принципы могли бы и впоследствии раздирать Францию и угрожать, таким образом, спокойствию других государств, высокие договаривающиеся стороны, торжественно признавая свою обязанность охранять в подобных обстоятельствах спокойствие и интересы своих наро-

1) Австрия получила 2 360 кв. миль и 10 милл. человек, Пруссия—2.217 кв. миль и 5.362 тыс. чел. Россия—2.160 кв. миль и 3 миллиона человек.

2) После вторичной победы союзников над Наполеоном, Франция должна была заплатить 600 мил. фр. контрибуции и, кроме того, содержать в течение 5 лет оккупационную армию союзных держав в 150.000 человек.

дов, с удвоенным тщанием, обязуются в то же время, если бы такое несчастное событие разразилось снова, условиться между собою и с его христианнейшим величеством (королем Франции) о мерах, которые они сочтут необходимыми для безопасности своих государств и для общего спокойствия Европы". Этот еще учтивый язык,—вполне, однако, ясно говоривший о праве, присвоенном себе державами-союзницами, вмешиваться во внутренние дела Франции, поддерживая реакцию в борьбе с революцией—разъяснялся уже совершенно откровенной инструкцией Веллингтону, где без околичностей заявлялось, что государи коалиции „формально обещали королю (Людовику XVIII) поддержать его оружием против всякой революционной попытки". О том, когда и как может быть осуществлено это вмешательство, предоставлялось судить самому английскому фельдмаршалу,— которого послы союзных держав должны были постоянно держать в курсе всех относящихся сюда вопросов.

О подобном же военно-полицейском надзоре за всеми европейскими народами пока стеснялись говорить: французы были уже ославлены, как якобинцы; по отношению к своим добрым подданным сохраняли, пока было возможно, слащавый язык отеческого покровительства. На Аахенском конгрессе (осенью 1818 г.), по словам Генца, „все соображения ступевывались перед верховной обязанностью предотвратить крушение власти, спасая народы от их собственных заблуждений": но тем не менее, „дабы не подать повода к злоречию и нескромностям", не было сказано ни слова „ни о форме правления, ни о представительной системе, ни о поддержании или видоизменении привилегий дворянства, ни о свободе печати..." Скоро, однако же, добрые подданные произвели столь решительный натиск на своих королей, сначала в Испании, потом в Неаполе, потом в Пьемонте, что на следующих конгрессах пришлось говорить все слова. Настаивая на вооруженном вмешательстве в испанские и итальянские революции, Александр впервые провозгласил принцип полицейскаго надзора не только за Францией, но и за любой страной, где началось бы революционное движение (Троппауский конгресс осенью 1820 г.). В декларации конгресса этот принцип получил совершенно отчетливую формулировку: было объявлено, что всякое государство, внутри котораго произойдет революция, тем самым исключается из Союза; что никакие изменения в государственном устройстве, произведенные революционным путем, не будут признаны Союзом; что, наконец, в случае, если бы революция угрожала— или могла угрожать—спокойствию других стран, державы-союзницы должны вмешаться в дело, употребив сначала „дружеские увещания", а потом „силу обуздывающую", с целью

возвращения заблудшей державы „в лоно Союза“,—т.-е. восстановления стараго порядка.

Троппаусский конгресс установил, какие изменения государственного устройства являлись неправомерными: это были те, что шли снизу, были последствием требований народа. Его непосредственный продолжатель, Лайбахский конгресс (весна 1921 года) определил то же в положительной форме, указав, какие „полезные или необходимые изменения в законодательстве и управлении“ допускаются правилами Союза. Это были те, которые истекали из „свободной воли, обдуманного и просвещенного решения тех, кому господь вверил власть“. Священный Союз вовсе не был взаимной страховкой единоличных деспотов для поддержания абсолютизма в чистом виде. В его состав входили конституционные государи: сам Александр Павлович был таковым в Финляндии и Польше. И здесь не было никакого противоречия: нигде, даже в России, старый порядок не выражался в безграничной власти одного над всеми. А Союз был взаимной страховкой для поддержания, именно, старого порядка в его целом. Сословные учреждения средневекового типа, в роде старых финляндских „чинов“, были отнюдь не противны „вечным законам нравственности“, так грубо изобиженным демократической испанской конституцией 1812 года[1]). Даже конституции более нового типа могли быть довольно удовлетворительны, если избирательное право в них было ограничено разумным цензом: Александр, напр., был большим сторонником французской хартии 1814 года и до некоторой степени ускорил ее опубликование, объявив Людовику XVIII—колебавшемуся принять на себя определенные политические обязательства—что русские войска не выйдут из Парижа, пока хартия не будет опубликована. Но эта хартия вскоре же затем дала Франции „несравненную палату“ (Chambre introuvable)—сплошь из диких помещиков. А когда буржуазия освоилась с новыми условиями парламентской борьбы и стала в большом числе проникать в палату—Александр потребовал изменения избирательного закона, помещикам искусственно был дан перевес над остальными классами населения, и скоро Франция имела „вновь обретенную палату“ (Chambre retrouvée). Власть помещика над низкорожденным так же исходила от бога, как и власть государя над помещиками. Священный Союз брался охранять весь „порядок“, а не только личные интересы коронованных особ. Это и давало ему значение знамени, под которым шла вся европейская реакция вплоть до того, как демократическая революция 1848 года нанесла ей смертельный удар.

[1]) Она была лозунгом всех тогдашних революций и образцом, между прочим, для наших декабристов.

Ламартин, Кавеньяк и Николай I.

(Страничка из истории февральской республики 1848 г).

Февральская революция 1848 года была первой пролетарской революцией в истории мира. Для периода с 4 мая по 25 июня это признано давно: Маркс сразу определил этот период, как эпоху «борьбы всех классов против пролетариата» [1]). Предыдущий период—от 24 февраля по 4 мая—он характеризовал, как «всеобщее братанье»: можно подумать, что и Маркса обманула сентиментальная фразеология Ламартина. Но конкретное изображение этого периода в «Классовой борьбе» не оставляет тени сомнения, что классовый пролетарский характер и этого периода был для Маркса совершенно ясен. «Если Париж, благодаря политической централизации, господствует над Францией, то рабочие в моменты революционных потрясений господствуют над Парижем», говорит он там. И дальше он показывает, как рабочие заставили буржуазию провозгласить республику и как они же вынудили эту буржуазную республику принять на время социалистическую защитную окраску. «Подобно тому, как июльская монархия принуждена была объявить себя монархией, обставленной республиканскими учреждениями, февральская республика принуждена была объявить себя республикой, обставленной социальными учреждениями. Парижский пролетариат добился и этой уступки».

Аналогия с нашей февральской революцией 1917 года бьет в глаза. Поставьте на место Милюкова и Керенского Ламартина—со своей глубокой и прочной буржуазной подоплекой и своим неиссякаемым красноречием он счастливо объединял в своей особе обе эти фигуры,—на место Корнилова Кавеньяка: вы получите почти фотографию. Только финал был другой. Французский пролетариат был лишен всякой организации и пал в июньские дни под натиском организованной буржуазии. Русский—имел прочную классовую партию, с полутора десятками лет революционного опыта, и его роль не оборвалась

[1]) «18 брюмера».

июльскими днями 1917 года. И он добился не только того, что буржуазия приняла на время защитный социалистический цвет, но и того, что этот маскарадный, в глазах буржуазии, костюм превратился в повседневное одеяние созданной пролетариатом республики на долгие годы.

В этом ином финале—глубокая социологическая разница двух пролетарских революций на разных ступенях экономического развития. Но их идеология должна содержать в себе много сходных черт, и притом у обеих борющихся сторон—и у пролетариата, и у буржуазии. Идеологией парижского пролетариата займутся другие товарищи: на мою долю выпадает менее благодарная роль осветить политическое миросозерцание французской буржуазии тех дней. Сходство с нашим февралем и тут доходит до фотографичности. И там, и тут возникшее из революции «республиканское» правительство ни о чем так не хлопотало, как о сохранении «традиций» только что низвергнутой монархии. И там, и тут победитель-пролетариат, перед которым публично распинались в высокопарных речах, был предметом ужаса и ненависти в четырех стенах министерских кабинетов. И там, и тут заговор против пролетариата начал ткаться с той же самой минуты, когда рабочий класс имел наивность отдать руководство судьбами страны в руки буржуазных лидеров.

Имеющийся в нашем распоряжении материал, освещающий психологию этих последних, может показаться односторонним. Он дает всю картину под определенным углом зрения—углом зрения внешней политики Франции 1848 года. Но это по существу лишь фиксирует наш наблюдательный аппарат. На самом деле, с этого угла видна вся картина. Отделить внешнюю политику Ламартина от его борьбы с французским пролетариатом так же невозможно, как рассматривать «ноты» г. Милюкова вне связи с его классовой позицией. Что же касается Кавеньяка, то его внешняя политика до некоторой степени прямо вытекала из его июньской победы над парижскими рабочими. Эта победа определила круг его друзей вне Франции. Мы увидим далее необычайно пикантные совпадения в этой плоскости политики «непреклонного» республиканского генерала и его противника, принца Луи Наполеона Бонапарта. Один прочищал дорогу другому, сам не подозревая этого, конечно. Если бы Корнилов победил у нас, у него на другой же день установились бы такие же отношения с Дмитрием Павловичем, Кириллом или каким-нибудь иным из Романовых. И с таким же точно исходом в случае разгрома пролетарской революции. Фактически России приходилось выбирать между коммунизмом

и монархией: сейчас едва ли могут быть какие-нибудь на этот счет сомнения.

Два слова относительно самого материала. Он складывается из двух частей: донесений тайного агента русского правительства Якова Толстого III Отделению, с одной стороны, и переписки российского поверенного в делах Киселева со своим петербургским центром, с другой. В нижеследующем очерке использована, главным образом, вторая. Для характеристики правящих кругов февральской республики она является основным источником. Киселев соприкасался с этими кругами непосредственно, и подробные отчеты о его беседах с Ламартином, Кавеньяком и министром иностранных дел последнего — Бастидом — содержат о себе места, несравненные по своей выразительности. Что касается агента III Отделения, то он вращался в соответствующем ему кругу, в министерские кабинеты его не пускали, но зато с ним говорили о вещах, о которых с дипломатом говорить не станут, и, кроме того, он лучше видел улицу, чем не высовывавший носа из русского посольства Киселев. Донесения Толстого ярче, колоритнее, это своего рода «записки очевидца» о февральской революции, их стоит напечатать целиком, что Центрархив, конечно, и сделает, но политическая их значимость куда ниже бумаг Киселева. Толстого мы используем, таким образом, лишь эпизодически: в одном месте он чрезвычайно интересен. Киселев дает главный фактический материал для последующего изложения, и тут приходится очень пожалеть, что материал этот не совсем полон. Кое-каких документов, притом чрезвычайно важных—как, например, одно из писем Николая I Кавеньяку—у нас нет. Куда они девались, неизвестно,—вполне допустимо, что черновик письма Николая к Кавеньяку был попросту уничтожен—только в соответствующих делах Государственного Архива их не оказалось. Тем не менее и того, что осталось, достаточно, чтобы бросить на франко-русские отношения 1848 г. новый свет.

Совсем новым он не будет—легенда о «непримиримом» отношении Николая I к февральской революции и созданной ею республике начала разваливаться уже довольно давно. Уже в книге Ба о происхождении Крымской войны[1]), вышедшей в Париже в 1912 году, затрагиваются в общих чертах факты, излагаемые в дальнейшем: но французский историк, по понятным соображениям, был весьма «скромен» в своих разоблачениях, это во-первых, а во-вторых, он старался облагородить позицию февральского правительства, перенеся инициативу противоестественного сближения воплощения самодержавного

[1]) Edm. Bapst. «Les origines de la guerre de Crimee».

деспотизма с почти социалистической республикой на Николая. Поправку в это внесла уже довольно давно опубликованная переписка Нессельроде с русским послом в Берлине, Мейендорфом. «Ламартин делает нам большие авансы и здесь их не отвергают», писал канцлер Николая I Мейендорфу 8 мая (ст. ст.) 1848 г. Мы увидим, что это очень точное и быстрое отражение одного из донесений Киселева, которое должно было притти в Петербург как раз около этой даты, и что русский министр иностранных дел в этом совершенно частном письме не исказил истины.

А теперь перейдем к самим донесениям. Стоит несколькими выдержками напомнить пролог начинавшейся мировой драмы. Уже 7/19 января, более чем за месяц до начала уличной борьбы в Париже, Киселев сообщает Нессельроде, что «Г. Тьеру (вождь оппозиции в палате Лун Филиппа, тогдашний Милюков) приписывают слова, обнаруживающие его решимость ни перед чем не останавливаться, чтобы причинить правительству столько вреда, сколько он может, и не отступать даже перед мыслью вызвать, как он говорит, революцию 1848 года». Как антантовским дипломатам в Петрограде, перед февралем 1917 года, Государственная дума и Милюков, так и дипломатам января 1848 г. Тьер и парламент казались пупом земли, откуда только и может выйти революция. Но дипломаты 1848 года были несколько проницательнее своих потомков 1917-го, и сквозь парламентские дебаты они уже видели грозную тень «могильщика буржуазии». Две недели спустя (донесение от 24 января—5 февраля), описывая, как «твердое» поведение консервативного большинства парламента в прениях об адресе королю разбило все надежды оппозиции, Киселев заключает: «поддержка, которую они (консерваторы) оказали правительству, была, в сущности, ответом на манифестации и речи тех, кто хотел бы вернуть страну ко временам самых ужасных и самых ненавистных деяний Конвента, приспособив (тактику Конвента) к теперешним идеям коммунизма и других разрушительных сект». Так грозно звучало слово в ушах буржуазии уже 75 лет назад!

Но у «на заставах команду имеющих» было наготове успокоение для пугливых. Уходила у него душа в пятки или нет, наружно правительство Гизо обнаруживало полнейшую уверенность. «Говоря о внутренних делах», передает Киселев свою беседу с Гизо 2/14 февраля (к дипломатическому содержанию этой беседы нам еще придется вернуться), «председатель совета министров не казался серьезно обеспокоенным той агитацией, которую продолжает развивать оппозиция». А у министра внутренних дел графа Дюшателя, совсем как у наше-

го Протопопова, был даже свой абсолютно надежный план подавления беспорядков, на случай если бы они возникли. «Гр. Дюшатель сказал мне», пишет в том же донесении Киселев, «что с существующей системой подавления беспорядков в столице не приходится опасаться за спокойствие последней и что превосходный план расположения войск, выработанный для подобных случаев, он со своей стороны дополнил новой полезной мерой предосторожности, состоящей в том, что во всех казармах столицы имеется запас продовольствия на три дня». Гр. Дюшатель вспомнил, очевидно, что в июльскую революцию войска голодали, и, со всею наивностью «делового человека» считая это главным условием успеха инсургентов, он решил радикально устранить эту коренную причину неустойчивости французских правительств, снабдив охраняющую порядок силу трехдневным рационом. Что революция может продолжаться дольше трех дней, ему не приходило в голову.

«Превосходный план» графа Дюшателя дождался проверки очень скоро. Уже в постскриптуме донесения от 10/22 февраля мы читаем: «5 часов (пополудни). Мятежниками было построено несколько баррикад, взятых войсками. Кавалерия произвела несколько атак, были раненые»... А ровно три дня спустя его министр читал в шифрованной депеше от 13/25 (дипломатический курьер уже не мог проехать): «Со вчерашнего дня королевская власть не существует более во Франции... В эту минуту у всех одно опасение: как бы коммунизм не оказался сильнее республики»...

Несмотря на то, что республика, являющаяся гарантией от коммунизма, повидимому, имела все признаки благонадежности, Киселеву и в голову не пришло в первую минуту, что он мог бы остаться в Париже, если бы гарантия оказалась действительной. Уехать тотчас же ему помешало только то, что поезда железной дороги перестали ходить. Эта маленькая причина имела огромные следствия. Может быть, все нижеследующее не имело бы места, если бы 26 февраля 1848 г. по новому стилю хотя один французский машинист стал к рычагу. Но так как железнодорожные рабочие вместе со всеми остальными праздновали победу пролетариата, у Киселева оказалось несколько дней досуга и размышления. Он, правда, немного потрухивал при мысли, что с ним сделает Николай, узнавши о пребывании своего посланника в городе, над которым только что не развевалось красное знамя коммунизма. Но он быстро находил утешение. Во-первых, не пешком же ему было бежать? Это опять и Николай счел бы слишком большим нарушением достоинства российской дипломатии. А во-вторых, чем больше он присматривался к «красному призраку», тем больше он

убеждался, во-первых, что это, действительно, призрак, то-есть вещь материально неопасная—пока она не нашла себе воплощения, по крайней мере. А во-вторых, что и зловещий цвет его в значительной степени есть обман зрения. С каждым часом красный цвет бледнел, и из-за призрака выступала вполне респектабельная фигура Ламартина, снявшая тремя цветами, которые, правда, когда-то тоже символизировали революцию, но так давно, что все об этом позабыли.

Еще 26-го февраля Киселев выражал твердую надежду уехать, как только засвистит первый локомотив, а 27-го он уже мог переслать своему правительству экземпляр знаменитого циркуляра Ламартина, за собственноручной подписью нового министра иностранных дел Франции, где говорилось, что «республиканская форма правления не изменила ни места Франции в Европе, ни ее честного и искреннего намерения поддерживать добрые отношения с державами, которые, как она сама, желают независимости народов и мира вселенной». А так как упоминание о «независимости народов» могло вызвать морщины на челе Николая Павловича, то, как бы нарочно для него, циркуляр дальше, уже не касаясь этой щекотливой темы, подтверждал, что «принцип мира и принцип свободы родились во Франции в один и тот же день»,—что новорожденная французская свобода совсем ручная и отнюдь не кусается.

Когда Киселев прочел этот циркуляр, ему сразу показалось, что вокруг него стало светлее. «Париж принимает понемногу более спокойный и приличный вид», писал он, пересылая бумагу Ламартина по начальству. А в шифрованной депеше, отправленной на другой день, 28-го, звучат уже совсем твердые ноты—очень дипломатически вставленные после воспоминания об «отвратительнейшей анархии», сценою которой только что была французская столица. «Доставив победу трехцветному знамени над красным, Ламартин сумел устранить ужасы 1793 года и дать перевес идеям 1789-го», писал Киселев. Можно было, правда, опасаться, что Николай и к этим последним идеям не питает особых симпатий, но тут ему напоминалось, что, ведь, в составе временного правительства не один Ламартин, что там имеются еще Ледрю-Роллен, Флокон и Луи Блан, которые «толкали временное правительство к крайним коммунистическим мерам. Ламартин имел счастье взять верх над ними и тем спасти Париж от самых ужасных эксцессов». Так что и 1789 года еще нужно было быть благодарным.

Попавший неожиданно в коммунисты мелко-буржуазный демократ Ледрю-Роллен ясно показывает, что от Киселева не следует ожидать программной четкости—он же не публицист и не историк, а чиновник русского министерства иностранных

дел, да еще 1840-х годов. Но суть дела он схватил вполне четко. Названные им три имени стояли, действительно, во главе всех революционных списков, а Ламартин воплощал реакцию,— Киселев так и говорит «une réaction» [1])—«вдохновляемую охранительными чувствами» «всего зажиточного населения». И естественно, что раз глава буржуазной реакции, хотя временно, взял верх. Киселев видел все меньше и меньше мотивов бежать из столицы новой республики. 26-го отъезд казался ему делом само собою разумеющимся, 28-го он уже собирается ожидать на этот счет «приказаний императора», ссылаясь на пример своих коллег, которые все выжидают распоряжений своих правительств, английский же посланник лорд Норменби даже получил уже приказание оставаться в Париже.

Тонкий нюх николаевского дипломата—Киселев, несомненно, был хорошим образчиком этой школы — подсказывал уже ему, что в новорожденной республике он найдет собеседников, пожалуй, не менее респектабельных, чем только что павший Гизо—под конец своей политической карьеры сделавшийся в „Священном Союзе“ совсем своим человеком и выступавший против швейцарской демократии под ручку с Николаем и Меттернихом [2]). Не решаясь еще самостоятельно завязать сношения с явно симпатичным ему Ламартином—на эту дерзость его подвинули только уже совершенно исключительные обстоятельства—он начинает нащупывать почву через Норменби, уже имевшего от своего правительства санкцию на разговоры со спасителем Франции от ужасов 1793 года. Английский посланник своими наблюдениями мог только укрепить чувства, зарождавшиеся у его русского коллеги. Он добился от Ламартина некоторых уточняющих, но по обстоятельствам времени не могших быть опубликованными—разъяснений насчет „мира и свободы“. Под „миром“ Ламартин, оказывается, понимал „уважение существующих трактатов“. Но при настоящем положении умов было бы невозможно прямо упомянуть об этих трактатах. Нельзя было яснее дать понять, что речь идет о знаменитых венских трактатах 1815 года, легших в основу реакционной системы „Священного Союза“ и лишивших Францию всех внешних завоеваний первой революции. Начать говорить о них в эту минуту величайшего народного возбуждения было бы, конечно, величайшей бестактностью: но под шумок Ламартин давал обещание и их свято соблюдать. Больше того: он обещал, что Франция не вмешается в дела ни одной страны „иначе, как по

1) Навряд-ли нужно напоминать читателю, что вся переписка русского министра иностранных дел велась тогда на французском языке. Глава ведомства Нессельроде едва ли даже свободно объяснялся по-русски.

2) См. донесение Киселева от 2—14 февраля 1848 г.

требованию ее государя или правительства, подвергшихся нападению извне" — иными словами, никогда не вмешается в пользу революции, а лишь в порядке обычной системы союзов и договоров между отдельными странами. А так как нападать специально на Австрию казалось профессиональным занятием революционной Франции, то на этот счет делалась нарочитая оговорка, что и на Австрию не нападут, ежели она сама не атакует одного из итальянских государств— другими словами и тут Франция вмешивалась лишь в случае „нарушения равновесия" на Апеннинском полуострове. Эти разъяснения нашел успокоительными не только Норменби, но и австрийский посланник Аппоньи: не мог же Киселев быть более австрийцем, чем сама Австрия?

Все эти депеши шли из Парижа в Петербург медленным и кружным путем—железные дороги все еще, как следует, не работали: только что цитированная, помеченная 17 февраля, старого стиля, была получена в Петербурге лишь 27-го. А события летели на курьерских. В министерстве иностранных дел лишь к 3 марта старого стиля составили для Киселева инструкцию в духе его первоначальных намерений—разрыва официальных сношений со взбунтовавшейся Францией и отъезда из Парижа. Николай написал на проекте инструкции „быть по сему", а история, в эту самую минуту, наложила свою „высочайшую резолюцию" на совсем другом проекте. 13 марта пал старый режим в Вене, а 18-го восстал Берлин. Огненный пояс отделил николаевскую Россию от только что начавшей „приходить в порядок" Франции.

Пока ездили его депеши и ответы на них из Петербурга, Киселев коротал время, наблюдая за действиями оживившейся польской эмиграции. Ламартин и тут произвел на него удовлетворительное впечатление: отказался принять Ворцеля, главу польских демократов, и сумел сказать польской депутации такую речь, что его нельзя было поймать ни на малейшем конкретном обещании. Но сравнительно с тем, что надвигалось, это были мелочи. 13—25 марта Балабин [1]) привез, наконец, в Париж инструкцию от 3 марта ст. ст., но привез одновременно и подхваченные им по пути новости о революции в Вене и в Берлине. Киселев был в жестоком затруднении. Теперь он имел то „распоряжение своего правительства", отсутствие которого служило для него предлогом отсрочить отъезд. Но оно успело стать явным анахронизмом. Во-первых, куда ехать? Если французские железные дороги теперь уже возили, то перестали возить немецкие. Инструкция предписывала ему отправиться в Ахен: это зна-

[1]) Едва ли не этот дипломат изображен Толстым в „Войне и Мире" под именем „Билибина".

чило из огня, да в полымя, от только что разобранных баррикад к только что начавшим строиться. А затем, „верхнее чутье", и тут не изменявшее Киселеву, подсказывало ему, что вся европейская ситуация стала совсем иною.

Три дня продолжались его колебания. На четвертый он решил. „Готовясь к отъезду", писал он Нессельроде шифром от 17—29 марта (курьеров опять нельзя было посылать — дорога на Берлин была закрыта), „я должен предвидеть случай, что ваше сиятельство пожелаете прислать мне новые распоряжения, узнав о печальных событиях в Вене и в Берлине, до основания разрушивших политическую систему Европы. Австрия разлагается и, так сказать, исчезает для нас. Пруссия уже не существует более, как консервативная держава, союзница России". Дальше Киселев идет еще по привычной колее — польская опасность для него пока еще на первом плане. Союз революционной Германии с поляками кажется ему в высшей степени вероятной вещью, и если мы будем иметь неосторожность порвать в эту минуту с Францией, поляки окажутся подкрепленными могущественной поддержкой почти всей континентальной Европы. Надо расстроить этот блок и вырвать из-под „польской крамолы", по крайней мере, половину фундамента. Поведение Ламартина в польском вопросе ручалось за полную возможность этого. Но для этого прежде всего нужно было не провоцировать общественного мнения Франции разрывом, — при чем Россия оставалась бы теперь в этом вопросе совершенно одинокой, — а остаться в Париже, хотя бы „частным образом". Видя, что посольство остается на своем месте, публика не имела бы оснований беспокоиться. „Отправлюсь ли я двадцатью днями позже или раньше", оправдывал себя Киселев, „принципиальная сторона моего отъезда от этого не изменится: но я уеду, уже зная наверное, что императорское правительство, взвесив все обстоятельства, на этом настаивает."

Только 27 марта ст. ст., через двенадцать дней, из Петербурга пошла депеша, одобрявшая самочинное решение Киселева: уже за два дня до этого, 25-го ст. ст. и эта депеша совершенно устарела, ибо Киселев сделал следующий шаг, логически вытекавший из его первого самовольного поступка. Оставаться в Париже на положении совершенно „частного лица" — в ожидании, пока через 20 дней новые инструкции придадут этому факту, по крайней мере, официозность, если не официальность — и сидеть все это время безвыходно в своей „частной" квартире — было столь же нелепо, как и уезжать. Киселев ухватился за букву инструкции, дух которой он решил игнорировать. Инструкция предусматривала, как предварительный к отъезду момент, визит русского повереннаго в делах Ламартину,

чтобы прочесть последнему письмо императора, отзывавшее посольство из Парижа. Киселев и отправился, под этим предлогом, во французское министерство иностранных дел, но, конечно, не с тем, чтобы читать „отзывное" письмо: все то, что говорило об отъезде посольства, Киселев пропустил, прочтя Ламартину лишь те строки, где Николай (или писавший от его имени Нессельроде) заверял насчет отсутствия у него какого бы то ни было желания вмешиваться во внутренние дела Франции. Вместо прощального визита, получился, таким образом, визит для первого знакомства, а письмо, долженствовавшее положить раз навсегда конец отношениям между Россией и Февральской республикой, превращалось в предлог—завязать такие отношения. Пока Киселев не имел из Петербурга никаких новых распоряжений, это было, конечно, новое самовольство. Но дух революции проникал даже в николаевских дипломатов. Никогда в нормальное время Киселев не решился бы на такой поступок, как начало „фактических" сношений с революционным правительством, вопреки формальному предписанию Петербурга. Но теперь вся система европейской политики была „разрушена до основания". Спявши голову, по волосам не плачут...

Немецкая пословица, что „смелое решение — половина удачи" [1]) оправдалась самым точным образом. То, что Киселев мог сообщить Нессельроде и Николаю после своей беседы с главой временного революционного правительства Франции, почти могло служить утешением в падении Меттерниха и на добрых три четверти обезвреживало конституцию, дарованную своему народу Фридрихом Вильгельмом IV.

Ламартин встретил русского дипломата „самым любезным образом"—настолько любезным, что Киселев почувствовал необходимость извиниться, что до сих пор не побывал. Он сослался на трудность сношений со своим правительством—так что-сообщать пока нечего было—и на нежелание отнимать у Ламартина драгоценное время для разговоров, не имеющих серьезного значения. После этого обмена любезностями прочитан был тот кусочек письма Николая, которого пока не упразднили ни берлинская, ни венская революции. В ответ на мирные заявления царя относительно Франции, Ламартин начал долго распространяться о своих собственных мирных намерениях, особенно стараясь снять с себя подозрение, что он в чем бы то ни было мирволит полякам. Он явно хвастался бессодержательностью своей речи перед польской депутацией и давал понять, что говорить так, в такой момент, требовало от него „некоторого мужества". Это значило бравировать общественным мнением

[1]) Frisch gewagt ist halb gewonnen.

Франции. Впрочем, добавлял он, симпатии французов к полякам довольно „искусственные“ (factices). И если полякам не мешали уезжать на Восток, то ведь, надо же было как-нибудь избавиться от этих беспокойных людей.

Если бы Киселев ничего не услыхал от Ламартина, кроме этого, он мог бы сказать, что ходил в министерство иностранных дел не вовсе даром—но и только. Основываясь на этом, можно было бы потребовать от французской полиции несколько более активного надзора за польскими эмигрантами, что, конечно, лишь в малой степени вознаграждало за сокрушение всей политической системы Европы. Но Ламартин, по собственной, притом, инициативе, пошел гораздо дальше неопределенных мирных заверений и словесной выдачи поляков.

„За время моей дипломатической карьеры“, продолжал он, „я часто думал и пришел к заключению, что самый естественный союз для Франции—это союз с Россией. Если бы польский вопрос не завоевал себе у нас несколько искусственных симпатий, которые поддерживались дурными отношениями между правительствами“ (Ламартин намекал здесь на всем известную антипатию Николая I к Луи-Филиппу), „этот союз давно бы реализовался к выгоде обоих народов, которые, может быть, по духу более родственны между собою, нежели какие бы то ни было другие. Все это только дело времени и благоприятных обстоятельств“. При этом, добавляет Киселев, Ламартин высказывал большое доверие к мудрости и могуществу его величества императора.

А затем, как бы предчувствуя у собеседника некоторые сомнения, если не насчет мудрости, то насчет могущества французского временного правительства, неожиданный почитатель Николая Павловича перешел к внутреннему положению Франции. Тут он явно хотел быть объективным. „Он признал“, пишет Киселев, „что мы находимся теперь в том промежутке безвластья, какой всегда бывает, когда одно правительство пало, а другое еще только устраивается. Но он прибавил, что население обнаруживает такой здравый смысл, такое уважение к семье и к собственности, что порядок держится в Париже силою вещей и настроением массы, и теперь самая трудная и опасная эпоха уже позади“. Тем не менее, так как „настроение масс“ есть само по себе вещь колеблющаяся, то временное правительство не забывало и более материальных факторов. „Через восемь или десять дней будет организована национальная гвардия, силою в двести тысяч человек“, продолжал Ламартин, „сверх того имеются пятнадцать тысяч мобилей, настроение которых превосходно, и двадцать тысяч линейных войск, которые окружают уже Париж и которые должны туда войти“. Тут необходимо на секунду остановиться. Как известно,

предлогом для возвращения в Париж войск, удаленных оттуда после февраля, была рабочая демонстрация 16 апреля,—а разговор Ламартина с Киселевым происходил 6-го. Как гениально угадал Маркс (в „Борьбе классов"), что демонстрация была грубо спровоцирована с исключительной целью вернуть в столицу наиболее „надежную" часть „силы порядка" (force publique)

Но будем продолжать. „Эти массы", говорил Ламартин—т.-е. буржуазная национальная гвардия, мобили и линейные войска—„без труда смогут сдержать клубных фанатиков, опирающихся на несколько тысяч негодяев и уголовных элементов (!), и помешать им предаться эксцессам, если бы у них явилось к тому искушение". Тут министр иностранных дел впал в столь свойственное ему сентиментальное настроение и заранее пролил слезу о тех из членов этого правительства, которые, может быть, падут жертвой „фанатиков", вымещающих на отдельных лицах свое бессилие сделать что-либо против порядка. „Но", бодро заявлял Ламартин, „правительство, конечно, быстро восстановится после подобного преступления". Этот пассаж, видимо, показался комичным даже Киселеву, и конец его донесения проникнут тонкой иронией по адресу как оптимизма, так и сентиментальности его собеседника.

Но русский дипломат без труда отделил смешное от серьезного. Конечно, фигура Ламартина, падающего под кинжалом Бланки или Распайля, принадлежала к первому жанру. Но, во-первых, теперь уже не по догадкам и не с чужих слов Киселев знал, что в лице влиятельнейшего члена временного правительства перед ним, действительно, воплощение „силы порядка"—или буржуазной реакции, как выразились бы, точнее, „клубные фанатики". Выдать царскому послу с головой не только поляков, но все левое крыло революции, объявив его „уголовными элементами" (repris de justice), выдать на первой же беседе, дорвавшись поговорить по душе со „своим человеком", это кое-чего стоило. А еще больше стоило слово „союз", сказанное вполне твердо и определенно, в тот самый момент, когда Россия сразу лишалась двух традиционных союзников, меттерниховской Австрии и феодально-клерикальной Пруссии. На их месте грозно, казалось, выростала демократическая Германия—и вот из-за Рейна тоже „демократическая" Франция неожиданно протягивала Николаю братскую руку. К этому никакая дипломатическая ирония не могла помешать николаевскому посланнику отнестись серьезно—и 2/14 апреля Киселев спешит сообщить в Петербург точные сведения о численном составе и состоянии армии будущего союзника, опять опередив в этом Петербург, откуда только 6 апреля ст. ст. пошел запрос военного министра Чернышева в этом смысле, адресованный даже

не Киселеву, которого считали уже уехавшим из Парижа, а русскому генеральному консулу Шпису.

Нужно прибавить, что все приятные вещи говорились Ламартином чисто „в кредит"—ибо на его тревожный вопрос, остается ли русское посольство в Париже, Киселев не мог еще ему ответить ничего определенного. Фактический глава французского правительства, предлагая Николаю союз, еще не знал, захочет ли Николай вообще-то с ним разговаривать? До такой степени французская реакция, очевидно, сама была встревожена тем, что началось в Германии,—до такой степени трехцветное знамя было испугано красным призраком, неожиданно поднявшимся по ту сторону Рейна. Ламартин хотел ковать железо, пока горячо. Едва до него дошло известие, что Киселеву разрешено остаться и „разговаривать" (тем временем демонстрация 16 апреля разыгралась, как по писаному— о ней Киселев подробно и в соответствующих выражениях рапортует в шифрованной депеше 5/17 апреля,—и войска были введены в Париж), как он чуть сам не побежал в русское посольство, и Киселев, избегая все же слишком явных знаков дружбы с властью, которая как никак не была освящена никаким миропомазанием, должен был предупредить визит, отправившись к Ламартину сам за несколько часов ранее. Ламартин не стал скрывать, что он „спешит". Дипломатическое небо Европы почти совсем безоблачно, уверял он Киселева—есть только одна маленькая тучка: польский вопрос. Чтобы его уладить, необходимо послать в Петербург доверенное лицо—на выбор Николаю будет предложено 4 или 5 генералов (Ламартин настолько знал привычки своего будущего союзника, что понимал невозможность послать в Петербург „адвоката"), во главе которых, как сообщали Киселеву, будет поставлено имя Удино—будущего погромщика римской республики, одно из реакционнейших имен французской армии. В Петербурге были очень довольны этим предложением и поспешили известить, что Удино примут с распростертыми объятиями (депеша Киселеву от 1 мая ст. ст.). Но Ламартин не хотел ждать, пока кончится переписка насчет генерала, и торопился послать в Петербург своего друга дома, некоего д'Эрпиньи, „который", спешил он уверить, „всего меньше революционер или хотя бы республиканец", но пользуется его, Ламартина, полным доверием. Торопливость свою Ламартин объяснял тем, что 4 мая (а разговор происходил 27 апреля н. ст.) соберется Учредительное Собрание, и он, Ламартин, вместе со всем временным правительством должен будет сложить свои полномочия. Правда, этот перерыв рисовался ему непродолжительным—когда будет принята конституция и назначены президентские выборы, „на десять миллионов избирателей я по-

лучу, вероятно, 8 миллионов голосов". Но пока это случится, будет какой-то другой министр иностранных дел, неизвестно, столь же ли мудрый, как теперешний—и Ламартин хотел уладить все дело „при себе".

Эта поспешность окончательно дискредитировала персонально Ламартина в глазах Киселева—и он уже без стеснений говорит о „самодовольстве" и „легкомыслии" министра иностранных дел. Да и до созыва Учредительного Собрания оставалось так мало времени, что не было смысла себя связывать заранее: Ламартин был „сыгран"; но это вовсе не значило, что игра кончилась. Напротив, русско-французский союз, так неосторожно выболтанный первым ставленником буржуазной реакции, становился все нужнее, и этой реакции, и ее, в силу объективных условий, неожиданному другу—Николаю.

В Петербурге только 6 апреля ст. ст. нашли „случай" переслать Киселеву более подробную инструкцию для переговоров с Ламартином. Самовольство Киселева еще раз получило одобрение—и Нессельроде сразу же отбросил фиговый листок „польской интриги", якобы для отражения которой его парижский представитель себе это самовольство позволил. Дело ставилось гораздо шире. Николай и его канцлер отнюдь не хотели скрывать от своего агента, что союз с Францией им нужен п р о т и в Г е р м а н и и — новой, красной Германии, которая блеском своих революционных цветов начинала затмевать уже значительно образумившуюся Францию.

„Предположим,—писал Нессельроде,—что Австрия, раздробленная, ослабевшая, перестанет занимать в Европе то место, которое ей принадлежало, что мы увидим на месте Германского Союза, такого, каким его создали трактаты, единую демократическую державу, имеющую все средства—и желание—создавать нам серьезные затруднения: тогда, конечно, непосредственная опасность нам будет грозить уже не со стороны Франции, и из подобного перемещения всех прежних позиций могла бы родиться та или другая комбинация, в которой внешнее давление Франции могло бы сыграть роль противовеса враждебным намерениям наших соседей". Канцлер солиднейшего в Европе государства не хотел только подражать легкомысленной поспешности „временного" правителя Франции. Припевом всей его инструкции является „не спешить". Все, ведь, это еще в будущем. 6/18 апреля в Петербурге уже отлично видели, что до „единой демократической державы" между Одером и Рейном еще очень далеко, что пока что в Германии такая каша, лучше которой не придумал бы и покойный Германский Союз, а что с другой стороны, как продолжительно будет „время", которое история отведет Ламартину, никому неизвестно. Словом, в Пе-

тербурге были против формального союза тотчас же, тем более, что это предполагало немедленное признание республиканского правительства, а с этим скабрезным шагом Николай намерен был торопиться всего менее. „Мы не решаем вопроса сразу,—писал Нессельроде,—он остается пока открытым, и будет урегулирован позже, сообразно с интересами и обстоятельствами". Пока что, Киселев уполномочивался оставаться в Париже и заявить Ламартину, что формальное признание и вопрос о формальном союзе откладывается до окончания работ Учредительного Собрания, которое должно определить будущую политическую форму Франции. Неформальные же разговоры нужно было продолжать в духе инструкции, т.-е. в направлении будущего русско-французского союза против Германии. Только, памятуя воинственность французов и мечтания о рейнской границе, Николай (инструкция, конечно, носила на себе сакраментальное „быть по сему") подчеркивал свое „искреннее желание оставаться в мире со всей вселенной". На поддержку наступательной войны Франции против Германии предлагалось пока не рассчитывать

Конкретным результатом всей истории было, уже нами упоминавшееся, желание Петербурга видеть генерала Удино — дабы убедиться воочию, что черносотенные традиции французской армии и после февраля стоят твердо. Затем в наших документах—ряд пробелов, очень досадных для чисто дипломатической истории момента. Удино в Петербург не поехал—почему, неизвестно. Переговоры с Ламартином порвались по вполне понятной причине: он, как и предвидел сам, перестал быть министром иностранных дел—и должен был терпеливо дожидаться выборов президента, оттянувшихся до конца года,—как известно, горько разочаровав французского Керенского: он не получил на этих выборах не только восьми, а даже и одного миллиона голосов. Словом, исчезновение со сцены Ламартина понятно безо всяких документов. Если же брать не дипломатическую нить событий, а их внутреннюю политическую связь, то, собственно, пробела нет: следующая страница того, что до нас дошло, открывается новым, и более ярким, этапом по пути сближения французской реакции и царизма.

Помимо личных, могли быть и более общие причины временного разрыва переговоров. В Петербурге знали о демонстрации 15 мая—очень яркое описание ее III Отделение получило от Якова Толстого—по донесениям того же Толстого там могли изо дня в день следить за подготовкой июньских дней, и самые эти дни дали еще одну яркую страницу в писаниях „собственного корреспондента" николаевской тайной полиции. Но, как никак, „порядок" торжествовал,—и Николай

счел на этот раз нужным по собственной инициативе поднять оборвавшуюся нить. Февральская республика „оправдала себя", и ее нужно было приласкать.

13 июля ст. ст. из Петербурга отправился к Киселеву документ, который не приходится назвать иначе, как благодарственным рескриптом российского императора „республиканскому генералу" за расстрел парижских рабочих. Пролив слезу над „сценами резни, окровавившей Париж", Николай (на проекте депеш стоит надпись: „подписано в Петергофе 13 июля 1848") со вздохом облегчения констатирует, что „анархия побеждена в этой внутренней борьбе". „Столь дорого купленной победой Париж и вся Франция спасены от огромной опасности, которой им угрожало торжество разрушительных учений коммунизма".

„Если при этом баррикады, — продолжал Николай, — были ниспровергнуты, Франция обязана этим мужественной энергии, развитой генералом Кавеньяком, который в своем патриотизме не поколебался принять на себя всю тяжесть ответственности за диктатуру, посреди бушевавшей со всех сторон стихии".

„Император искренно поздравляет его с победой, столь славно им одержанной над анархической партией, сражавшейся с ожесточением, внушенным самыми извращенными страстями. В особенности, как военный, император громко высказывает свое одобрение (applaudit hautement) великолепному поведению генерала Кавеньяка, его удачным распоряжениям и той блестящей храбрости, с которой они были выполнены".

Киселеву поручалось немедленно отправиться к главе исполнительной власти французской республики, и передать Кавеньяку все эти милостивые слова русского императора. Прием, который был оказан Кавеньяком милостивому рескрипту царя Николая, в свою очередь произвел в Петербурге наилучшее впечатление. Взаимное понимание устанавливалось даже лучше, чем это было с болтливым и суетившимся Ламартином. Кавеньяк внес в дело военную твердость и солидность: это был не болтун, а человек действия, как и полагается доброму реакционеру. На этой базе можно было строить: вот почему Нессельроде, в апреле советовавший „погодить" с Ламартином, продолжая вести неопределенные разговоры, в августе сам выступает со вполне определенными предложениями.

„Намерения, о которых он (ответ генерала Кавеньяка на „рескрипт") свидетельствует, нам показались тем более искренними",—писал Нессельроде 18 августа ст. ст., „что мы вполне согласны с генералом, думая, как и он, что какова бы ни была разница принципов, на которых основаны общество и правительство во Франции и в России, тем не менее, на почве по-

литики в чистом виде (pure et simple) никакой действительно серьезный интерес не разделяет оба государства".

Между тем в основе германской политики Николая теперь, когда прошла первая полоса страхов, вызванных венской и берлинской революциями, лежала именно „политика в чистом виде". То, что в первую минуту было реальным мотивом, образование на месте Германского Союза единой военной демократии, теперь стало дипломатическим аргументом, рассчитанным преимущественно на то, чтобы заинтересовать в деле французов. Специально для последних Нессельроде рисует картину „возникновения в центре Европы сильной, компактной державы, не предусмотренной существующими трактатами, нации в 45 миллионов человек, повинующихся одной центральной воле", и проистекающего отсюда „нарушения всякого равновесия". Действительные же побуждения русского правительства были гораздо элементарнее. Перейдя к территориальным вопросам, депеша Нессельроде очень скоро упирается в „ссору, затеянную (пруссаками) с Данией из-за герцогства Шлезвигского". И, раз попав под перо, приблизительно в середине депеши, Шлезвиг уже не сходит с ее страниц до самого конца.

Тут, конечно, и была зарыта собака. Движение прусских войск к Ютландии было тем вполне конкретным моментом, который уже с апреля, заставлял Николая рассматривать войну с Пруссией как, хотя и не близкую, но все-таки возможность [1]) Россия не могла допустить, чтобы проливы, связывающие Балтийское море с океаном, попали в руки Пруссии, да еще революционной. На этом пути Россия уже нашла союзника, весьма неожиданного для общей ситуации русской внешней политики 1840-х годов, но в данном пункте совершенно естественно, в лице Англии: ей тоже прусская блокада Балтики не могла улыбаться. Но для исключительно сухопутной державы, какой была тогда Пруссия (достаточно вспомнить, какое шутливое настроение вызывала у Гейне одна мысль о прусском флоте), не так страшен был английский флот, как французская армия. Втянуть Францию в Шлезвигское дело было поэтому весьма стоющей задачей для русской дипломатии,—и поймав на удочку „всемилостивейшего рескрипта" победителя июньских баррикад, она шла к разрешению этой задачи весьма успешно. Правда, тут было не без формально-юридических затруднений—приходилось ссылаться на трактат 1720 года (!). Но восхождение к столь далеким „традициям" не устрашило Кавеньяка и его министра иностранных дел Бастида: Франция при-

[1]) Весь этот эпизод детально освещен мною, по переписке Нессельроде с Мейендорфом, в моей статье „Россия и Пруссия накануне Крымской войны". См. сборник „Внешняя политика", стр. 94—97.

соединилась к России и Швеции в деле гарантии Шлезвига за Данией.

Теперь рескрипт Николая начинает нам казаться не столь наивным документом, как в первую минуту. Июль месяц, когда Николай сделал этот приветственный жест главе исполнительной власти февральской республики, был критическим месяцем переговоров из-за Дании. Русский балтийский флот был уже под парусами. Нессельроде с тревогой ждал первых выстрелов. Тревога пока оказалась напрасной—в августе в Мальмё между Данией и Пруссией было заключено перемирие. Не отразились ли здесь, без сомнения, известные пруссакам, русско-французские переговоры? Имеющиеся в нашем распоряжении документы ничего не дают на этот счет. Но одно ясно: перемирие не обещало быть прочным и не оказалось прочным в действительности. Война из-за Шлезвига возобновилась в следующем году. В предвидении этого нужно было подковаться на все четыре ноги и закрепить мимолетную симпатию чем-нибудь попрочнее.

Чем определялась русская политика, таким образом здесь ясно до дна. Какие мотивы руководили другой стороной? И тут, конечно, вне сомнения, была своя доля „политики в чистом виде". Франция была накануне разрыва с Австрией из-за итальянских дел. Аттитюда России в этом вопросе имела, конечно, капитальное значение для обеих сторон—австрофильские же симпатии Николая были хорошо известны. В ответ на дружескую услугу России в датском вопросе Бастид и пытался выторговать нечто для Франции в итальянских делах, но тут наткнулся на глухую стену. Выдавать Австрию Николай не был склонен никому и ни при каких условиях. Нессельроде прочитал французской дипломатии весьма ядовитую лекцию, где напоминал, что применение „принципа национальностей", к которому взывал Бастид, весьма неудобно для самой Франции, у которой ведь есть с одной стороны Корсика, с другой—Эльзас-Лотарингия[1])

К периоду переговоров из-за Италии и относится посылка в Петербург генерала Ле фло, привезшего Николаю собственноручное письмо Кавеньяка, где последний призывал на русского царя благословение божие. Кроме этой приписки в письме нет ничего характерного, оно состоит из обычных банально-вежливых фраз, но одно желание, выскочившее в самом начале, освещает весь документ: «удовольствие», с которым Кавеньяк видит приближение дня, «когда между двумя правительствами

[1]) Депеша Нессельроде Киселеву от 6 сентября ст. ст.

установятся официальные и дружественные отношения».

«Дружба» Николая, гласно и открыто заявленная, была для Кавеньяка важнее всех материальных выгод, которые из этой дружбы мог извлечь Бастид для Италии. Правительство буржуазной реакции во Франции не чувствовало себя прочно в седле, пока на него не снизошло благословение вождя мировой реакции того времени. Яркий свет на это стремление Кавеньяка найти поддержку европейской реакции бросает один маленький эпизод, в двух словах рассказанный Киселевым.

«Полученное вчера известие о бегстве папы из Рима и о предстоящем прибытии его во Францию»,—доносил Киселев своему министру [1]),—исполнило радостью Кавеньяка и его товарищей, так как это событие избавляет их от трудностей военной экспедиции, которую они готовили для освобождения папы, и так как прибытие последнего раньше даже, чем они приступили к исполнению их плана, обеспечивает поддержку духовенством кандидатуры Кавеньяка, а тот факт, что Пий IX ищет убежища во Франции предпочтительно перед другими странами, дает большой моральный престиж республике».

Увы! Голоса духовенства—и французского крестьянина—были уже обеспечены кандидату, которому не нужно было санкции ни Николая, ни даже папы, чтобы иметь «моральный престиж» среди наиболее темных и наиболее многочисленных слоев избирателей. Людовик Наполеон Бонапарт, который некоторым мужичкам казался прямо вернувшимся из изгнания императором, а другим—более просвещенным—сыном Наполеона I, заранее имел все крестьянские и поповские голоса. То, что известие о бегстве папы оказалось уткой, могло очень огорчить Кавеньяка, но об'ективно это не могло ни улучшить, ни ухудшить шансов его кандидатуры.

Поддерживая июньского героя, Николай, удачливый в дипломатических мелочах, делал крупный промах общеполитического характера. Неизвестно, знал ли Николай слово «идеология» так же хорошо, как, несомненно, знал он слово «коммунизм»,—недостатком его политики была, несомненно, ее «идеологичность». Он не терпел Луи Филиппа за то, что тот был «незаконный» король, он одобрял Кавеньяка, который казался ему воплощением порядка. Бонапартов он не переносил, ибо они были упразднены трактатами, и появление их на политической сцене являлось фактом еще более нарушившим порядок, чем восшествие на престол Луи Филиппа. Что тут была узко-

[1]) Шифрованная депеша от 20 ноября (2 декабря) 1848 г.

«юридическая», если можно так выразиться, ненависть к имени, а не к режиму, доказывает симпатия Николая к бонапартовским генералам; но когда в Париже явилась—мимолетная—мысль послать в Петербург одного из Бонапартов (Жерома Наполеона), вся любезность николаевской дипломатии исчезла, как по мановению ока, и в Париж полетел категорический отказ на предложение, которое, в сущности, почти и не было еще сделано. Кандидатом Николая на президентских выборах был, разумеется, Кавеньяк. Луи Наполеон в качестве президента был так же неприемлем, как и Ледрю-Роллен, и когда в Петербург стали доноситься слухи о больших шансах «племянника своего дяди», бедному Ле Фло приходилось с большим трудом рассеивать опасения Николая, уверяя его, что никак тому невозможно быть, чтобы выбрали Луи Бонапарта. Ибо он не мог не видеть, что только что наладившиеся «дружественные» и готовые наладиться «официальные» отношения моментально грозили опять разладиться.

Идеология заставила Николая поставить на плохую лошадь. И что всего досаднее—для Николая, разумеется,—налицо был букмэкер, усиленно навязывавший именно того скакуна, который должен был притти первым. Но идеология помешала с ним даже разговаривать.

Этим эпизодом, взятым уже не из дипломатической переписки, а из секретных донесений Якова Толстого, мы и закончим наши беглые заметки.

«В моей последней депеше,—писал 19/31 октября 1848 года Яков Толстой на французском языке,—конечно, шпионы Николая, если они оперировали за границей, тоже обязаны были пользоваться дипломатическим диалектом,—я обращал внимание на многочисленные шансы Луи Бонапарта сделаться президентом республики. Это предвидение оправдывается все более и более с каждым днем, и сегодня относительно его успеха нет никаких сомнений. Одно особенное обстоятельство дало мне возможность собрать сведения насчет намерений принца Луи Наполеона в этом отношении. Один из моих английских друзей, м-р Форбс Кемпбелль, человек выдающегося ума, мой близкий приятель в течение уже нескольких лет, приехал на три дня в Париж. Он сотрудничает в «Таймсе», «Морнинг Кроникль» и других газетах и имел случай оказать большие услуги Луи Бонапарту, когда тот жил в Англии. Он знаком также с г. Тьером, так как перевел на английский язык книгу Тьера о «Консульстве и Империи». В течение трех дней, которые г. Кемпбелль провел в Париже, 16/28, 17/29 и 18/30 октября, он каждое утро в 11 часов отправлялся к принцу Луи и оставался у него часа два; потом он отправлялся к г. Тьеру

и совещался с ним несколько часов; остаток дня он проводил со мной, обедал у меня со мною вместе, таким путем я узнавал от него о политических разговорах, которые он имел в течение дня с этими двумя личностями. Я тщательно их запоминал и спешу воспроизвести ниже.

«Во-первых, г. Кемпбеллю, который является директором Колониального банка, повидимому, было поручено Луи Наполеоном вести переговоры о займе в 40 тысяч фунтов стерлингов. Принц изложил ему трудности своего положения, так как он должен бороться против партии Насьональ» (т.-е. Кавеньяка. М. П.), «редакторы которого захватили все высшие места в республике, а также против красных республиканцев» (Ледрю-Роллен), «которые располагают огромными суммами (!) и делают все, что можно себе представить, чтобы помешать избранию Луи Бонапарта. Он очень боится, что до 10 декабря, дня, назначенного для выборов, его враги устроят восстание против его кандидатуры. Г. Кемпбелль должен был изложить ему все трудности заключения займа на лондонской бирже, где капиталисты дают деньги только под солидные гарантии, а не под авантюры (des éventualitsé). Сообщив мне об этих переговорах, он спросил меня, не было ли бы расположено русское правительство снабдить принца этой суммой, и не могу ли я его (Кемпбелля) связать с г. Киселевым? Я решительно восстал против этого предположения, обратив его внимание на то, что русское посольство никоим образом не может вмешиваться во внутренние дела Франции и помогать какой бы то ни было партийной интриге.

«После этого мне стало ясно, что г. Кемпбелль является некоторого рода эмиссаром принца Луи, и чтобы отвлечь его внимание и покончить этот разговор, я обратил все дело в шутку. Я спросил его, что же Луи Бонапарт мог бы дать России в обмен на миллион, который он у нее требует? «Все возможные уступки»,—с жаром ответил г. Кемпбелль. —«Россия может, таким образом, купить главу республики»?—спросил я.—«И всего только за миллион франков, что, разделенное на четыре года президентства, дает 250 тыс. в год: согласитесь, что это не дорого!»—«Я вам гарантирую, что за эту цену он будет в вашем полном распоряжении»,—ответил мой собеседник.—«Обяжется ли он, по крайней мере, употребить вес свой авторитет на то, чтобы почистить Францию от польских и русских эмигрантов»? «Я отвечаю, что он примет на этот счет формальное обязательство: так как он находится в самом трудном положении, в каком человек может находиться; с деньгами он победитель, без денег он погиб; словом, это для него быть или не быть»!

В Петербурге, прочтя донесение Толстого, просто испугались. И так как Кемпбелль мог болтать о преступных покушениях принца Наполеона на русское казначейство еще кому-нибудь, и это могло дойти до слуха честного Кавеньяка в превратном виде, то Киселеву было предписано авансом категорически опровергнуть всякие слухи о какой бы то ни было материальной поддержке Россией принца Наполеона. Последний добыл деньги на избирательную агитацию у парижского банкира Фульда—всего уже только полмиллиона—под обещание сделать Фульда министром финансов, что и было исполнено честно—Фульд, действительно, стал министром президента Луи Наполеона Бонапарта...

За 250 тысяч рублей серебром—таков был тогда курс франка—Николай мог откупиться от Крымской войны... Так мог бы сказать человек, смотрящий на историю с точки зрения «носа Клеопатры»: а эту точку зрения, с большими оговорками, конечно, допускал даже Плеханов. Говоря же без шуток, Николай, конечно, пропустил великолепный случай посадить в февральскую республику «своего» президента. И пропустил явно потому, что был слишком принципиален. Кто бы мог это подумать?

Крымская война.

1848 год.

„Уже с давних пор в Европе только две действительные силы, две истинные державы: Революция и Россия", писал Тютчев летом 1848 года. „Они теперь сошлись лицом к лицу и завтра, может быть, схватятся. Между тою и другою не может быть ни договоров, ни сделок. Что для одной жизнь, для другой—смерть". „От исхода борьбы зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества", прибавлял он, явно преувеличивая значение наступавшего кризиса. От исхода борьбы зависела судьба только николаевской России, но для Тютчева — и не для него одного — тогда это была единственная мыслимая Россия: а будущее России для него и его друзей было будущим всего человечества.

То, что Тютчев поэтически „прозирал" под влиянием событий, всколыхнувших всю Европу — холодный и трезвый ум барона Бруннова, этого „начальника штаба по дипломатической части" императора Николая, — вполне отчетливо представлял себе уже давно. В своей записке о политическом положении Европы, составленной еще в 1838 году, Бруннов рассматривает борьбу с революционными идеями, как основную задачу русской дипломатии его времени. С этой точки зрения ему, как и его государю, великой победой представлялось образование тройственного союза России, Австрии и Пруссии, который Николаю удалось противопоставить „сердечному согласию" Франции Людовика-Филиппа и Англии Пальмерстона. „Прежде чем дойти до нас", писал Бруннов, „революционная пропаганда потеряет свою мощь и разобьется об Австрию и Пруссию. Наш верно понятый интерес, повторяю, будет всегда заключаться в ободрении и укреплении наших союзников в страшной борьбе, предстоящей им с противником, который нападает на них ежедневно и с самым разнообразным оружием. Мы не должны скрывать от себя, что шансы этой борьбы опасны. Положение наших союзников с каждым днем становится за-

труднительнее... Не подлежит сомнению, что обе эти монархии вовлечены в настоящую минуту во внутреннюю борьбу, в которой начала зла и добра вступают друг с другом в решительный бой. Если исход его будет неблагоприятен для монархического дела, то вред, от сего проистекающий, будет очень значителен для нас, ибо торжество революционных идей на берегах Дуная и Одера будет касаться нас гораздо ближе, чем билль о парламентской реформе или июльские баррикады. Вот почему мы должны считать дело монархии в Пруссии и Австрии не чуждым нам делом, а вопросом, прямо касающимся России... Конечно, может наступить время, когда Австрия и Пруссия подчинятся непреодолимому влиянию духа времени. Тогда наши интересы разделятся, Россия останется одна на поле сражения..."

Как видим, вся схема последней борьбы Николая Павловича с „непреодолимым", по признанию его собственного министра, духом времени могла быть начертана еще в 30-х годах. Уже тогда Бруннов мог наметить даже тот пункт, на котором суждено было расколоться тройственному союзу: мы не должны ожидать от Австрии и Пруссии, пишет он, „никакого активнаго содействия в случае, если бы произошло столкновение между нами и морскими державами (Англией и Францией) по делам Востока". В 1838 году при некоторой наблюдательности—Бруннов отнюдь не был гением—можно было провидеть даже Севастополь. Тем не менее, Николай, „опираясь на свое право и на свидетельство своей совести", „не отчаивался в победоносном исходе борьбы"—и дипломату, более проницательному, чем его государь, но слишком верноподданному, чтобы сомневаться в проницательности своего монарха, оставалось только скромно указать на произвол „божественного провидения", как на условие, ограничивающее слишком широкие надежды. „Божественное провидение" в данном случае оказалось не на стороне Николая, но он увидел это слишком поздно.

Для Николая Павловича борьба с революцией была не только традицией, завещанной ему старшим братом, и не только делом личного вкуса: хотя для этого государя, больше всего на свете любившего военный развод, едва ли что-нибудь могло быть противнее народных движений, нарушавших всякий „порядок" и всякую субординацию. В значительной степени это был для него вопрос самосохранения. Он завоевал себе корону в личной схватке, грудь с грудью, с „духом времени", осмелившимся появиться на русской почве. „Революция у ворот России", сказал он своему младшему брату, вернувшись с места побоища на Сенатской площади, „но клянусь, что пока я живу

и действую, она не переступит ее пределов". Та свирепая поспешность, с которою он давил всякое проявление ненавистного ему „духа" у себя дома—лучшим образчиком ее является дело петрашевцев, яснее всего показывает, как неспокойно чувствовал себя этот, с виду столь самоуверенный, человек. Рекомендуя своему государственному совету единственную меру к ограничению крепостного права, какую он решился провести в жизнь [1]), он недаром вспоминал о Пугачевском бунте, показавшем, „до чего может достигнуть буйство черни". Николай все время чувствовал себя на вулкане. Лишенный всякой исторической перспективы, он не понимал, что катаклизмы, которые могли угрожать крепостной России, были совсем не похожи на те, какие переживал в его время Запад, и что „дух времени" был совершенно бессилен перед русской деревней половины XIX века. Революция была для него страшна именно потому, что она была ему совершенно непонятна. И когда он убедился, что это таинственное чудовище сильнее его—он умер: больше ему ничего не оставалось.

Но пока он не потерял надежды справиться с ним, он с внимательностью истого охотника следил за каждым малейшим его движением. До какой степени нужно было насторожиться, чтобы усмотреть революционную заразу даже в египетском паше Мегмете-Али! А от Николая она не укрылась и здесь. Даже не имевшие ничего общего ни с какой революцией восстания черногорцев и босняков против султана казались русскому императору и его министрам продуктами „французской и польской пропаганды, прикрывающейся личиной славянства". В 1847 году против этой личины был предпринят целый поход — на страницах циркуляров министра народного просвещения. В них предписывалось профессорам и преподавателям объяснять, как надо понимать нам нашу народность и что такое славянство по отношению к России. „Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию", записал смысл одного из таких циркуляров Никитенко: „а славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия. Оно само по себе, а мы сами по себе". В результате, из всего славянского благонадежным оказывался едва ли не один только церковно-славянский язык священного писания.

К своему несчастию, Николай Павлович далеко не был всюду таким же хозяином положения, как в области злосчастного русскаго просвещения 40-х годов. Мнение о необыкновен-

[1]) Закон 1842 года об „обязанных крестьянах".

стной властности и авторитете императора Николая в области международных европейских отношений—такая же легенда, как и рассказы о его прямоте, мужестве и непреклонности. В своей восточной политике он обнаруживал большую — и не всегда удачную— приспособляемость: высокомерный тон плохо прикрывал то обстоятельство, что он не столько вел, сколько сам шел за другими. Совершенно ту же картину дают и западные отношения России за то же время.

Первой мыслью Николая при известии об июльской революции во Франции было вооруженное вмешательство: но его союзники были испуганы этой мыслью гораздо больше, чем самой революцией. Старый прусский король, друг Александра I, прямо заявил, что, пока французы не придут на Рейн, он не двинется. Комментарий, который давал его словам его министр Ансильон, должен был еще больше изумить и огорчить Николая Павловича: „мы не можем рисковать войной с Францией", говорил прусский министр, „разве война эта станет всенародным делом? Мы не смеем предпринять ее, пока общественное мнение не начнет ее поддерживать".

Но всего горестнее было, что сам князь Меттерних, душа „Священного Союза", держался чуть ли не такого же мнения,— хотя и не высказывал его так откровенно. Русский министр иностранных дел привез от него Николаю записку, где буквально было сказано: „принять за общее основание нашего поведения решение не вмешиваться во внутренние дела Франции"... Николай подчинился. Он даже полупризнал совершившийся во Франции переворот и его результаты—появление на французском престоле Орлеанской династии—и мстил за свою неудачу только крайне грубым тоном своих обращений к Людовику-Филиппу. Но последний, как истый „король-буржуа", придавал значение фактам, а не словам—и держался по отношению к Николаю правила, что брань на вороту не виснет (он выражал это латинским словом ignoramus). Логика вещей требовала, сделав один шаг, не отказываться и от второго: Николай очень желал бы помочь нидерландскому королю против его мятежных бельгийских подданных. Но он был лишен всякой возможности это сделать без содействия Пруссии и при явном противодействии Англии и Франции. Впрочем, польское восстание не давало и времени заботиться о Бельгии. В конце концов, русская дипломатия и в этом вопросе покорно шла на поводу у своих союзников—отводивших душу более или менее ядовитыми замечаниями по адресу Франции, но не решавшихся итти прямо наперекор „морским державам". Впослед-

ствии Николай находил возможным даже гордиться тем, что независимость Бельгии закреплена при участии, между прочим, и России, и охрану этой независимости,—несомненного исчадия зловредного „духа времени"—рассматривал как одну из своих обязанностей в качестве защитника „законности" вообще.

Июльская революция и провозглашение бельгийской независимости были наглядным подтверждением того факта, что Священный Союз перестал существовать. Священный Союз был попыткой увековечить коалицию держав старого порядка против революционной Франции: и на нем лишний раз оправдался тот эмпирический закон, что никакая коалиция не может быть успешна, раз в ней участвует Англия.

Вся вторая половина царствования Николая наполнена попытками воскресить Шомонский договор 1814 года—союз четырех держав (России, Австрии, Пруссии и Англии) против пятой, Франции. Но это было предприятие, заранее осужденное на неудачу. Англия 30-х и 40-х годов была мало похожа на Англию первого десятилетия XIX века. Страна крупного землевладения и торгового капитала успела окончательно обратиться в страну торжествующей крупной промышленности. Но промышленной буржуазии нужно было господство манчестерства и либерализма на европейском континенте — так же, как торжество наполеоновских армий было необходимым условием процветания более примитивной французской буржуазии начала столетия. По характерной иронии судьбы, английскими делами в это время еще продолжали заведывать государственные люди старой школы, вышедшие из рядов крупной земельной знати, глубоко проникнутые феодальными понятиями и привычками. Некоторые из них были личными друзьями императора Николая—и это поддерживало в нем иллюзию английского союза, веру в то, что случайному и досадному отчуждению Англии от трех держав старого порядка скоро наступит конец. Государь-вотчинник наивно верил, что всюду в мире политика определяется личными вкусами и симпатиями тех, кто ее ведет—и для него всегда оставалось загадкой, почему Веллингтон или Эбердин, лично расположенные к нему, Николаю Павловичу, искренние и глубокие консерваторы, не могут помешать участию Англии в разных „революционных" происках, направленных против России. Он никак не мог представить себе, чтобы правитель страны был просто орудием в руках управляемых—и никогда не мог освоиться с мыслью, что в Англии может остаться министром лишь человек, способный поддерживать на континенте либеральные течения, выгодные английской буржуазии. Пальмерстон делал это сознательно — и он

был самым популярным министром Англии этого времени. Но и консервативные друзья Николая Павловича волей-неволей должны были сделать то же самое. От воскрешения Шомонского союза очень рано пришлось отказаться. „Священный Союз", не сходя формально со сцены, уже в 1833 году сменился гораздо более скромным тройственным союзом, о котором упоминалось выше. В него входили только Австрия, Пруссия и Россия; его географические рамки были гораздо уже его предшественника—фактически Франция и Пиренейский полуостров, а также и Бельгия были изъяты из-под его влияния: он охватывал, кроме восточной половины Европы, только Италию. Вмешательство союза во внутренние дела союзных держав, повелительно диктовавшееся решениями Ахенского и последующих конгрессов, превратилось в факультативное: державы-союзницы могли просить помощи друг у друга в своих внутренних делах, но без такой просьбы вмешательство не должно было иметь места. Словом, Берлинская конвенция 1833 года давала лишь бледную копию Священного Союза—но Николай должен был быть доволен и этим. Фактически, даже в этих скромных пределах союзники оказывались не особенно надежными. Прусский король Фридрих-Вильгельм IV, наследовавший другу императора Александра Павловича, теперь дружил с Англией и скоро стал заниматься какими-то конституционными опытами, внушавшими русскому императору сильнейшее недоверие. А Австрия, верная Австрия Меттерниха, сблизилась с Людовиком-Филиппом,—сыновей его с почетом принимали в Вене—и не прочь была от французского союза; австрийский канцлер обсуждал с Гизо вопрос о борьбе на два фронта—„на Западе против революции, на Востоке—против завоевательных стремлений России". В то же время Англия протягивала руки весьма далеко от берегов Атлантического океана. Пальмерстон явно поддерживал швейцарских радикалов против консервативных католических кантонов—и специальный английский уполномоченный ездил по Италии, ободряя либералов и пугая реакционеров. Около половины 40-х годов не один Восток был свидетелем неудач и разочарований Николая Павловича.

Когда вспыхнула февральская революция, Николай уже успел освоиться с мыслью, что по ту сторону Рейна начинается безраздельное царство зла—и что театром войны с „духом времени" являются Германия и Австрия. Он охотно и без спора согласился с предложением Меттерниха—держаться того же начала невмешательства во внутренние дела Франции, как и в 1831 году. Даже больше,—русскому поверенному в делах при дворе Людовика-Филиппа, Киселеву, было разрешено остаться

в Париже и завязать—пока неофициальные—сношения с временным правительством Французской республики. Если часть русской армии была мобилизована и придвинута к западным границам, то это было вызвано отчасти желанием помочь Австрии—уже в то время нуждавшейся в русской поддержке в своих итальянских делах — отчасти же опасением, дальнейших осложнений. Они не замедлили своим появлением: в марте месяце в Петербурге почти одновременно узнали о внезапном падении Меттерниха и о баррикадах в Берлине. Самые мрачные из предвидений Бруннова оправдывались—„дух времени“ был уже на Дунае и на Одере.

Император Николай понимал всю колоссальную важность совершившейся перемены. „В глазах моих исчезает вместе с вами целая система взаимных отношений, мыслей, интересов и действий сообща“, писал он Меттерниху. „На новом пути, на который отныне вступает австрийская монархия, и не взирая на добрую волю ее правительства, крайне трудно будет обрести их в одинаковой степени, под иною формой“. И тем не менее худо скрытое торжество звучит в эти дни в каждом его заявлении. „По заветному примеру православных наших предков, призвав в помощь бога всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали“, самодовольно заявлял он в своем манифесте (от 14-го марта)—извещавшем его подданным о происшедших на Западе переворотах. „Мы удостоверены... что древний наш возглас: „за веру, царя и отечество“ и ныне предукажет нам путь к победе... С нами бог! разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами бог!“ Час решительного боя „добра и зла“, наконец, пришел; таинственный „дух“, лукавый и изворотливый, скрывавшийся до сих пор в трудно доступных для физической силы убежищах — в книгах, газетах, университетских лекциях и частных разговорах, осмелился теперь выйти в открытое поле,—и должен был пасть под русскими штыками.

Пока однако же „языцы“ не спешили нападением на русские пределы—и воинственные чувства императора Николая оставались без удовлетворения. Правда, в Вене народ громил виллу князя Меттерниха при возгласах „долой русский союз!“ Правда, единая Германия, о которой говорили и в прусском ландтаге и во франкфуртском парламенте, включала в себя и остзейския губернии России. Но дальше таких моральных нападок и теоретических чаяний дело пока не шло. И если Николай хотел поразить „зло“, ничего не оставалось, как пойти к нему на родину. Русский император, конечно, с величайшим удовольствием занял бы своими войсками и Берлин, и Вену,

и Франкфурт: но Берлинские конвенции 1833 года не допускали такого простого решения вопроса. Они позволяли вмешательство во внутренние дела одной из союзных держав только по приглашению самой державы. Николай очень желал стать усмирителем Пруссии—и долго не терял надежды им сделаться. Еще в 1850 году он предлагал графу Дона, прусскому корпусному командиру на русской границе, двинуться со своими солдатами на Берлин и там произвести coup d'état в пользу восстановления старого порядка в его неприкосновенном виде. Он обещал прусскому генералу подкрепить его четырьмя русскими корпусами. Но Гогенцоллерны вовсе не желали терять последние остатки своей популярности; они твердо надеялись, что она еще им сослужит службу в будущем—и надеялись не совсем напрасно. А в Берлине даже очень умеренные люди находили, что русский император, наравне с Меттернихом, был „несчастием прусского короля и всей Германии". В итоге, что касается северной Германии, Николаю приходилось утешать себя вмешательством во второстепенное, даже третьестепенное шлезвиг-голштинское дело,—из которого он надеялся сделать дело истинно-русское, подготовив своим вмешательством кандидатуру на датский (а, следовательно, и шлезвиг-голштинский) престол своего родственника, принца Ольденбургского. Этой цели ему не удалось достигнуть, но, заставив немцев вернуть Дании спорные провинции*), он озлобил против себя всех немецких и, в частности, прусских патриотов,—подготовив тем враждебный России нейтралитет Пруссии во время Крымской войны. Австрия больше пошла ему навстречу. Уже до начала февральской революции ей нужна была русская помощь в Италии,—пока не войсками, а дипломатической поддержкой и деньгами. Николай не отказал ни в том, ни в другом. Англия предлагала свое дружеское посредничество сардинскому королю в его споре с Австрией из-за Ломбардии: это было косвенно давлением на Австрию в пользу Пьемонта. Русское министерство иностранных дел заявило, что Россия не потерпит чьего бы то ни было вмешательства в итальянские дела, и что в Италии все должно оставаться по-старому. Одновременно из тощей русской казны было отпущено австрийскому правительству шесть миллионов рублей. В иной, гораздо более решительной, форме понадобилась Австрии русская поддержка, когда восстание распространилось на соседние с Россией области Габсбургской монархии. Русские войска давно стояли на ее юго-восточных границах: револю-

[1]) Угрозой—ввести русские войска в восточную Пруссию и Силезию, в случае отказа.

ция 1848 года захватила между прочим дунайские княжества; их номинальный сюзерен, турецкий султан, неожиданно оказался черезчур либеральным—и турецкий комиссар в княжествах признал установившийся в Валахии порядок, санкционировав образовавшееся там временное революционное правительство. Ничего подобного Николай Павлович, разумеется, не мог допустить. Если султан не умел оберечь своих прав, этим должен был заняться русский император,—который и был к тому же действительным, не номинальным, сюзереном княжеств. Валахия и Молдавия были заняты русскими войсками, а турецкое правительство вынуждено было издать декларацию, которою упразднялось всякое подобие конституции в княжествах: впредь господари должны были не выбираться, а назначаться султаном, даже средневековые собрания бояр были уничтожены и заменены советами чиновников по назначению господарей. Для охраны восстановленного „порядка" русский корпус ген. Лидерса должен был остаться в княжествах: восставшая Венгрия, таким образом, сразу увидала в непосредственном своем соседстве, на границе Трансильвании, русскую военную силу. Перейти границу ей ничего не стоило—и случай этот был предусмотрен уже давно: еще в 1837 г. между Меттернихом и Николаем было условлено, что в случае восстания мадьяр Австрия может рассчитывать на вооруженную поддержку со стороны России. В 1848 году и Австрия до последней минуты крепилась, не вспоминая об этом соглашении и не открывая русским войскам доступа в свои границы. По мере того однако-же, как реакция брала верх в Австрии, опасение лишиться популярности все менее и менее играло роль в поведении австрийского правительства, и идея русского вмешательства становилась для него все более и более приемлемой. Впервые определенно о нем заговорил Виндишгрец в дни бомбардировки Вены. В ответ на слова русского поверенного в делах о сочувствии императора Николая энергическому образу действий Виндишгреца, австрийский фельдмаршал, вместе с горячими изъявлениями благодарности, выразил надежду, что русский император не откажется помочь законному правительству Австрии, если бы наступила вновь трудная минута. На донесение об этом русского дипломата, Николай написал: „и я отвечу на их призыв, и они во мне не ошибутся". Он только ждал такого призыва. Специально венгерское восстание было особенно важно в его глазах: в рядах венгерцев сражались польские легионы, а польские генералы, Бем и Дембинский, командовали мадьярскими войсками. Письма Виндишгреца и молодого австрийского императора, Франца-Иосифа,—о котором Николай отзывался, что он любит его, как родного

сына, нашли вполне подготовленную почву. Сначала Лидерс вступил в Трансильванию, а затем не замедлила появиться и главная русская армия из Польши под начальством Паскевича. Два месяца спустя последний доносил Николаю: „Венгрия у ног вашего императорского величества". Вдобавок к немцам и итальянцам, Россия приобрела еще одного врага—в лице маленького, но энергичного и памятливого венгерского народа.

Разгром Венгрии был последним ударом, нанесенным австрийской революции: через несколько месяцев после капитуляции венгерской армии под Вилагошем австрийская конституция перестала существовать. То, о чем Николай только мечтал для Пруссии, восстановление старого порядка во всей его неприкосновенности, здесь стало действительностью: наследник Меттерниха, кн. Шварценберг, собирался пойти даже дальше своего предшественника. Оставалось, опираясь на достигнутые успехи, покончить с другим порождением „духа времени"—с идеей единства Германии. Это единство Николай Павлович считал „нелепым предприятием, достигнувшим пока единственного успеха, возбуждения страстной зависти и серьезных замешательств между Австрией и Пруссией". Россия поэтому всей тяжестью своего авторитета поддержала Австрию в ее попытке реставрировать Германский союз, созданный Венским конгрессом в 1815 году. Этому долго противилась Пруссия—король которой все время колебался между надеждой стать императором объединенной Германии и отвращением к „собачьему ошейнику",—как называл он императорскую корону, полученную из рук народных представителей. Вмешательство России положило конец его колебаниям. Одну минуту он думал опереться на Англию—но в расчет Англии вовсе не входило создание единой Германии. Побряцав оружием, Пруссия пошла на самую позорную капитуляцию: в ответ на австрийский ультиматум, прусский первый министр поспешил выехать навстречу своему австрийскому коллеге, даже не дождавшись согласия последнего на свидание. Такая „скромность", как официально заявлял Шварценберг, заставила Австрию быть снисходительной: снисходительность выразилась в том, что Пруссия была принята на старых условиях в Германский союз, восстановленный в его прежнем виде. Россия была косвенной, но главной виновницей этой так называемой „ольмюцской пунктации"—и все негодование общественного мнения Германии еще раз обрушилось на нее.

К этому негодованию примешивалась, однако, значительная доза страха. Легенда о вершителе судеб Европы как будто начала оправдываться, именно, в эти годы. „Разве не видят, что там на севере господствует настоящий Наполеон мира,

которым только казался Людовик-Филипп, но не был ни по существу своему, ни по значению?" писал один прусский дипломат в конце 1850 года. „Лишь раз в продолжение двадцати лет русский меч был извлечен из ножен, именно в столь мало опасном для царя венгерском походе, и благодаря этому смелому (?) поступку, северное влияние обеспечено не только в Вене, но и в Стокгольме, Италии, в Греции, и если на берегах Шпре и Босфора не вступят скоро и решительно на иной путь, то..." „Когда я был молод", писал другой немецкий наблюдатель, год спустя, „над европейским материком господствовал Наполеон. Теперь, повидимому, русский император занял место Наполеона и будет, по крайней мере, в продолжение нескольких лет предписывать законы Европе".

Достаточно было всего четырех лет, чтобы изобличить малодушие этих страхов и показать, что могущественная Россия, вершительница судеб Европы, больше чем когда-либо, была „великим обманом" [1]).

Спор о „ключах".

Какими бы возвышенными принципами ни руководилась политика Николая Павловича, он никогда не забывал ближайших практических последствий своих шагов. Мы видели, что, поддерживая, исключительно во славу принципа законности [2]), датского короля, он не прочь был использовать датское дело, чтобы добыть корону для своего родственника. Ходили слухи, что, бескорыстно стремясь на помощь австрийскому императору, он подумывал в то же время об округлении западной границы России насчет Галиции. Если он в конце концов не дал ходу этой мелкой претензии, то, главным образом, потому, что занятое им в Европе властное положение открыло перед ним—так, по крайней мере, ему казалось—необъятно широкие перспективы на том поле, которое издавна составляло главный предмет его внимания.

Раздел наследства после Турции,—которая по мнению его канцлера умирала, а по его личному мнению уже умерла и только по недоразумению занимала место среди живых—был навязчивой идеей Николая Павловича с первых лет его царствования. Ни разу ему не представлялось случая приняться за это дело самостоятельно, всякий раз ему нужны были союзники—то Австрия, то Англия—и каждый раз эти союзники в самый решительный момент отказывали в своем содействии.

---

[1]) A great humbug,—выражение Пальмерстона.

[2]). Не исключительно: см. статью „Россия и Пруссия перед Крымской войной" в сборнике „Внешняя политика", где указаны экономические мотивы русской политики.

Теперь он был—или казался себе на столько сильным, что мог приняться за это дело один, не дожидаясь других,—предоставляя им присоединиться к нему, если они найдут нужным.

Как раз в ту минуту, когда Николай, казалось, располагал судьбами Европы, от Копенгагена до Вены, по своему усмотрению, Турция снова обратила на себя его внимание, довольно неприятно напомнив ему о границах его всемогущества. Часть венгерских эмигрантов, и в том числе наиболее ненавистные Николаю польские офицеры, укрылась в Турции. Австрия и Россия самым категорическим образом потребовали их выдачи. Султан отказал. В это время делами Турции руководило „либеральное", вернее западническое, министерство, готовившее целый ряд реформ в европейском духе (совокупность этих реформ была известна под именем танзимата). Влияние английского посла Стратфорда Каннинга было всемогущим. К тому же, принимать европейских беглецов—особенно если они переходили в магометанство, как это сделали некоторые из венгерских эмигрантов,—было в Турции традицией: в старое время не один министр султана, не один генерал его армии вышли из рядов таких „ренегатов". Словом, со всех точек зрения турки не расположены были удовлетворить требования держав старого порядка. Что они имеют дело с вершителем судеб Европы—этого они или не знали, стоя далеко от революции 48-го года, или не хотели знать, вспоминая довольно плачевную роль Николая перед лицом их покровительницы, Англии. Вынужденный отказ России от Ункиар-Искелесского договора у Порты был в свежей памяти.

Николай был убежден, что он не может встретить отказа. Требование выдачи было поэтому облечено в такую форму—собственноручного письма русского императора к султану, посланного с нарочным генерал-адъютантом—которая делала отрицательный ответ почти несмываемым оскорблением. Получив его, Австрия и Россия немедленно прервали дипломатические сношения с Турцией. Они ожидали известия о том, что Порта горько раскаивается, готовились видеть униженные поклоны и извинения; вместо этого они узнали, что Англия и Франция категорически потребовали от султана не уступать в этом пункте—и что для подкрепления этого требования английская эскадра прошла через Дарданеллы в Мраморное море. Это было прямым нарушением международной конвенции 1841 г.,—конвенции, подписанной между прочим и Англией и закрывавшей проливы для военных судов всех держав—почему Пальмерстон и поспешил формально извиниться за поступок английского адмирала. Но впечатление было сделано. Выдачи эмигрантов Николай не добился: все, на что согласилась Турция, это было удаление их

из пограничных с Австрией областей во внутренние. Скоро один из наиболее ненавистных Николаю, поляк Бем, сделался турецким пашой. Русские дипломаты пробовали объяснить всем желавшим слушать, что тут вышло несчастное хронологическое совпадение,—что государь их, по своей благости, добровольно согласился на уступку гораздо раньше, чем узнал о дерзком поведении англичан. В Европе этому не верили и, держась правила post hoc—ergo propter hoc, хвалили энергию, с какой морские державы сумели показать „рускому деспоту" его место.

„Русский деспот" в данную минуту не чувствовал себя готовым к войне с морскими державами. Но рано или поздно он должен был отомстить. Он приступил к этому, как только восстановление старого порядка в Германии окончательно развязало ему руки на Западе. Найти предлог для нового вмешательства в турецкие дела было как нельзя более легко: традиционное покровительство православным на Востоке в изобилии давало материал для разного рода мелких осложнений в любой момент. Католическое и православное духовенство в Иерусалиме и других святых местах Палестины постоянно враждовали между собой из-за права распоряжаться тою или другою святыней, т.-е. эксплоатировать ее в свою пользу. Со времени крестовых походов перевес в этом случае был на стороне католиков: из двенадцати святынь Иерусалима девять были в их руках — и лишь три, но в том числе самые главные, заведывались православными, при чем, однако, и католики имели туда доступ. Такое соотношение сил объясняется постоянным энергичным покровительством, какое встречали палестинские католики со стороны правительства старой, дореволюционной Франции. Давнишний союзник Турции, это правительство никогда не забывало извлечь из союза выгоду и для католической церкви. Новая Франция несколько пренебрегала этим,—к тому же грубая измена Наполеона после Тильзита *) возмутила турок против Франции; результатом была реакция в пользу православных—подданных султана, не нужно забывать этого: в 1808 году они получили привилегии, во многом противоречившие трактатам, ограждавшим прерогативы римской церкви. Они пользовались ими невозбранно до начала 50-х годов,—пока в дело не вмешалось опять французское правительство. Людовику-Наполеону, подготовлявшему в это время переворот 2 декабря 1851 года очень важно было содействие католической церкви. Услуга ей была одновременно расплатой за ее добрые услуги на президентских выборах—и обеспечением ее содействия при будущем государственном перевороте. В Европе результатом этого обмена

*) См. выше.

услуг была известная римская экспедиция—разгром римской республики войсками республики французской. В Палестине Людовик-Наполеон вспомнил традиции французских королей и решил отстаивать права, предоставленные католикам трактатом XVIII века. Помимо Иерусалима—тут особенно важную роль играло право починки купола над „гробом господним"—наибольшее значение имел вифлеемский храм, с обладанием ключами которого по местным понятиям связывалось нечто в роде права собственности на само это святое место. Передача „латинянам" ключей от этой святыни была блестящим успехом дипломатии Людовика-Наполеона, подавшим повод к ряду драматических сцен,—которых мы не будем рассказывать здесь подробно. Из этого, главным образом, дела и возник „вопрос о святых местах".

Не подлежит никакому сомнению, что с самого начала президент Французской республики вовсе не имел в виду серьезного столкновения, а тем более войны с Россией из-за палестинских дел. Он был уверен, что вопрос не выйдет за пределы обычной дипломатической пикировки; когда ему показалось, что его посланник в Константинополе Лавалетт увлекся и взял слишком резкий тон, он поспешил заменить его другим лицом. В свою очередь, Николай всего меньше желал навязать себе на шею войну с Францией. Против Людовика-Наполеона лично он ничего не имел. Его избрание в президенты казалось Николаю фактом весьма желательным,—как залог преобладания консервативных начал во французской политике, внутренней и внешней *). Переворот 2-го декабря окончательно восхитил русского императора, оправдав самые лучшие его надежды. В его глазах это была крупная заслуга Людовика-Наполеона перед всей Европой: „дух времени" был раздавлен, так сказать, в собственном его гнезде. Николай так смягчился, по поводу этого радостного события, что—единственный раз—пошел даже на уступки в вопросе о „ключах". Между русским самодержцем и основателем второй Французской империи завязались даже интимно доверчивые отношения: Людовик-Наполеон, готовясь стать Наполеоном III, решил посвятить в свой проект Николая Павловича и, воспользовавшись пребыванием последнего в Берлине, послал к нему для соответствующих переговоров сенатора Геккерена (Дантеса, убийцу Пушкина). Николай встретил посланца Людовика-Наполеона весьма милостиво, одобрял в разговорах с ним прошлое поведение президента Французской республики,—увещевал его и впредь держаться той же линии. Грубое нарушение доверия, оказанного Бонапарту французским народом, нисколько не смущало Николая Павловича при всей его чест-

*) Поправку к этому см. в статье: „Ламартин, Кавеньяк и Николай I".

ности и лойяльности: припомним, как усердно поощрял он к такому же нарушению доверия прусского короля и как радовался он государственному перевороту в Австрии. „Честность“ на его языке обозначала честность по отношению к равным себе, к императорам и королям: народы не имели никаких прав, и по отношению к ним не могло быть ни честных, ни бесчестных поступков. Если разговоры с Геккереном отчасти испортили настроение, то совсем другим: осведомившись о желании президента принять императорский титул, Николай поморщился; это уже было посягательством на права его и ему подобных коронованных особ: с этим не так легко было примириться. А когда Геккерен заговорил о восстановлении на французском престоле династии Бонапартов, Николай окончательно отказался продолжать разговор. На ясном горизонте показалось первое облачко. Оно превратилось в довольно большую тучу, когда Людовик-Наполеон осуществил свое намерение, дерзко украсив при этом свое имя цифрой III — напоминая всему миру, что он считает себя наследником своего низложенного всеевропейским конгрессом дяди.

Николай сильно агитировал против признания нового Бонапарта императором, в особенности с этой цифрой; и тут ему пришлось убедиться, что и на западе Европы он далеко не так всемогущ, как казалось запуганным им людям. Не говоря уже об Англии, даже державы старого порядка отказались присоединиться в этом случае к России—и Николай, после тщетных попыток оттянуть дело, вынужден был признать совершившуюся перемену, утешая себя, как в дни Людовика-Филиппа, словесными грубостями по адресу носителя неприятной для него цифры. Как известно, он отказался дать Наполеону III обычный в переписке между монархами титул „брата“, согласившись назвать его только „другом“: представитель Николая Павловича дополнил это оскорбление, объяснив, что „братьями“ его государь считает только государей „божьей милостью“, Наполеон же является государем лишь „волею народа“. Но и это препирательство, живо переносящее нас во времена переговоров Грозного со Стефаном Баторием, как оно ни портило личные отношения, не было еще достаточным поводом для войны; с Людовиком-Филиппом Николай обходился ничуть не лучше (Наполеон III находил даже, что гораздо хуже), и однакоже никаких дальнейших последствий это не имело.

Исходной точкой осложнений, приведших к Восточной войне 1853—1856 гг., были не личные отношения Николая и Наполеона III и тем более не „спор о ключах“ сам по себе *).

*) Экономическую подкладку войны см. в „Русской империи древнейших времен“, т. IV.

Дипломат—почитатель Николая Павловича, описавший дипломатические перипетии великой борьбы, обращает внимание, как часто в устах действующих лиц этой трагедии мы встречаем слово „рок" (fatalité). Иначе они не умели объяснить себе своих собственных поступков. Этим „роком" была сила общественного мнения европейской буржуазии. Буржуазное общество не могло терпеть занесенного над ним кулака феодальной России. Всякий повод был хорош, чтобы избавиться от Николая. И заслуга Наполеона III состояла в том, что он верно оценил, где надо искать уязвимую сторону русского самодержца—ту точку, где он должен был сосредоточить против себя наибольшее противодействие своих западных соседей без различия, были ли они у себя дома представителями старого порядка или революции. Этой точкой был, конечно, не Иерусалим с его мелкими церковными дрязгами, а Европейская Турция, Балканский полуостров с Константинополем включительно. Что „ключи" были для Николая только придиркой, в этом едва ли могло быть сомнение даже в то время, как скоро стали известны разговоры, какие он вел с английским послом в Петербурге,—делая последнюю попытку разорвать союз „морских держав". Здесь вопрос о дележе наследства „больного человека" ставился так конкретно, как этого никогда еще не делал Николай Павлович: Молдавия, Валахия, Сербия и Болгария отходили к России, Крит и Египет к Англии. Только о Константинополе стеснялись говорить прямо—но Николай давал понять, что, быть может, ему придется взять этот город „в виде залога". Присутствие у власти полу-торийского министерства, явно избегавшего столкновения с Россией, которое пошло бы на пользу только революционерам, сильно поощряло его на этом пути, питая в нем иллюзию русско-английского союза. Но он скоро должен был увидеть, что инициативу разделки с „больным" человеком ему придется взять на себя.

16 февраля 1853 года в Константинополь прибыл чрезвычайный посол русского императора, князь Меншиков.

Он начал с того, что категорически потребовал удаления турецкого министра иностранных дел, по мнению Николая, недобросовестно действовавшего в вопросе о святых местах. Ошеломленная Порта уступила беспрекословно. Затем новому министру был предъявлен список дальнейших русских требований, с предписанием—хранить его в строжайшей тайне, особенно от западно-европейских дипломатов. Нет надобности говорить, что содержание этого списка стало немедленно же известно наиболее заинтересованному из последних—английскому посланнику. Не без изумления он узнал, что русский император желает, употребляя английские выражения, „всю Турцию поста-

вить по отношению к России в такое положение, какое до сих пор занимали дунайские княжества". Николай находил, что постановления, касающиеся права России покровительствовать православным христианам на Востоке, формулированы недостаточно точно, как в Кайнарджийском, так и в Адрианопольском трактате: поэтому султан должен был еще раз торжественно подтвердить обещания обоих трактатов, но в более ясной, недопускающей двух толкований, форме. Главным образом, должно было быть разъяснено, во-первых, что право покровительства касается, именно, православных подданных султана,—т. е. что они могут на злоупотребления своих турецких властей апеллировать к русскому государю; во-вторых, что покровительство отнюдь не касается только вопросов веры и религиозных преследований—что вся православная церковь в Турции, как она есть, со всеми ее иммунитетами, подлежит русской опеке. Иными словами, около девяти миллионов подданных султана (по тогдашним исчислениям) приобретали теперь двух государей, из которых одному они могли жаловаться на другого. Чтобы правильно оценить это требование, стоит себе представить казанских татар, получающих право жаловаться на императора Николая турецкому султану,—при чем с представлениями последнего Николай обязан был бы считаться и их удовлетворять. Очевидно, говоря, что Турция умерла, русский император был совершенно искренен. Но так как Турция, вопреки этому ошибочному мнению, была еще жива, то задачей турецких дипломатов с первой же минуты явилось—как-нибудь сбыть с рук князя Меншикова с его поручением. Воевать Турция в эту минуту вовсе еще не хотела; в военной поддержке Англии и Франции она еще не была вполне уверена. Порта начала с того, что обещала дать России полное удовлетворение в вопросе о святых местах. Французская дипломатия надеялась столковаться по этому поводу непосредственно с Россией, не подвергая Турцию риску войны. Затем великий визирь обещал издание фирмана (и он, действительно, был скоро издан), еще раз торжественно подтверждающего все права и привилегии православной церкви в Турции,—но с тем, конечно, что православные подданные султана оставались его подданными, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Наконец, султан выразил желание отправить к Николаю Павловичу особого полномочного посла для окончательного улажения всего этого дела. Меншиков категорически отклонил все предложения этого рода: не менее своего государя убежденный в омертвении Турции, он был уверен, что стоит хорошенько прикрикнуть турецких министров, и они на все согласятся. С самой оскорбительной надменностью он не допускал даже обсуждения предъявленных

России требований. Он передал великому визирю составленный в Петербурге текст конвенции и заявил, что она должна быть возвращена с подписью султана: больше ничего. На размышление давалось 8 дней (потом Меншиков прибавил еще пять). Не получив в срок ответа, русский посол объявил дипломатические сношения прерванными и выехал из Константинополя. А 14 июня 1853 года в Петергофе был подписан высочайший манифест, в котором Николай возвещал своим подданным: „истощив все убеждения и с ними все меры миролюбивого удовлетворения справедливых наших требований, признали мы необходимым двинуть войска наши в придунайские княжества, дабы доказать Порте, к чему может вести ее упорство".

3.

Дунайская кампания.

(1853—1854).

Оккупация княжеств означала войну—почти наверное, с Турцией и очень вероятно, с Францией, фактической противницей России в вопросе о святых местах. Император Николай предвидел это: но война казалась ему делом нетрудным и для России совсем неопасным. В разговоре с генералом Тимашевым (впоследствии министром внутренних дел Александра II) он категорически заявлял, что по численности войск Россия всегда будет сильнее всех своих врагов, и что он, Николай, поэтому никого не боится. Особенно легко было, казалось ему, справиться с Турцией. Раннею весною 1853 года—во время посольства Меншикова в Константинополе или даже немного ранее—он писал: „думаю, что сильная экспедиция, с помощью флота, прямо в Босфор и Царьград, может все решить весьма скоро. Ежели флот в состоянии поднять в один раз 16.000 человек с 32 полевыми орудиями, с необходимым числом лошадей, при 2 сотнях казаков, то сего достаточно, чтобы при неожиданном появлении не только овладеть Босфором, но и самим Царьградом. Буде число войск может быть и еще усилено. тем более условий к удаче". Даже и вмешательство морских держав не может спасти Константинополя: нам стоит только также быстро занять Дарданеллы.

Существование такого плана параллельно с уверениями русской дипломатии, что Россия исполнена миролюбия и отнюдь не желает войны, очень характерно. Практических последствий он не имел, так как кн. Меншиков, на которого непосредственно было возложено руководство морской экспедицией против Царьграда, нашел таковую „весьма трудной и

даже невозможной". Но и другие планы, к которым перешел Николай Павлович после этого, дышат тою же уверенностью, что турецкая армия будет разбита при первом же столкновении с нашей. Разгром турецких войск являлся исходной точкой всех русских операций в предположениях Николая: для него вопросом являлось не как разбить турок (это разумелось само собою), а как поступать, когда разбитые турки, со свойственным восточным людям коварством, начнут „укрываться". Тогда, по его мнению, следовало, не останавливаясь, двигаться прямо через Балканы.

Это оптимистическое настроение держалось довольно долго. На Рождестве 1853 года из Петербурга писали в Москву: „Государь весел. Победы (речь идет, очевидно, о Синопе и Башкадыкляре) его развеселили. Война и война—нет слова на мир. Ото всей России войне сочувствие. Флигель-адъютанты доносят, что таких дивных и единодушных наборов еще никогда не бывало. Крестовый поход. Государь сам выразился, что ему присылают Аполлонов Бельведерских на войну: в течение двадцати девяти лет он ничего подобного не видывал"*).

Образ действий противников много способствовал поддержанию в Николае Павловиче подобных иллюзий. Глядя, как осторожно, почти трусливо выступают Турция и ее союзницы, можно было в самом деле подумать, что и они верят в несокрушимую мощь русского императора. На занятие русскими войсками княжеств Турция ответила не объявлением войны, как можно было ожидать, а ходатайством перед австрийским правительством о посредничестве. „Порта стоит на коленях, божится, что войны не желает и даже боится", писал кн. Воронцов Ермолову 1 июня 1853 года. В Англии глава тогдашнего министерства, лорд Эбердин, с жаром говорил русскому послу: „Тот, кто бросит мир в бездну из-за дела, которое я нахожу несправедливым, примет на себя ответственность, какой я на свою совесть не возьму. Я не согласен кончить мою карьеру революционной и разрушительной (subversive) войной Мое решение твердо: я этой войны вести не буду; пусть ее ведет кто-нибудь другой!" Как видим, руководитель русской иностранной политики был вполне прав, говоря—в инструкции кн. Меншикову—что „личный характер и прежние дипломатические действия лорда Эбердина подают верное ручательство в его благоразумии и уверенности". Вопрос был в том, смогут ли торийские друзья императора Николая сдержать общественное мнение английской буржуазии—и вести внешнюю политику не так, как хотят английские избиратели. Наконец, Наполеон III,

*) Из письма Шевырева к Погодину. Барсуков. XIII, 18—19.

лично наиболее задетый, держал себя с аффектированным беспристрастием,—быть может, не без задней мысли дать Николаю зарваться возможно дальше и тем сделать свою позицию наиболее выгодной. Австрия не высказывалась пока—и не давала поводов русскому императору сомневаться в ее холопской преданности. „Если я говорю Россия, то говорю вместе с тем и Австрия, потому что наши интересы на востоке тождественны", уверял Николай Павлович английского посла, соблазняя его разделом Турции. Словом, все наиболее заинтересованные державы, в ответ на воззвание Турции о посредничестве, легко и скоро согласились предложить спорящим сторонам проект ноты, заключавшей в себе все наиболее существенное из явных русских требований (так называемая „венская нота"). Присоединение к этой ноте Турции обозначало бы, что Порта принимает эти требования—и что, таким образом, всякий повод для войны устранен. Положение русского правительства было весьма трудное: отказаться от принятия „венской ноты" значило бы откровенно признаться, что вся история со святыми местами была простой придиркой для того, чтобы начать войну с Турцией. Формально согласившись на предложение держав, наша дипломатия поэтому сейчас же занялась выработкой такого толкования ноты, которое делало ее совершенно неприемлемой для турецкого правительства. Произошло нечто в роде преждевременного выстрела. „Дух времени", во образе одной немецкой газеты, овладел этими комментариями и огласил их к сведению всей Европы еще раньше, чем они были официально предъявлены. Впечатление получилось такое, что даже английское министерство поспешило отречься от всякой солидарности с Россией по этому вопросу. К тому же Турция потребовала, с своей стороны, в качестве предварительного условия, вывода русских войск из княжеств,—вполне разумно полагая, что, раз она согласна на русские условия, оккупация, имевшая целью вынудить ее принять эти условия, должна сама собою прекратиться. Посредничество западных держав кончилось полной неудачей—и имело лишь то последствие, что вид всей Европы в роли челобитчицы окончательно укрепил Николая в его самомнении.

На какие реальные факты опиралось это последнее? Английский посол Сеймур говорил, что Николай твердо верил трем вещам: своей военной силе, помощи австрийцев и пруссаков и правоте своего дела. Верить в правоту своего дела было драгоценной особенностью Николая во всех его поступках; он не допускал, чтобы он мог быть не прав. Оснований этой веры приходится искать в его индивидуальной психологии. Мы не пишем здесь индивидуальной характеристики импера-

тора Николая: для истории имеют больше значения два других его верования. „Военная сила“ состоит, во-первых, в людях—во вторых, в деньгах, нерве всякой войны. Насколько Николай был прав, считая себя „сильным“ в этом отношении? Беспристрастный анализ показывает, что найти в прошлом больше самообольщения было бы трудно. Щедрый русский царь, подарившій нищей Австріи шесть милліонов на бедность в дни ее борьбы с революціонными силами, сам был весьма недалек от банкротства. Реформа Канкрина, восстановившая денежное обращеніе, создавала иллюзію богатой, экономически развитой страны: но это была именно только иллюзія. На деле выпуск кредитных билетов, разменивавшихся рубль за рубль, вместо старых ассигнацій, был прежде всего ловким маневром, имевшим целью извлечь золото и серебро из народнаго обращенія и переместить их в казенный сундук. Распространялись слухи, что серебряные рубли совсем потеряют свою ценность и не будут приниматься ни в какіе платежи. Публика поддалась „на удочку“—по выраженію историка русских финансов: в 1840 году в обмен на „депозитки“ (предшественницы кредитных билетов) в депозитной кассе было принято золота и серебра более 25 милліонов рублей, а обратно было представлено билетов для размена на монету менее, чем на полтора милліона. Деньги эти тратились по усмотренію правительства,—между тем „наличность фонда звонкой монеты никогда не достигала даже до определенной в манифесте $^1/_6$ части всего количества государственных кредитных билетов“ [1]). Полную параллель к этому представляет безусловное воспрещеніе вывоза из Россіи за границу золотой и серебряной монеты (указы 12 и 28 апреля 1848 года),—мера, вполне достойная средневекового меркантилизма. Но все надежды удержать звонкую монету в казенной кубышке исключительно для надобностей правительства оказывались тщетными—сама правительственная политика вела к тому, что золото утекало за границу. Тут более, чем когда-либо, сказывалось, что курс бумажных денег определяется не размером запаснаго фонда, а общим доверіем к кредитоспособности данного государства. И так как доверіе буржуазной Европы к самодержавной Россіи, с „непроницаемой тайной“, впсевшей над ея финансовыми делами, было очень не велико, то нам ежегодно приходилось под покровом той же тайны отправлять золото за границу для поддержанія искусственно курса наших кредиток, всегда готовых упасть. В 1847 г., напр., было отправлено в Англію более 5 милліонов, в 1848—6.448.000

[1]) Блюх. Финансы Россіи XIX столетія. I, 239—40.

рублей. Если бы в западной Европе были знакомы с нашим бюджетом—напомним еще раз, что государственная роспись в то время держалась в строжайшем секрете и для того, чтобы показать ее даже наследнику престола, требовалось особое высочайшее повеление—дела, вероятно, шли бы еще хуже. „Дефициты, передержки и перерасходы по росписям были, как и прежде, самым обыкновенным явлением", говорит тот же историк русских финансов: „но теперь никто этим не смущался, считая такой порядок естественным; из года в год расходы озросли несоразмерно с доходами, и для покрытия дефицитов приходилось обращаться к опасному средству, именно к внешним займам; государственное хозяйство, не имея ни одной правильной точки опоры, постепенно приходило в упадок и расстройство" [1]). В то время, как государственные доходы в 1845 году возросли на 7 миллионов, а в 1846 только на 4 мил. против доходов 1844 года—расходы возросли на 17 мил. в 1845 г., на 23 мил. в 1846 году против расходов 1844 года. Недобор доходов, сравнительно с сметными предположениями, в 1846 году составлял более 92 миллионов рублей. Дефицит, по росписи 1849 г. составлявший 28.600.000 р., в 1850 дошел до 38 слишком миллионов при бюджете в 200 мил. с небольшим: это был тот знаменитый год, когда комитет финансов решил скрыть дефицит даже от государственнаго совета, дабы не „повредить государственному кредиту" и не „затруднить ход заграничного займа для окончания работ по сооружению с.-петербурго-московской железной дороги".

Такое состояние финансов вынуждало правительство к экономии, которую, однако, никак нельзя назвать „мудрой". „Сбережения", конечно, делались, главным образом, насчет народного просвещения: но характерно, что иногда Николаю Павловичу приходилось экономить даже насчет столь любимой им армии. В 1843 году на расходы по военному министерству было отпущено на 8 миллионов, по морскому на 2 миллиона рублей менее, чем в предшествующем. Вообще, хотя военные расходы росли, но не быстрее, чем бюджет вообще, а скорее медленнее; в 1842 году при бюджете в 187 мил. на армию предназначалось 69 мил. рублей—в 1852 при бюджете в 261 мил. военное министерство получило 73 миллиона (в первом случае 36%, во втором только 27%). Это обстоятельство следует принимать в расчет, когда речь идет о плохом вооружении наших войск в крымскую войну, сравнительно с союзниками: перевооружение армии всегда составляет колоссальный расход, и этого расхода в смете военнаго министерства 40-х годов мы

[1]) Ibid., стр. 250.

совсем не замечаем. Увеличение военных расходов всегда вызывалось случайным обстоятельством,—обострением военных действий на Кавказе или мобилизацией части армии для похода в Венгрию. То же относится и к флоту: морская смета чрезвычайно осторожна по части расходов на какие-либо нововведения, и только уже в росписи на 1854 год мы находим специальную ассигновку на приобретение в Англии паровой шкуны и механизмов для двух линейных кораблей. Николай Павлович был твердо убежден, как в том, что винтовые пароходы „скоро выйдут из моды", так и в том, что—„штык-молодец" куда лучше „дуры-пули".

Идея „дешевой армии", приведшая в свое время Александра I к несчастной мысли о военных поселениях, продолжала господствовать, таким образом, до половины XIX столетия. Ценилось количество штыков: их было до 500.000 по штатам мирного времени [1]) и более миллиона на военном положении. Это была для того времени громадная цифра, очень импозантная на бумаге—цифра отчасти впрочем дутая: наличный состав отставал от списочнаго на 20%,если не более. Но даже 800.000 хороших солдат—это была сила, далеко превышавшая то, что могла выставить в то время любая из европейских держав: самые сильные, Австрия и Франция, были почти вдвое слабее. Но вот что говорит о качестве этой военной силы военный историк Крымской кампании: „Вооружение нашей армии было весьма недостаточно: в то время, когда значительная часть пехоты иностранных армий уже имела нарезные ружья, и вся пехота их была вооружена ударным ружьем, у нас в некоторых частях войск, все еще существовали кремневые ружья. Обучение пехоты ограничивалось чистотою и изяществом ружейных приемов, точностью пальбы залпами; кавалерия была парализирована столь же красивою, сколько и неловкою посадкою; артиллерия отличалась более быстротою движений, нежели меткостью выстрела. Маневры, производимые в мирное время, были эффектны, но мало поучительны. Продовольствие нижних чинов было весьма скудно и зависело от большего или меньшего довольства местных жителей, у которых доводилось стоять войскам. Имея в изобилии главную из составных частей пороха, селитру, мы, вступив в борьбу с коалицей Европы, терпели крайний недостаток в порохе." [2]) Все эти частные недостатки резюмировались в одном—которого, вероятно, было бы достаточно чтобы обеспечить победу нашим противникам, даже если бы русские солдаты были лучше содержимы и снабжены: наша тактика в пятидесятых годах была тактикой

[1]) 448 тыс. чел. в действующей армии и кадры резервных войск.
[2]) М. Богданович. Восточная война 1853—56 гг. I, стр. 93.

наполеоновских войн. Сомкнутый строй был почти единственной формой построения, знакомой николаевской пехоте: николаевские генералы были, можно сказать виртуозами сомкнутого строя [1]). Целью такого построения был удар в штыки: на ружье смотрели, как на что-то в роде палки, к которой был привинчен штык; ружейному огню придавали так же мало значения, как и в дни Наполеона,—если даже не меньше. На обучение стрельбе ассигновывалось по 10 боевых патронов в год на солдата,—но и это лишь на бумаге: на деле боевой стрельбе обучались только застрельщики (по нескольку человек на роту). В каком положении были ружья у остальных, можно судить по тому, что даже в гвардейских полках стволы ружей были покрыты внутри ржавчиной и пылью, которая счищалась только раз в год. [2]) Иногда нарочно развинчивали ружья, чтобы они эффектнее звякали, когда полк брал „на караул" или „на плечо". Словом, для русской армии прошел совершенно бесследно тот переворот в военной технике, который начался в 1830—40-х годах и завершился ко времени франко-прусской войны: период, когда ружье сделалось главным оружием пехоты и на время оттеснило даже на задний план пушку. Правда, к половине 50-х годов этот прогресс был еще весьма далек от своей высшей ступени: „штуцера" времен Крымской кампании стреляли медленно, при стрельбе сильно отдавали, имели весьма крутую траекторию—и потому не отличались большой меткостью. Но социальные результаты нового вооружения уже сильно сказывались: армия все более и более превращалась в массу стрелков, действовавших в рассыпном строю. При таком построении солдат был предоставлен самому себе и, волей или неволей, хотели или не хотели этого его начальники, приучался „рассуждать": он должен был уметь примениться к местности, найти себе закрытие, выбрать себе цель. Ничего этого не знал солдат старой школы, привыкший, как заводная кукла, шагать взад или вперед, поворачиваться направо или налево по команде офицера. Маршируя всегда по ровному плацпараду, он понятия не имел о том, что такое применение к местности. „Рассуждать" же ему было

[1]) „Колонны строились: дивизионные, взводные, полувзводные, на полных дистанциях и густые, по отделениям, колонны к атаке и из середины: все эти колонны строились не только по фланговым, но и по средним частям: из одних колонн строились другие: из всех этих колонн строились каре, которых было почти столько же различных видов, сколько и колонн". Там же, прилож., с. 17.

[2]) Полковой командир преображенцев „требовал, чтобы ружья старательно чистились наждаком, и строго выговаривал, если, например, затравка не была буквально рассверлена и выполирована чисткою... В той же мере, как беспощадно чистили снаружи, так же беспощадно запускали ружья внутрь. Внутренность ствола ржавела, а ржавчина выедала ямки (раковины): все потому, что начальство смотрело, да и могло смотреть, только на внешность". „Записки старого преображенца", кн. Имеретинского „Рус. Стар". 1900 г.

строжайше запрещено—вся николаевская дисциплина стояла на том, чтобы выбить из человека эту вредную привычку. Чего стоило это армии даже физически, об этом уже рассказано много раз, но в николаевской армии личность подвергалась не менее систематически и моральному умерщвлению. Все офицерство, особенно гвардейское, находилось под строжайшим надзором тайной полиции,—и отзывы сыщиков часто определяли карьеру будущих полководцев [1]). Нет ничего мудреного, если у нас находились офицеры, которых в сражении приходилось фухтелями выгонять из-за фронта, куда они прятались—или бежавшие с поля битвы, нагло сваливая вину на солдат, будто бы не хотевших итти в бой. [2]) Нет ничего мудреного, если впоследствии в Крыму оказался особый разряд генералов „по нездоровью и расстройству нервов покинувших свои дивизии". [3])

Новое вооружение немного прибавило бы такой армии—забитой внизу и до мозга костей развращенной наверху. Защитники Николая Павловича любили указать, что штуцера были и у нас—и, действительно, они были (хотя и в гомеопатическом количестве): но, как всегда, сила была не в них, а в тех, кто из них стрелял. Чтобы с пользой дать в руки русскаго солдата новое вооружение, нужно было пересоздать этого солдата: но перевоспитанием армии стали у нас заниматься только под впечатлением того оглушительного удара, который нам дала Крымская война.

Уверенность Николая Павловича в своем военном превосходстве была, таким образом, большим недоразумением. Без денег, с плохой армией и немного лучшим флотом [4]) Россия не была безусловно сильнее даже Турции, как очень скоро

---

[1]) Вот, например, характеристика измайловских офицеров: „Прошлое поведение некоторых офицеров, в день 14 декабря подстрекавших солдат к отказу от присяги,... должно быть предметом внимания правительства как в настоящем, так и в будущем..." „Между ними (офицерами) много последователей ложных учений, людей порочных..." „...солдаты слишком вольно рассуждают, и часто с самоуверенностью, о предметах, отнюдь не входящих в область их компетенции..." Вот образчик индивидуальной характеристики: „Капитан Семенов. Без состояния, без принципов и без нравственности, человек этот, лишенный средств к существованию, ведет самую распутную жизнь. В день 14 декабря он был в числе тех, которые отговаривали солдат от присяги. Солдаты его роты с его ведома посещают мелочную лавочку, где производится тайная продажа водки". Клеветнический характер некоторых отзывов отмечен самим Николаем „Рус. Старина." 1906 г., декабрь.

[2]) См. Записки кн. Васильчикова, начальника штаба севастопольского гарнизона. „Русский архив". 1891 г., № 6.

[3]) Там же.

[4]) Технически не менее отсталый—у нас были почти исключительно парусные суда, очень мало колесных пароходов и ни одного винтового, тогда как у западных держав их были десятки—наш флот обладал далеко лучшим личным составом, чем сухопутная армия, особенно черноморский,—может быть, потому, что он был за глазами у Николая.

пришлось убедиться Николаю Павловичу; она была безусловно слабее Турции и Франции, вместе взятых—тем менее имела она шансов выдержать столкновение с целой коалицией, куда входила и Англия. Между тем, к этому столкновению приходилось готовиться. При первом же известии о вступлении русских войск в княжества, Наполеон III поспешил двинуть тулонскую эскадру в турецкие воды; немного спустя, весьма нехотя, последовало его примеру и английское министерство—мальтийская эскадра адмирала Дундаса присоединилась к французской. Продолжая заверять Николая в своем миролюбии, торийские министры должны были, однако, его предупредить, что, в случае перехода русских войск через Дунай или нападения черноморскаго флота на один из турецких портов, английские корабли войдут в Черное море. Напор общественного мнения был уже очень силен. Английская буржуазия только что побраталась с французской—депутация Сити торжественно и с ликованием была принята в Париже. Формальный союз между государствами был только вопросом времени. Между тем, положение Наполеона III в этом деле при всей его сдержанности было совершенно определенное: не выручить Турцию, терпевшую все злоключения из-за него, он не мог. И английские газеты, где ежедневно помещались самыя жестокие инвективы на Николая и Россию, ясно показывали, что настроение французских правящих кругов вполне разделялось по ту сторону канала. Вопрос о том, насколько состоятелен другой член символа веры Николая Павловича, гласивший, что Россия и Австрия—это одно и то же, а о Пруссии даже и говорить не стоит,—вопрос этот становился все более и более насущным и интересным.

Общественное мнение как Австрии, так и Пруссии, было настроено по отношению к Николаю ничуть не менее враждебно, чем в Лондоне или в Париже. В Берлине или в Вене тяжелая рука русскаго самодержавца чувствовалась даже гораздо непосредственнее: прусские патриоты не могли забыть Николаю ольмюцкого позора, а либерально настроенная часть австрийскаго общества, т.-е. вся буржуазия, не могла без горечи вспомнить, как русские войска помогли разгромить австрийскую революцию. В Берлине многие находили, что наступил, наконец, момент стряхнуть с себя тяжелый русский кошмар и вновь приняться за работу национальнаго объединения, так грубо прерванную вмешательством русскаго императора, и в числе этих многих были не только купцы и журналисты, а и крупные королевские чиновники. Оба государя—и прусский король и австрийский император были на стороне Николая Павловича, точно так же, как и их дворы: феодальная знать и в Берлине и в Вене видела в лице русскаго императора защит-

нпка порядка и собственности, восторгалась его легитимизмом и даже специально в восточном вопросе не могла не сочувствовать „защитнику христианской веры“ против „неверных“. Но ни прусское министерство Мантейфеля, ни австрийское Буоля, при всех своих феодальных вожделениях, не смели и не могли итти туда, куда их эти вожделения толкали. Прусское правительство не могло порвать со своей буржуазией потому, что все его расчеты на будущее строились на сочувствии к Гогенцоллернам немецкой буржуазии вообще; притом же Пруссия все-таки была конституционным государством. Какой плохой копией парламента ни был ландтаг, как ни слабо было влияние в Пруссии общественного мнения сравнительно с Англией,—вовсе с ним не считаться для министерства было уже невозможно. Австрийское правительство формально было совершенно эмансипировано от влияния общественного мнения: но разоренное государство, с трудом поправлявшее свои финансы, потрясенные революционным кризисом, не могло быть совершенно равнодушно к тому, что говорили и чего желали на бирже и в банках. А здесь, в финансовых кругах, хорошо чувствовали свою солидарность с всеевропейским капитализмом и желали, разумеется, победы на Востоке буржуазным морским державам, а отнюдь не феодальной России. Венская печать в этом случае, как и много раз впоследствии, была верным отголоском венской биржи. Кроме того, у австрийской буржуазии были свои специальные причины желать поражения Николаю. Со времени адрианопольского мира устья Дуная принадлежали России. Связь Австрии с рынками Леванта,—значение которой с каждым днем увеличивалось, с развитием австрийского Ллойда и пароходства по Дунаю—эта связь зависела от произвола русского самодержца. Основательно или нет, но в Вене были убеждены, что русское правительство сознательно мешает расчистке дунайских гирл, чтобы создать лишнее препятствие для австрийской торговли. Отобрание гирл у России, постановка их под общеевропейский, ближайшим образом, австрийский контроль, были очередным вопросом: но обо всем этом не приходилось и думать, пока в княжествах стояла русская армия. Если прибавить, что положение этой армии, в тылу у Венгрии, создавая для России позицию, охватывающую восточные области габсбургской монархии, было для последней крупной стратегической опасностью, которая одна, сама по себе, должна была вызвать беспокойство даже в австрийских правящих кругах, что повелительный тон русского императора давно уже надоел правительству Франца-Иосифа,—которое давно уже не прочь было показать, что венгерская кампания вовсе еще не сделала Австрию вассалом России („мы удивим мир своею не-

благодарностью", говорил еще в 1850 году тогдашний австрийский премьер, кн. Шварценберг), то мы получим довольно полный перечень влияний, равнодействующая которых сводилась к тому, что Австрия, не вмешиваясь непосредственно в войну, должна была занять положение нейтральное, но отнюдь не дружественное по отношению к России.

Такой исход сколько-нибудь проницательные наблюдатели могли предвидеть еще до начала войны. Английский посол Сеймур усиленно и добросовестно старался рассеять иллюзии Николая Павловича относительно Австрии. Но русский император, привыкнув топтать в грязь слабое общественное мнение у себя дома, не придавал этому фактору значения и в политике западно-европейских государств, особенно тех, правительства которых он причислял к своим друзьям. Личные узы дружбы и признательности, связывавшие его с молодым австрийским императором, близкое родство с прусским королем казались ему вполне достаточной гарантией дружного содействия обоих государств России в восточном вопросе. Ему нужен был горький опыт для того, чтобы понять то, что уже заранее совершенно отчетливо видел его английский собеседник.

Разочарование должно было наступить как раз в тот момент, когда победы только что окончательно развеселили Николая Павловича. Правда, эти победы имели довольно жалкий вид, в сравнении с теми широкими и смелыми ожиданиями, какие высказывал Николай до войны. Посредничество западных держав на время отсрочило открытие военных действий: только в сентябре Порта решилась, наконец, превратить свое пожелание об очищении русскими войсками княжеств в ультиматум. В это время неприкосновенность, по крайней мере, Константинополя могла считаться гарантированной; 8 октября французская и английская эскадры пришли в Босфор—и о захвате черноморским флотом Царьграда не могло быть речи. Уже тогда отношения к Англии были настолько натянутыми, что была сделана попытка терроризировать английскую буржуазию: министр финансов Брок призывал к себе английских негоциантов в Петербурге и от имени государя намекал им на возможность войны. 20 октября 1853 года появился манифест Николая, возвещавший о начале военных действий: к этому времени русский император мог торжественно засвидетельствовать свое миролюбие, указав на нападение турок, как на совершившийся факт. Турецкий главнокомандующий на Дунае, Омер-паша, не выждал окончания пятнадцатидневного срока, данного нам Турцией для вывода армии из княжеств. Впрочем, совершенно очевидно было, что русские и не думают уходить. В то же время, однако, манифест указывал принципиальное основание для войны: Порта

„приняла мятежников всех стран в ряды своих войск". И на Дунае Николай продолжал бороться с европейской революцией...

Стратегические условия борьбы сразу же стали для России весьма невыгодными. Нашим войскам пришлось занять оборонительное положение. Главнокомандующий русской армией в княжествах, кн. М. Д. Горчаков, имел в своем распоряжении номинально около 80 тыс. человек при 196 орудиях: практически, за отделением отряда для охраны дунайских гирл и за вычетом больных, у него было не более 55.000 человек. Отчасти экономия, отчасти горделивое презрение к туркам помешали мобилизовать более значительные силы: в результате, к октябрю месяцу Омер-паша был сильнее Горчакова, имея от 100 до 120 тысяч человек. Качественно, эти войска, к немалому удивлению Николая Павловича, оказались вполне способными выдерживать бой с русскими. Фронтовая выправка турок, правда, была очень плоха, но вооружены они были лучше нас— у них было больше нарезного оружия, и они умели им владеть. Попытки Омер-паши перейти в наступление как на нижнем Дунае, так и со стороны Видина, были отбиты—но при обстоятельствах, которые заставляли весьма скептически относиться к будущему ходу кампании. В первом случае, при переправе турок между Туртукаем и Ольтеницей, им удалось отбить все русские атаки—и они ушли обратно за Дунай, не отброшенные нами, а в силу стратегических соображений Омер-паши, не желавшего втягиваться в серьезное дело. Во втором случае (при Четати), русские войска остались хозяевами поля битвы,—но этот формальный успех пришлось купить такими жертвами, что Николай Павлович пришел в недоумение, близкое к отчаянию. „Ежели так будем тратить войска, то убьем их дух", писал он князю Горчакову, „ и никаких резервов не достанет на их пополнение. Тратить надо на решительный удар— где же он тут??? Потерять 2.000 человек лучших войск и офицеров, чтобы взять 6 орудий и дать туркам спокойно воротиться в свое гнездо... это просто задача, которой угадать не могу, но душевно огорчен, видя подобные распоряжения".

Несколько лучше шли русские дела в азиатской Турции. Сил здесь было еще меньше: тогдашний кавказский наместник, кн. Воронцов, запрошенный перед войной, сколько войск он может уделить на турецкую границу из кавказской армии, ведшей войну с горцами, назвал 4 батальона (т.-е. 4.000 человек). Пришлось спешно переправить в Закавказье дивизию из Одессы. При всем том, главные силы русской армии, стоявшие у Александрополя, не превышали 10 тыс. чел. Турок было, по крайней мере, втрое больше, но лучшие их войска были на Дунае. Азиатская же их армия носила вполне старо-

модный характер. После нескольких стычек, более или менее удачных для нас, первое крупное дело, (при Башкадыкляре 19 ноября) окончилось решительно в нашу пользу: были взяты орудия, пленные и весь турецкий обоз. Стратегических последствий битва никаких не имела, так как русские войска были слишком слабы для перехода в наступление. По крайней мере, можно было вновь говорить о славе русского оружия, так скомпрометированного в Румынии.

Но к тому времени, когда в Петербург пришло известие о Башкадыкляpском сражении, там уже знали о другом событии, гораздо более эффектном, как военная удача, и быстро приобретшем громадное политическое значение: то был разгром турецкого флота в синопском порте 18 ноября. Делая из необходимости добродетель, император Николай уверял до тех пор, что русская армия намерена ограничиться исключительно оборонительными действиями,—что нападение на Турцию вовсе не входит в его планы. Тем не менее, было совершенно очевидно, что одною обороной дело никоим образом кончиться не могло—и если русские войска на сухом пути не имели до сих пор случая перейти в наступление, то такой случай скоро представился черноморскому флоту. До нас дошли сведения, что турецкий флот, сосредоточенный на синопском рейде (в Малой Азии), собирается перевозить подкрепления, съестные и боевые припасы кавказским горцам, воевавшим с Россией. Так ли это было, осталось невыясненным; союзники Порты утверждали впоследствии, что груз турецкого флота предназначался для турецкой же крепости, Батума,—что турки, стало быть, не выходили из сферы оборонительных действий, и ни о какой экспедиции против России не было и речи. Как бы то ни было, начальник русской эскадры, крейсировавшей у берегов Малой Азии, адмирал Нахимов, решил предупредить турок и, войдя около полудня 18 ноября на синопский рейд с шестью линейными кораблями, после боя, длившегося несколько часов, сжег все турецкие суда: спасся только один пароход. Исход боя в сущности был предрешен заранее: на русской эскадре было 716 орудий, которым турки могли противопоставить только 476 —почти вдвое менее. К тому же турки еще очень давно сами в себе сделали заключение, что Аллах дал землю правоверным, а море неверным—тогда как русский черноморский флот был лучшей боевой силой, какой только располагал император Николай. Тем не менее, восторг самого Николая и всей сочувствовавшей ему части русского общества был безграничный. Наконец, это была настоящая победа, напоминавшая дни Наварринской битвы и похода за Балканы. Подвиги Нахимова воспевал целый ряд поэтов, от старого князя Вяземского до юных

студентов московского университета. „Нахимов молодец, истинный герой русский", писал С. Т. Аксаков Погодину. „Я думаю и рожа у него настоящая линовая лопата"... Наивные люди были уверены, что синопская победа „посбавит спеси у Джон Буля" — и что теперь России все европейские флоты нипочем.

На „Джона Буля" синопская победа, действительно, произвела впечатление,—но не совсем то, какого ожидали простодушные русские патриоты. Разгром турецкого флота в турецкой гавани после того, как Англия формально поручилась за неприкосновенность турецких портов, разгром почти на глазах английских военных кораблей, стоявших в Босфоре — это была пощечина, которой английское общество не могло перенести. Вопрос о разрыве с Россией сделался вопросом жизни и смерти для торийского министерства. „Меня обвиняют в трусости, в том, что я изменил Англии ради России", говорил русскому послу лорд Эбердин: „я не смею показаться на улице, больше я не могу бороться". Принца Альберта, мужа королевы Виктории, которого считали сторонником мира с Россией, при открытии парламента толпа встретила свистками. В то же время Пальмерстон, глава враждебных России вигов, был самым популярным человеком в стране. Он нарочно вышел в это время из кабинета[1]), где он занимал мало-влиятельный пост министра внутренних дел,—чтобы показать, что без него не обойдутся. И действительно, несколько дней спустя, королева была вынуждена вновь просить его вступить в министерство. Формальное соглашение с Францией—до сих пор успешно тормозившееся Эбердином и его товарищами—состоялось без замедлений. Оба адмирала, французский и английский, получили одновременно от своих правительств тождественные инструкции, предписывавшие им войти со своими эскадрами в Черное море и „охранять неприкосновенность турецкого флота и турецкой территории". Инструкции эти были сообщены командиру русского черноморского флота в Севастополе, с заявлением, что союзные морские силы не допустят ни нападения турок на русские берега, ни русских на турецкие. Но турецкий флот почти не существовал, а для русского весь стратегический смысл синопской победы заключался в возможности беспрепятственно развивать дальнейшие операции на Черном море, помогая обеим сухопутным армиям на Дунае и в Азии и связывая их между собою. Теперь они были лишены и этой связи и этой поддержки. Война России с Францией и Англией из возможности становилась действительностью. Правда, Наполеон III до последней минуты продолжал аффектировать свое миролюбие. Одновре-

[1]) Не член торийского, а коалиционного, из левых тори („пилитов") и вигов.

менно с появлением союзных эскадр на Черном море, он отправил Николаю Павловичу письмо, где предлагал приостановить военные действия на Дунае и в Азии и вывести русские войска из княжеств, обещая, в виде эквивалента, удаление французских и английских кораблей из Черного моря. Но Николай Павлович был теперь, после двух побед, вовсе не в таком настроении, чтобы пойти молча на обидный для себя компромисс. По всей вероятности, и Наполеон не ждал на свое письмо удовлетворительного ответа и написал его не столько для Николая, сколько для европейского общественного мнения. Русский император высокомерно напомнил своему французскому „доброму другу“ о 1812 годе, поручился за его повторение и порекомендовал туркам, ежели они хотят мира, обратиться непосредственно к нему, Николаю. „Мои условия известны в Вене“, прибавлял он для справки. Вена, очевидно, представлялась ему чем-то в роде петербургского предместья. Тем не менее как ни был он уверен в личной преданности ему австрийского императора и прусского короля, нужно было все же с ними столковаться насчет совместных действий на случай возникновения войны с морскими державами. Для этой цели, в самом начале 1854 года, были отправлены в Берлин бар. Будберг, а в Вену, в качестве чрезвычайного посла, личный друг Николая Павловича, гр. Орлов. Их донесения были ударом грома из ясного неба. Оказалось, что в Берлине господствует не русское влияние, но английское, что Фридрих-Вильгельм IV, при всем сочувствии к Николаю, считает его специально в восточном вопросе неправым; что Наполеона III он ненавидит всей душой но в то же время слишком боится, чтобы предпринять какие-нибудь активные шаги в русско-французской ссоре. Официально берлинский кабинет ответил, что Пруссия не считает возможным принять участие в вооруженном нейтралитете, совместно с Россией и Австрией, ибо это значило бы подвергать себя таким случайностям, последствия которых нельзя предвидеть. Известия из Вены были, если это возможно, еще хуже. На предложение дружественного нейтралитета или союза там ответили контр-предложением: гарантировать предварительно неприкосновенность Турции. Кроме того, Франц-Иосиф в разговоре с гр. Орловым выразил желание, чтобы русские войска не переходили через Дунай: австрийское правительство опасалось, что появление русских за Дунаем будет сигналом к поголовному восстанию балканских славян, и что это восстание может отдать в руки России весь Балканский полуостров. Предполагаемый союзник России, оказывалось, готов был предпринять шаг, вполне аналогичный тому, какой только что сделали морские державы: те стесняли русские операции на Черном

море, Австрия же хотела их ограничить и на сухом пути. Помимо этого, Франц-Иосиф и не думал скрывать, что по отношению к дунайским княжествам он считает свои интересы тождественными с интересами Англии и Франции, а отнюдь не России. Очищение княжеств русскими войсками он находил столь же неизбежным условием восстановления нормального порядка, как и Наполеон III.

Трудно описать раздражение, охватившее Николая Павловича, когда до него дошли эти известия. Прусского короля он слишком презирал, чтобы ненавидеть. Но Францу-Иосифу, которого он „любил, как сына", он не мог простить измены. На смертном одре он говорил впоследствии, что готов примириться „даже с австрийским императором и турецким султаном": для него это теперь было одно и то же. В первую же минуту его негодование вылилось в одной фразе, чрезвычайно характерной для этого коронованного помещика: „скорее оставлю Польшу, отнущу на волю, чем позабуду австрийскую измену". И хотя миссия Орлова и веденные им переговоры были секретом, он не мог удержаться от открытой манифестации по адресу Австрии. Русские полки, носившие имена Франца-Иосифа и австрийских эрцгерцогов, получили других шефов, а русским офицерам запрещено было носить австрийские ордена — очень распространенные у нас, благодаря венгерской кампании.

Положение, занятое Австрией, ставило под вопрос всю судьбу дунайской кампании. Было совершенно очевидно, что вчерашний союзник Николая Павловича ни в каком случае не допустит ничего похожего на войну 1829 года. Двинувшись за Дунай, русская армия каждую минуту могла ожидать, что австрийцы сядут ей на плечи. О возможности такой ситуации, совершенно не предвиденной Николаем, некоторые даже в России догадывались с самого начала войны. К числу их принадлежал и главный русский авторитет по военным вопросам князь Паскевич—наместник Польши и главнокомандующий так называемой „действующей" армии (первые четыре корпуса). Еще осенью 1853 года он писал Николаю: „Самый опыт убеждает нас в том, что как бы мы ни зашли далеко, хотя бы взяли Варну, перешли Балканы и достигли Адрианополя, во всяком случае, Европа не допустит нас воспользоваться нашими завоеваниями". „Спросят: что же мы выиграем, оставаясь в оборонительном положении? Выиграем очень много: не поссоримся с Европой, не остановим торговли, не помешаем дипломатическим сношениям, которых результаты могут быть нам выгодны". По мнению Паскевича, в наших руках было гораздо более верное средство принудить турок к уступкам, чем движение русских войск за Дунай. Средство это—агитация среди

христианских подданных Турции. Понимая, до какой степени это средство должно было изумить его корреспондента, Паскевич спешит его успокоить: „Меру сию нельзя, мне кажется, сменивать с средствами революционными. Мы не возмущаем подданных против их государя(?); но если христиане, подданные султана, захотят свергнуть с себя иго мусульман, ведущих с нами войну, то нельзя без несправедливости отказать в помощи нашим единоверцам...“ Русский фельдмаршал надеялся найти союзников не только на Балканском полуострове: „В кампанию 1829 года“, писал он (тогда Паскевич был главнокомандующим русскими войсками в азиатской Турции), „в расстоянии 400 верст от границы я уже нашел племена греческие. Целые деревни просили оружия, чего не было в Армении. Далее, до самого берега, против Константинополя, на протяжении 900 верст везде по деревням встречается греческое население, и только в городах живут турки“...

Император Николай тогда остался глух к советам своего „отца-командира“. Но вмешательство в войну морских держав и дезертирство Австрии наводили на тот же строй мыслей все с большей и большей убедительностью. Их выразителем явился на этот раз другой авторитетный человек николаевской России, московский историк Погодин. В своих „политических письмах“, ходивших между публикой в рукописях и обращавшихся не столько к этой публике, сколько к Николаю и его наследнику, издатель „Москвитянина“ развертывал план, по задаче аналогичный тому, что предлагал раньше князь Варшавский, но гораздо более грандиозный и построенный не на вероисповедном, а на более модном национальном основании. Где искать нам союзников? спрашивает Погодин. Кажется, все европейцы теперь против нас? И отвечает перечнем славянских стран, не только турецких, но и австрийских: на ряду с Болгарией и Сербией, мы находим здесь и Богемию с Моравией. „Восемьдесят слишком миллионов!“ восклицает он. „Почтенное количество! порядочный союзец!“ Погодин предлагал назвать этот „союзец“ дунайским, славянским, юго-восточным европейским — и дать ему столицей, разумеется, Константинополь, а председательницей, конечно, Россию. Характерной особенностью погодинского проекта было то, что в число равноправных членов союза он ставил и Польшу: слова Николая Павловича, что он готов поляков „отпустить на волю“, лишь бы доканать Австрию, крепко засели в памяти его московского советчика,—он записал их в своем дневнике. Щекотливую задачу—примирить поляков с Николаем—московский публицист брал на себя, если последует высочайшее соизволение: в таком случае он готовился писать Мицкевичу и Лелевелю и надеялся их „обратить“. Это

был, несомненно, самый трудный пункт. В прочих местах дело было гораздо легче. „Для австрийской Сербии, то есть воеводины Сирмии, есть у меня надежный человек", писал Погодин, „патриарх, с которым я виделся в Вене даже недавно, и беседовал дружески, а прежде, в 1846 году, я жил у него несколько времени в Карловце. Ему стоит только мигнуть через священника нашего в Вене, и она (Сирмия) восстанет. Есть еще у меня там один протопоп, который поспорит, наверное, Петра пустынника и заменит целый корпус. Богемия, Моравия, словаки пылают ненавистью к Австрии, и там произойдет непременно движение, лишь только огласится разрыв с Россией... Галиция готова соединиться с нами. С Венгрией фельдмаршал (Паскевич), слышно, имеет сношения"[1]).

Если возмущение малоазиатских греков против турецкого султана и можно было с натяжкой не считать революцией, то организация восстания австрийских славян против их императора, несомненно, была „революционным действием". Тем не менее, Погодин не только не попал в Вятку или куда-нибудь еще восточнее, а получил даже высочайшую благодарность „за верноподданническую откровенность": так далеки мы были от тех времен, когда циркуляры министерства народного просвещения предписывали всем профессорам обличать злокозненность панславизма. Прямо, однако же, последовать советам Погодина было неудобно: нейтралитет Австрии, хотя бы враждебный, был все-таки лучше войны с нею. По существу же, он не говорил правительству ничего нового: оно само давно держалось линии, весьма близкой к проектам Паскевича и Погодина. Очень возможно, что „письма" последнего были вдохновлены правительственной инициативой. Еще в марте графиня Блудова писала ему из Петербурга: „Два слова прибавлю — насчет Боснии. Там Ковалевский с некоторою тысячею успел много сделать. Он подготовил все. Должны были на-днях ехать отсюда к нему в Черногорию два артиллериста, но все откладывают! Если, однако же, доедут, то по всему вероятно, скоро завяжется дело — на несколько времени хватит того, что дано". Блудова прибавляла, что все это сделается с разрешения государя, но „только неофициально": этих вещей официально и нельзя делать, потому что „тогда они не удаются"[2]). Одновременно с Ковалевским был отправлен в Сербию Фонтон, советник нашего посольства в Вене, и особый агент в Грецию с деньгами для существовавшей в Афинах комиссии по собиранию средств на

[1]) Из частного письма Погодина к Прянишникову, одному из посредников между ним и Паскевичем. Барсуков, XIII, 109 сл.

[2]) Ibid., 81.

освобождение Эпира и Фессалии от турок. Эта комиссия—учреждение уже совершенно мятежнического характера, одна из наследниц знаменитой „этерии", в самом начале войны предлагала организовать восстание греков, еще продолжавших находиться под турецким владычеством,—под условием щедрой поддержки со стороны России оружием и деньгами. Тогда это предложение было отклонено, теперь к ней обратились, и в ее распоряжение была предоставлена значительная сумма—300.000 рублей.

Глава европейскаго легитимизма быстро входил в новую роль революционного агитатора на Балканском полуострове. Оставался вопрос, насколько эта роль ему по плечу. Что касается балканских народностей, то они совсем не спешили вверить свою участь новоявленному освободителю. И они имели к этому свои основания. Слишком еще недавно агентов русского правительства видели рядом с австрийскими, заботящихся не столько об облегчении страданий несчастной райи от турецкого гнета, сколько об ее „успокоении". Тот же Фонтон в начале войны—т.-е. всего несколько месяцев тому назад—должен был внушать сербскому правительству уважение к международным трактатам и отвращение к элементам революции и к „нововведениям, несогласным с состоянием цивилизации и с политическим положением страны". Борьба с „революционной пропагандой" была его нарочитой задачей: он должен был неустанно напоминать сербам, что Россия не потерпит, чтобы Сербия сделалась „революционным очагом, нарушающим спокойствие соседних государств". Во всем этом Фонтон должен был действовать „в тесном единении с представителем Австрии". Когда теперь тот же русский агент обратился к князю Александру Карагеоргиевичу (вдобавок, лично враждебному к России, которая сделала в свое время все возможное, чтобы не пустить его на сербский престол) с предложением восстать против султана,—которого князь был вассалом,—коварный серб ответил ссылкой на прежние советы русского правительства, так хорошо им усвоенные, и на 25.000 австрийских войск, сосредоточенных на границе Сербии. Оставалось сделать еще шаг по пути революционнаго разврата—и обратиться к „народу" помимо и вопреки воле его правительства. Но сербы давно уже избавились от непосредственного угнетения турок,—а к панславистским идеям они, повидимому, были глубоко равнодушны. Удалось завербовать несколько сот сербских волонтеров, но этим все дело и ограничилось: фактически Сербия, как правительство, так и народ, строго держала нейтралитет. Блестящие успехи русского оружия на Дунае, может быть, изменили бы эту картину—но они все заставляли себя ждать.

Еще хуже, чем с Сербией, было дело с маленькой Черногорией, которая самым своим политическим существованием была обязана России. Ради торжества лояльности она в это время совершенно была предоставлена австрийской опеке. Когда перед самой войной турецкая армия Омер-паши готовилась вторгнуться в Черногорию и смести маленький народ с лица земли, не русский посол в Константинополе, а австрийский генерал властным словом остановил нашествие. Не мудрено, что во время войны и без советов полковника Ковалевского—которому тоже вначале было предписано внушать черногорцам „спокойствие"—последние больше оглядывались на Австрию, чем на Россию. Ближайшие к нам географически обитатели Молдавии и Валахии обнаруживали еще менее горячности к борьбе с неверными—и, помня подвиги русского правительства в 1848 году, предпочитали прямо оказывать услуги туркам. Наконец, что касается турецких христиан вообще, то как раз в эту минуту они были успокоены торжественным заявлением Порты, обещавшей им неприкосновенность их религии и церковного иммунитета—тем самым фирманом, который султан издал в ответ на настояния России и по совету своих западных союзников. Более проницательная часть райи могла догадываться, что фирман и на этот раз останется писанной бумагой—но это все же было хоть обещание, а дружба с Россией при настоящем положении вещей ничего не обещала, кроме неприятностей. В результате, греческое духовенство, с константинопольским патриархом во главе, нашло возможным поднести султану верноподданнический адрес с изъявлениями своей преданности. Патриарх вообще держал себя так, что у английского посла, Стрэдфорда Рэдклифа, явилась, как говорят, даже мысль—использовать его с целью причинения специально церковных неприятностей русскому правительству: патриарх должен был объявить русскую церковь отпавшею от православия. Так далеко, однако же, греческий иерарх не пошел.

Когда военные действия возобновились переходом русских войск через Дунай—в марте 1854 года—новая фаза русской политики была еще в самом начале, но никаких утешительных перспектив уже не было видно. В течение зимы в княжествах было сосредоточено до 120.000 войска; во главе его стоял сам фельдмаршал Паскевич—и тем не менее, ничего похожего на недавнюю самоуверенность нельзя было заметить. Новый главнокомандующий уезжал с самыми мрачными предчувствиями. Он опять вернулся к своей оборонительной теории и на совещаниях в Петербурге перед отъездом советовал Николаю отвести войска за Серет и даже за Прут—т.-е. на русскую территорию, совершенно очистив княжества. Относительно проектов

Погодина, его окружающие и, повидимому, он сам были согласны что это —„поэзия и что нет ни доброй воли, ни силы у христиан освободиться“ [1]). У Паскевича однако не хватило гражданского мужества переубедить своего государя, который по-прежнему старался бодро смотреть в глаза будущему. Тем не менее, и Николай был теперь не тот. Он, который год тому назад надеялся в несколько недель овладеть Царьградом, теперь не шел дальше надежды в течение полугода овладеть Силистрией, „а, быть может, и Рущуком“. „Но сим должны мы ограничиться на 1854 год“, писал он Паскевичу. Последний, ознакомившись с положением дел на месте, не питал даже и таких скромных ожиданий. „В случае войны с Австриею, нам невозможно держаться на Дунае и в княжествах“, писал он 11 апреля Николаю из Измаила, „поэтому нельзя предпринять никаких наступательных движений до получения положительных сведений о намерениях Австрии“. Он присоединял к этому свой старый совет „очистить добровольно княжества, чтобы занять в наших пределах более надежную позицию и, вместе с тем, отнять у Германии всякий предлог к разрыву с нами“.

Что касается намерений Австрии, то она реагировала на переход русскими войсками Дуная такими шагами, которые оставляли чрезвычайно мало надежды даже на ее нейтралитет. Ее обсервационный корпус на границах Сербии и княжеств с 25.000 человек был доведен до 80.000 и предвиделась дальнейшая мобилизация. 9 апреля (н. ст.) Австрия вместе с Англией и Францией подписала протокол, который очищение русскими княжеств ставил как одно из непременных условий какого бы то ни было соглашения с Россией. К вящшему огорчению Николая, под этим протоколом поставила свою подпись и Пруссия: Николай Павлович только что грубо отклонил добродушную попытку посредничества, от которой не воздержался Фридрих-Вильгельм IV, и этот романтический король чувствовал себя теперь кровно обиженным Россией. Его феодальные друзья, почитатели русского императора, на время потеряли всякое влияние над ним. Подталкиваемое снизу буржуазией, прусское правительство шло теперь в сущности по линии наименьшего сопротивления. Германские государства уже были связаны друг с другом взаимным обязательством—помогать друг другу в поддержании нейтралитета: другими словами, если бы Россия вздумала, увлекшись панславистскими планами в погодинском духе, напасть на Австрию, она имела бы против себя и Пруссию, и весь Германский союз. Но Австрии этого казалось мало. 20 апреля (н. ст.) между нею и Пруссией была заключена

[1]) Из письма гр. Блудовой, 77.

специальная военная конвенция, предусматривавшая, между прочим, случай, когда Австрии придется оккупировать дунайские княжества и при этом, быть может, столкнуться с русскими войсками. В этом случае Пруссия обязывалась в определенный срок сосредоточить на русской границе 100.000 войска. Получив заверения, что австрийские штыки, во всяком случае, не перейдут Прута,—т.-е. что Австрия не собирается вести наступательной войны против России, Фридрих-Вильгельм подписал и эту конвенцию. Теперь все крупные государства западной Европы или были в открытой войне с Россией [1]), или заняли по отношению к ней положение враждебного нейтралитета.

Под впечатлением всех этих событий, настроение русского главнокомандующего становилось все более угнетенным. Повинуясь приказанию своего императора, он шел вперед—но ум его был поглощен мыслью о неизбежном отступлении и о том, как его совершить. Черепашьим шагом он углублялся в Болгарию - но все время оглядывался на Карпаты, ежеминутно ожидая появления оттуда белых мундиров. Его первым распоряжением было очистить Малую Валахию –т.-е. ту часть Румынии, которая ближе всего к Сербии. Этим был окончательно обеспечен нейтралитет последней, что должно было несколько успокоить и смягчить Австрию. На обитателей княжеств это произвело такое впечатление, что почти ни один из солдат и офицеров распущенной молдаво-валашской армии не отозвался на приглашение вступить в русскую службу: русское дело считалось заранее проигранным.

В начале мая, почти через два месяца после переправы через Дунай, русская армия подошла, наконец, к Силистрии—той из дунайских крепостей, взятие которой Николай считал главной задачей летней кампании 1854 года. Турецкие укрепления вокруг Силистрии не были еще окончены - в момент нашей переправы, в марте, их почти вовсе не было, и тогда легко было захватить крепость открытым нападением. Теперь приходилось вести правильную осаду. К ней Паскевич приступил так же осторожно, как и ко всему, что он предпринимал в это время. Несмотря на то, что в его распоряжении было до 90 тыс. чел. войска, тогда как гарнизон турецкой крепости не превышал 18 тысяч, он не решился окружить ее со всех сторон. Напротив, сам он очень опасался быть окруженным—и, прежде всего, поспешил тщательно укрепить свой собственный лагерь, как будто ему предстояло в ближайшем будущем из осаждающего превратиться в осажденного. Напрасно Николай Павлович доказывал ему, что ни австрийская армия, ни

[1]) Манифест о войне с Австрией и Францией подписан 9 февраля 1854 года. См. ниже, ч. Севастополь.

англо-французский десант не могут очутиться на нижнем Дунае так скоро—и что в течение, по крайней мере, семи-восьми недель ему не придется иметь дело ни с каким неприятелем, кроме тех турок, которых он видел перед собой. Осадные работы велись так же осторожно и пугливо, как и все остальное: приказано было вести их с таким расчетом, чтобы осаду можно было без затруднений снять в каждый данный момент. Между тем обнаруживались зловещие признаки дезорганизации армии и внизу, и вверху. В ночь открытия траншей, из-за случайного выстрела какого-то солдата, паника охватила целую бригаду, и она бежала, бросив на произвол судьбы инженерных офицеров с их рабочими, которых должна была прикрывать. Так как нашими противниками, к счастью, были турки, то приключение это обошлось без дурных последствий. Но две недели спустя Николай Павлович и его двор были ошеломлены известием о другом акте инсубординации, на этот раз среди высших чинов армии, имевшем самые грустные последствия. Командовавший войсками против одного из фортов Силистрии, Араб-Табии, генерал Сельван, поддавшись убеждениям состоявшей при нем гвардейской молодежи, наскучившей сидеть против крепости и желавшей отличиться, самовольно, не спросясь главнокомандующего, повел на приступ свою дивизию. Так как атака была совершенной импровизацией, то другие части армии не могли ее поддержать: получилось крайне беспорядочное и кровавое дело. В довершение несчастья, когда головы русских колонн уже взбирались на турецкие окопы, Сельван был убит, и принявший вместо него команду генерал, испугавшись ответственности, велел ударить отбой. Отступая под жестоким огнем турок, наши войска потеряли еще множество народа. Почти все виновники этого безумного предприятия погибли или были искалечены, и Николай решил предать дело воле божией. „Надеюсь", писал он, однако, Паскевичу, „что возьмем свои меры, чтобы впредь таковой необдуманной отваги и бесплодной траты людей не было". Для борьбы с необдуманной отвагой в это время нельзя было изобрести человека лучше князя Варшавского: десять дней спустя он приказал приостановить работы против правого фланга крепости, находя, что они „слишком быстро подвигаются вперед". А еще через несколько дней, в самый критический момент осады, он приказал снять с позиций и перевезти на другую сторону Дуная всю осадную артиллерию, кроме нескольких мортир. Наконец, ему надоело продолжать эту комедию. Он воспользовался тем, что во время одной рекогносцировки турецкое ядро упало к ногам его лошади, объявил себя контуженным и уехал из армии, сдав команду ки. Горчакову. Николай, в первую минуту серьезно поверивший

контузии, был очень обрадован, что его любимец жив. В то же время он слал его заместителю приказы действовать возможно энергичнее. Но в том, что касалось осторожности, кн. Горчаков—бывший начальник штаба Паскевича—был вполне солидарен с „отцом-командиром". Наши работы уже подошли вплотную к турецким укреплениям, некоторые из последних были взорваны минами, которые очень удачно вел будущий герой Севастополя, подполковник Тотлебен,—все было готово к штурму, когда Горчаков получил от фельдмаршала письмо, начинавшееся такими строками: „Желание наше, любезный князь, исполнилось: государь приказал прекратить осаду Силистрии и отвести войска на левый берег Дуная".

Отступление русских войск от Силистрии было тяжелым разочарованием для патриотически настроенной части русского общества. Шевырев писал Погодину: „Признаюсь, прочитав известие нынешнее, я так упал духом, что никуда не хочется ехать... Грустно! Лучше молиться богу и сидеть дома!.." А. С. Т. Аксаков даже захворал, узнав о „бегстве за Дунай" русской армии. Некоторые подробности этого бегства производили особенно удручающее впечатление. Силистрийские болгары принадлежали к числу немногих балканских славян, доверявших России. Они деятельно обслуживали нашу армию в качестве проводников, погонщиков и шпионов. Отступление наших войск за Дунай было для них смертным приговором: не могло быть сомнения, что турки их вырежут. Им ничего не оставалось, как со всеми семьями переправиться вместе с русскими в Румынию. Но русский главнокомандующий отказался их взять. Горчаков ожидал, что турки немедленно двинутся за ним по пятам, и спешил переправить свои обозы и артиллерию. Болгар запрещено было перевозить, и несколько сот семейств осталось на верную гибель на глазах русской армии, которая могла видеть турецкую расправу с левого берега Дуная. Для ревнителей „юго-восточно-европейского" союза всех славян со столицей в Константинополе нельзя было придумать более злой иронии. Но поклонники Николая были бы еще больше разочарованы, если бы им была известна подкладка события. Официальные известия изображали его, как военную неудачу, говорили о нашем отступлении за Дунай и позже за Прут, как о вынужденном стратегическими соображениями. Только в более тесном кругу знали, что это было крупнейшее политическое поражение—начало конца всех широких планов императора Николая. Непреклонный император уже несколько недель, как шел на уступки—но их не принимали. Сначала он надеялся столковаться на основе так гордо отклоненного им письма императора французов: через посредство берлинского двора он

предлагал своим противникам, в том числе и Австрии, очистить княжества на условии, что союзные эскадры в это же время уйдут из Черного моря. Но это была уже устаревшая комбинация: Австрия требовала удаления русской армии из княжеств без всяких условий. Николай нашел в себе еще достаточно бодрости, чтобы формально ответить „нет“, но, по существу, он не мог не понимать, как неизбежно для него подчиниться этому требованию. В начале июля Австрия имела на нашей границе и в непосредственной близости к ней уже 182.000 человек и 376 орудий. Русскому правительству оставалось на выбор одно из двух: или дожидаться, пока эти войска выгонят нас из княжеств, что в союзе с турками они вполне могли осуществить, или еще раз сделать из необходимости добродетель. Николай выбрал последнее: дунайская армия составляла нашу главную боевую силу, и ее приходилось беречь. 20-го июля русские войска очистили Бухарест, медленно отступая на северо-восток; только в конце августа их арриергард переправился на левый берег Прута. Следом за ними также медленно двигались австрийцы и турки, после продолжительного перерыва вновь фактически восстановлявшие свои права на Молдавию и Валахию. Завоевательный поход Николая потерпел полное крушение; немного дней спустя, ему приходилось уже обороняться от врага на своей собственной территории.

4.

Севастополь.

22 декабря 1853 года русские послы в Париже и в Лондоне, Киселев и барон Бруннов, вручив одновременно тождественные заявления соответствующим правительствам, потребовали свои паспорта. Дипломатические сношения между Россией и морскими державами были, таким образом, прерваны. Но, как это было и с Турцией, военные действия начались не тотчас. Только 9 февраля следующего года появился манифест Николая Павловича. Он начинался обычным заявлением искреннего желания русского императора „прекратить кровопролитие“. Но „коварные наущения“ Англии и Франции помешали этому благому желанию осуществиться. „Итак, против России, сражающейся за православие, рядом с врагом христианства становятся Англия и Франция“. Дальше следовало, уже знакомое нам по переписке Николая с Наполеоном III, воспоминание о 1812 годе. Манифест заключался довольно неожиданно цитатой из псалма против духа лукавого: „Да воскреснет бог, и расточатся враги

его!" Текст этот не понравился даже старому генералу Граббе, человеку весьма патриотически настроенному: в приравнении французов и англичан к бесам он усмотрел недостаток „умеренности", которой отличался, по его мнению, остальной текст манифеста. В этом наборе громких фраз, мало согласных с истиною, характерно было, однакоже, одно обстоятельство: ни словом не было упомянуто о революционных грехах противников России,—наоборот, Николай приглашал своих подданных „подвизаться за угнетенных братьев". Вместе с тем манифест был написан языком сравнительно простым и, насколько это умела николаевская канцелярия, удобопонятным для массы. Очевидно, совет, с которым скоро после того выступил Погодин: „непременно действовать на народ", и тут был несколько запоздалым. Наверху уже поняли, что в надвигающемся бою без народа не обойдешься.

Первые выстрелы раздались еще позже—только в апреле, когда Балтийское море очистилось для навигации. Союзники не имели возможности двинуть в Россию значительные сухопутные силы, так как их приходилось перевозить туда морем. У Наполеона III был проект—итти по стопам своего дяди и перенести войну в Польшу. Но для этого нужно было добиться пропуска французских войск через Германию,—а на это не были согласны не только Пруссия, но даже и Австрия, а, в конце-концов, даже и Англия, в расчеты которой отнюдь не входило, чтобы война кончилась восстановлением первой империи. Этою невозможностью достать Россию на суше с самого начала определился весь план союзников. Раз дело сводилось к десанту, нужно было устроить так, чтобы этот десант, который по тогдашним условиям морского транспорта не мог быть особенно велик, появился на месте высадки по возможности внезапно и не встретил при своем появлении значительных русских сил, которые могли бы сбросить его в море. А для этого нужно было держать Николая возможно дольше в заблуждении насчет истинного пункта высадки, чтобы заставить его разбросать свои силы на огромном пространстве от Торнео до Тифлиса. Поэтому союзники вели войну везде, не пренебрегая даже Белым морем и Камчаткою; особенно же внушительные демонстрации предполагались на Балтийском море, вблизи русской столицы, и на Дунае, где были в это время сосредоточены наши главные силы: для этого англо-французский корпус, предназначавшийся для действий собственно против Севастополя, был сосредоточен в Варне, которая была одинаково удобным исходным пунктом как для десанта в Крым, так и для движения к Дунаю. Враждебный нейтралитет Австрии и Пруссии был как нельзя более на руку подобному плану, оттягивая добрую долю русских

сил к берегам Днестра и Вислы. Цели своей союзники достигли вполне. „Русские штыки в огромной численности появились на всех угрожаемых пунктах. В Финляндии стояли гвардейские войска; около Риги образовалась многочисленная армия под командою генерала Граббе; в Царстве Польском князь Варшавский собрал достойную уважения силу; в княжествах и на Дунае у князя Горчакова находились 3-й, 4-ый, 5-й пехотные корпуса, драгуны и резервные уланы; в Крыму, под начальством князя Меншикова, составился отряд из наскоро собранных с разных местностей войск; на азовском побережье начальствовал атаман Войска Донского, Хомутов; кавказский корпус был усилен 18-ою пехотною дивизиею, перевезенною туда на судах из Крыма; наконец, Петербург и его окрестности были заняты целою армиею, порученною начальству графа Ридигера. Таким образом, с какой бы стороны ни отважился неприятель нас атаковать, везде было собрано достаточно, как казалось, войск, чтобы встретить его покушение. Но если присмотреться поближе к делу, то каждому сделается ясным, что силы, собранные на каждом из этих пунктов, были недостаточны для того, чтобы дать отпор неприятелю, который мог бы решиться на наступательное действие против России“ [1]). Какой дешевой относительно ценой покупали союзники это важнейшее условие успеха их экспедиции, показывает пример военных действий на Балтийском море. Напав на ничтожную в стратегическом отношении крепость Бомарзунд (на Аландских островах) и взяв ее—в июле 1854 года—союзники заставили Николая сосредоточить на балтийском побережье „несметное, можно сказать, количество войск“, по выражению кн. Васильчикова. В одной Лифляндии и Курляндии было собрано до 200 тысяч штыков. А между тем на союзном флоте в Балтике была всего только одна французская дивизия—менее 10.000 человек.

Той же системы—демонстраций в разных местах, с целью заставить русских разбросать свои силы—союзники держались и на каждом отдельном театре войны. В Балтийском море их крейсера то и дело появлялись в разных пунктах финляндского побережья, обстреливали тот или другой город, делали вид, что собираются произвести высадку—и исчезали, прежде чем русские успевали причинить им какой-нибудь вред. За все это время союзный флот не потерял ни одного судна, ни от русских ядер и мин, ни от бурь и подводных камней, несмотря на то, что Финский залив усеян последними, и что все маяки были погашены, все бакеты и предупредительные знаки сняты. Положение русского флота в это время было самое жалкое.

1) Записки князя В. Н. Васильчикова. «Русск. Архив». 1891, № 6, стр. 169—170

Началось, разумеется, с похвальбы: наши балтийские моряки собирались встречать неприятеля в Зунде и там потопить, если он придет в равных с нами силах. Это, впрочем, казалось нашему морскому начальству, в лице кн. Меншикова, сомнительным: выставить 27 линейных кораблей (тогдашний состав нашего балтийского флота) не так-то легко, писал он. Морской министр императора Николая позабыл, что количество можно заменить качеством: английский флот лорда Непира („этого пьяницы Непира", как презрительно называли его наши патриоты) состоял, правда, всего из 17 линейных кораблей, но из них 10 было винтовых,—последнее слово тогдашней морской техники, тогда как наши винтовые корабли только строились. В результате англичане обладали полной свободой передвижения, тогда как наш флот зависел от воли ветров. Принимать бой при таких условиях было слишком явным безумием: наши корабли все время и носа не показывали из-за укреплений Кронштадта и Свеаборга. 18 июня 1854 года Николай не без меланхолии писал Меншикову: „Неприятеля вижу из своего окошка на северном фарватере; все, что придумать можно было к защите, исполнено; прочее в руках божиих. Буди его святая воля!"

Демонстративный характер первых действий союзников ввел наших патриотов, между прочим, в курьезное недоразумение: они отнесли к „воле божией" то, что было сознательным расчетом коварного врага. Английские крейсера на Белом море обстреливали, между прочим, Соловецкий монастырь, приняв его из-за его стен и башен за укрепленный форт. Монастырь отчасти этим и был, ибо там оказалась артиллерия, отвечавшая англичанам. Последние, впрочем, по всей вероятности, не имели в виду ни разрушить, ни взять Соловецкую «крепость»— стратегическое значение которой было еще во много раз меньше, чем несчастного Бомарзунда. Наделав достаточно шуму, английские пароходы ушли. На Черном море англо-французский флот начал свои операции с бомбардировки Одессы, делая вид, что хочет сделать высадку в тыл дунайской армии. На этот раз, однако, и демонстрация велась очень вяло и потому неискусно. Союзный флот ограничился разрушением одной русской батареи и бросил несколько бомб в город. Союзников, видимо, смущало интернациональное значение Одессы и характер ее населения, где иностранцы—в том числе французы, англичане, итальянцы и австрийские немцы—едва ли не преобладали в то время над русскими. Как бы то ни было, Одессы, как и Соловецкого монастыря, они не уничтожили и не взяли. Это событие привело Погодина в необычайный восторг. Привирая для большего эффекта и рисуя картину поединка

целого флота, тридцати линейных кораблей, „чуть ли не с тысячей пушек“ против одной „полевой пушченки“ в руках прапорщика, который „здоровехонек, оглох только, говорят, от громкой пальбы“,—московский публицист задорно спрашивал своего воображаемого оппонента: „и это не чудо? Так что же это такое?“ А что в Соловках „птицы на монастырских дворах все целы“—это не чудо? „Нет“, глубокомысленно заключал он последнюю статью о монастыре: „они напали на монастырь,—да явятся дела божии на нем“.

Благочестивых людей скоро должно было постигнуть больное разочарование: в сентябре того же 54 года „англо-французы“ нашли, что морские демонстрации ими достаточно использованы, и приступили к серьезным действиям одновременно на суше и на море—при чем уже никаких чудес не наблюдалось. Объектом этих действий, как можно было и ранее догадываться, стал Севастополь. Крупнейшая военная гавань России на Черном море, главная стоянка черноморского флота, с его верфями и доками,—это был жизненный центр: удар в него сразу парализовал всю ту систему, при помощи которой Николай надеялся держать в руках Турцию—и по временам, действительно, держал в руках. Еще в конце 30-х годов, в дни конфликта из-за египетского паши, генерал Гильемино, французский посланник в Константинополе, собирал сведения, могущие послужить французам при их экспедиции в Крым и осаде Севастополя. Рекогносцировка Севастополя была одним из первых действий союзного флота по вступлении его в Черное море. Эта рекогносцировка привела союзных адмиралов к убеждению, что с моря крепость неприступна, но что Севастополем можно овладеть, сделав высадку в некотором расстоянии от укреплений—и что берега в этих местах вообще очень удобны для десанта. В июне экспедиция была окончательно решена; ее задерживало непредвиденное препятствие—холера, свирепствовавшая в экспедиционном корпусе, собиравшемся сначала в Галлиполи, а потом, как мы уже упоминали, передвинутом в Варну. О возможности—и даже очень большой вероятности—высадки союзников в Крыму, с целью овладения Севастополем, догадывался и главнокомандующий черноморским флотом, князь Меншиков. „В настоящее время Крым—существенный пункт, на котором должен решиться вопрос о нашем влиянии на дела Востока“, писал он военному министру (от 29 июня 1854 г.—за два слишком месяца до высадки), хлопоча об усилении находившихся под его командой сухопутных войск. Но император Николай имел на это свой взгляд: он думал, что в Крыму неприятель „ничего важного предпринять не может, еще менее—правильную осаду или бомбардировку“.

Меншиков с большим трудом получил одну дивизию от князя Горчакова из дунайской армии,—и то почти контрабандой; Горчаков совсем не был уполномочен ее посылать. Не без неудовольствия узнав об этом незаконном подкреплении крымского корпуса, император теперь окончательно был убежден, что „Севастополь вполне обеспечен от всякой попытки им овладеть, и с моря, и с сухого пути".

С моря Севастополь считали неприступным, как мы видели, и сами союзники. Правда, это мнение было несколько преувеличено, как оказалось потом, но во всяком случае, от попытки захвата с моря крепость была обеспечена этим полезным для нас предрассудком. Совсем иную картину представлял сухопутные укрепления Севастополя. Мы оставим их словами современника и очевидца, уже однажды нами цитированного, будущего начальника штаба севастопольского гарнизона, князя Васильчикова. „На огромном протяжении от Килен-балки до Артиллерийской бухты были возведены еще в мирное время три оборонительные казармы небольшого размера и три башни самой странной конструкции. На правом фланге были сооружены 5-й и 6-й бастионы слабой профили, а между ними тянулась изящная по своей постройке оборонительная стенка из тесанного камня, снабженная бойницами для ружейной обороны, но не представлявшая в действительности никакой обороны по своей тонине и непрочности. Все эти дорого стоившие сооружения, с точки зрения их значения, как средства обороны, не годились, в сущности, ни к чему. Башни развалились впоследствии от сотрясения, производимого поставленными на них нашими же орудиями: казармы плохо выдерживали действие падавших на них неприятельских бомб; стенка разрушалась от каждого попадавшего в нее ядра, которое выпирало из нее изящно-обтесанные камни; кое-где устроенные казематы, по тесноте своей, были неудобны для действия нашей артиллерии, а наружная облицовка амбразур их в скором времени завалилась и сделала употребление стоявших в них орудий невозможным". Нужно прибавить, что эти декоративные укрепления обороняли не более ¼ всей линии, подлежавшей обороне: на остальных ¾ просто ничего не было.

Является вопрос, как же относилось к этому наиболее ответственное и наиболее заинтересованное в деле лицо—главный командир черноморского флота и сухопутных войск в Крыму—князь Меншиков, так задолго предугадавший нападение союзников на Севастополь? Ответ на это дает тот же кн. Васильчиков: „Меншиков"—говорит он—„не разрешал инженерам нужнейших работ по укреплению Севастополя с суши, предвидя, что эти офицеры напрасно истратят огромные суммы денег..."

Судя по качествам оборонительной стенки, так художественно описанной Васильчиковым, едва ли и в этом предвидении кн. Меншиков не был прав. Но как бы то ни было, безусловно, прав был и кн. Васильчиков в своем заявлении, что „в минуту открытия военных действий Севастополь, можно сказать, не был укреплен с сухопутной стороны".

В июле и в августе союзники произвели две новых тщательных рекогносцировки берегов Крыма и в результате наметили, как наиболее удобный пункт для высадки, окрестности Евпатории. В предположениях кн. Меншикова Евпатория тоже значилась, как один из возможных пунктов неприятельского вторжения: тем не менее никаких мер к охране берега в этих местах не было принято, и из города не были даже увезены 60 тыс. четвертей пшеницы, которые немедленно достались в руки неприятеля и сразу же обеспечили его продовольствием на четыре месяца. План десанта был тщательно разработан французским штабом еще в июне. Как только холера несколько утихла, и причиненные ею опустошения в рядах экспедиционного корпуса были пополнены, началось приведение этого плана в исполнение. С 12-го (24-го) по 22 августа (3 сентября) французы посадили на суда четыре дивизии пехоты с 68 орудиями и немного конницы, всего до 28.000 человек; двумя днями позже кончили амбаркацию англичане, посадившие на суда 22 тысячи пехоты и 2 тысячи кавалерии с 54 орудиями. Кроме того, к экспедиции была присоединена турецкая дивизия в числе около 7.000 человек. Армия имела с собою все принадлежности для осады Севастополя с суши: 73 осадных орудия, 11 тыс. туров, 9 тыс. фашин, 180 тыс. земляных мешков, 30 тыс. кирпичей и более 20 тыс. штук шанцевого инструмента. Каменистый грунт окрестностей Севастополя был, таким образом, предусмотрен, и союзники везли свои окопы с собой. 1-го сентября ст. стиля была занята Евпатория, а на следующий день союзники начали высадку, которую французы кончили к 4-му, а англичане только к 6-му. Все время лил проливной дождь, доставлявший много мучений высаживавшимся налегке войскам (англичане первое время не имели даже палаток); но это было единственное неудобство, какое они испытывали: русская армия не подавала никаких признаков существования. Князь Меншиков сосредоточил свои войска на давно избранной им позиции по дороге из Евпатории в Севастополь, на высоком левом берегу речки Альмы. Здесь ему удалось собрать до 35.000 человек с 84 орудиями—почти вдвое меньше сил неприятеля (около 60.000 и 134 полев. орудия). При том по большей части это были рекруты, и вообще это были войска, никогда не бывавшие в огне. Часть пехоты—ре-

зервные батальоны—была вооружена кремневыми ружьями; штуцеров было с небольшим две тысячи (у союзников более 30 тысяч). Несмотря на то, что позиция была выбрана, как мы сказали, заблаговременно, она почти не была укреплена; не обратили внимания на то, что войска, расположенные в несколько рядов на покатости, спускавшейся к реке, обстреливались штуцерным огнем противника вплоть до самых резервов. Но самое главное—наиболее важный пункт позиции, высоты на левом фланге, командовавшие всем нашим расположением, совсем не были заняты: они спускались к реке крутыми обрывами, которые заранее были признаны совершенно неприступными. На них, действительно, трудно было взобраться: по мнению военного историка Крымской войны, достаточно было двух рот стрелков и нескольких орудий, чтобы задержать здесь целую армию. Но когда крайний правый фланг французов (дивизия Боске), перейдя в этом месте реку, стал карабкаться по откосу, он не встретил ни одного русского солдата на своем пути. Французский генерал был приведен этим в крайнее удивление. „Эти господа решительно не хотят драться", сказал он, обращаясь к своему штабу. Обходным движением Боске исход боя был в сущности решен: под перекрестным штуцерным огнем с правого берега реки и с высот левого фланга держаться было нельзя. Честь русского оружия спасли англичане, которые, опоздав на поле битвы, старались искупить свою оплошность отчаянными лобовыми атаками на укрепления нашего правого крыла, где все равно бы мы не могли оставаться. Русские войска сами ушли бы оттуда через несколько часов.— англичане доставили нам удовольствие двух-трех отбитых штурмов. Благодаря превосходству неприятельского вооружения и неумелому расположению войск, наша потеря была очень крупная: до 6.000 убитыми и ранеными, вдвое более, чем у союзников. Отступление, по официальным донесениям, было совершено в полном порядке, а по частным сведениям—в полном беспорядке. Иллюстрацией последнего может служить тот факт, что один из командующих генералов, Кирьяков, вечером в день боя (8 сентября ст. ст.) оказался в Севастополе, в клубе—где охотно рассказывал о сражении всем желающим слушать; никому не пришло в голову спросить его, где же находятся командуемые им войска, и сам генерал, повидимому, не очень об этом заботился [1]).

Дорога союзникам к Севастополю была открыта. Кн. Меншиков совершил свое знаменитое „фланговое движение"—т. е.,

[1]) В бою он командовал как-раз левым флангом. Когда ему указали на поднимающиеся на высоты батальоны Боске, он ответил: «вижу, но не боюсь их». Эта анекдотическая фигура и после служила неистощимой темой для рассказов.

попросту говоря, отвел свою расстроенную армию в сторону, к Бахчисараю. Крепость и черноморский флот остались на произвол судьбы: на вопрос адмирала Корнилова, что ему делать с флотом, князь-главнокомандующий ответил: „положите его себе в карман“. Севастопольцы, морские и сухопутные, должны были выпутываться сами, как знают: кн. Васильчиков утверждает, что в этом и заключалось их спасение. Черноморский флот, как и его балтийский собрат, был парализован в гавани: паровой флот союзников давал им такой решительный перевес, что выходить против него с парусниками никто серьезно не думал. Часть их затопили в бухте, чтобы преградить доступ неприятельским кораблям, затопили так поспешно, что вместе с судами пошли ко дну орудия, снаряды, провиант, даже все вещи команды, до офицерского багажа включительно. Но когда первая минута паники прошла, положение оказалось далеко не таким безнадежным, как можно было думать. Мы уже упомянули, что по своему личному составу черноморский флот был лучшей боевой силой тогдашней России. Теперь, когда он был заперт в гавани, восемнадцать тысяч матросов, не нужных больше на борту, увеличили собою гарнизон крепости, доведя его до размеров небольшой армии,—качественно гораздо лучшей, чем та, которая дралась на берегах Альмы. А снятая с кораблей артиллерия на несколько сот орудий усилила сухопутную оборону крепости. В лице Корнилова, выдвинувшегося еще под Силистрией Тотлебена, недавнего победителя при Синопе Нахимова— Севастополь имел целый ряд способных и энергичных людей, сумевших использовать положение гораздо лучше Меншикова. Союзники дали им к тому же достаточно времени на это. Ближайшей к месту их высадки была северная сторона Севастополя, укрепленная весьма плохо—но все же не совсем обнаженная. Союзный штаб был прекрасно ориентирован относительно состояния сухопутной обороны города [1]) и—в общем правильно—считал южную сторону гораздо доступнее. Начать атаку с юга со стороны Балаклавы было удобнее еще и потому, что здесь союзники могли комбинировать действия армии и флота, пользуясь рядом бухт и балаклавской гаванью, (которую англичане впоследствии связали с лагерем железной дорогой),—тогда как на северной стороне флот не имел никакого пристанища, и армия не могла на него опереться. Одновременно с „фланговым движением“ Меншикова, союзники тоже выполнили обходное движение, обойдя Севастополь кругом с севера на юг. Двигались они очень медленно, отчасти по недостатку перевозочных средств.

[1]) При союзной армии, между прочим, находился англичанин-инженер, строивший севастопольские доки и уехавший из города только в самом начале войны.

отчасти связанные массой больных: холера под влиянием лишений, связанных с высадкой, снова развилась (от нее умер, между прочим, командир французского экспедиционного корпуса маршал Сент-Арно). Выйдя, наконец, к 15 сентября на южную сторону, они увидали перед собою ряд новых укреплений, отчасти оконченных, отчасти еще строившихся: внезапный захват крепости, очевидно, не удавался. Приходилось подготовлять штурм артиллерийской атакой. В ночь с 27 на 28 французы заложили первую параллель, но лишь к 4 октября у них было готово пять батарей с 53 орудиями. Англичане к этому времени успели поставить 73 орудия—всего, значит, у союзников было их 126. Севастопольцам удалось построить с 14 сентября по 5 октября более двадцати батарей и довести вооружение сухопутной обороны со 172 до 341 орудия, в том числе до 200 тяжелых морских пушек, не уступавших артиллерии союзников. При таких условиях исход первой бомбардировки (5 октября), несмотря на поддержку—довольно слабую—флота, не дал решительного успеха нападающему. Третий бастион был совершенно разгромлен англичанами, но они все же не рискнули штурмовать эту груду земли, покрытую трупами и обломками, выжидая, чем кончится бой на других пунктах. А здесь французские батареи вынуждены были замолчать под огнем крепостных орудий. В результате Севастополь был признан заслуживающим правильной осады: несмотря на тяжелые потери (1.250 человек, в том числе убит был Корнилов), первая бомбардировка доказала, в сущности, жизнеспособность импровизированной крепости.

Но защита ея именно потому, что она была импровизированная, представляла колоссальные трудности. К половине XIX столетия артиллерийская техника сделала уже очень большие успехи. Осадные орудия этой эпохи достигли весьма значительной, по сравнению с предшествующим временем, досягаемости—до 2 и даже 3 верст. А разрушительное действие их увеличилось еще значительнее, особенно благодаря введению так называвшихся тогда „бомбических" пушек—длинных (дальнобойных) орудий крупного калибра, стрелявших разрывными снарядами [1]). Все это настолько облегчало разрушение укреплений, что прежняя крепость сомкнутого типа ко времени Крымской кампании стала уступать место системе отдельных фортов. При этом жизненные части крепости,—склады, магазины, казармы, госпитали—сосредоточивались внутри крепостного ядра, сравнительно безопасного от неприятельских выстрелов, по крайней мере, в первую половину осады. Оборона же велась из фортов, расположенных на расстоянии полутора—трех верст

[1]) Раньше длинные пушки стреляли только неразрывными снарядами, ядрами.

от „ядра“, на возвышенностях, командующих окрестностями крепости. Взятие одного—двух фортов еще не означало падение крепости, а в крайнем случае можно было защищаться в „ядре“, даже после падения всей линии фортов. По такой системе в 40-х годах был укреплен Париж, этой же системы придерживались западные инженеры, строившие крепости для турок, Силистрию, Карс и т. д. Ничего подобного не удалось сделать в Севастополе. Окрестные высоты, к югу и югу-востоку от города, с самого начала были заняты неприятелем: там, где должны были бы быть расположены севастопольские форты, стояли английские и французские батареи. Только на северо-востоке, около Киленбалки, остались несколько возвышенностей вне линии осадных работ противника, где нами впоследствии (весною 1855 года) были построены волынский и селенгинский редуты и камчатский люнет, игравшие роль внешних фортов по отношению к Корниловскому бастиону. Но они не настолько далеко были вынесены вперед, чтобы закрыть последний от неприятельского огня. В результате Севастополь не имел внутреннего ядра, безопасного от неприятельских выстрелов. Линия укреплений („бастионов“) проходила не далее полуверсты от города, в котором не было угла, куда не могла бы упасть союзническая бомба. Безопасные места находились за Большой бухтой, на „Северной“ стороне, куда снаряды осадных орудий—по крайней мере, в первые месяцы осады—не достигали. Но держать резервы, склады и госпитали так далеко, при том за бухтой, через которую почти до самого конца не было даже моста, не представлялось никакой возможности. Гарнизон—в разгаре осады доходивший до 50—60 тыс. человек—толпился на тесном пространстве южной стороны, во всех направлениях обстреливавшейся вражеским огнем. Тесные „бастионы“ были постоянно переполнены людьми. Оттого севастопольская оборона была такой ни с чем несоизмеримо кровавой—точно город был защищен валами не из земли, а из человеческих тел. Едва ли не единственный случай в истории осад всего мира—здесь обороняющийся терял народу ежедневно гораздо более, чем осаждающий (за исключением штурмов, конечно). Будь крепость, как полагается осажденной крепости, заблокирована со всех сторон, англичанам очень скоро удалось бы достигнуть той цели, какую им приписывает один современник—истребить гарнизон одним артиллерийским огнем, не прибегая к дорого стоющему приступу. Но, благодаря присутствию в Крыму русской армии, с каждым месяцем увеличивавшейся, союзники не имели никакой возможности запереть Севастополь. Человеческий материал в нем мог постоянно возобновляться, и концу осады крепость представляла собою колоссальную адскую машину, куда ежедневно

отправлялись тысячи здоровых людей, чтобы вернуться оттуда в виде окровавленных трупов.

Южная сторона Севастополя, где сосредоточивалась оборона, делится Южной бухтой (военною гаванью) на две части: восточную, или Корабельную сторону, где находились казармы, склады и доки черноморского флота, а также слободка, где жили матросские семейства,—военную и в то же время более демократическую часть города,—и западную, или Городскую сторону, где помещалась невоенная часть населения, где жили офицеры и чиновники с их семьями, где находились общественное собрание (обращенное в перевязочный пункт), собор, библиотека и т. д.—словом, часть города более аристократическую. Бастионы I, II и III защищали Корабельную сторону; ключом позиции был здесь высокий бугор, носивший название Малахова кургана,—командующий всей стороной, но в свою очередь командуемый находящимся к востоку от него „зеленым бугром“ (mamelon vert французов), значение которого сначала проглядели обе стороны [1]). Позже русские построили здесь „камчатский люнет“, взятый французами 26 мая 1855 г., что было началом конца обороны Малахова кургана и всего Севастополя. Малахов курган был защищен укреплением, носившим название Корниловского бастиона [2]). Ключом позиции на Городской стороне, оборонявшейся бастионами IV, V и VI, был четвертый бастион, расположенный на гребне возвышенности, господствующей над всем городом. Четвертый бастион и Малахов курган были главными объектами неприятельской атаки,—которую в обоих случаях вели французы: англичане все время занимались разрушением III бастиона, связывавшего оборону Корабельной стороны с обороной западной. Сначала (до весны 1855 года) союзники надеялись прорвать оборонительную линию со стороны IV бастиона. Но удачная минная война, которую вел здесь Тотлебен, наводившая на предположение, что вся местность перед бастионом минирована, заставила их отказаться от атаки в этом месте, когда они были уже очень близко к цели. Во вторую половину осады главным пунктом атаки был уже Малахов курган, взятием которого и закончилась осада.

Все эти укрепления, в сущности, принадлежали к категории временных и представляли собою земляные насыпи, довольно слабой профили (толщины), рыхлые и легко осыпавшиеся. Их выгодная сторона состояла в том, что они так же легко возводились, как и разрушались. Севастопольская оборона была непрерывным рядом земляных работ, заключавшихся не толь-

[1]) Не сразу, впрочем: комендант Малахова кургана Истомин, с самого начала придавал укреплению „зеленого бугра“.

[2]) Корнилов здесь был убит, на месте, где теперь находится его памятник.

ко в исправлении поврежденных укреплений, но и в постоянной, изо дня в день, постройке новых батарей. Лихорадочная деятельность, развивавшаяся на линии сухопутной обороны в сентябре 1854 года, не прекращалась до самого августа 1855. Руководивший этою деятельностью генерал Тотлебен великолепно использовал одну особенность Севастополя—и в этом, как во многом другом, не похожего на обычный тип осажденной крепости, на этот раз к своей выгоде: необычайное изобилие артиллерии и артиллеристов, благодаря присутствию черноморского флота, на ряду с возможностью постоянно пополнять боевые припасы подвозом из России. Система Тотлебена заключалась в развитии до наибольших возможных пределов орудийного огня крепости. С карандашом и планом в руках, Тотлебен изо дня в день следил за неприятельскими работами, и как только замечал где-нибудь утолщение и возвышение, намекавшее на зарождение новой батареи, против него немедленно проектировалась контр батарея. Пехота давала в изобилии рабочие руки, а на кораблях можно было в любую данную минуту найти сколько угодно пушек и матросов, умевших ими управлять. Моряки-артиллеристы имели только одну невыгодную сторону: на море тогда, как и теперь, приходилось заботиться прежде всего о быстроте стрельбы. Задача состояла в том, чтобы в возможно более короткое время сделать противнику возможно больше пробоин. Меткость стрельбы в то время,—когда корабли дрались на дистанции в 50 сажен,—была на втором плане. На севастопольских бастионах матросы продолжали держаться своей морской традиции: они забрасывали батареи противника градом ядер и бомб, не особенно заботясь о том, куда они попадали. В первое время этим артиллерийским излишествам покровительствовало и морское начальство, не верившее в возможность продолжительной обороны и не видевшее поэтому надобности беречь припасы: Корнилов, например, не рассчитывал продержаться более трех дней. Зато впоследствии пришлось вести упорную борьбу с укоренившимися привычками—и вся история осады наполнена приказами, рекомендовавшими беречь заряды, отвечать одним выстрелом на два или на три неприятельских или запрещавшими тратить в день более определенного количества снарядов, —например, 30 на каждое орудие. И тем не менее, пороху часто не хватало, хотя его свозили в Севастополь по частям чуть не изо всех русских крепостей.

В одном отношении, однакоже, союзники имели громадный перевес над севастопольцами. В их распоряжении находилось более 200 мортир большого калибра (бросавших бомбы весом до 7 пудов включительно), позволявших им развивать

в колоссальных размерах навесный огонь,—к чему морские орудия бастионов были совершенно неспособны. Значение этого обстоятельства будет вполне понятно, если мы вспомним, что защитники крепости находили единственное сколько-нибудь безопасное убежище только в блиндажах—подземных помещениях, прикрытых сверху толстыми бревнами и слоем земли. Блиндажи можно было разрушить только навесным огнем,— и тогда гарнизон оставался совершенно беззащитным. Никакая дисциплина не могла заставить людей оставаться на месте, где им угрожала верная смерть. Когда навесный огонь осаждающего достиг своей цели, большую часть войск пришлось свести с бастионов—и это было основным условием, обеспечившим успех штурма 27 августа 1855 г. Кроме того, по мере приближения к нашим укреплениям траншей противника развивался штуцерный огонь последнего, достигавший той же цели—сделать бастионы необитаемыми. Под конец от штуцерных пуль гибло не меньше народу, чем от ядер и бомб: Нахимов был убит, а Тотлебен ранен такими пулями. Словом, был известный предел, по достижении которого защищать крепость долее было невозможно. В патриотических разговорах петербургского и московского общества Севастополь мог быть неприступным. Но на месте всем, начиная с обоих главнокомандующих—сначала Меншикова, потом Горчакова—было ясно, что Севастополь должен пасть, если его не выручат—не заставят каким-нибудь способом союзников снять осаду. Операции нашей сухопутной армии в Крыму в те минуты, когда она выходила из своего обычного пассивного состояния и переставала изображать собою запасное депо для пополнения гарнизона, клонились именно к этой цели. Меншиков начал ее преследовать, как только его войска оправились от альминского поражения, и к ним подошли первые подкрепления из России. Его первая попытка была задумана стратегически очень удачно. Базой англичан была Балаклава; захватив ее или отрезав от нея осадный корпус, русская армия лишала противника единственной удобной гавани, находившейся в его распоряжении, ставила его между двух огней и заставляла от нападения перейти к обороне. Силы союзников в это время (октябрь 1854 г.) не превышали 63 тыс. человек: к французам подошла пятая дивизия, но она только пополнила урон, нанесенный холерой. Армия Меншикова, вместе с севастопольским гарнизоном и подошедшими подкреплениями, была несколько сильнее. Но главнокомандующий отделил для нападения на Балаклаву только меньшую половину своих сил. Атака велась так нерешительно, точно русские не хотели предпринять ничего серьезного, а имели в виду нечто в роде „усиленной рекогносцировки“. Даже ошиб-

ки английского главнокомандующего, лорда Раглана, погубившего в этом деле без всякой надобности свою лучшую кавалерию, остались для нас бесполезны. Наши войска взяли четыре слабых редута, плохо защищавшихся турками, и на этом остановились. Результатом дела было то, что союзники заметили свою слабую сторону и укрепили подступы к Балаклаве так, что об ее овладении не приходилось более и думать. Недели две спустя, получив в подкрепление еще две дивизии из дунайской армии (10-ю и 11-ю), Меншиков решил повторить попытку в более обширных размерах и в другом месте. На этот раз объектом нападения был правый фланг самого осадного корпуса, состоявший из английских войск, силою около 16—17 тыс. человек. Против них было направлено с разных пунктов до 40 тысяч русской пехоты. В случае удачи Меншиков разрезывал союзную армию пополам, становился между „обсервационным" корпусом, прикрывавшим Балаклаву, и осадным, прижимал противника к морю и опять-таки заставлял его от нападения перейти к обороне. Сражение это, носящее в истории название Инкерманского (24 октября), хотя оно происходило довольно далеко от Инкермана, во всем блеске обнаружило стратегические способности николаевских генералов. Прежде всего, в штабе главнокомандующего не оказалось плана на месте. По справкам, таковой имелся в Петербурге, в военном министерстве—но военный министр, ссылаясь на то, что это unicum, отказывался его выслать без специального высочайшего разрешения. Пока шла об этом переписка, сражение было дано—и по горькой иронии судьбы план приехал из Петербурга как раз на другой день после разгрома русских войск. За неимением плана положились на топографическую память генерала Даннеберга, которому было поручено распоряжение войсками, назначенными в дело; он когда-то стоял в этой местности лагерем и заявил, что знает ее, как свои карманы. Плодом такого основательного знакомства с местностью явилась диспозиция, переполненная вопиющими топографическими нелепостями. Из двух русских колонн, в одновременном появлении которых на поле битвы заключался главный шанс успеха, одна, по топографическим условиям, никоим образом не могла прибыть на место ранее, как через четыре часа после другой. Характерные для окрестностей Севастополя балки были так перепутаны в этой бумаге, что нельзя было понять, должна ли была правая колонна переходить Килен-балку, или нет: между тем, при том или другом решении вопроса, картина боя резко менялась. Третья колонна, задачей которой было демонстрировать против „обсервационного" корпуса и тем удерживать его на месте, вела эту демонстрацию

с такой стороны, где неприятельские позиции были абсолютно неприступны, почему большая часть этого корпуса и могла быть с полным удобством двинута на помощь англичанам. Никерманское дело стоило нам потерь, еще беспримерных в эту кампанию: из строя выбыло до 12 тысяч человек. [1]) „В этот день обнаружилась в полнейшей мере вся несостоятельность вашего интендантского и госпитального управления", пишет князь Васильчиков. „Для призрения десяти тысяч раненых оказался при армии подвижной госпиталь, сколько мне помнится, на 1.200 больных. Белья, посуды, а что важнее всего—перевязочных средств не хватило, конечно, и на половину страждущих, и бедные солдатики сидели и лежали под открытым небом, прикрывая свою наготу окровавленною, твердою, как лубок, шинелью, потому что рубаха, а часто и портки, были изрезаны на бинты, или истрепаны на корпию". Меншиков внал после этого в глубокую апатию, из которой его ничто не могло вывести. На третий день после получения известия об Никермане Николай писал Горчакову: „...крайне жаль, что намерение Меншикова не имело удачи, стоив столько драгоценной крови... но еще более сожалеть должно, что эта неудача, нисколько не уронившая дух войск, отразилась на князе Меншикове таким упадком духа, что наводит на меня опасения самых худших последствий... Он не скрывает, что не видит более надежды с успехом атаковать союзников и предвидит даже скорое падение Севастополя. Признаюсь, что такое направление мыслей меня ужасает за последствия..." Но несколькими строками ниже Николай выдает, что и его настроение не лучше: „...не скрываю от себя, что надежды на лучший исход, разве по особой милости божией, не предвижу... С потерей Севастополя навряд ли Меншиков отстоит и Крым..."

Николай Павлович, однакоже, редко выдавал свой упадок духа—и, жадно цепляясь за каждый проблеск надежды, быстро вновь усвоил свой искусственно бодрый тон. Союзники не думали штурмовать Севастополь тотчас после Никерманского сражения, как этого все ожидали. Напротив, проявленная русской армией активность заставила их удвоить свою осторожность и приостановить всякие серьезные действия, выжидая подкреплений, которые должны были к весне довести французскую армию до ста тысяч человек. Зима была необыкновенно сурова для Крыма, и союзные войска очень страдали от холода: „морозы губят у неприятеля людей и лошадей", писал Меншиков военному министру. Все это вновь окрыляло Нико-

[1]) Сначала, потом ходили слухи, что полковые командиры все стали врать боем, чтобы оформить убыль от дезертирства и болезней, накопившуюся с начала военных действий.

лая Павловича: „думаю, что настала для них эпоха гибели", писал он главнокомандующему в январе 1855 года. И он снова и снова возбуждал своего упылого корреспондента к решительным действиям. „Повторяю мою убедительную просьбу", писал он Меншикову (от 31 января), „все хорошо обдумав, сообразите, как наилучше б было атаковать врагов, до или после отбитого приступа. Нельзя нам оставаться в бездействии и давать врагам усовершенствовать свои работы и получать подкрепления и утратить напрасно время, когда мы над ними имеем перевес, зная, в каком расстройстве англичане, да что и французам не легко..." Но на месте было видно, что „расстройство" союзников вовсе не так велико. Меншиков окончательно и твердо укрепился в своем пессимистическом мнении о качествах своей армии [1]), и никакие силы земные не могли его сдвинуть с места. С большим трудом можно было его убедить дать двигаться другим,—но, как нарочно, и тут первая попытка была совершенно неудачна. Ген. Хрулев выпросил у Меншикова позволения атаковать Евпаторию, где союзники продолжали держаться, и откуда они постоянно могли угрожать сообщениям крымской армии с Россией. Евпатория была занята турками,—дело казалось, таким образом, более легким. Тем не менее атака была отбита (7 февраля 1855). Эта новая неудача переполнила чашу терпения императора Николая: Меншиков был уволен и заменен бывшим главнокомандующим дунайской армией, Горчаковым. То было последнее распоряжение Николая Павловича: 18 февраля он умер, по официальной версии, от гриппа (инфлюэнцы), осложнившегося воспалением легких. По мнению, крепко державшемуся среди петербургского общества, он отравился. Обстоятельства его смерти, насколько они известны, говорят в пользу официальной версии. Что его колоссальный организм был надломлен, на это существуют положительные указания: после Альминского сражения он потерял сон; с конца января он постоянно жаловался на недомоганье. Если, стало быть, и признать отравление, то приходится считать его медленным и постепенным—с целью придать ему характер естественной болезни [2]). При посредстве яда или без него, в силу естественных условий, Николай пал жертвою крушения своей системы.

Его преемник считал долгом чести сделать вид, что в этой системе ничто не изменилось и не может измениться. Прини-

[1]) Ка. Васильчиков пишет, что еще с самого начала кампании Меншиков „к сухопутным войскам, состоявшим под его начальством, не имел никакого доверия", и прибавляет, что до известной степени он был прав в своем скептицизме.

[2]) Новейшие исследования по существу подтвердили почти полностью то, о чем догадывалось „общественное мнение": факт самоубийства Николая I теперь едва ли может вызывать сомнения.

мая иностранных послов, Александр Николаевич заявил им, что он намерен придерживаться начал, руководивших политикою Александра I и Николая I. „Начала эти суть начала Священного Союза", прибавил он. Но он тут же должен был признаться, что „этот Союз более не существует". Отдав на словах дань традиции, Александр II не сделал никаких реальных усилий для ее поддержания. Если он продолжал войну, то он делал это единственно с целью добиться более выгодного соотношения сил, чем какое было в феврале 1855 года. В первое время, однако, на это было мало надежды. Известия, присылавшиеся новым главнокомандующим, были ничуть не веселее старых. Несколько дней спустя после приезда в Севастополь, Горчаков писал Александру II: „Положение наше довольно трудно; подступы неприятеля столь сближены, что Севастополь может держаться только при весьма сильном гарнизоне". Единственным шансом в его глазах являлась счастливая случайность: „война имеет много случайностей", писал он, „и надобно рассчитывать, что неприятель не всегда делает, что мог бы". „Ход дела в Крыму издавна весьма неопределен", писал он несколько позже, „и полагая даже, что мне удастся отстоять Севастополь до прибытия 40 батальонов, следующих из южной армии—что, впрочем, весьма сомнительно—я не менее того буду гораздо слабее неприятеля, который стягивает сюда огромные силы"...

Очень скоро обнаружилось, что неприятель готов оправдать худшие ожидания Горчакова и „делает все, что может". В средине мая флот союзников предпринял очень удачную экспедицию в Керченский пролив и Азовское море с главною целью уничтожить огромные склады провианта, заготовленного зимою для русской армии. Цель эта была достигнута вполне: запасы были сожжены нами самими при приближении неприятеля. Так было уничтожено в Керчи 100 тыс. четвертей хлеба, в Геническе столько же, в Бердянске 40 тыс. и т. д. А в конце того же месяца французы овладели передовыми укреплениями, защищавшими подступы к Малахову кургану—в том числе и командовавшим над этим последним „зеленым бугром". „Положение мое начинает делаться отчаянным", писал Горчаков Александру Николаевичу на другой день после этого боя. „...Теперь я думаю об одном только, как оставить Севастополь, не понеся непомерного, может-быть, более 20 тысяч, урона. О кораблях и артиллерии и помышлять нельзя, чтобы их спасти. Ужасно подумать..." „Одно, в чем не теряю я надежды, это то, что, может-быть, отстою полуостров. Бог и ваше величество свидетели, что во всем этом не моя вина", в отчаянии и ужасе от всего, сообщенного им, прибавлял старый генерал.

Ободряя его в своем ответе, Александр II уже мирился с потерей крепости: „уповайте на бога и не забывайте, что с потерею Севастополя еще не все потеряно", писал он. Ошибка союзников вновь оживила на короткое время победоносное настроение в Петербурге—и продлила агонию Севастополя. Новый французский главнокомандующий Пелисье, назначенный за свою энергию и решительность на место малодеятельного, по мнению Наполеона III, Канробера, решил поддержать свою репутацию и, ободренный успехом дела 25 мая (взятие передовых редутов), настоял на немедленном приступе. Молчание наших батарей, объяснявшееся недостатком пороха, еще более уверило его и его английского коллегу в том, что крепости пришел конец. На рассвете 6 июня штурмовые колонны союзников двинулись на укрепления Корабельной стороны—французы на Малахов курган, англичане на III бастион, от которых их траншеи находились еще в 200—300 саженях расстояния. Пройти это расстояние под огнем русских орудий, вовсе не сбитых, как полагали союзники, оказалось невозможным. Штурм был блестяще отбит. „Об оставлении Севастополя, надеюсь, с божьей помощью, что речи не будет больше", писал Александр II Горчакову, получив донесение от 6 июня. Сам Горчаков прекрасно понимал, что падение крепости—дело только отложенное, но отнюдь не переставшее быть возможным и даже очень вероятным. Но теперь ему гораздо труднее было уверить в этом своего государя. Между тем союзники вели работы с неустанной энергией, нисколько не обескураженные временной неудачей. В конце июня их головные траншеи были уже в 110 саженях от Корниловского бастиона, а в начале августа всего в 50. Отчаянные донесения главнокомандующего о потерях, которые гарнизон терпит от неприятельского огня (они доходили в июле до 250 человек в день, а в начале августа уже до 500—700 человек), имели только один результат: из Петербурга пришел приказ еще раз попытаться ударом извне заставить неприятеля снять осаду. „Ежедневные потери севастопольского гарнизона", писал Александр II, „приводят меня еще более к убеждению, выраженному в последнем моем письме, в необходимости предпринять что-либо решительное, дабы положить конец сей ужасной бойне". Горчаков прекрасно понимал всю нелепость „решительных" действий теперь, когда у союзников было под Севастополем до 150 тыс. войска. „Было бы просто сумасшествием начать наступление против превосходного в числе неприятеля, главные силы которого занимают, кроме того, недоступные позиции", писал он военному министру. Но ослушаться он не смел, тем более, что присланный из Петербурга генерал, барон Вревский, ком-

ментировал петербургские инструкции еще энергичнее, чем они были задуманы. Собранный главнокомандующим военный совет высказался также за наступление большинством голосов. (хотя наиболее осведомленные и толковые его члены, комендант Севастополя Сакен и ген. Хрулев, стояли за полное или частичное очищение крепости). Горчаков принялся за выполнение „сумасшедшего" предприятия с полным сознанием того, что он делает. „Нельзя заблуждаться пустыми надеждами: я иду навстречу неприятелю при самых плохих обстоятельствах", писал он военному министру. „Ежели — на что я, впрочем, мало надеюсь — мне послужит счастье, я постараюсь воспользоваться успехом... Если дела примут другой оборот, я нисколько не виноват в том"... Решено было атаковать „обсервационный" корпус союзников, состоявший теперь из французов и сардинцев и считавший (с турецким резервом) до 40 тыс. человек при 120 орудиях. Горчаков мог собрать против них до 47 тыс. пехоты и 10 тыс. конницы с 272 орудиями. Но неприятельские позиции были отлично укреплены, а наши распоряжения отличались такою же противоречивостью и спутанностью, как в 24 октября. Войска опять не смогли соединиться во-время, атака велась разрозненно — и „дело 4-го августа (на реке Черной) кончилось, как и предвидел Горчаков, полной неудачей, оставив памятником по себе известную песню: „Как четвертого числа нас нелегкая несла"... После этого главнокомандующий твердо стал на своем решении оставить город, и, к великому негодованию черноморских моряков (нехотевших об этом и слышать), стал строить мост через Большую бухту для отступления гарнизона. Ободрения Александра II, уверявшего, что дело 4 августа ни в чем не изменило общего положения, и что новый штурм будет отбит, конечно, столь же успешно, как и 6 июня, уже не производили впечатления. Впрочем, и император уже не настаивал, предоставляя последнее слово главнокомандующему. „Мост на бухте будет готов через два дня или три дня", писал Горчаков военному министру, „и я предполагаю оставить южную сторону Севастополя 18-го либо 20-го числа этого месяца". „Здесь нет ни одного человека, который не считал бы безумием дальнейшей обороны", прибавлял он. В самую последнюю минуту, однако, им опять овладели колебания: мост был готов, но город не был очищен ни 18-го, ни 20-го. На этот раз конец колебаниям положил неприятель. 27-го августа дивизия Мак-Магона взяла штурмом Малахов курган. На прочих пунктах штурм снять был отбит — но теперь держаться на Корабельной стороне было невозможно, а гарнизон Городской стороны с часу на час мог быть отрезан. Отступление было решено оконча-

тельно. В ночь с 27-го на 28-е войска были выведены из города, укрепления взорваны, уцелевшие корабли потоплены (их оставалось уже очень немного, главным образом, пароходов — парусники почти все были затоплены в несколько приемов ранее, чтобы загородить вход в бухту). Союзники вошли в город только 30-го, но не остались в нем, так как среди этих „окровавленных развалин", как правильно назвал остатки Севастополя кн. Горчаков в своем донесении, жить было нельзя. Обе стороны расположились в своих лагерях.

5.

Итоги.

Падение Севастополя лишало смысла дальнейшее продолжение Крымской кампании, в тесном смысле этого слова, как для нас, так и для союзников. Единственная задача русской армии в Крыму состояла в том, чтобы освободить от осады Севастополь и спасти этим остатки черноморского флота. Теперь на стенах крепости развивалось неприятельское знамя, и флот был на дне бухты. Итти дальше в глубь полуострова союзники не имели ни малейших оснований — это была бы авантюра, сулившая не окупающие издержки. Совершенно естественно, что военные действия в Крыму на осень и зиму 1855—56 гг. прекратились без всякого формального перемирия. Об отсутствии этой формальности нашим передовым отрядам напоминали изредка набеги неприятельской кавалерии: но они не имели никаких стратегических последствий. Главная масса союзников продолжала оставаться в окрестностях Севастополя. Так как остаток черноморского флота сохранился еще в Николаеве — там были 2 линейных корабля, доки и склады — то неприятель сделал попытку (в октябре) закончить дело разрушения, завладев этим последним убежищем морских сил России на Черном море. Под Николаевым готовились к повторению севастопольской обороны. Укрепление города было поручено выздоровевшему от севастопольской раны Тотлебену. Но приготовления оказались напрасными. Союзный флот ограничился разрушением крепости Кинбурна (при входе в Днепровско-Бугский лиман): здесь, между прочим, впервые на войне были употреблены панцырные суда. Только это военно-техническое нововведение и дает некоторое историческое значение этой маленькой экспедиции. Не трудно было видеть, что осада Николаева, расположенного не на берегу моря, а в глубине страны, потребовала бы еще большего напряжения сухопутных сил коалиции, чем сева-

стопольская. Но в это время Наполеон III уже находил, что и Крымская кампания обошлась дороже, чем стоил Севастополь. Повторять опыт у него не было никакой охоты. А, кроме французов, коалиция пока не имела сухопутных войск, способных бороться с русской армией.

Это нежелание французского правительства продолжать сухопутную кампанию на юге России приобретало тем большее значение, что 1855 год доказал невозможность причинить России какой-либо дальнейший вред на море. Крепости Балтийского моря были со стороны воды не менее неприступны, чем Севастополь. Попытка союзного флота (в июле 1855 г.) разрушить Свеаборг бомбардировкой с моря не дала никаких серьезных результатов. Не защищенные броней суда (припомним, что первые панцырные „плавучие батареи“ появились у союзников лишь в октябре) не могли приблизиться к укреплениям на такое расстояние, при котором огонь их артиллерии мог бы быть действительным. В то же время союзники стали замечать некоторые опасные симптомы со стороны русского флота: паровые винтовые суда, строившиеся в 1854 году, теперь появились на воде. Становилось все более очевидно, что для решительного удара необходимо изменить весь план кампании, — или вовсе отказаться от нанесения такого удара: удовольствоваться очевидным моральным поражением России и не добиваться окончательного разгрома ее материальных сил. Наполеон снова выступил со своим старым проектом — перенести театр войны в Польшу. Французская дипломатия не скрывала, что в восстановлении Польши — в воскресении главного дела первой империи на восточной окраине Европы — она видит основной интерес войны для Франции. Но восстановление империи Наполеона I, хотя бы отчасти, настолько противоречило интересам ее союзницы, что английское правительство, в лице Пальмерстона, отвечало категорическим отказом на все подобные предложения. Тогда Франция решила выйти из игры. Начиная с октября месяца, представитель Франции в Берлине начал через посредство прусского правительства нащупывать почву для соглашения с новым русским императором. Дальнейшее в значительной степени было вопросом самолюбия: ни французское, ни русское правительства не желали сделать первыми официальных шагов. Франция находила, что Россия должна заговорить первой, как побежденная; русские дипломаты находили, что именно вследствие этого для России унизительно просить мира [1]). Обстоя-

[1]) Упрямство русского правительства в этом случае в значительной степени, если не исключительно, объясняется запоздалыми успехами русского оружия в Азии: после целого ряда „побед“, не имевших никаких дальнейших последствий, новому кавказскому наместнику Муравьеву удалось взять в ноябре 1855 года Карс со всею запершейся в нем турецкой армией.

тельства, однако, очень скоро сложились так, что русскому самолюбию пришлось уступить.

Как и в вопросе об очищении дунайских княжеств, меч на весы бросила Австрия. Положение „вооруженного нейтралитета", заставлявшее ее держать под ружьем двухсоттысячную армию, было давно совершенно невыносимо для ее, далеко не оправившихся от 48 года, финансов. Ее министр финансов Брук постоянно твердил о банкротстве. Война была единственным выходом—в случае ее успеха контрибуция и территориальные приобретения с лихвой могли покрыть издержки. Но все усилия Австрии добиться для наступательной войны против России тех же гарантий, какими она располагала уже для оборонительной—обязательной поддержки Пруссии и Германского союза—остались тщетными: как Англия отнюдь не желала видеть восстановления первой империи, так Германия вовсе не желала видеть восстановление империи Меттерниха. При таких условиях графу Буолю не оставалось ничего другого, как добиваться ликвидации войны вообще и вместе с тем возможности для Австрии перейти на мирное положение. Уже с марта 1855 года в Вене заседала конференция, имевшая цѣлью выработать условия мира между Россией, с одной стороны, западными державами и Турцией, с другой. Условия эти приняли мало-по-малу конкретную форму, в образе знаменитых „4 пунктов". Первыми двумя из них уничтожался русский протекторат над дунайскими княжествами и устанавливалась свобода плавания по Дунаю: тем и другим Австрия получала минимальное, правда, вознаграждение за свои хлопоты и поддержки. Четвертый пункт заменял исключительное покровительство православным на Востоке со стороны России—которого добивался Николай I—покровительством всех европейских держав всем христианам Турции. Это был тяжелый удар для русского самолюбия—но к нему уже давно приготовились [1]). Каплей противовения был третий пункт, звучавший по форме весьма невинно: он касался пересмотра трактатов 1841 года,—закрывших Дарданеллы для военных судов всех наций. Для русского правительства не долго могло быть тайной, что под видом пересмотра трактатов, „морские державы" ревнили добивались распространения нейтрализации Дарданелл и на Черное море, т.-е. запрещения русскому правительству держать на этом море военные суда. Пока была хотя малейшая надежда на спасение черноморского флота, пункт этот категорически отвергался нашими дипломатами. Падение Севастополя, сведшее наши мор

[1]) Первый набросок этих „пунктов" относится еще к осени 1854 года. Уже тогда имп. Николай готов был договариваться на основе 1, 2 и 4-го—категорически отклоняя только 3-й.

ские силы на юге к двум кораблям в Николаеве, заставило поколебаться: переговоры, прерванные в июне, были вновь начаты — на этот раз частным путем с одной Францией. Но падение Керча (16 ноября 1855 г.) вновь поднято настроение Александра II, давно дожидавшегося этого успеха, как реванша — хотя, нужно сознаться, и чрезвычайно слабого — за Севастополь [1]. „Надеюсь на милость божию, что падение сей сердцины Малой Азии будет иметь благодетельное влияние на ход политических дел, как на Востоке, так и на Западе", писал император Муравьеву в ответ на его донесение о взятии крепости. Признание 4-го пункта было взято назад — под предлогом его „неопределенности"; было заявлено, кроме того, что Россия никогда не согласится на условия, „унизительные для ее достоинства". Вновь возник вопрос о продолжении войны, которая казалась уже конченной. „Морские державы" требовали от Австрии исполнения ее обязанностей, как союзницы [2], и открытого присоединения к коалиции.

Положение Буоль было необычайно трудное. Разрыв с Россией — при необеспеченности поддержки со стороны Германии — грозил тяжелой и далеко небезопасной войной. Русский штаб уже выработал план похода прямо на Вену; помилуйте, русские силы, собранные на границах Австрии, были огромны — и только опыт мог решить, насколько реальны эти грозные цифры. А в случае неудачи — или даже неполной удачи и затяжки военных действий — Брук наверняка предсказывал банкротство. Но еще опаснее был разрыв с Францией. Колебание Австрии давно уже вынудило Наполеона III к шагу, имевшему гораздо более политическое, чем военное значение: в коалицию был введен Пьемонт [3], маленький, но чрезвычайно настойчивый антагонист Австрии на Апеннинском полуострове. Объединение Италии под французским влиянием было уже в это время настолько же важной задачей в глазах императора французов, как и восстановление Польши. Пьемонту было обещано участие на равных правах при заключении мира — честь, которая отнюдь не объяснялась и не уравновешивалась теми жалкими 15 тысячами человек, которые король Виктор-Эммануил мог послать в Крым. Россия могла схватить за горло: Франция, опираясь на восставшую против австрийского ига Италию, могла каждую минуту сесть на спину: Буолю приходилось решать, что опаснее.

1) Еще в июне военный министр писал Муравьеву о желании государя, „чтобы наступательные действия были направлены к скорейшему достижению решительных успехов, необходимость в коих с каждым днем увеличивается при настоящем обороте дел в Крыму".

2) Формально Австрия была союзницей „морских держав" уже с декабря 1854 г.

3) У нас, по старой памяти, несвоевременно сохранившееся название Сардинии — откуда и пьемонтские войска в Крыму назывались „сардинцами".

Он долго оставался в нерешительности. Наконец, выбор был сделан: 16 декабря 1855 года австрийское правительство предъявило представителю Александра II ультиматум—с требованием немедленно приступить к мирным переговорам на основе „четырех пунктов"; в противном случае, Австрия присоединилась к коалиции и начинала военные действия против России.

3 января 1856 года Александр Николаевич собрал особое совещание под своим председательством для обсуждения австрийского ультиматума. Здесь были: великий князь Константин Николаевич (генерал-адмирал русского флота), бывший наместник Кавказа Воронцов, ездивший в 1854 г. с чрезвычайным поручением в Вену гр. Орлов, бывший посланник в Вене Мейендорф, Киселев, Блудов, военный министр кн. Долгоруков и канцлер Нессельроде. Доклад делал последний. Нессельроде, подобно многим николаевским министрам и генералам, был совершенно терроризован и сбит с толку тем неожиданным и странным для этого рода людей оборотом, какой приняла Восточная война. От необыкновенной запосчивости и высокомерия они перешли к трусости, не имевшей границ. Ведший переговоры в Вене кн. А. М. Горчаков [1]) предлагал выход, если не более выгодный—от наступившего оборота дел выгоды России и не приходилось ожидать—то, во всяком случае, несколько более почетный для России: игнорируя ультиматум Австрия обратиться непосредственно к Наполеону III и, так сказать, сдаться ему. Мир с Францией сам собою означал мир и с Австрией—которая сама, конечно, не решилась бы начать войну, ей самой, в сущности, ненужную и нежелательную. Но Нессельроде был так напуган своими собственными прежними ошибками, что опасался проявить какую бы то ни было активность и предпочел подчиниться требованию Буоля без всяких ограничений. Под его влиянием вопрос на совещании был поставлен так: или воевать, или принять австрийский ультиматум. За войну, повидимому, был сам Александр Николаевич,—на совещании не высказывавшийся, чтобы не стеснить слишком явно своих министров,—но, как тем было хорошо известно, любивший вспоминать, подобно своему отцу, о 1812 годе [2]). Из членов совещания в этом смысле говорил один Блудов—и то нерешительно. „Если мы не умеем воевать—заключим мир!"

[1]) Будущий преемник Нессельроде в качестве руководителя внешней политикой России: его, конечно, не следует смешивать с кн. М. Д. Горчаковым, главнокомандующим в Крыму, не раз упоминавшимся раньше.

[2]) Вскоре после падения Севастополя он писал Горчакову: „не унывайте и вспомните 1812 год и уповайте на бога. Севастополь—не Москва, а Крым—не Россия. Два года после пожара московского победоносные войска наши были в Париже. Мы те же русские и с нами бог!" В ноябре переговоры с Францией были прерваны по его личной инициативе.

закончил он свою речь. Все прочие наперерыв приводили аргументы, доказывавшие, как гибельно и бессмысленно было бы продолжение войны. Наиболее решительными из аргументов были, без сомнения, военно-финансовые. Дошедший до нас рассказ о совещании [1]) коротко говорит, что речь военного министра „была переполнена подробностями, имевшими в виду доказать невозможность продолжения войны". Можно представить себе, в чем заключались эти „подробности". Крымская кампания достаточно обнаружила невозможность вести войну во второй половине XIX столетия с нашими старыми путями сообщения. В то время, как Австрия располагала довольно развитою железнодорожною сетью, позволявшею ей быстро концентрировать войска на любом избранном пункте, наши войска и их обозы двигались по грунтовым дорогам со скоростью 4 версты в сутки [2]). Нирогов на курьерских ехал от Симферополя до Севастополя более полутора суток. Санитарное состояние армии было ужасное — и от болезней она теряла гораздо больше людей, чем на поле сражения. За время севастопольской осады войска, находившиеся в Крыму, потеряли ранеными и убитыми около 128 тыс. человек, а больными 183 тысячи. Ополчение,—которым, по примеру 1807 и 1812 гг., пополнялась действующая армия, прямо вымирало, не видав неприятеля: курское, орловское, калужское и тульское ополчения за пять месяцев потеряли около 50% своего состава (из 40.730 человек осталось 21.347). Качественный состав этого последнего ресурса русской армии коротко, но достаточно выпукло обрисован в известном письме Грановского. „Был свидетелем выборов в ополчение",—писал он Кавелину в сентябре 1855 года после своей поездки на юг:—„Трудно себе представить что-нибудь более отвратительное и печальное. Я не признавал большого патриотизма и благородства в русском дворянстве, но то, что я слышал в Воронеже, далеко превзошло мои предположения. Богатые или достаточные дворяне без зазрения совести откупались от выборов; кандидаты в должность начальников дружин еще до избрания проповедовали о необходимости предоставить начальникам ополчений обмундировку ратников и не скрывали своих видов на поправление обстоятельств..." [3])

Крестьяне шли безропотно, по словам Грановского; мы после увидим, что об отношении крестьян к ополчению можно было бы сказать больше. Но какова могла быть эта вооружен-

[1]) В известной книге бар. Жомини: „Etude diplomatique sur la guerre de Crimée". II, p. 390 ssq.

[2]) Обоз с провиантом, высланный из Перекопа 17 декабря, прибыл в Симферополь 21 января, следовательно, прошел 134 версты в 34 дня. Богдановичъ, III, 196.

[3]) „Т. Н. Грановский и его переписка". II, 457.

ная сила в чисто военном смысле с таким офицерством—не трудно себе представить. Главнокомандующий южной армией Андерс вынужден был отдать особый приказ о том, чтобы солдаты полков, к которым прикомандировывали ополченцев, не смеялись над последними, а „помогали бы им в узнании службы". Очевидно, насчет помощи ополченцам со стороны их собственных начальников в этом отношении опытный генерал не питал никаких иллюзий.

Еще решительнее могли быть аргументы финансового свойства. За три года войны (1853—4 и 5) доходы казны возросли с 227 до 261 миллиона, а расходы с 336 до 544 миллионов руб. Дефицит составлял в 1853 году 109 миллионов, в 1854—147 мил., в 1855—282 слишком миллиона рублей—т.-е. превышая всю сумму ежегодных государственных доходов. Для сокрытия истинного положения вещей от публики, начиная опять-таки с государственного совета—в росписи намеренно был утаен расход на военные издержки в 133 мил. руб. На 1856 год ожидали дефицита в 258 миллионов [1]). Несмотря на усердную поддержку курса канкриновского рубля, в октябре 1855 года он стоил лишь 90 копеек и только к декабрю, под влиянием надежды на мир, поднялся до 92.5 коп. Но расшатанностью государственного хозяйства еще не измерялись финансовые итоги Крымской кампании: не говоря об ополчении, уводившем из деревень лучших работников, наполовину безвозвратно, на ближайшие к театру войны части России падал целый ряд натуральных повинностей: подводная, постойная и т. под. „Еще год войны—и вся южная Россия разорена",—писал в том же письме Грановский Кавелину:—„надобно самому съездить да посмотреть, что там делается". Но доставалось не одной только южной России: при отсутствии железно-дорожного сообщения с заграницей (Варшавско-Венская дорога была уже построена—но она не была связана ни с центральной Россией, ни с Петербургом) морской путь оставался почти единственным для русского экспорта. Если уже в начале века эта морская торговля могла сыграть определяющую роль в нашей внешней политике, то тем более это имело место теперь, в 50-х годах: в 1802—4 гг. ценность нашего хлебного вывоза немногим превышала 8 миллионов рублей, в 1847 году она дошла до 70 772.000 руб. Факт настолько бросался в глаза—что дошел до сознания даже русской дипломатии: возможность многолетней блокады наших берегов союзным флотом и коммерческие последствия этого были одним из главных аргументов против войны в речи Нессельроде.

---

[1]) Всего Крымская кампания стоила 796.770.000 руб. См. Блюх, цит. ст., II, 28.

В числе доводов этого последнего один заслуживает особенного внимания: его мы напрасно стали бы искать среди условий, определявших политику Николая Павловича. Тем более знаменательно было его появление. Глава русской дипломатии указывал на то, что наше упрямство может восстановить против России нейтральные державы—и „даже прусский король может не выдержать давления, которое на него оказывают", тогда как, пойдя навстречу требованиям противников, мы „дали бы Европе новое доказательство нашего миролюбия, а нейтральным державам новый повод не вмешиваться в борьбу". Нессельроде, стало быть, признавал, что есть какая-то сила, которая может понудить нейтральные державы, и даже богобоязненного и лояльного Фридриха-Вильгельма IV, присоединиться к коалиции: как на грозный пример, он указывал на Швецию, по договору 9/21 ноября 1855 г. ставшую союзницей Англии и Франции. Этой силой было европейское общественное мнение, высказывавшееся с замечательным единодушием, и не только в странах, вступивших в открытую борьбу с Россией. Приятельница Гоголя, А. О. Смирнова, жившая во время войны в Дрездене, писала оттуда Погодину: „Не могу пересказать вам, как грустно русским в нынешнюю минуту за границей. В гостиных, на биржах, на гульбищах, на торжищах, в отвратительных кофейнях, в лакейских лишь слышишь одно ругательство, зависть, ненависть к России. Не говорю уже о газетах. Здоровье мое не позволяет более их читать: „всякий листок придает пуд желчи".

Светская дама не могла придумать этому явлению иного объяснения, кроме „зависти" европейцев к России. Ее корреспондент был проницательнее. Мы уже знаем, что Погодин был своего рода лейб-публицистом Николая Павловича в последние месяцы его жизни. Выше были приведены отрывки из его обширной записки (вернее, ряда записок) о русской внешней политике,—где Погодин развивал грандиозный план действий против Турции и ее западных союзниц, в особенности „коварной" Австрии, при помощи всеславянского восстания, с участием даже и Польши. Мотивируя этот план, Погодин дает оценку прежней русской политике, так не похожей на то, что предлагал он. Охарактеризовав охранительную роль России на западе и сопоставив ее с политикой европейских государей по отношению к России („вот чем их—Австрии, Пруссии и Германии—государи отблагодарили своего отца и покровителя"...), он спрашивает: „не оказала ли русская политика последствий, более благоприятных со стороны народов?" И отвечает: „народы возненавидили Россию... Народы видят в России главнейшее препятствие к их развитию и преуспеянию, злобствуют

за ее вмешательство в их дела, замечая только непріятную для себя сторону, и с радостью ухватились теперь за первый открывшійся случай сколько-нибудь поколебать ее. Вот почему со всех сторон Европы, из Испаніи и Италіи, Англіи, Франціи, Германіи и Венгріи, стекаются офицеры и солдаты не столько помогать Турціи, сколько вредить Россіи. Европейцы управляют движеніем войск турецкихъ, строят крепости, служат на кораблях, начальствуют пароходами, учреждают фабрики для огнестрельныхъ орудій. Журналы и газеты истекаютъ желчью, книги устремляют на нас тяжелую свою артиллерію, и вот составился легіон общаго мнѣнія противъ Россіи в дополненіе к враждебным флотам и арміям". Вот „горчайшій плод русской политики за последнее пятидесятилетіе".

Коронованному читателю погодинскихъ „политическихъ писем" посчастливилось не дожить до того момента, когда пришлось капитулировать перед „легіоном общаго мнѣнія". Но тем более растерянными и беспомощными были его министры перед этим „легіоном",—очутившись без своего вождя. Им казалось, что „дух нашего времени"—вчера ненавистный и презренный, сегодня страшный—угрожает им уже в их собственной цитадели. „На Волыни и в Подоліи работают эмиссары",—говорил во время совещанія 3 января Киселев—бывшій „начальник штаба по крестьянской части" императора Николая: „недовольные там обнаруживают большую деятельность. Финляндія, при всем своем доброжелательстве, жаждет вернуться под власть Швеціи. Наконец, Польша настолько нас ненавидит, что она поднимется вся, как только военные операціи союзников дадут ей к тому возможность". Не участвовавшій в совещаніи, но не менее влиятельный главнокомандующій крымской арміей, кн. Горчаков, шел в своих мрачных ожиданіях гораздо дальше. „Если бы мы продолжали борьбу",—писал он,—„мы лишились бы Финляндіи, остзейскихъ губерній. Царства Польского, западныхъ губерній, Кавказа, Грузіи и ограничились бы тем, что некогда называлось великим княжеством московским. Наполеон кончил свое поприще потому, что хотел бороться со всею соединенною против него Европою. Нет державы, которая могла бы вести войну без союзников против общаго на нее восстанія".

Паническій ужас тех, кто должен был бы быть главным руководителем в возобновленной борьбе двенадцатаго года, не давал выбора Александру II. Русскому представителю в Вене было послано приказаніе—подписать те предварительные условія мира, на которых настаивала Австрія. Вместе с тем было заключено перемиріе и военные действія прерваны (29 января—1 февраля 1856 г.). 13/25 февраля открылось заседаніе конференціи в Париже, а 18/30 марта был подписан Парижскій

мир, закончивший собою Восточную войну 1853—56 гг. В его основных условиях были детализированы уже знакомые нам „четыре пункта". Россия потеряла право держать военный флот на Черном море, отказалась от исключительного покровительства над православными на Востоке и от протектората над дунайскими княжествами. Ст. 24-ой этим последним было обеспечено конституционное устройство, уничтоженное при помощи русских штыков в 1848 году. Порта была признана „участвующею в выгодах общего права и союза держав европейских". Договаривающиеся стороны обязывались, каждая за себя, „уважать независимость и целость империи Оттоманской" и заявляли, что они „будут почитать всякое в нарушение оного действие вопросом, касающимся общих прав и пользы". Под такую же гарантию был взят и султанский фирман, обеспечивавший положение турецких христиан,—изданный еще в дни посольства Меншикова в Константинополе.

Детализация 2-го пункта—о свободе плавания по Дунаю—причинила русскому правительству последнее чувствительное огорчение. Австрия никак не соглашалась признать, что эта свобода может быть обеспечена, пока хоть верста дунайского берега принадлежит России. В виду этого (ст. 20—21-й) трактат устанавливал „исправление" русской границы в этом пункте, при чем принадлежавшая России часть устьев Дуная отходила к княжеству Молдавскому. При всей ничтожности этой уступки, русские патриоты были весьма огорчены и встревожены,—в виду исторических воспоминаний, связанных с этим клочком земли. „Что за часть Бессарабии уступается?" писал Погодин митрополиту Иннокентию при первых слухах о мире: „неуже́ли с Измаилом? А тень Суворова?" Помимо обиды, причиненной тени Суворова, тут был, конечно, и моральный удар той официальной России, которая, погнавшись за чужими территориями, вынуждена была отдать часть своей. Наоборот, о присоединении к России областей, занятых русскими войсками в Азиатской Турции—Карса и т. д.,—не могло быть и речи. Они пошли в обмен за Севастополь, Керчь, Кинбурн и другие русские крепости находившиеся в руках союзников.

Может быть, ни в чем изменившееся соотношение сил не сказывалось так рельефно, как в поведении русской дипломатии относительно „доброго друга" императора Николая—Наполеона III. Ни следа прежнего высокомерия нельзя было заметить. Верные слуги Николая Павловича, гр. Орлов и бар. Брунов, представлявшие Россию на Парижской конференции, всеми силами старались показать, что Россия „научена опытом последних лет" (едва ли не подлинная фраза первого из названных русских дипломатов) и умеет теперь ценить дружбу того,

кого так пренебрежительно отверг покойный русский император. Под защиту Наполеона прибегали, когда нужно было оборониться от черезчур настойчивых и бесцеремонных требований Австрии и Англии. Прежде так любивший вмешиваться во внутреннюю политику чужих держав, русский двор допустил теперь своего нового покровителя до вмешательства во внутреннюю политику России. Наполеон III очень желал восстановления Польши. Мы видели, что он наткнулся при этом на сопротивление своих собственных союзников—и от экспедиции французской армии на берега Вислы пришлось отказаться. Но он хотел все же что-нибудь сделать для поляков—и об этом желании дошло до сведения наших дипломатических кругов. Предупреждая формальное выражение этого желания, гр. Орлов поспешил заявить французскому императору от имени Александра II, что о продолжении николаевской политики относительно Польши не может быть и речи. Были, повидимому, определенно обещаны административная автономия, прекращение всяких стеснений католической церкви и реформа образования в национальном (польском) духе. В обмен на эти обещания русский уполномоченный просил только об одном—не поднимать разговора о Польше официально на конференции.

На Парижском конгрессе николаевская политика, в лице своих главных орудий, приносила международное покаяние. Но система Николая была лишь проекцией русского режима на Западе. Николай спешил тушить пожар у соседа потому прежде всего, что боялся, как бы не загорелась его изба. Раз наша западная политика была признана ложной и вредной, и мы сами от нее отрекались, являлся вопрос: что же делать с политикой внутренней? В следующей главе мы увидим те объективные условия, которые готовили крушение этой политики независимо от Севастополя. Но теперь, рассматривая, как повлиял Севастополь на настроение наших правящих кругов, нельзя не обратиться опять к лейб-публицисту императора Николая, русскому патриоту и православному христианину, М. П. Погодину. Мы видели, как неумолимая логика жизни привела этого человека к выводу, что борьба с „духом времени" на Западе была сплошной ошибкой, давшей „горьчайшие" плоды. Но та же логика заставляла, сделав первый шаг, сделать и второй. Можно ли бороться с „духом времени?" „Правительства нас предали, народы возненавидели, а порядок, нами поддерживаемый, нарушен, нарушается и будет нарушаться", писал Погодин. „Следовательно, политика наша была не только для нас вредна, но и вообще безуспешна". Но отсюда вывод был один: если бороться с „духом времени" нельзя, если он непреодолим,—то остается только, подчинившись ему добро-

вольно и без ненужного упрямства, извлечь из него всю пользу, какую он может принести русскому правительству. И верноподданный историк николаевской России идет по этому новому пути со смелостью, тем более оригинальной, что она сочетается тут же с мыслью об административной карьере—об обер-прокурорстве синода и о министерском портфеле, добытых при помощи именно этой смелости. Практичный издатель „Москвитянина" чувствовал, что он говорит то, что нужно слышать правительству—не мог угадать только одного—желает ли оно уже это слушать. „Нельзя жить в Европе,—писал он,—и не участвовать в общем ее движении, не следить за ее изобретениями, открытиями физическими, химическими, механическими, финансовыми, административными, житейскими. Если Австрия и Пруссия могут в день примчать свои войска к границам Польши, то нельзя нам волочиться туда два месяца. Если их штуцера берут теперь на две тысячи шагов, то нельзя довольствоваться нам тульскими ружьями и надеяться на один штык, который и не доходит теперь до своего места назначения. Если их конические пули уходят глубже в тело и производят рану смертельную, то нельзя нам стрелять прежним горохом! Если винт сообщает их кораблям способность двигаться как угодно, то нельзя остаться нам со старыми методами кораблестроения,—а механика, химия, физика, астрономия позовут к себе естественные науки; естественные науки приманят математику, высшая математика потребует философии и пр. Нельзя ограничить число людей, образованных известными цифрами, ибо пределы этих официальных цифр наполняются, по известному закону, посредственностями и пошлостями; а таланты-то все останутся вне оных"... „Настоящая война есть крестовый поход России. Назначение ее в европейской истории—возбудить Россию, державшую свои таланты под спудом, к принятию деятельного участия в общем ходе потомства Пафегова на пути к совершенствованию, гражданскому и человеческому, что непременно должно случиться, как бы ни кончилась для нее эта война..."

В дальнейших письмах Погодин пытается конкретно представить себе и своему читателю этот „путь". Но здесь его голос сливается в общем хоре противников официальной России,—по своему не менее благонамеренных, но на иной лад. Не даром „политические письма" сделали на время другом Погодина даже К. Д. Кавелина—не даром, больше того, момент сделал Кавелина минутами похожим на Погодина. В своей практической части „политические письма" являются одним из наиболее ярких и интересных—по своей полной оригинальности—проявлений той новой буржуазной идеологии, которая

шла на смену старой, дворянской, барско-крепостнической. А появление этой идеологии было, в свою очередь, отражением экономического переворота, пережитого крепостной Россией в первой половине века.

Завоевание Кавказа.

1.

Россия, Турция и Персия в Закавказье (1800—1829).

Если в Европе в первые десятилетия XIX века восточный вопрос представлялся, главным образом, как вопрос турецкий, то в Азии это был, почти исключительно, вопрос персидский. Русские колонисты, если верить чеченским сказаниям, являются на северных отрогах Кавказского хребта еще в XVII веке. Но то была частная предприимчивость отдельных удальцов с Дона и Волги. Они переходили Терек и Сунжу не по поручению московского правительства, а именно потому, что надеялись укрыться от его длинных рук здесь в „черных горах", где потом столько было схоронено русских солдат в тридцатых и сороковых годах прошлого столетия. Первые же представители русской „государственности", каких увидели Кавказские горы, были войска Петра Великого, шедшие драться с персами. В Дагестане еще в 60-х годах XIX века показывали кручи, с которых были сброшены драгуны Петра горцами, так же отчаянно отстаивавшими свою свободу, как и сто лет спустя, в дни Шамиля. Но кавказские походы в XVIII веке, почти до самого его конца, были редкими эпизодами,—и кавказский вопрос стал на очередь дня лишь с той минуты, как царь грузинский, фактический вассал персидского шаха, нашел себе нового сюзерена в лице русского императора. Следующие за этим тридцать лет русской истории на Кавказе почти сплошь заполнены войной с персами, лишь время от времени осложнявшейся и борьбою против турок. В результате не только Грузия, но и вся северная Персия по левую сторону Аракса превратилась в ряд русских губерний, и только общеевропейские комбинации, постоянно отражавшиеся на русской восточной политике, спасли от той же участи Азербейджан с Тавризом. Война с горцами—Кавказская война в тесном смысле—непосредственно вытекла из этих персидских походов: ее значение было чисто стратегическое, всего менее колонизационное. Свободные горские племена всегда угрожали русской армии, оперировавшей на берегах Аракса, отрезать ее от базы. С ними, пожалуй, не невоз-

можно было бы столковаться: Екатерина II твердо стояла на этой мысли, и ее унаследовал от бабушки Александр I. Но предлагать такое решение значило не понимать психологии военных людей, действовавших в Закавказье. Им, разумеется, казалось гораздо легче покорить этих „мошенников“ (термин, нередко встречавшийся и в официальных бумагах того времени), нежели вести с ними какие-то переговоры и уважать какое-то их права и обычаи. Неужели „русский штык“, перед которым бежали в паническом страхе „регулярные войска“ государя довольно большой державы, персидского шаха, не смирит в самое короткое время оборванцев, годных, казалось, лишь на то, чтобы воровать лошадей у казаков? Практика скоро показала, что выбить „мошенников“ и конокрадов из их горных убежищ—дело, неизмеримо более трудное, чем взять „глиняный горшок“, именовавшийся крепостью Эриванью [1]), или даже прийти в Тавриз. Но раз дело было начато, честь мундира требовала его окончить. Персидские—и лишь отчасти турецкие—войны определили, таким образом, не только объективно Кавказскую войну, но и субъективно: они объясняют нам ее психологию.

Соперничество России и Персии в Закавказье имело под собою, однако, более серьезную почву, чем простая соседская ссора из-за Грузии. Персия начала XIX века стояла приблизительно на той ступени экономического и политического развития, как Россия XVII в.: в ней складывалась бюрократическая монархия примитивного типа, опираясь на зачаточные формы капитализма и сама вызывая их к жизни. Генерал Ермолов в 1817 году нашел там литейные заводы, оружейные фабрики, арсеналы и крепости „по образу европейскому“—и слышал разговоры об учреждении суконных фабрик и свеклосахарных заводов, по почину правительства и под руководством европейцев: совсем как в России времен „тишайшего“ Алексея или его отца [2]). В довершение сходства, орудием переворота и здесь была новая династия—тюркские каджары, не без кровавой борьбы вытеснившие своих предшественников, зендскую династию потомков Керим-хана, несколько старшего современника

---

[1]) Подлинное выражение Николая I, когда он лично увидел эту „твердыню“, за взятие которой он дал Паскевичу графский титул.

[2]) Перед этим Ермолов рисует чрезвычайно яркую картину только-что начинающегося „первоначального накопления“: „Нынешнего шаха господствующая страсть—собирать сокровища“,—пишет он,—и народ обременяется чрезмерными налогами. Грабительство приведено в систему и обращено в необходимость для каждого из управляющих, ибо без денег и подарков ни милости шаха, ни покровительства вельмож, ниже уважения между равными, снискать невозможно. Деньги доставляют почести и преимущества, коими персияне ненасытимы. Деньги разрешают преступления, с коими персияне неразлучны“. Донесение Ермолова Александру I от 22 октября 1817 г. см. у Щербатова: „Генерал-фельдмаршал кн. Паскевич“. Т. II. приложение, стр. 17.

Екатерины II. Случайное обстоятельство избавило Россию от непосредственного столкновения с основателем новой династии, Агою Магомет-ханом: он был убит своими приближенными как раз в ту минуту, когда готовился воевать с русскими. Перед этим он успел, однакоже, опустошить Грузию, мстя ей за ее переход под покровительство России. Конфликт уже совершенно назрел—и разразился при втором государе каджарского дома, Фетх-Алишахе: фактически от его имени северной Персией самостоятельно правил Аббас-Мирза, его третий сын и предполагаемый наследник, глава персидских „западников",—из своей столицы, Тавриза, руководивший всеми персидскими нововведениями. Европейцы ему нужны были как помощники—и в то же время учителя—в деле этих последних: но международные отношения в самой Европе так складывались в то время, что и он оказывался нужен европейцам. Лишь очень короткое время русско-персидская война оставалась изолированной от общеевропейских отношений: и в это время она шла с полным успехом для России. В 1803—1804 гг. целый ряд „ханств" к северу от Аракса—полу-провинций, полу-вассальных владений Персии—подчинился России, и некогда так грозная для Грузии „Ганжа" получила весьма стильное, в екатерининском духе, имя—Елизаветполя (по имени жены Александра I, Елизаветы Алексеевны). Начальник русских войск в Грузии, кн. Цицианов, в глазах туземного населения с самими ханами во главе, стал воплощением всякой власти и всякого могущества: русского „инспектора" боялись гораздо больше, чем самого шаха. Но эта репутация всемогущества и погубила Цицианова: она внушила мысль одному из угрожаемых русскими войсками ханов (бакинскому), что со смертью русского генерала кончится и порабощение персов русскими. Цицианов был изменнически убит во время свидания с этим ханом (8 февраля 1806 г.), и то, что последовало непосредственно за этим убийством, как будто оправдало суеверный предрассудок его убийцы: русские войска должны были отступить от Баку. А явившийся на место Цицианова гр. Гудович нашел перед собою уже иную, гораздо менее благоприятную для России, комбинацию сил. Уже в январе следующего 1807 года ему пришлось уверять персидского шаха, будто французский император Наполеон I „потерял баталию, разбит и прогнан, и теперь лежит при смерти болен в прусском владении, может уже и умер". Но в Тегеране, повидимому, лучше были осведомлены о положении дел в Западной Европе, чем этого хотелось русскому главнокомандующему. 10 мая того же 1807 года между Персией и Францией был заключен договор, согласно которому Наполеон обязался содействовать возвращению Персии не только отобранных при Цицианове

ханств, но и Грузии. На Араксе Россия имела теперь того же противника, что и на берегах Вислы.

Одновременно—в том же январе 1807 года—начали военные действия и турки. Это было тем более досадное усложнение, что из соседних турецких пашалыков, главным образом карсского, продовольствовалась ранее русская армия, действовавшая против персов. Собственно в военном отношении турки в Малой Азии нестрашны были в это время, как и позже: их главные и лучшие силы всегда оставались на европейском театре войны, где русские могли угрожать непосредственно Константинополю. Инициатива военных действий в Закавказье оставалась обыкновенно в руках туземных ополчений, формируемых и руководимых местными пашáми,—полу-губернаторами, полу-вассалами, как и ханы пограничных с нами персидских областей. Но среди туземного населения здесь были довольно энергичные и воинственные племена, в роде лазов в ахалцыхском пашалыке. В крепостной же войне турецкие войска и здесь обнаруживали такую же опытность и стойкость, как на Дунае. Попытка Гудовича взять крепость Ахалкалаки потерпела полную неудачу. Пришлось перейти к обороне: и хотя переход турок в наступление кончился, как обыкновенно кончались подобные попытки, победой русских войск,—внимание последних было развлечено новым противником настолько, что о продолжении блестящих успехов Цицианова на войне против главного врага, персов, не могло уже быть и речи. Руководимые французскими офицерами солдаты Фетх-Али-шаха неожиданно оказались очень солидным противником: преемник Гудовича, Тормасов, так же безуспешно штурмовал укрепленную наполеоновскими инженерами Эривань, как его предшественник—Ахалкалаки. Тильзитский мир, превративший русского и французского императоров в союзников, не только не помог делу, но, пожалуй, даже ухудшил его. Для Наполеона, в его политике отвлечения северного союзника восточными делами, Персия представляла не меньшую ценность, чем Турция. Мы видели в своем месте, как ловко использовал он свою роль посредника между этой последней и Россией—упорно торгуясь с Александром I из-за Дунайских княжеств, давным-давно фактически перешедших в русские руки. Здесь, в Закавказье, его уполномоченный, генерал Гардани, вел точь-в точь такую же игру,—под предлогом посредничества всячески хлопоча о возвращении шаху областей, занятых в свое время войсками кн. Цицианова. Как там, так и здесь результат был один—война затягивалась. Но формальная дружба с Францией вела к формальному же разрыву с Англией, которая никогда не принадлежала

к числу русских друзей в передней Азии, вплоть до начала XX столетия. Как ни ценна была Россия для английской промышленности в эти дни—дни борьбы с „континентальною блокадою", это нисколько не мешало ост-индским англичанам занять по отношению к Персии то же положение, которое не совсем еще оставили и французы: на место генерала Гарданна с его инженерами и артиллеристами явились английские офицеры, принявшиеся обучать европейскому строю персидскую пехоту. Аббас-Мирза получил двадцать тысяч английских ружей для своих сарбазов; в 1810 году Англия формально обязалась уплачивать шахскому правительству ежегодно 200.000 туманов (2 миллиона серебряных рублей). И тщетно Тормасов в своих обращениях к шаху яркими красками расписывал бедствия, постигавшие будто бы всех, кто имел несчастие подчиниться коварному английскому влиянию,—всячески возвеличивая теперь победы Наполеона, который еще недавно едва не умер на страницах подобных же бумаг гр. Гудовича: персы так же мало верили франкофильству нового русского главнокомандующего, как и франкофобству прежнего. Английское золото, английские пушки и ружья говорили сами за себя. По инициативе Англии шах заключил союз с турецким султаном, и оба мусульманские врага России, действовавшие до сих пор не совсем неудачно порознь, готовились вместе действовать еще более успешно. Конец войны в Азии—неожиданно с точки зрения местных дел—положил крутой поворот в европейской политике: разрыв России с Наполеоном, возобновление англо-русского союза и война 1812 года привели закавказские дела к развязке, какой совсем нельзя было ожидать в 1810 году. Бухарестский мир с Турцией прекратил военные действия и на малоазиатской турецкой границе. Персы остались одни. Английские дипломаты, до того всячески поддерживавшие воинственные планы Аббаса-Мирзы, хлопотали теперь о посредничестве, довольно точно копируя поведение ген. Гарданна и его агентов после Тильзитского мира. Наскоро созданная английскими офицерами регулярная персидская армия оказалась еще не в силах выдерживать бой с кавказскими войсками России, когда силы этой последней не были раздроблены борьбой одновременно с двумя противниками. Разгром Аббаса-Мирзы Котляревским (при Асландузе, на берегах Аракса, в октябре 1812 г.) заставил шахское правительство послушаться миролюбивых теперь советов британской дипломатии [1]),— с своей стороны, Александр I

[1]) Которая, впрочем, обосновывала эти советы довольно вескими аргументами,— прямо угрожая Персии лишением английских субсидий.

был так же рад развязаться с персидской войной, как раньше с турецкой. 1 октября 1813 г. были подписаны предварительные условия Гюлистанского мира, который дождался ратификации только три года спустя, почти накануне новой русско-персидской войны. То был тот „худой мир", который, по пословице, лучше доброй ссоры. Он был выгоднее Бухарестского трактата для России в том отношении, что русские войска не вывели из оккупированных ими ранее персидских провинций,—и последние фактически остались в русском обладании. Но юридическое положение их было крайне неопределенное,—из словесных комментариев к Гюлистанскому договору персидское правительство вынесло уверенность, что если не все ханства к северу от Аракса, то, по крайней мере, часть их будет со временем возвращена Россией. Эта неопределенность „худого мира" уже с самого начала грозила новой „доброй ссорой".

Тринадцать лет, прошедшие между первой и второй войной с персами, показали, что надежды последних на обратное возвращение им спорных ханств имели под собою и гораздо более твердое основание, чем какие-нибудь недомолвки в каком-нибудь дипломатическом документе. Английская дипломатия, работая в Персии, пролагала пути туда английскому капиталу,—у нее были вполне конкретные экономические задачи. Никаких задач подобного рода не преследовали русские завоевания. Правда, центральное правительство напоминало постоянно своим представителям в Закавказье о необходимости заботиться об интересах русского торгового капитала в Персии: император Александр I выразился даже однажды, что он ставит торговые выгоды выше территориальных приобретений [1]). В период переговоров, предшествовавших окончательной ратификации Гюлистанского трактата, русская дипломатия очень хлопотала об устройстве русских торговых контор в Энзели и Астрабаде и о допущении русских консулов в Решт и другие крупные коммерческие центры Персии, что было, повидимому, особенно не по душе правительству шаха. Но местные агенты России относились к подобного рода вопросам весьма вяло: то были люди военные, а не торговые,—для них на первом плане были комбинации, которые им самим казались, конечно, более „возвышенными", чем охрана выгод и интересов каких-то астраханских купцов. Закавказье завоевывала не буржуазная, а еще дворянская Россия,—и ее отношение к своим приобретениям было в высокой степени „феодальным". Маленьким, но весьма ярким образчиком этого отношения является один проект, зародившийся в голове нового главнокомандующего, ген. Ермолова, как только он при-

[1]) В инструкции генералу Ермолову от 29 июня 1816 г.

был в 1817 году на место своей будущей деятельности: не забудем при этом, что Ермолов, друг и покровитель декабристов, сам заподозренный впоследствии в прикосновенности к заговору, совсем не был бурбоном скалозубовского типа. Это был человек просвещенный, в духе XVIII века, гордившийся этим просвещением и считавший себя призванным водворить его во вновь покоренных Россией землях. И вот, едва явившись в Персию и осмотревшись среди тамошней обстановки, просвещенный генерал выступает с предложением: вопреки формальным постановлениям только-что заключенного Гюлистанского трактата, которым мы обязались признавать наследником персидского престола Аббаса-Мирзу, поддержать интригу, ведшуюся в пользу кандидатуры его старшего брата. Кем—это достаточно ясно дает понять сам же Ермолов, говоря, что этот старший брат популярен, благодаря „постоянному сохранению правов и обычаев народа" и тому, что „не терпит он европейских учреждений и к англичанам имеет ненависть". Можно бы подумать, что единственной целью русского главнокомандующего было парализовать влияние в Персии этих последних: но нет, Ермолов метил гораздо дальше и не думал скрывать этого. После междоусобия из-за престола, которое имеет возникнуть, благодаря поддержке России упомянутой сейчас интриги, Персия, говорит Ермолов в своем донесении императору, „долгое время не придет и в теперешнее состояние спокойного беспорядка, а начинающее рождаться во многих частях устройство по крайней мере на целое столетие отдалено будет". Такова конечная цель: а ближайшей выгодой для России будет беспрепятственный захват Эриванского ханства, оставшегося по Гюлистанскому миру еще в руках Персии. Александр Павлович строго запретил эту авантюру, разорением целой страны покупавшую совсем в сущности ненужный России клочок земли,—но, кажется, Ермолов „не проникся" этим и вел интригу дальше за свой частный счет, что однажды и было открыто случайно министерством иностранных дел. Разорения Персии он этим не достиг, но в сильнейшей степени обострил, конечно, ненависть к России Аббаса-Мирзы, и без того мало имевшего оснований любить нас. А этим, в числе других причин, была, несомненно, подготовлена вторая персидская война, заставившая и русское правительство, и самого Ермолова пережить несколько довольно неприятных минут. Является вопрос, что же заставляло русские военные власти выступать с такими проектами, которые можно было бы назвать макиавеллистическими, не будь они слишком мелки для имени Макиавелли? Была ли это бескорыстная жажда завоеваний ради них самих, ради славы и блеска? Несколько образчиков ермоловской

же администрации в уже завоеванных ханствах покажут нам это. Мы расскажем их, придерживаясь по возможности подлинных слов почти официального историка покорения Закавказья, притом большого почитателя ген. Ермолова, так что его нельзя заподозреть в желании усилить темные краски,—ген. Дубровина. 24 июля 1819 года умер „после непродолжительной болезни" Измаил—хан шекинский (персы открыто говорили, что он был отравлен состоявшим при нем русским чиновником, и делали в этом смысле даже официальные заявления). В столицу умершего хана, Нуху, немедленно же были двинуты „для предупреждения волнений" русские войска. Затем, повествует генерал Дубровин, „главнокомандующий, под предлогом неимения прямых наследников, приказал ввести в ханстве Шекинском русское управление... Вместе с тем было приказано: привести в известность ханские доходы, не изменяя ни количества их, ни порядка взноса; печать ханскую и Мирзу, управляющего делами, взять под стражу, дабы пресечь ему возможность выдавать фальшивые ханские грамоты. Привести в известность грамоты, выданные Измаил-ханом на управление деревнями или на разного рода имущество, данное в собственность, описать собственное имущество хана, долженствующее поступить в казну; составить список всему ханскому семейству с обозначением состоявшей у каждого собственности, чтобы определить им приличное содержание от казны" [1]). Семейство умершего хана было попросту, таким образом, ограблено: официальные документы, на которых основано изложение Дубровина, умалчивают только об одном—какой комиссионный процент учли в свою пользу исполнители этой операции, русские чиновники, штатские и военные. Что они были здесь несколько заинтересованы, показывает всеобщая уверенность, разделявшаяся и русскими офицерами, что отравлен был Измаил-хан по прямому приказу главного военного начальника края генерала кн. Мадатова. Этот же последний, по общему мнению, был виновником и другой не менее смелой операции, совершенной в соседнем Карабахском ханстве. Здешнего хана, повидимому, отрава не брала, и для устранения его пришлось прибегнуть к средству менее трагическому, но зато для того времени необычайно прогрессивному,—теперь мы назвали бы его провокацией. Племянника хана подговорили донести на дядю, будто тот хочет его убить, при чем, для большей убедительности, было симулировано даже и самое покушение. Немедленно было наряжено строгое следствие. Поняв,

[1]) „История войны и владычества русских на Кавказе". Т. VI, стр. 388. Курсив наш.

к чему клонится дело, хан бежал в Персию, предусмотрительно захватив с собой большую часть жалованных грамот императора Александра, но зато бросив все свое имущество. Тогда племянника, который уже видел себя наследником всего оставленного ханом, включая и самое ханство, преспокойно сослали в Симбирск, а „выморочное“ достояние карабахской династии поступило в собственность русской казны. Поступило юридически, конечно: фактически же „для управления ханством в хозяйственном и административном отношениях назначен был полковник Реут“. Об этом храбром офицере мы знаем, что у него были к его начальнику, кн. Мадатову, не только служебные отношения: „41-й егерский полк полковника Реута почти весь был занят в Карабахе постройкой усадьбы в имении Чинахчи генерал-майора князя Мадатова“, пишет другой русский генерал-историк, кн. Щербатов [1]). Немудрено, что в результате своей успешной административной деятельности начальник Реута — и правая рука Ермолова по управлению отобранными у Персии ханствами — сделался „из первых помещиков в Карабахе“, по отзыву Паскевича, который вовсе не хотел этим сделать какой-либо намек, а просто констатировал факт, желая даже сказать хорошее о Мадатове. После этого Ермолов сколько угодно мог уверять „беков и прочих состояний жителей“ завоеванных персидских провинций, что „собственность их останется неприкосновенною“,—сколько угодно мог утешать и себя, что, „как ни противится вера сих народов всякому просвещению не могут они не чувствовать выгод благоустройства“: „беки и прочих состояний жители“ оставались при особом мнении и массами бежали в непросвещенную и варварскую Персию от русского „благоустройства“. И бедному просвещенному генералу ничего не оставалось, как вешать строптивых за ноги, что он и делал, к некоторому, впрочем, конфузу своих подчиненных. Последних, однако, смущала более азиатская форма заводившихся в Закавказье добрых вотчинных порядков: по существу же они сживались с этими порядками с такою же быстротой, как если бы дело происходило где-нибудь в Тамбовской губернии. „7-й карабинерный полк полковника Ладинского, — пишет тот же русский генерал, которого мы цитировали несколько выше, — строил в Тифлисе дом для любовницы своего командира; почти на самой границе Персии командир 3-го карабинерного полка князь Севарсемидзе воздельвал землю и сеял хлеб руками вверенных ему нижних чинов“ [2]).

Все творившееся в бывших персидских ханствах было, разумеется, как нельзя лучше известно их прежнему государю

[1]) Ген.-фельдм. кн. Паскевич. II, 30.
[2]) Кн. Щербатов, ibid.

а особенно его наместнику в соседнем с нами Азербейджане, Аббасу-Мирзе. В то время, когда русские войска занимались постройкой домов или пахали землю, в Тавризе кипела работа совсем другого рода. Русский представитель, проживавший в этом городе, писал Ермолову в 1825 году, что уши членов русской миссии „очень страдают от залпов, которые производятся каждый день после обеда". „Мои палатки,—пояснял он,—раскинуты в трех или четырехстах шагов за теми местами, где формируются „бессмертные" полки нового Дария, который в самом деле мечтает противопоставить их фалангам императора Александра". Видевший эти „бессмертные" полки, о которых с такой иронией отзывался штатский дипломат, военный человек—сам генерал Ермолов—вынес из своего знакомства с ними совсем не комическое впечатление. „В Персии почти каждый поселянин воин и с ребячества приобыкает к ружью,—писал он Александру I еще в 1817 году,—а потому каждый поступает на службу хорошим стрелком. Труды переносят терпеливо, а пище чрезвычайно умеренны, удобны к движениям необычайно скорым, и в короткое время Персия может иметь пехоту, которая станет на-ряду с лучшими в Европе". Настроение в Персии все поднималось, чему не мало способствовало поведение русских властей в занятых Россией ханствах. С населением последних, через Аракс, поддерживалась деятельная переписка,—там не могли дождаться, когда же, наконец, оставшиеся свободными братья придут освободить их из русской неволи [1])? Духовенство (мусульманское) по обе стороны границы вело совершенно открыто проповедь „священной войны" с неверными. Шахскому правительству нужен был только предлог, чтобы „начать". Сначала его искали в спорах из-за неясных мест Гюлистанского трактата. Но это был очень длинный путь,—русские власти, уверенные, что персы ничего серьезного предпринять не посмеют (ведь стоила же чего-нибудь победа Котляревского?)—и не желая в то же время обострять отношений, весьма охотно тянули переговоры, не давая им прийти ни к какому определенному результату. Является вопрос: почему бездействовал лучше всех осведомленный и, несомненно, многое предугадывавший Ермолов? Кажется, не может быть сомнения, что он и тут вел личную политику: революционного настроения в ханствах он, по своей самоуверенности, не видел,—а в победе над войсками Аббаса-Мирзы, по той же самоуверенности, он был твердо уверен; в результате, он не прочь был от новой войны, которая, сосредоточив в его руках большие военные силы и окружив его ореолом побед действительно дала бы

[1]) См., особенно, названное сочинение Дубровина VI, стр. 608.

ему то положение властного проконсула Кавказа, „Цезаря", как иронизировали в Петербурге, о каком он всегда мечтал. Думал ли он использовать это властное положение для целей более далеких и возвышенных,—как в том же Петербурге склонны были бояться,—вопрос до сих пор невыясненный. Кажется, в этом пункте враги переоценивали „Цезаря": хотя в существовании у него сношений с декабристскими кругами, если и не прямо с тайными обществами, едва ли можно сомневаться. Выступить в роли политического деятеля у него едва ли хватило бы инициативы. Но если бы 14 декабря на Сенатской площади победителем остался не Николай Павлович, „временное правительство" нашло бы в честолюбивом генерале одного из преданнейших слуг нового порядка: а при популярности Ермолова в войсках это была не шутка. Не мудрено, что будущий победитель вспомнил о кавказском главнокомандующем накануне решительного дня—и вспомнил с жутким чувством. „Я, виноват, ему менее всех верю", писал Николай Павлович о Ермолове в своем знаменитом письме к Дибичу, начинавшемся словами: „После завтра поутру я или государь, или—без дыхания".

14 декабря решало сразу судьбу и Ермолова, и войны. Отставка кавказского главнокомандующего [1]) подразумевалась само собою, раз Николай к вечеру этого дня был государем а не „без дыхания". Но просто отнять власть у „Сардаря-Ермулу", как называли его кавказские туземцы, считалось слишком рискованным—у Ермолова было еще до сорока тысяч солдат, привыкших его слушаться. При некоторой решимости с его стороны—будь он в самом деле союзником декабристов—тут дело могло выйти серьезнее, чем с восстанием в черниговском полку. Николай на первое время удостаивал генерала, которому он „менее всех верил", даже лестными письмами, где изъяснялось, что „будь Николай Павлович прежний человек", он бы не преминул обнажить шпагу под начальством своего бывшего командира (Ермолов когда-то командовал гвардией). Тем временем „Цезаря" окружили преданными новому императору людьми. Первым из них был князь А. С. Меншиков [2]), посланный, якобы, для приветствия персидского шаха от имени вновь вступившего на престол русского государя, а также для окончательного улажения споров из-за толкования Гюлистанского трактата; а на самом деле для надзора за Ермоловым. Затем явился брат шефа жандармов, генерал Бенкендорф, с целями уже прямо соглядатайскими; он, впрочем, оказался таким бестолковым и ограниченным человеком, что даже в качестве

[1]) Ермолов официально этого титула и связанных с ним прав не имел, но в просторечии его часто так называли.

[2]) См. о нем статью „Крымская кампания".

шиона был мало полезен [1]), хотя доносил весьма усердно и навел на тифлисских генералов и чиновников настоящую панику. От Меншикова однакоже судьба избавила Ермолова очень скоро и довольно неожиданным образом. Еще раньше, чем он приехал в Персию, туда уже дошли слухи о 14 декабря,—как могли они дойти на таком расстоянии и сквозь призму восточной фантазии. Приближенные шаха рассказывали, что в России генерь государя нет, Константин и Николай воюют друг с другом, и в стране господствует полная анархия. Удобнее момента для войны с Россией, казалось, было не найти. Повидимому, этого мнения держались не только персидские министры, но и субсидировавшая шаха английская Ост-индская компания, настоятельно рекомендовавшая персам не терять времени. Когда Меншиков явился в резиденцию персидского государя, война уже была здесь решена в принципе: посла „сомнительного" императора приняли как нельзя хуже, а затем попросту задержали, а персидские войска тем временем (в июле 1826 года) переходили русскую границу. Пограничное население встречало их с распростертыми объятиями. „В Талышинском ханстве,— пишет один из историков этой эпохи,—все население восстало поголовно, и до сей поры нам всегда преданный хан талышинский стал во главе восстания". Хан талышинский, говорит один из русских деятелей Закавказья, опасался рано или поздно подвергнуться участи соседних с ним ханов и еще более был выведен из терпения беззакониями и грабежами русского коменданта Ленкорани (он же и правитель ханства) [2]). Но театром настоящей революции стал Елизаветполь. „27 июля, когда татары узнали о скором оставлении города русскими войсками, они вооружились поголовно саблями и кинжалами, ворвались в крепость и направились прямо к острогу для освобождения заключенных. Одна часть мятежников бросилась на караул, защищавший доступ к тюрьме, а другая стала бросать в окна кинжалы и таким путем снабдила преступников оружием. Они легко разбили двери и запоры острога и устремились на караул с тыла. Семь человек солдат было убито, а остальные переранены. Затем мятежники напали на отряд, под прикрытием которого было отправлено казначейство, и успели отбить несколько тюков медных денег. В самом городе в ночь с 27-го на 28-е число многие русские были вырезаны... все дела присутственных мест остались в руках возмутившихся и были потом сожжены ими" [3]). Где население не решалось восстать

[1]) См. о нем в записках И. И. Муравьева, „Русский Архив". 1889 г. кн. 8, стр. 335 и след.

[2]) Ки. Щербатов, названное сочинение. II, стр. 50.

[3]) Дубровин, названное сочинение. VI, 335.

открыто, оно оказывало пассивное сопротивление, прибегая к бойкоту и забастовке: хлеб не только не продавали прямо русским войскам, но не вывозили его вовсе на рынки; приходилось выписывать хлеб из Астрахани. В Шемахе удалось добыть 400 четвертей пшеницы, но не нашлось ни одной мельницы, где бы ее можно было смолоть. В довершение всего ки. Мадатов, бывший между прочим и поставщиком провианта в находившиеся под его командой войска, не исполнил своих обязательств, и крепость Шуша, которая скоро осталась единственным укрепленным пунктом, где еще держались русские в бывших персидских ханствах, неизбежно должна была сдаться от голода при сколько-нибудь настойчивой блокаде со стороны персидских войск. Но далеко не все русские войска с берегов Аракса успели стянуться в это убежище среди всеобщего мятежа, когда враг грозил буквально со всех сторон: несколько отрядов было истреблено, в том числе один довольно значительный, с пушками; таких трофеев у персов давно не было.

Ермолов в это время имел вид человека совершенно растерявшегося,—трудно сказать, от чего более: от сознания ли неминуемой близкой опалы или от неожиданности персидского нашествия и революции в ханствах. Это был великолепный предлог, чтобы сменить его не по политическим причинам, а „для пользы службы“. При первом известии о войне и наших неудачах Николай отправил в Закавказье одного из наиболее надежных своих генерал-адъютантов, Ивана Федоровича Паскевича, для того, чтобы командовать действующими против персов войсками „под главным начальством генерала Ермолова“, но с правом непосредственно сноситься с самим императором: нетрудно было догадаться, что это означало отнятие у Ермолова всякого начальства над войсками и оставление его при одной „гражданской части“, где он совершенно не был страшен. Было предусмотрено, что „Сардарь-Ермулу“ может не согласиться на такое разжалование,—и на этот конец Паскевич был снабжен секретным высочайшим повелением, смещавшим Ермолова и назначавшим его, Паскевича, на его место. Повеление, однако, не пришлось пустить в ход: Ермолов не пошел дальше некоторых невежливостей чисто личного свойства по адресу своего заместителя, и последнему пришлось изыскивать признаки неблагонадежности прежнего главнокомандующего в том, что тот принимал у себя прапорщиков и поручиков зауряд с генералами, да еще и не в установленной форме; при чем прапорщик сидел, а генерал должен был стоять. Притом же Паскевичу, если он хотел совершать подвиги, нужно было спешить: появление нового генерала из Петербурга подстрекнуло в Ермолове дух военного соперничества, и он вышел из своей

апатии: высланный им против Аббаса-Мирзы кн. Мадатов, при всех своих административных особенностях все же „храбрый гусар", по признанию самого Паскевича, успел уже одержать одну победу над персами. „Отец-командир", Николая Павловича ело поспел во-время, чтобы не дать ермоловскому любимцу кончить все дело без него. Он прибыл почти накануне решительного боя: Аббас-Мирза, заметив, что русские стягивают подкрепления из Грузии и других мест, поспешил предупредить сосредоточение русских сил и атаковал отряд Мадатова у Елизаветполя (13 сентября 1826 г.). Новые персидские войска произвели на Паскевича, ожидавшего видеть нестройную толпу, весьма сильное впечатление: „пришли в дистанцию без выстрела, фрунтом открыли батальонный огонь хотя бы лучшей пехоте", писал он потом начальнику главного штаба, Дибичу. По словам некоторых очевидцев, он совершенно растерялся—сидел на барабане позади войск в полном смущении и не отдавал никаких приказаний. Сам он, не скрывая, впрочем, своего местопребывания, уверяет в своем дневнике, будто он „бросился в резерв", опасаясь, что ермоловскими солдатами овладеет „панический страх". Опасение едва ли не было черезчур субъективным,—удар в штыки этих самых солдат через несколько минут решил бой: Аббас-Мирза первый бежал с поля битвы, а за ним бежали его сарбазы. И, судя по тому, что инициативу смелой атаки приписывали себе разные генералы, есть большое основание думать, что эта инициатива, как часто бывает в минуты суматохи, принадлежала самим солдатам. Как бы то ни было, персидское нашествие рассеялось 13 сентября, как дым,—регулярной армии Аббаса-Мирзы, стоившей ему стольких денег и стольких хлопот, опять не существовало, а справиться с одним восставшим населением было уже не так трудно.

Недостаток продовольствия и перевозочных средств помешал немедленно использовать елизаветпольский успех,—и против персов пришлось вести еще одну кампанию в следующем 1827 году. Паскевич приписывал эту задержку интригам Ермолова и Мадатова, но так как русские войска терпели недостаток в обоих указанных отношениях и в следующем году, после нескольких месяцев подготовки, то мы вправе отнести жалобы Паскевича насчет его излишней подозрительности ко всему „ермоловскому". Тем более, что вторую кампанию он вел уже совершенно самостоятельно: в промежутке между нею и предыдущим походом 1826 года на Кавказ явился третий и самый полномочный агент императора Николая, начальник его штаба барон Дибич (два года спустя главнокомандующий в Европейской Турции),—и окончательно „развел" спорящих генералов, так именно, как этого можно было ожидать заранее. Ермолов был уволен от всех

своих должностей, а Паскевич назначен на его место [1]). В чисто военном отношении ход дела после елизаветпольской победы не представлял уже никаких сомнений. Если что задерживало еще решительные удары в течение всего лета 1827 г., то это были климатические условия и развившиеся под их влиянием в рядах русской армии болезненность и смертность. Только с наступлением осени дела в этом отношении поправились—1 октября Паскевич мог порадовать Николая Павловича взятием Эривани. Чего стоила на самом деле эта крепость (выразительное определение ее, сделанное впоследствии самим императором Николаем, мы уже знаем), показывает тот факт, что на осаду ее потребовалась ровно одна неделя; затем Эривань защищаться уже более не могла. Но не более упорное сопротивление встретили русские войска и в коренных областях Персии,—в самом Азербейджане, куда тотчас же после занятия Эриванского ханства были перенесены военные действия. Вторичная неудача каджаров в борьбе с русскими обходилась им дорого: их грабительской политики им никогда не прощали, как и их тюркского происхождения. В глазах шиитского духовенства они всегда были узурпаторами—ибо истинным повелителем правоверных в глазах шиита мог быть только потомок Али. Теперь, когда военная сила каджаров пала во прах, шиитские проповедники, с тавризским муштехидом во главе, заговорили об этом открыто. Опыт 1826 года принес все-таки некоторую пользу: Паскевич очень заботился о том, чтобы на первых порах не раздражать местного населения, и не трогал туземных властей. При таких условиях азербейджанские ханы, давно уже обеспокоенные централизаторскими наклонностями Аббаса-Мирзы, весьма не прочь были променять прямое подданство каджарам на вассальную зависимость от русского императора. Перед русским главнокомандующим уже открывались необыкновенно блестящие перспективы. «Англичане»,—писал Паскевич Николаю из занятого им (13 октября 1827 г.) Тавриза,—«гораздо более персиян соболезнуют об участи Аббаса-Мирзы; они не скрывают своего опасения, что Азербейджан по всей справедливости может за нами остаться, и тогда могущество их истинного союзника рушится. Здесь, в Тавризе, в корне их настоящего влияния, кроме Аббаса-Мирзы, несмотря на расточительность их дипломатов, никто их не только покровительствовать, но и терпеть не будет; с утратою Азербейджана английские чиновники могут сесть на корабли в Бендер-Бушире и возвратиться в Индию». Но англичане как раз в этот момент были союзниками Николая

[1]) Не совсем к полному удовольствию барона Дибича,—который, повидимому, не прочь был сесть на место Ермолова сам, по пятился на решительное противодействие Николая.

Павловича, а, кроме того, произвести в Персии описываемый Паскевичем переворот можно было только, опираясь на антидинастическое движение, руководимое духовенством; императору же Николаю I в высокой степени противна была мысль о поддержке каких бы то ни было революционеров, хотя бы то были шпитские мистики. Широкие планы Паскевича не получили высочайшего одобрения; граница России осталась на Араксе—в нее вошло, из новых территорий, только Эриванское ханство. Азербейджан Аббас-Мирза получил возможность выкупить ценою контрибуции в 70 миллионов рублей ассигнациями,—из которых один миллион достался непосредственно «графу Эриванскому».

Спешить с заключением «Туркманчайского» мира [1]) приходилось еще и по другим причинам: после Наваринской битвы (20 октября 1827 г.) в близости войны с Турцией не могло более быть сомнений. Оттого в Петербурге с таким нетерпением ждали прекращения военных действий в Персии и так боялись увлечений Паскевича. Русские войска в Закавказье из персидского похода прямо пошли в турецкий. Какого рода противник их здесь ожидал, мы уже видели выше: за двадцать лет условия нисколько не изменились. Нестройные ополчения турецких пашей были, пожалуй, еще менее грозным врагом, чем обученные английскими офицерами батальоны Аббаса-Мирзы. Кто знает историю наших позднейших кампаний в Азиатской Турции, 1853—56 и 1877—78 гг., когда довольно значительным русским силам—более крупным, чем те, какие находились в распоряжении Паскевича,—приходилось покупать каждый шаг вперед тяжелыми жертвами, не может без удивления читать рассказ о походах русских войск в тех краях в 1828—29 гг., и неизбежно выносит впечатление, что турки, как военная сила, значительно поднялись в течение XIX века. Главное затруднение для Паскевича,—как в свое время для Гудовича и Тормасова,—представляли воинственные горные племена разных наименований,—лазы, аджарцы и тому под. Взятие защищавшихся последними горных крепостей, Ахалкалаки и Ахалцыха (в июле—августе 1828 г.), принадлежало, пожалуй, к самым трудным операциям этой войны. С самими турками дело шло гораздо легче: тот самый Карс, который стоил русской армии столько крови в два последующие раза—в Крымскую войну и в войну 1877 года—теперь был захвачен с налета, без осады, с ничтожными относительно потерями. В конце-концов, Паскевичу и здесь угрожала опасность зайти слишком далеко и взять слишком много:

[1]) Он был подписан в ночь с 9 на 10 февраля 1828 года, «ровно в 12 часов ночи в минуту, назначенную астрологом персиян самой благоприятнейшей», писал Паскевич. Какое настроение мир оставил у персов, показывает убийство Грибоедова.

русские войска проникли в 1829 году в такие места, куда они уже не заходили никогда потом. Был занят не только Эрзерум, но и Байбурт, а передовые отряды Паскевича готовы были итти еще далее—в глубь Малоазийского полуострова. Из Петербурга все это казалось чуть не повторением походов Александра Македонского, и счастливый победитель был осыпан наградами, каких не получал еще ни один русский генерал со времен Суворова и Кутузова,—до Георгия первой степени включительно. На деле же, полунезависимым, весьма рыхло связанным тогда с Турецкой империей племенам Армянского нагорья в сущности было все равно, кого признавать своим сюзереном—турецкого султана или русского императора. А на туземных ополчениях этих народцев держалась здесь вся турецкая оборона. Николай поступил вполне разумно, удержав за Россией только стратегически ей нужные части ахалцыхского пашалыка—не увлекшись и здесь широкими завоевательными планами своего нового фельдмаршала. Но от иллюзий, созданных легкостью победы здесь, он не мог уберечься: ему стало казаться, что на Кавказе, вообще, весьма легко делать завоевания. „Кончив, таким образом, одно славное дело,—писал Николай Паскевичу, посылая ему фельдмаршальские эполеты,—предстоит вам другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее,—усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных». После первой же удачной экспедиции император был уже «несомненно уверен, что усмирение прочих непокорных народов Кавказа вскоре увенчает усилия» победителя Эривани, Ахалцыха, Карса, Эрзерума и прочих «твердынь»: и могло ли, казалось, быть иначе?

2.

Горцы и мюридизм.

В глазах русской администрации начала XIX в. все народы населявшие Кавказский хребет и его предгорья, были на одно лицо: все это были «мошенники» и «злодеи». В глазах русского обывателя не только того, но и много более позднего времени, все это были «черкесы»—и, конечно, тоже «коварные хищники»[1]) Борьба с ними казалась неизбежной для России, как и для всякого благоустроенного государства, имевшего несчастие стать их соседом: они же делали «набеги» и, повидимому, это была основная их профессия,—как иначе было с ними поступать? Однако, даже русские офицеры,—если они по происхождению

[1]) Уже цитированный нами почти официальный историк кавказских войн так и начинает оглавление отдела о черкесах в своем сочинении с рубрики «Одежда черкеса, его жизнь и хищничество». См. Дубровин, названное сочинение, I, стр. V.

были сродни тем, с кем приходилось им воевать,—должны были признать, по крайней мере, односторонность такого объяснения. Вот как, например, объясняет начало столкновений между русскими и чеченцами один русский ротмистр,—чеченец родом, но воспитывавшийся в русском кадетском корпусе, и официальный патриотизм которого не может подлежать ни малейшему сомнению: по его мнению, «издавна вольные чеченцы» стали «наслаждаться свободою» только после покорения их русскими. Для понимания его рассказа, вспомним, что русские колонисты еще в XVII веке встречаются к югу от Терека и Сунжи—и лишь в XVIII оставляют эти места. «Опасаясь русских и полагая, что они так же легко могут возвратиться в Чечню, как могли оставить ее, они (чеченцы) селились сперва хуторами, да и то в неприступных местах ущелий, лесов и проч. Русские нападали на них, грабили их имущество, жгли хутора, убивали и пленяли людей, так что еще долго чеченцы не решались водворяться на ней (плоскости между Тереком и горами). С своей стороны и чеченцы не менее беспокоили русских, мстя им теми же средствами, уводя их в плен и угоняя табуны и скот». «Беспрестанно разоряемые русскими, чеченцы так свыклись с переселением с одного места на другое, что это составляет их народную отличительную черту» [1]).

Автор приводит и несколько характерных случаев, свидетельствующих, как чеченцы восемнадцатого столетия боялись русских; мы не будем их перечислять, отметим только один выразительный пример,—показывающий, что поселение в „пределах досягаемости“ для своих русских соседей обитатели Чечни считали своего рода молодечеством: один из первых аулов, основанных на плоскости, получил название „Маюртуп“—„становище храбрых“. Как видим, „злой чечен“ не даром таким сделался—и не всегда был таким злым, надо прибавить: „до принятия ислама чеченцы были миролюбивее своих соседей“,—говорит наш автор, забывая прибавить или не замечая (хотя сам же он подробно рассказывает об этом в другой связи), что самое „принятие ислама“ чеченцами в XVIII веке было тесно связано с резким подъемом настроения у этого племени, под влиянием непрерывной и ожесточенной борьбы с русскими. Ислам был боевой религией горцев, раньше бывших фактически язычниками, а номинально иногда исповедывавших и христианство. Но об этом нам еще придется говорить дальше, а пока отметим, что и представление об однообразии или, по крайней мере, родстве всех горских племен Кавказа столь же

1) У. Лаудаев.—Чеченское племя. «Сборник сведений о кавказских горцах», выпуск VI.

мало состоятельно, как и мнение о «коварном хищничестве», как некотором прирожденном их качестве. «Злой чечен» понял бы «коварного хищника» из Кабарды нисколько не лучше, чем русского или грузина. А среди дагестанских лезгин бывали случаи, что два соседние аула, на расстоянии верст двадцати друг от друга, имели различные наречия. Лингвистическое родство кавказских народностей до сих пор плохо выяснено (за исключением некоторых, например, осетин). Общий язык они получили лишь с исламом,—и весьма любопытно, что русские власти вынуждены были в своих обращениях к горцам прибегать именно к официальному языку мусульманского богослужения, арабскому, который знали чаще всего одни муллы: какой это был надежный проводник русского влияния, нетрудно себе представить.

Различные по языку, горские народы не более походили друг на друга и своим общественным строем. И здесь объединяющим началом явилось только мусульманство, со своим каноническим правом („шариатом"), игравшим в этих местах приблизительно такую же роль, как римское право в средневековой Европе. С этой последней наиболее культурное из горских племен, черкесы в собственном смысле („адиге"), населявшие западную половину Кавказского хребта, представляют сходство, резко бросающееся в глаза—и давно отмеченное. Даже совершенно чуждые всяких следов сравнительного метода этнографы-описатели не сумели передать некоторых черкесских обычаев без помощи феодальной терминологии. Здесь мы имели сложную лестницу вассалитета с сюзереном-князем («пшитл») вассалами первой степени («тлехотлями»), арьер-вассалами («беслен-вуорками»,—„вуорк" вообще вассал), вооруженной челядью—дружиной (узденями), невооруженными, и потому небла городными, челядинцами—„логанапутами" и „унаутами" (холопами) и, наконец, крепостным крестьянством разных степеней зависимости и различных наименований. Подобно французскому сеньору XII столетия, черкесский дворянин—так же, как и этот сеньор, высоко ценивший чистоту своей крови—имел право „мертвой руки" по отношению к жившему на его земле крестьянину и „право отъезда" по отношению к своему сюзерену-князю. Подобно французскому королю или герцогу той же эпохи, этот сюзерен ничего не предпринимал без совещания со своими вассалами,—а в более важных случаев созывал представителей всех „чинов", кроме, конечно, крепостных крестьян и холопов. Из этой „курии", как и в Западной Европе, мало-по-малу выделилось специально судебное учреждение из крупнейших вассалов и сведущих в писаном праве духовных лиц—зародыш средневекового „парламента". Но писаное

право начинало брать верх, вместе с усилением влияния ислама, в последние десятилетия черкесской независимости: раньше господствовали исключительно к у т ю м ы („адат"), свои у каждого племени и даже у каждой местности, передававшиеся изустно из поколения в поколение. Суд по этим кутюмам имел характер упорядоченной борьбы, но неограниченного права кровной мести черкесы уже не знали: от кровомщения юридически всегда можно было откупиться; на практике и черкесское общество, как всякое феодальное, жило больше самосудом: обиженный, пока не получал удовлетворения, всячески досаждал обидчику, чем мог, сжигал его постройки, захватывал у него скот и другое имущество: эту «баранту» и военный историк Кавказа не сумел передать иначе, как через «represailles». Если спорящими сторонами были князья или их крупные вассалы, ссора обыкновенно принимала характер настоящей войны, при чем больше всего доставалось, конечно, ни в чем неповинным крестьянам обеих сторон. Но, вообще говоря, черкесский крестьянин — подобно крестьянину средневековой Европы—далеко не был таким «движимым имуществом» своего помещика, как русский крепостной, его современник: продавались и менялись поштучно только холопы, которых было немного, преимущественно из военнопленных и их потомства. По средневековому обыкновению, имущественные права крестьянина были лучше ограждены, чем личные: на имущество своего крепостного черкесский барин имел лишь строго определенные обычаем права и не мог требовать от него ни работы, ни оброка сверх обычая. С другой стороны, и крестьянин, по обычаю, имел право требовать от своего помещика материальной поддержки в известных случаях. „Вспахать поле—мое дело, говорил крестьянин,—но семена и волы его (господина); выкосить сено—горе рук моих, а коса, просо и два барана—камень на его шее". Зато от вспышек барского гнева – до убийства включительно—черкесский крестьянин юридически ничем не был гарантирован точно так же, как и его далекий прообраз, средневековый виллан: тут сдержки были только моральные. Тем не менее, „крестьянин говорил со своим господином как с равным себе; в обращении же с ним господина не было ничего унизительного или оскорбительного. Крестьянин, дворовый человек и даже раб не терпели никаких кличек и откликались только на свое настоящее имя". „Мщение обиженных крестьян противу владельцев встречалось очень редко; бегство же крестьян из непокорных обществ в наши пределы бывало еще реже" [1]).

Как и всякое феодальное общество, черкесское было весьма

[1]) Дубровин, назв. соч., I, стр. 214—215.

далеко от европейского идеала „общественной безопасности": остается вопрос, однако, так ли близко к этому идеалу было русское общество начала XIX века и даже, вообще, всей первой его половины? Стоит вспомнить «Стучит» Тургенева, чтобы живо представить себе обстановку, в какой жили в этом отношении наши совсем недавние предки. Но было бы весьма ошибочно думать, что разбой считался нормальным и естественным явлением у черкесов: они знали свою полицию безопасности, организованную на подобие средневековой английской и наших «губных учреждений» московских времен. Власти той местности, где слишком участились разбои, прибегали к «повальному обыску»,—под присягой допрашивали местных жителей, кто у них тут «лихие люди». Обнаруженных таким путем разбойников ждало наказание—в предвидении которого они, обыкновенно, предпочитали скрыться из данного округа. Кроме того, черкесское общество отнюдь не было стоячим болотом, в нем происходила своя эволюция, аналогичная и в этом случае эволюции всякого феодального общества. В основе ее лежал хозяйственный подъем. Население росло, параллельно с этим развивалась торговля (при посредстве турок, через Анапу) и промыслы: некоторые продукты черкесской мелкой индустрии,—кожаные и ювелирные изделия, например,—находили себе сбыт далеко за пределами Кавказа. Насколько интенсивна была земледельческая культура, показывают и до сих пор остатки искусственного орошения, фруктовых садов и виноградников около развалин черкесских аулов. Но, как и следовало ожидать от горных местностей, основу богатства составляло скотоводство,—в особенности коневодство. Даже теперь, после неоднократного разорения страны русскими, Кабарда славится своими лошадьми. Все это не могло не перенести постепенно центра социальной тяжести с непроизводительного военного класса, «вуорков» с их узденями, на производительный—на крестьянство. Стоит отметить, что еще до начала войны с Россией эта социальная перестановка давала уже и политические результаты: в черкесских «чинах» начинают играть роль молчавшие до сих пор представители черкесского «третьего сословия». Эволюция только в одном случае дошла до своего логического конца: в земле шапсугов, одного из черкесских племен, господство дворян было совершенно свергнуто, по крайней мере, на время. Причина—вернее, непосредственный повод—революции была необыкновенно характерна: дворяне Шеретлуковы ограбили купеческий караван и при этом убили несколько защитников торговцев из числа местных жителей (купцы обыкновенно прибегали к подобному покровительству, как это опять-таки не чуждо было и средневековой Европе). Только после нескольких лет

кровавой борьбы удалось дворянам вернуться в страну (дело происходило в 90-х годах восемнадцатого века)—но это была не победа, а лишь компромисс: благородное сословие сохранило только некоторые почетные привилегии, участие же в управлении народными делами оно должно было разделить с «неблагородными». Уравнение сословий сказалось особенно резко на размерах платы за убитого («головничества», как называлось это у нас в дни «Русской Правды»): прежде за дворянина платили в несколько раз больше, чем за смерть простого человека; теперь за первого платили 30 голов скота, за второго—28. Пример шапсугов так подействовал, что у абадзехов и натухайцев подобная же демократизация общества прошла без всякой революции. Нет надобности говорить, что русское правительство—уже тогда сосед черкесов—было на стороне дворян: им помогали несколько сотен казаков с пушкою, по прямому разрешению Екатерины II. Черкесское крестьянство в первом же бою очень пострадало от русской артиллерии.— но не сдалось...

У черкесов аристократический строй мало-по-малу уступал место демократии: у чеченцев аристократия совсем еще не успела сложиться ко времени войны. Если первые дают нам картину развитого феодального общества, напоминая Европу XI—XII века, то вторые не меньше напрашиваются на аналогию с германцами Цезаря и Тацита. [illegible] века XVIII века - страна до-феодальной, патриархальной демократии. Земля принадлежала родам, а не отдельным лицам: при занятии новой территории (в данном случае Ичкерии) «земля делилась при собрании целого народа; когда фамилия (—род) получала свою часть, то для отстранения на дальнейшее время поземельных недоразумений все присутствовавшие брались свидетелями в означении границ» [1]). Междуродовые споры обычно разрешались кровной местью: посреднический суд только еще вырабатывался. В то же время «чеченцы не имели князей и были все равны между собою, а если случалось, что инородцы высших сословий селились между ними, то и они утрачивали свой высокий род и сравнивались с чеченцами. Чеченцы называют себя узденями: слово это имеет у них другое значение, чем у их соседей. У последних узденство делилось на степени. у чеченцев же все люди стояли на одной степени узденства. различаясь между собою только качествами: умом, богатством, щедростью, храбростью, а нередко и другими делами, разбоями. воровством и т. д. Слово уздень, заимствованное ими от соседей, [illegible] у чеченцев—человек свободный, вольный, независимый

[1]) Лаудаев, цитированное сочинение, стр. 39 (примечание X).

или, как они сами выражаются, «вольный как волк» [1]). Для решения важнейших вопросов все племя собиралось на вече— и места этих собраний были известны всем: ичкеринцы (горные чеченцы) собирались около аула Центари, плоскостные чеченцы—в Ханкальском ущелье, на кургане, который русские потом назвали Ермоловским, и т. д. Решение такого собрания имели такую же силу, как и «адат» (обычай)—и только такое собрание могло установить новый адат. Постоянной власти над собой чеченцы не выносили: они подчинялись выбранному предводителю в походе, но в мирное время их выборные старшины встречали мало повиновения вне пределов своего рода. Князья были только у племен, живших по Тереку, в непосредственном соседстве с русскими: и цитированный нами историк Чечни возводит эту особенность притеречных чеченцев к прямому влиянию русского правительства, которое с помощью князей надеялось прибрать к рукам чеченскую демократию. Как и тацитовские германцы, чеченцы не были, конечно, удобными и покойными соседями. Но нужно было все безграничное непонимание особенностей первобытных народов, чтобы трактовать население Чечни, как одну сплошную «шайку разбойников»,—как это делал Ермолов, официально утверждавший, что «сего народа, конечно, нет под солнцем ни гнуснее, ни коварнее, ни преступнее». Ермоловские солдаты были иного мнения—и массами дезертировали в демократическую Чечню, тогда как в феодальную Кабарду не бежал почти никто. Вопрос о выдаче этих беглецов был одним из наиболее острых и портивших отношения между русской администрацией и чеченцами. Что последние вовсе не были профессиональными разбойниками—едва ли нужно прибавлять. Горные племена занимались главным образом скотоводством: может быть, и самое название чеченцев, «нахчой» (так они называли себя сами: чеченцами их прозвали русские по имени главного торгового пункта на плоскости, аула Шашан или Чечен) сродни чеченскому слову «нахчи», «сыр». На плоскости чеченцы усиленно стали заниматься земледелием—и сбывали хлеб не только в соседнюю Кабарду и за границу (в Турцию). Чеченским хлебом питался и Дагестан: населявшие его пастушеские, лишь отчасти занимавшиеся и земледелием, чаще некоторыми кустарными промыслами (ковры, шелковые ткани и т. под.) племена лезгин (в сущности народностей очень различного происхождения и языка) по своему общественному строю близко подходили к горным чеченцам— и представляли собою ту же патриархальную демократию, только на более ранней ступени развития: если те были германцами

[1]) Ibid., стр. 23—4.

эпохи Тацита, то эти больше походили на германские племена, которые знал Цезарь.

До начала XIX века русское правительство держалось по отношению к горским племенам оборонительной тактики: этой системе действий отвечало устройство во второй половине позапрошлого века кавказской оборонительной линии, вдоль Кубани и Терека. На той же точке зрения относительно кавказских дел продолжало стоять и правительство Александра I. «С горскими народами вести войну попрежнему», говорит высочайше утвержденная инструкция главнокомандующему 1806 года: «сохраняя возможную бдительность для отражения их наглостей, соразмеряя однакоже наказание с преступлением, поелику война есть обыкновенный их образ жизни. Но Дагестан непременно и надолго нужно еще держать в блокаде, не подаваясь ни мало во внутренность гор, хотя бы представилась к тому временная удобность. Ибо между могущею быть пользою и опасностью нет никакой соразмерности. Единственный способ, могущий быть действительным и полезным против горских народов, состоит в том, чтобы, довольствуясь наружными знаками их подданства, стараться удержать их в блокаде». Но параллельно с этим мы встречаем робкие и довольно неуклюжие попытки экономического завоевания Кавказа—единственной системы, которая могла с течением времени к чему-нибудь привести. Прямым средством к этому была русская колонизация: в 1811 году на Кавказской линии была поселена 1.631 семья, в которых считалось 4.901 человек мужского пола. В 1821 году общее число переселенцев доходило до 16.794 душ мужского пола—из Черниговской и Полтавской губерний. Переселенцы эти «находились в самом бедственном положении и без всяких средств к существованию. Продав на месте свое имущество за бесценок, переселенцы были отправлены в путь осенью, в самое неудобное время и, лишившись по дороге скота, доходили до Черномория или нищими, или оставались зимовать по разным губерниям, прося милостыни». Ермолов пробовал устроить в их пользу частную подписку, которая дала около 10.000 руб. ассигнациями и 16 лошадей: несколько менее одного рубля и бесконечно малую дробь лошади на каждого переселенца [1]). Не лучше удавались и косвенные средства. У одного из кавказских главнокомандующих, Тормасова, сложился не лишенной грандиозности проект—поставить Россию на место Турции, до тех пор снабжавшей всеми необходимыми фабрикатами, а главным образом—солью, племена западного Кавказа (так называемых черкесов в тесном смысле слова). Так как

[1]) Дубровин, названное сочинение, V, 408, VI, 188 9

этим племенам и хлеба своего никогда не хватало—а хлеб уже, конечно, Россия могла им доставить, то экономическая зависимость их от России казалась делом не невозможным. Были устроены «меновые дворы»,—а позднее, около 1820 года, создана особая административно-коммерческая организация с «попечителем торговли» во главе и целым штатом чиновников при нем. Как вся эта компания вела дела—представить себе не трудно: Ермолов впоследствии открыл, что в складах «попечителя торговли» вместо нужных горцам товаров нет ничего, кроме «съеденного ржавчиною железного лома». Все планы и намерения Петербурга—или отдельных мечтателей среди местных администраторов, в роде Тормасова—разбивались о суровую действительность, которой никто лучше и выразительнее не описал, чем тот же Тормасов, в одном из своих «отношений» военному министру [1]). «Расширение Кавказской линии насчет лучшей их земли сделало кабардинцев к нам недоверчивыми», писал он здесь: «жестокости начальников привели их в уныние, система, принятая, чтобы через сокровенные пружины производить вражду между владельцами, узденями и народом и содержать посреди их междоусобие, родила в них привычку к войне; наконец, суетное желание некоторых из начальствовавших на линии, чтобы отличить себя военными действиями против кабардинцев, вместо того, чтобы привлечь их к себе через кроткое и справедливое управление, ввело почти в обыкновение, чтобы каждый год действовать против них или других народов войсками, нередко без всякой причины. Таковыми мерами кабардинцы ожесточены до то того, что хотя они и не имеют и тени своей прежней могущественности, следовательно, при последнем изнеможении своем, питают однакоже доныне неодолимый дух мщения против России...»

Если бы Тормасов не писал за несколько лет до появления на Кавказе Ермолова, его характеристику поведения «некоторых из начальствовавших» последний имел бы полное право принять за намек. Именно своей «энергией» по адресу горских племен Ермолов и создал себе в кавказской армии ту популярность, которая заставляла так бояться его в Петербурге в смутные дни конца 1825 года. История его управления представляет собою, собственно для Кавказской линии, непрерывную цепь тех «действий войсками, нередко без всякой причины»—и всегда почти по причинам ничтожным—о каких говорит его предшественник. Исходный точкой ермоловской политики по отношению к горцам составляли, конечно, «набеги». Ему, вероятно, было известно то, о чем сорок лет спустя писал цитированный

[1]) От 12 октября 1810 года. См. там же, V, 411. Курсив ниже наш.

нами выше офицер-чеченец, и что косвенно подтверждал и Тормасов: что «набеги» были в сущности делом обоюдным, и весьма нелегко было установить, кто на кого первый стал «набегать» —горцы ли на линейных казаков, или линейные казаки на горцев. Ему известно было даже более,—что набеги вовсе не носили, так сказать, «национального» характера: очень часто разбойничали сообща представители обеих сторон, по-братски делясь потом добычей, захваченной ли у русских, или у кавказцев—безразлично. В одном официальном документе русский главнокомандующий свидетельствует даже, что этим полюбовным соглашениям не чужда была и местная администрация: он нашел «чиновников сих (казачьих) войск, вдававшихся в ябеды и распутства, и некоторых из них даже в участии в воровствах с заграничными хищниками». В других случаях, как видно из одного приказа Ермолова, казаки нарочно допускали партию черкесов сделать набег,—чтобы иметь законный повод к репрессалиям, с лихвой вознаграждавшим их за потерянное при этом набеге. Несмотря на все это, ответственность за набеги ложилась только на горцев и притом вовсе не на одних тех, которые были уличены в соучастии с хищниками, а на всех соседних горцев вообще. При постоянных порубежных столкновениях это делало жизнь пограничных с Россией племен совершенно невыносимой. Вот, например, в какой обстановке жили при Ермолове чеченцы на плоскости,—наиболее близкие к нам соседи. «В случае воровства каждое селение обязано выдать вора, а если он скроется, то его семейство. Но если жители дадут средство к побегу всему семейству вора, то целое селение предается огню. Точно так же обещано поступить с селением в том случае, если жители, видя, что хищники увлекают в плен русского, не отобьют его или не отыщут; из такой деревни за каждого русского, взятого в плен, приказано брать в солдаты по два человека туземцев. Известно было, что без пособия и укрывательства самих владельцев горцы не могли проезжать от реки Сунжи, а потому по всему пространству своих земель владельцы должны были иметь постоянные караулы. Если же затем, по исследованию, окажется, что жители беспрепятственно пропустили хищников и не защищались, то деревня истребляется, жен и детей вырезывают...» «Таким образом жители, попрежнему продолжая воровство и разбои» (или даже только не сопротивляясь разбойникам, прибавим мы), «непременно истреблены будут» [1]). И это не была пустая фраза—чеченцы могли рассказать о случаях, когда за убийство

1) Объявление владельцам андреевским и пр. 5 августа 1818 г. у Дубровина, т. V, стр. 302—303.

одного казака истреблялись до последнего жители целого аула. А чтобы иметь постоянно под руками объект для мести—ибо находившиеся на свободе горцы могли ведь и убежать—от пограничных племен неукоснительно требовали заложников,—обыкновенно из молодежи самых влиятельных семей. При малейшей «измене» (притом часто и не их родичей, а просто соседних горцев) их вешали—в лучшем случае ссылали в Сибирь. «Остерегитесь уходить без заложников», писал Ермолов одному из подчиненных ему генералов: «народы невежественные и испорченные нашей слабостью (!) сочтут тогда возможным уклониться от исполнения наших требований». Этот генерал—носивший, к сожалению, имя Пестеля,—вполне проникся наставлениями своего главнокомандующего. «Ужасный ропот в народе на несправедливые и нерезонные поступки Пестеля дошел до меня в самом начале въезда моего в здешние провинции», писал другой любимец Ермолова, кн. Мадатов, посланный расследовать дело, когда Пестель довел горцев до всеобщего восстания. «Народ говорит, что ни удовлетворения ни в чем не видит и даже ни одного ласкового слова от Пестеля, а слышит одни лишь только всегдашние повторения его: прикажу повесить».

Ермоловская политика загоняла горцев в тупик, из которого не было никакого выхода: русские власти надеялись, что результатом будет полное и беспрекословное подчинение горских племен русскому правительству,—вплоть до отказа от своего обычного права и местного самоуправления, и признания русского суда и русских чиновников. Ибо, с точки зрения Ермолова и его генералов, только невежество горцев было причиной того, что они не видели превосходства русских порядков над их, туземными: „понятия многих чеченцев не превышают скотов...“, писал один из этих просвещенных покорителей Кавказа своему начальнику,—писал, прибавим, накануне общего восстания, которое должно было стоить жизни и самому писавшему. Возможно, впрочем, что за этой целью—в которой находили возможным признаваться открыто—во мраке их совести скрывалась и другая, о которой не говорили, но которую генерал Тормасов в своей наивности называл всеми буквами: война с горцами была в сущности так легка в то время, так прибыльна для грабивших все и вся солдат и в особенности казаков, доставляла такие добавочные удовольствия офицерам[1])—помимо военной карьеры, везде в других местах закрытой после окончания наполеоновских войн—что, может-быть, окончатель-

[1]) Даже полуофициальный историк Кавказской войны не мог не сказать, что упоминавшийся выше генерал Пестель «проводил день в самом оскорбительном для населения распутстве».

ное замирение горцев и не очень порадовало бы их русских „просветителей". Так как даже желанием „полного подчинения" трудно объяснить такие меры, как конфискация всех земель кабардинцев (правда, скоро взятая назад,—по явной невыполнимости) или сознательное отнятие у чеченцев тех земель, которые были совершенно необходимы для их хозяйства: если и допустить, что горцы могли отказаться от своей свободы и своего права, то привычка есть слишком неискоренима в человеке. А между тем именно с этими последними мерами, доведшими горское население до крайней нужды—о которой с удивлением говорили сами русские администраторы, что они не понимают, как горцы могут переносить ее—связан тот взрыв религиозного энтузиазма, который сплотил воедино разноязычные племена Кавказского хребта, подчинил эту пеструю и плохо слушавшуюся своих местных вождей массу железной военной диктатуре и превратил легкую добычу карательных экспедиций в грозного врага, с которым лучшие силы николаевской армии не могли справиться тридцать лет.

Религиозное движение, охватившее сначала восточный, а потом и западный Кавказ в 20-х годах XIX века, носит название мюридизма (послушничества). Мюридизм вовсе не местное кавказское явление: он неразрывно связан с мусульманским мистицизмом вообще и даже был занесен на Кавказ извне—из Бухары. В основе мусульманского „послушничества", как и в основе аналогичных явлений в христианской и других религиях, лежит аскетическое отречение человека от своей личной воли—ради непосредственного сближения с божеством. Магометанская практика аскетизма („тарикат") знала несколько ступеней этого самоотречения: стоявшие на низшей ступени рядовые „мюриды" нуждались в посредниках между ними и богом, „мюршидах", (или „шейхах"),—которые для них являлись как бы воплощением воли божией и могли поэтому требовать себе беспрекословного повиновения [1]). Мистика создает

[1]) Не вдаваясь в подробности относительно идеологии мюридизма, приводим, как иллюстрацию, «заповеди мюрида» в изложении одного мусульманского писателя—они лучше длинных рассуждений могут подтвердить нашу краткую характеристику. «1) Мюрид должен быть постоянно и всегда занят молитвами и служением своему господу, горцу: днем ли, ночью ли, в тайне и наяву, летом и зимою, в труде и при свободе, нечто на свете не должно отвлекать его от исполнения молитвы, поста, чтения Корана и вообще богослужения. 2) Он должен стараться заменить свои дурные и низкие наклонности и привычки похвальными и хорошими: очистить свое тело от осквернения грехами и сердце от вражды, ненависти к ближнему и проч., а главное—заняться тем, чтобы обновить свое нравственное существо. 3) Он должен обратиться всеми мыслями к богу с полным раскаянием во всех грехах, ибо грех заграждает совершителю оного путь к блаженствам будущего света. А потому искатель будущего должен отказаться от всего желаемого, кроме бога, так, чтобы он забыл ту часть, которая принадлежит ему в сем свете, и считал, что он будто даже и не существует в сем свете. Он должен отказаться от всего, что соблазняет человека на свете, как-то: богатства, величия и пр., так, чтобы целый свет с его украшениями не равнялся в глазах его даже

таким образом иерархию, но основанную не на обладании старшими какими-либо материальными преимуществами, а на глубоком энтузиазме младших, на их жажде повиновения, если можно так выразиться. Такая аскетическая иерархия, аналогичная иерархии католических монашеских орденов в средние века, упраздняла всякую светскую иерархию рядом с собой: во имя тариката дагестанский пастух требовал себе повиновения от знатнейших черкесских князей—и получал его. Здесь был демократический элемент аскетизма, так ярко выступающий на Западе в ордене францисканцев, например. Но как и там, на Кавказе для появления и распространения такого учения необходимы были, во-первых, соответствующая социальная почва—во-вторых, соответствующее настроение масс. Первая нашлась в демократических общинах Дагестана—где зародился и дольше всего продержался кавказский мюридизм, а второе в большей, чем даже нужно было, степени создавала русская политика относительно горцев.

Связь распространения и усиления ислама в горах с войною против русских была заметна еще гораздо раньше 20-х годов девятнадцатого века. Вот какими чертами описывает уже цитированный нами историк Чечни движение, поднятое Шейхом-Мансуром в конце предшествовавшего столетия. „Наложив на страну трехдневный пост, он (Мансур) с приближенными своими (мюридами) стал навещать аулы, сопровождаемый пением зикра (славословия). Жители выходили к нему навстречу, каялись перед ним в грехах и обращались к таба (покаянию), обязывались не делать дурных поступков, как-то: не красть, не спорить, не курить табаку, не пить крепких напитков, но усердно молиться богу, не пропуская назначенных для этого

с крылом комара. 5) Он должен во всех своих делах уповать на бога с полною верою в него. Бог сказал: кто уповает на бога, тому бог поручитель». Следовательно, мюрид должен положиться на творца своего во всех действиях, мыслях и словах. 6) Он должен освободить себя от подчинения телесным потребностям и желаниям, кроме самых необходимых для существования человека, так что мюрид должен избегать роскоши, излишести в пище, удобства в жилье, ограничиваясь только тем, что необходимо для поддержания телесных сил, и то ради того, чтобы мог исполнять богослужение. 7) Он должен постоянно вспоминать всевышнего бога словами «Ла илаha илла-ллаh (несть бога, кроме единого) или же словом аллаh (существо, которому по истине все прочие должны поклоняться) или же наконец словами «hу» (он), произнося таковые постоянно день и ночь, и 8) он должен поставлять себя ниже всякой божьей твари так, чтобы самый сильнейший вельможа и самый несчастный сирота казались ему совершенно равными, чтобы слон и мошка производили на него одинаковое впечатление, чтобы он дрожал от страха перед всякою тварью божией, точно бы он стоял перед грозным повелителем, сознавая, что она есть гварь всемогущего господа бога». Об отношении мюрида к своему наставнику тот же автор говорит: «Мюрид обязывается привязать сердце свое к одному из истинных шейхов, который провел большую часть жизни в унижении своего тела» и т. д. Посол божий сказал: «Кто не имеет себе шейха, то его шейх есть дьявол». См. Мугедин-Магомед-Ханова. «Истинные и ложные последователи тариката» в Сборнике сведений о кавказских горцах», вып. IV). О мусульманском аскетизме вообще см. А. Крымский. «Очерк развития суфизма». М. 1895.

роков. Народ признал Мансура своим устасом, т.-е. ходатаем перед богом: целовали полы его одежды, и так увлекались религиозным настроением, что прощали друг другу долги, прекращали тяжбы и прощали даже самую кровь" [1]). И тогда, как тридцать лет спустя, подъем ислама сопровождался резким обострением отношений к русским: как-раз к этому времени относится первая большая наша неудача в горах Чечни (истребление отряда Пиери на реке Сунже) - когда, по чеченскому преданию, от всего русского войска остались только фуражки, несшиеся по течению реки. Восстание, поднятое Шейхом-Мансуром, охватило весь северный Кавказ,—но напор со стороны русских был еще недостаточно силен, чтобы сплотить все горские племена в одну организацию. Достаточно припомнить, что русский отряд, об истреблении которого сейчас говорилось, был первым русским войском, которое проникло в глубь Чечни. Горцам после первых успехов стало казаться, что все уже сделано—энтузиазм упал. Мансур не находил уже прежней поддержки в массах, должен был бежать в Анапу—и там при взятии этой крепости Гудовичем в 1791 году, попал в плен к русским. Это был первый кавказский революционер, которому пришлось умереть на далеком севере (его сослали в Соловецкий монастырь).

В самом конце ермоловского правления, в 1825 году, Чечня опять сделалась театром подобного же движения,—историю которого мы изложим более подробно. Но оно было,—как, по всей вероятности, и первое—не туземного происхождения: религиозная война шла с юга, из Дагестана. До сих пор характеризуя последний, мы отметили только одну черту—крайнюю примитивность общественных форм его населения. Но это далеко не единственная особенность кавказского Граубюндена, и для того, чтобы понять, почему он сделался родиной мюридизма, надо иметь в виду еще две его черты. Первой из них является чрезвычайная сплоченность и дружность той первобытной общины, которая представляла здесь основную социальную ячейку. Вот как описывает дагестанскую народную сходку, джамаат, один русский наблюдатель, имевший случай познакомиться с нею не очень долго после потери Дагестаном самостоятельности. „Все члены его (джамаата) держат себя весьма дисциплинированно: у места молчат, у места говорят, и некоторые говорят весьма бойко, плавно и дипломатично, у места слушают; интерес каждого—предмет сходки, совещания, а если джамаат собрался в ауле подле строений, то крыши их переполнены любопытными наблюдателями и слушателями, которым

[1]) Лаудаев, цит. сочинение, стр. 60.

нет места в среде самого джамаата — несовершеннолетними, иногда и женщинами. Это не стадо: это — строго дисциплинированная толпа, импровизированным поведением ее на сходе может остаться доволен любой поклонник порядка" [1]). Так дисциплинированный народ представлял собою превосходную основу для будущей военной организации Шамиля. При этом члены тесно сплоченной общины отнюдь не представляли собой косной, малоподвижной массы, как можно бы ожидать по первому впечатлению. В этой суровой стране, где не только дерево является редкостью, но и травы не слишком много, самые условия производства требовали от жителей известной подвижности. Здесь, не говоря уже о земледелии,—и скотоводством проникаться не всегда было можно. Мы уже упоминали о дагестанских кустарных промыслах: целые аулы нередко были сплошными поселениями перехожих ремесленников, проводивших дома иногда не больше трети года; один аул славился своими кожевниками, другой—каменщиками, третий—кузнецами, четвертый—золотых дел мастерами: такую картину особенно представлял средний Дагестан,—как-раз очаг местной туземной интеллигенции. Нужно прибавить, что и эта последняя складывалась по типу такого же „отхожего промысла": в числе других ремесленников Дагестан снабжал весь восточный Кавказ знатоками арабского языка, чтецами (муталимами—род средневековых странствующих школяров), муллами и кадиями. Эта груда голых скал была едва ли не самым грамотным местом на Кавказе: в редкой уважающей себя семье не учили детей, по крайней мере, мальчиков, читать по-арабски [2]). Ислам кормил, прямо и в буквальном смысле, добрую долю населения: оттого оно и относилось к исламу так сознательно, как нигде, и в то время как в гораздо более богатых Чечне и Кабарде мусульманство еле прикрывало сверху первобытные религиозные верования массы населения, в нищем Дагестане богословские споры и жизнь по тарикату были обычным домашним делом.

В 1823 году один из проповедников южного Дагестана—наиболее близкого к тем, бывшим персидским, ханствам, о котором шла речь в 1 отделе нашего очерка,—по отзыву его русского историка „человек весьма состоятельный, пользовавшийся всеобщим уважением за свой ум, ученость и честность", по имени Курали-Магома, сделавшись старшим мюридом местных последователей тариката, стал учить, что „мусульмане не могут находиться под властью неверных. Мусульманин не может быть ничьим рабом и никому не должен платить подати.

[1]) Н. Воронов. «Из путешествия по Дагестану». Сборник сведений о кавказских горцах. III, стр. 20. Автор едет в 1867 году.

[2]) См. «Воспоминания Муталима». Сборник сведений о кавказских горцах. I.

Между всеми мусульманами должно существовать равенство. Для мусульманина первое дело Казават (священная война с неверными), а потом исполнение шариата. Исполнение шариата без Казавата не есть спасение. Кто исполняет шарпат, тот должен вооружиться во что бы то ни стало, бросить семейство, дом и не щадить самой жизни. Под властью неверных или чьей бы то ни было все намазы, посты, странствия в Мекку, жертвы бедным и чтение Корана—ничего не значат, узы брака, связывающие мусульман, и их дети делаются незаконными" [1]). Мы не знаем, была ли какая связь у этой проповеди с восстанием, вспыхнувшим два года спустя в недалеком от этой части Дагестана Закавказье. Лучше известна связь выступления Курали-Магома с тем, что в следующем же году разыгралось в Чечне: здесь действовали прямые ученики и агенты южно-дагестанского проповедника—и один из них провозгласил себя „имамом"—предводителем правоверных в войне с неверными. Русские генералы, конечно, не усмотрели в проповеди „Казавата" ничего, кроме „одного мошенничества разбойников, желающих сим способом поколебать народ"—по этому именно поводу один из них выразил мнение, что „понятия чеченцев не превышают скотов"—и находили совершенно достаточной предупредительной мерой гоняние сквозь строй (до смерти) тех проповедников „нелепости", которые попадали в русские руки. Но очень скоро они должны были убедиться, что дело серьезнее, чем им кажется. Лишь весною по Чечне прошла одна из карательных экспедиций, наказывавшая жителей за страшное преступление—укрывательство бежавших от русских властей кабардинцев. Целый ряд аулов был разорен—при чем у населения отнят или истреблен был корм, запасенный им для скота. Последний падал массами—сами лишенные крова чеченцы страшно страдали от холода: но все это, достаточное, по мнению руководившего карательной экспедицией генерала (все тот же, отзывы которого о чеченцах выписаны выше), „чтобы поработить всякий другой народ"—„едва поколебало нескольких чеченцев—упорство их неимоверное". А летом того же года восставшее под предводительством одного из последователей Курали Магома население взяло одну из русских крепостей по Тереку и тесно обложило другую. Под ее стенами подоспевшие русские войска нанесли поражение инсургентам. Но на другой же день обращение командовавшего русского генерала, Лисаневича, вызвало новую вспышку ярости—уже единоличную: и он, и его товарищ (Греков), цитированный нами выше, были

[1]) Кн. Щербатов. «Генерал-фельдмаршал кн. Паскевич». Т. III, стр. 251—252, примеч. (на основании статьи «Военного Журнала» 1847 г., № 1).

убиты одним мюридом. На некоторое время Кавказская линия осталась вовсе без генералов. Приехавший Ермолов „привел все в порядок": но это была иллюзия; наступил перерыв только в военных действиях — движение же продолжалось с тех пор непрерывно, если не в Чечне, то в Дагестане. Преемником Курали-Магомы, им самим официально признанным, явился знаменитый Казы-Мулла—из аула Гимри в северном Дагестане,—в сношениях с которым, по донесениям русских шпионов, были „все мусульмане Кавказа". Поддержка, оказанная русским властям аварскими ханами и удачная экспедиция русских войск к аулу Гимри временно разбили дагестанское восстание,—но население, однакоже, не выдало Казы-Муллы, как требовало русское начальство: последнее не решилось настаивать. Оно теперь, повидимому, начало сознавать сделанные им раньше промахи. „Направление политики и отношений наших к ним (горцам) были ошибочны", писал Паскевич императору Николаю 8 мая 1830 г. „Жестокость в частности умножала ненависть и возбуждала к мщению; недостаток твердости и нерешительность в общем плане обнаруживали слабость и недостаток силы". Но было слишком поздно — теперь сами горцы не думали ни о чем, кроме войны. Казы-Мулла был убит в бою с русскими в 1832 г., но его дело продолжал его преемник, Гамзат-Бек. Руссофильская политика аварских ханов (крупнейших из дагестанских князьков) только вырыла им могилу: движение, и без того демократическое, и без того смещавшее всех ханов и беков и заменявшее их „наибами" предводителя священной войны, имама, расправилось с изменнической династией с особенной жестокостью. Ханское семейство было истреблено до последнего — не пощадили ни женщин, ни детей. Дворец ханов был разграблен, а их подданные признали власть имама. Гамзат-Бек поплатился жизнью за эту расправу—его убили кровомстители за смерть аварских ханов. Но движение от этого только выиграло, получив в качестве вождя способнейшего администратора и полководца, какого только выдвинули горцы во время борьбы с русскими, гимринца Шамиля.

Один из преданных мюридов Казы-Муллы, тяжело раненый в той битве, где пал старый вождь, новый имам представлял собою чрезвычайно счастливое в его положении соединение авторитетного богослова, шейха в настоящем смысле этого слова, с типичным предводителем такого первобытного племени, каким были тогдашние дагестанские лезгины. „Шамиль", говорит о нем его туземный биограф, „был человек ученый, набожный, проницательный, храбрый, мужественный, решительный и в то же время хороший наездник, стрелок, пловец, бо-

вец, бегун, одним словом—никто ни в чем не мог состязаться с ним" [1]).

Имамат Шамиля представляет собою высшую точку, к которой поднималось когда-либо политическое творчество кавказских горцев. Произведенный им переворот невольно напрашивается на сравнение с другим, пережитым на тысячу лет ранее таким же примитивным племенем,—арабами Хиджаса. Как и мединское государство Магомета, государство Шамиля по форме было т е о к р а т и е й—как и пророк-основатель ислама имам Дагестана был посланник божий, правивший не в силу собственного права, а как представитель всемогущего „владыки судного дня". Его власть была безгранична,—но лишь до тех пор, пока он сам шел „по пути правому": а так как вопрос об этом „правом пути", при всей строгости мусульманской ортодоксии, все же был достаточно субъективным, то имаму с первых же шагов приходилось отступать от чисто-теологической точки зрения и требовать себе повиновения уже на чисто-земном основании,—ради надобностей военной дисциплины. „Должно быть исполняемо приказание имама",—гласит первая же глава „Низама" (устава) Шамиля—„... даже в том случае, если бы исполнитель считал себя умнее, воздержаннее и религиознее имама" [2]). Теократия здесь, как и всюду, являлась лишь идеологической оболочкой вполне реальной светской власти. Чтобы понять смысл этой последней в условиях общественной жизни как арабов Хиджаса VII века, так и лезгин Дагестана XIX, нужно иметь в виду, что раньше и те, и другие имели лишь организацию власти, возникшую естественным путем—власть родовых старшин или власть „джамаата"—народной сходки. Наследственные ханы были единственной властью, наложенной сверху на эту примитивную организацию в Дагестане: но это была очень слабая власть, лишь от случая к случаю вымогавшая себе повиновение. Власть Шамиля (как ранее Магомета) была чисто-демократической, основанной на признании и избрании, притом на признании и избрании не какой-нибудь привилегированной группы, а всего народа. Ей не приходилось вымогать себе повиновения—когда дело до этого дошло в 50-х годах, пробил последний час имамата. И в то же время эта власть не считалась ни с какими родовыми и племенными перегородками; на место пестрого обычного права она ставила одно право, общее для всех мусульман—ш а р и а т, толкуемый и применяемый духовенством: муфтиями и кадиями. На место рода она ставила приход—и решение приходского кадия заме-

[1]) Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле (перев. с арабского). (Сборник сведений о кавказских горцах. VII).

[2]) Низам Шамиля. Сборник сведений о кавказских горцах. III.

няло все способы суда и расправы, какие знал родовой быт. Уже из этой правовой реформы ясно, что под оболочкой религиозного переворота крылся переворот социально-экономический. Смысл этого последнего вскрывает нам одно мелкое постановление шамилевского низама, требовавшее от правоверных, чтобы они при расчетах между собою принимали серебро русского (тифлисского) чекана. Если бы мы и не знали о финансовой организации Шамиля, одного этого было бы достаточно, чтобы не считать имамат ни только религиозным учреждением, ни только временной импровизацией ради ближайших военных целей. Он отвечал высшей ступени экономического развития, достигнутой тогда горцами, и интересам наиболее передовых горских групп: не даром из черкесов, например, его приняли первыми те самые племена, которые только что пережили демократический переворот — шапсуги, абадзехи и натухайцы.

Опиравшаяся на денежное хозяйство система имамата выработала военно-финансовую организацию, далеко превосходившую все, что до тех пор знали горские племена. Шамиль не только унаследовал подати, которые раньше платились ханам, но и ввел новую подать, по шариату,—зекат, процентный сбор со всего движимаго имущества правоверных (12% с хлеба, 1% со стад и 2% с наличных денег—при чем применялось нечто в роде зачаточной пропорциональности, а именно имевшие менее 50 мер = 12 пудам хлеба и менее сорока рублей денег были избавлены от налога). Набеги на русские владения, которые теперь стали регулярным приемом военных действий, также были использованы с финансовыми целями—со всей добычи известная доля аккуратно поступала имаму. На эту финансовую систему опирались военно-административная: все подчиненные Шамилю области были разделены на „наибства", и каждый наиб обязан был являться на войну с определенным количеством боевых сил, до известной степени правильно организованных,—разделенных на сотни и т. и мелкие отряды. Шамиль, отчасти под влиянием попадавших на его службу мусульман - иностранцев, несомненно носился с мыслью создать для противодействия русским нечто в роде регулярной армии. Но эти попытки так же, как и заведенная им артиллерия, имели на самом деле минимальное значение: настоящей областью горцев оставались попрежнему партизанские действия — и этими действиями, поставленными Шамилем так широко, как никогда раньше, определился прежде всего характер Кавказской войны.

3.

Кавказская война.

Военная история Шамиля (внутренюю историю имама трудно было бы написать за отсутствием точных и детальных данных) отчетливо распадается на три периода, характерные признаки которых дают в то же время ключ и к пониманию самого процесса. В первые шесть лет (1834—1840) власть нового имама все время висит на волоске: кажется, вот-вот еще одна удачная экспедиция в горы — и с мюридизмом в Дагестане, по крайней мере, с военным государством мюридов, будет покончено. С самого начала сороковых годов картина резко меняется: еще вчера чуть не погибший Шамиль оказывается полновластным главою всего восточного и отчасти даже западного Кавказа. Грандиознейшие экспедиции, перед которыми все прежние „поиски" и „набеги" были шуткой, кончаются полным крахом. Сам наместник Кавказа, двинувшийся в горы с лучшими своими войсками, едва не становится пленником мюридов,—а в Петербурге, где еще в 1830 году считали покорение горцев таким простым и легким делом, теперь начинают сомневаться, удастся ли нам стать хозяевами в горах в сколько-нибудь обозримом будущем? Но уже очень скоро, со второй половины тех же сороковых годов, положение снова начинает меняться. Без всяких крупных, бросающихся в глаза катастроф, военное могущество имама начинает клониться к упадку; поражение за поражением преследуют горцев: Восточная война на несколько лет отсрочивает развязку,—но только она окончилась, военные действия против Шамиля возобновляются, и в тех же самых местах, которые были свидетелями стольких русских неудач за пятнадцать лет перед тем, теперь те же войска не встречают сколько-нибудь серьезных препятствий. В два года (1857—1859) судьба восточного Кавказа решается окончательно,—а через пять лет прекращается борьба и на западном Кавказе, где русские со времен Ермолова и до половины 50-х годов не сделали никаких заметных успехов.

Военным историкам все дело, естественно, кажется результатом перемены *лиц*—и, вместе с лицами, *методов действий*. У них много можно прочесть о „новой системе", которой будто бы держался покоритель Кавказа, князь Барятинский,—о „новом плане" Барятинского, состоявшем в том, чтобы подвигаться вперед медленно и постепенно, шаг за шагом вырубая леса и прокладывая дороги, связывая занимаемые позиции в одну сплошную сеть, со всех сторон охватывавшую убежища горцев. Но в плане этом, прежде всего, едва ли было

что-нибудь новое: его предлагал, и в очень определенной форме, еще в самом начале 40-х годов значит. перед крупнейшими русскими неудачами—военный министр Николая Павловича, гр. Чернышев. Но и тогда он не был новостью: той же методы в сущности держался еще Ермолов, и в его еще времена сложились афоризмы, что горцев сразит „не штык — а топор", что вырубка лесов для них страшнее всяких военных неудач. С другой стороны, о медленном и систематическом движении вперед и Барятинский больше разговаривал, на самом же деле решительный удар, нанесенный им Шамилю,— движение к Гуниибу в конце лета 1859 года,—кончившийся пленением последних мюридов Дагестана и с ними самого имама, это движение носило характер такого же „набега", как поход Розена к Гимрам в 1832 году (когда был убит Казы-Мулла) или взятие Ахульго отрядом генерала Граббе в 1839 году—когда и сам Шамиль едва не погиб. Приняв эту точку зрения—ставить исход войны в исключительную зависимость от операционного плана—мы должны будем прийти к весьма пессимистическому, для историка, заключению, что на войне все зависит от случайностей: случайно Шамиль уцелел под Ахульго, а под Гуниибом случайно же ему не удалось уйти от русских. Но над таким пониманием истории возмущались уже сами горцы: секретарь и биограф Шамиля ищет все-таки общих причин его неудачи, независимых от случайного исхода военных операций. „Власть Шамиля была уничтожена коварством и изменою наибов и его приближенных, русским войском и золотом", такими словами заканчивает дагестанский историк свое сочинение [1]).

Мы скоро увидим, что у того же биографа последнего имама Дагестана можно найти факты, допускающие и более глубокое объяснение катастрофы 1859 года, и что он не сумел резюмировать этих фактов, может-быть, просто благодаря своей примитивной литературной технике, а вовсе не потому, чтобы про себя он не понимал их значения. Пока остановимся на роли, которую он приписывает русскому войску и русскому золоту. Золото, действительно, было пущено в ход кн. Барятинским в таких размерах, как никогда раньше: лазутчикам принесшим донесение вовсе не бог знает какой важности, но оправдавшееся,—червонцы давались буквально пригоршнями [2]). За поимку Шамиля живым в 1859 году было обещано 10.000 рублей—для нищего Дагестана целое состояние. Но помимо

[1]) «Сказание очевидца о Шамиле». Сборник сведений о кавказских горцах VII стр. 76.

[2]) Один такой случай, с весьма живописными подробностями, рассказывает А. Зиссерман в своей биографии Барятинского. См. т. I, стр. 126—127.

подкупа в прямой и грубой форме „покоритель Кавказа" весьма умело применял и подкуп косвенный. Мюридизм, как мы уже неоднократно упоминали, был демократическим движением, целью низвергавшим власть беков и ханов, основанную на наследственном праве, и ставившим на их место власть наибов нередко очень скромного происхождения, назначенных имамом. Но истребить туземную родовую аристократию не всегда удавалось так чисто, как это было с аварскими ханами: да и после них скоро нашлись претенденты на их наследство. Со всяким крупным дворянским родом была связана масса челядинцев-клиентов и захребетников, разделявших его судьбу—и его ненависть к новым порядкам. Если внутри Дагестана, где зависимость пастушеской демократии от ханов и беков была чисто номинальной, этот оппозиционный имамату слой не мог быть плотным, то чем ближе к более культурным окраинам—и, значит, чем ближе к русским,—тем общество было более феодализовано и дворянская оппозиция больше давала себя чувствовать. Стать на сторону этой оппозиции в ее борьбе с Шамилем такой типичный представитель русского феодализма, как кн. Барятинский, мог бы и помимо всяких дипломатических соображений, совершенно искренно. В те годы, когда внутри России дворянство столько должно было уступать нарождавшемуся буржуазному строю, ничего не могло быть приятнее, как найти страну, где поддержка дворянского начала против черни являлась прямо „патриотическим делом".

„Мюридизм есть не только религиозное учреждение, но и общественный закон, который, уравнивая все классы и состояния, определяет и право судебное, и порядок взимания податей", говорит кн. Барятинский в своей записке „О внутреннем состоянии Кавказа"—составленной, повидимому, как-раз в дни его похода к Гунибу. „Из этого очевидно, что если опять, в связи с военными успехами, мы не будем стараться теперь же обессиливать самое начало, из которого сложился мюридизм, то должны будем постоянно ожидать, что рано или поздно мюридизм снова, под влиянием того или другого имама, подымет голову при первой возможности и вновь разрушит все наши усилия к умиротворению края. Чтобы достигнуть этого естественным путем, надобно прежде всего стремиться к восстановлению высшего сословия там, где сохраняются еще более или менее следы его, и создавать его действующим в Империи порядком там, где оно не существует. Таким образом, по мере восстановления дворянства, правительство будет иметь в нем лучшее орудие к ослаблению исламизма..." [1]). В чрезвычайно

[1]) „Русский Архив", 1889 г., № 1. Ср. цит. соч. Зиссермана.

характерной связи с этими общими взглядами победителя Шамиля стоит его проект—обезвредить бывшего имама и даже использовать его в интересах русского правительства, превратив его самого... в помещика. „Если бы ловкими дипломатическими действиями внушить мысль султану дать Шамилю в своем владении пустопорожние земли для колонизации кавказских выходцев,—писал Барятинский Милютину (в конце 1861 года).—и вместе с тем при отпуске Шамиля обязать его словом помогать, а не вредить власти государевой на Кавказе, то я почти уверен, что он всеми мерами будет стараться исполнить обещания и затем с радостью устроит крымских и кавказских переселенцев в Анатолии или т. п. Он непременно сумеет привлечь к себе большое переселение" [1]). Западный Кавказ мог бы дать автору очень убедительный пример того, что одной феодализации страны еще мало, чтобы обеспечить ее покорность,—и что возрождение дагестанского дворянства (всегда, нужно это помнить, неизмеримо более слабого, чем черкесское) в лучшем, для русских, случае, могло бы помочь дезорганизации господства Шамиля, но не организации русского господства. Пока, однако, шла война, политика кн. Барятинского, в ряду прочих благоприятных для руского правительства условий, вбивала в систему Шамиля линиий клин: и в этом случае оказывалось возможным опираться не только на лезгинскую аристократию, но и на чеченскую демократию. Мюридизм стремился стереть не только горизонтальные, но и вертикальные общественные перегородки, решительной рукой водворяя на место пестрого местного обычая („адат") однообразное мусульманское право („шариат"). Это не всегда нравилось вольной чеченской общине—и не всем в ней: устройство в Грозном для чеченцев суда из местных жителей (но под председательством русского офицера), решавшего дела по адату несомненно притягивало к нам недовольные Шамилем элементы чеченского общества и.—опять-таки в ряду прочих условий.—ослабляло власть имама над Чечней.

В ослаблении имамата именно здесь и заключался корень всего дела, как мы сейчас увидим.—но прежде скажем несколько слов о влиянии другого фактора, отмеченного биографом Шамиля,—русского войска. Обычно, описывающие завоевание Кавказа придают значение сосредоточению там к концу 50-х годов большого количества военных сил: биограф кн. Барятинского насчитывает под его командой до 300 тысяч человек, принимая, впрочем, в это число, по всей вероятности, и все казачьи войска, и все местные гарнизоны, как северного Кав

[1] Ibid. N 7.

ска, так и Закавказья; потому что непосредственно против Шамиля действовало не более 40—50 тысяч войска, а вообще против горцев—тысяч до ста. Цифра, впрочем, очень солидная, если припомнить, что само-то горское население не превышало миллиона: на каждых 10 горцев обоего пола и всякого возраста приходился таким образом один русский солдат! Это, конечно, весьма яркое свидетельство того напряжения сил, какого потребовала от русского правительства борьба с мюридизмом. Но нужно сказать, что в подобном масштабе война велась уже давно,—тот же автор и под начальством кн. Воронцова (в половине 40-х годов) насчитывает уже 250.000 человек. Если мы сравним боевые силы в тесном смысле,—то войска, которыми непосредственно располагал Воронцов во время своей знаменитой даргинской („сухарной") экспедиции—летом 1845 года—с тем, что было в распоряжении Барятинского во время его похода к Гунибу, в августе 1859 г., мы получим цифры, не слишком резко различающиеся друг от друга [1]. Если первый едва не попал в плен к Шамилю, а последний сам взял Шамиля в плен, то это, конечно, нельзя объяснить только количественным соотношением сил их обоих, с одной стороны, и их противника—с другой. Несколько лучше объясняют дело качественные изменения, испытанные русской армией за этот промежуток времени. Что такое представляла из себя вообще армия Николая Павловича, мы уже знаем [2]. Кавказская армия разделяла до известной степени преимущество черноморского флота—быть за глазами у Николая, и имела благодаря этому возможность тратить силы не на подготовку к парадам и смотрам, а на свое прямое дело. Поклонники шагистики нередко делали такие же набеги на кавказскую армию, как та—на кавказских горцев: одним из первых в их ряду был Паскевич, начавший учить кавказцев маршировать чуть не прямо на поле битвы с персами. Но суровая действительность Кавказской войны скоро отучала от петербургских замашек,—как это было и с Паскевичем: года через два и он уже находил ермоловскую „распущенность" по части фронта вполне естественной при местных условиях. Но, несмотря на все это, основной тип тактики и здесь оставался тот же, что и всюду: сомкнутый строй и удар в штыки и здесь были самым общепринятым построением и наиболее распространенным тактическим приемом.

[1] У Воронцова было к началу июня 1845 г. 21 батальон пехоты, 7 рот сапер и стрелков, 1.000 человек грузинской пешей милиции, 16 сотен казаков и 46 орудий; из последних, впрочем, часть была отправлена обратно. Во всех трех отрядах Барятинского, в его последнюю кампанию против Шамиля, было $37^1/_2$ батальонов, $4^1/_2$ эскадронов и сотен и 48 орудий; но силы его были разбросаны на очень большое расстояние.

[2] См. выше, гл. „Крымская война".

Плохие подражания европейским войскам, какими были тогда персидская и турецкая армии, в качестве главного нашего противника, очень помогли укорениться этим приемам: ни турки ни персы „штыка не выдерживали". Совсем иное дело были горцы: не имея вовсе штыков, они кидались в рукопашную только в самом крайнем случае—и тогда дрались отчаянно, до последнего человека. Обычная же их тактика была всецело построена на применении ружейного огня—столь презиравшегося не только николаевскими стратегами, но и долго после до Драгомирова включительно [1]. На полудиком Кавказе русский солдат, со своей кремневой гладкостволкой времен двенадцатого года, впервые познакомился с действием нарезного оружия—познакомился на самом себе. Винтовки горцев представляли собою, правда, один из самых первобытных образчиков этого типа, но все же они давали им возможность поражать противника на таком расстоянии, на котором русские гладкоствольные ружья были для них совершенно безвредны. То, что тогдашняя винтовка, куда пулю приходилось загонять молотком, стреляла много медленнее нашего солдатского ружья было весьма плохим утешением: горец отвечал на сто наших выстрелов одним, но почти никогда не давал промаха, тогда как из ста русских пуль редко попадала в цель хоть одна. В конце-концов, „опытные" кавказские генералы применились к оружию вместо противника, но при помощи средства столь варварского, что оно могло употребляться лишь в русской армии Николаевских времен: шли в атаку, они, обыкновенно, пускали первую роту отдельно вперед,—под расстрел горцам, в том расчете, что последние, разрядив по ней свои винтовки, не успеют зарядить их снова раньше, чем остальные роты будут уже у них на носу. Прием иногда удавался, но горцы были не столь просты, чтобы допускать русских беспрепятственно на близкую дистанцию к своим позициям. Они всячески старались затруднить доступ атакующему, в самых широких размерах применяя искусственные препятствия. Классическим и образчиком сделался завал, так хорошо всем известный из лермонтовского стихотворения; это была груда срубленных деревьев, плотно переплетенных между собою ветвями. Пока наступающая русская колонна преодолевала эту преграду, неприятель успевал отступить на другую позицию и снова зарядить свои винтовки. А за первым завалом русские встречали второй, третий—и так далее, пока сомкнутый строй русской пехоты не бывал окончательно расстроен, и дальнейшие штыковые атаки становились невозможными. Но и самый сомкну-

[1]) См. ниже в статье „Восточный вопрос".

ий строй можно было использовать: другим любимым приемом рцев было занятие фланговых позиций, откуда они успевали ребить на выбор массу людей, прежде чем неуклюжая в го- х или в лесной чаще пехотная колонна успевала перестро- ься и переменить направление атаки. Что горцы тем време- ом исчезали, —это само собою разумелось, и те же опытные енералы принимали за правило не отвечать на фланговые лаки противника, стараясь только не дать последнему разре- ать отряд и отхватить арьергард или авангард, как это не- едко бывало во время даргинской экспедиции 1845 года. Во бежание такого несчастия, отряд в горах обыкновенно дви- лся „ящиком"—артиллерия и обоз в центре, пехота в не- олько рядов по обеим сторонам, спереди и сзади смешанные ряды из пехоты и кавалерии. Такой „ящик" медленно пре- олевал один завал за другим, не обращая внимания на сы- вшиеся справа и слева пули —и настоящие „военные дей- вия" начинались лишь тогда, когда на дороге отряда попа- лся аул: тогда жгли сакли, топтали посевы, истребляли фрук- овые деревья и виноградники; свои горцы обыкновенно евали угнать), словом, уничтожали „жизненные средства" еприятеля, неуловимого и неуязвимого для русского оружия. Но уничтожение двух или трех аулов стоило обыкновенно та их жертв—благодаря обстановке всего похода,—что дальше не решались идти, и с торжественными реляциями о „победе" возвращались домой, в одно из русских укреплений. Результа- том было подновление ненависти к русским у противника, ерьезно вовсе не ослабленного истреблением двух-трех дере- вень, новые успехи мюридизма, который на живом примере мог доказать, что с таким врагом, как русские, мир невозмо- жен,—да несколько георгиевских крестов тем из участников похода, у кого была получше протекция: „приехавший за отли- чиями" офицер—обыкновенно гвардейский—это было почти официальное звание на Кавказе с 30-х по 50-е годы, во вся- ком случае, это был общераспространенный бытовой термин, сразу определявший в глазах кавказца лицо, о котором шла речь. Менее заметным (в реляциях) результатом была сотня-другая убитых и искалеченных солдат—но то были неизбеж- ные „издержки производства" георгиевских крестов и золотых сабель „за храбрость". Нужно прибавить, что реляции, стыдясь хвастаться только сожженными аулами и желая показать дело в глазах начальства более „прибыльным", обыкновенно неми- лосердно привирали (кто же и как стал бы проверять, что там именно происходило в горах?), живописуя такие военные эф- фекты, каких никто из участников похода и не думал видеть. Это было обычаем, и его не стыдились даже крупные люди,

как Барятинский, не говоря уже о других, для которых карьера составляла всю цель жизни [1]).

Из такого бесплодного хождения по горам ничего, конечно, в военном смысле, не могло выйти: пока господствовала николаевская тактика с ее сомкнутым фронтом и культом штыка, горцы на поле битвы всегда имели перевес над нами как представители более прогрессивного способа борьбы. Не случайно поэтому победа над Шамилем хронологически совпала с перевооружением русской армии нарезным оружием,—что именно на Кавказе велось, начиная с 1857 года, с особенной настойчивостью и энергией. Ко времени взятия Гуниба у Барятинского было уже 12 батальонов, сплошь вооруженных винтовками, не считая отдельных стрелковых рот в полках, сохранивших прежнее вооружение. Борьба на равном оружии быстро начала давать себя чувствовать: увидев, что их привилегия—бить метко и издали—у них отнята, и что русские пули попадают теперь дальше и метче их (потому что европейские винтовки русских стрелков далеко превосходили первобытное нарезное оружие кавказских племен) горцы стали падать духом. Что моральный эффект нового русского вооружения очень ускорил победу Барятинского, в этом не может быть сомнения. Но решено было дело все же и не этим: перевес стал уже склоняться на русскую сторону за несколько лет до того, как началось перевооружение русских войск,—когда даже капсюльные курки на Кавказе были новостью, а старая кремневая гладкоствелка безраздельно господствовала. Стратегическая победа русскими была одержана раньше, чем они получили над горцами тактический перевес,—и это опять-таки было отмечено цитировавшимся нами выше горским историком: уже говоря о событиях 1847 года, он находит возможным заявить, что „с этого времени дела и предприятия Шамиля начинают быть безуспешны"; а в 1857 году, когда Барятинский только что начал свои действия, Шамиля, по словам его биографа, „можно было уподобить овце, схваченной волком за шею и потерявшей всякую надежду на спасение".

Непосредственных причин всех этих злоключений наиб дагестанский историк ищет, разумеется, в действиях отдельных лиц и в отдельных событиях. Повод к печальным размышлениям около 1847 г. подала ему попытка Шамиля превратить имамат в наследственную монархию, заставив горцев присягнуть его сыну, Кази-Магоме. Это будто бы произвело крайне дурное впечатление на наибов, из которых каждый ранее, по

[1]) Этого не решается скрыть даже биограф и панегирист кн. Барятинского. См. А. Зиссерман, назв. сочин., т. I, стр. 194 и 336—7, а также и в др. местах.

венно, считал себя достойным занять место Шамиля после его смерти. Лишенные теперь всякой надежды на это, наибы, по словам нашего автора, старались дискредитировать имама в глазах его подданных и заботились исключительно о себе: „начали копить богатства и убивать напрасно мусульман, не различая между позволенным и запрещенным, между истиной и ложью". Чтобы понять это место, надобно иметь в виду, что по прежнему порядку имение всякого, казненного за измену общемусульманскому делу, конфисковалось: косвенное подтверждение слов дагестанского историка и можно видеть в том, что около этого времени Шамиль нашел себя вынужденным отменить это правило и постановить, „чтобы не брать имения казненного, в особенности, когда остаются после него сироты". На том же совещании, где было издано это постановление (в Андии, в 1847 году), было принято и другое, не менее характерное: „чтобы взвешивать все поступки свои на весах шариата и не итти путем эмиров-тиранов, дабы еще более не сбиться с прежнего пути, как в сей, так и в будущей жизни" [1]). Административный упадок имамата—если даже и не приписывать наибам таких макиавеллистических мотивов, какие им присвоивает наш историк,—можно считать таким образом установленным. Остается вопрос,—была ли это, действительно, одна из основных причин общего упадка или это было лишь следствие более глубоких причин? У того же историка мы можем найти, по крайней мере, намек и на последнее. Резюмируя, на последних страницах своего сочинения, условия разложения Шамилева господства и отмечая еще раз злокозненность наибов,—„измены" которых он не перестает обличать на протяжении всей второй половины своей истории—он обмолвливается таким замечанием: „когда таким образом все выходы для набегов со стороны Чечни, Дагестана и Лезгинской линии (граница с Грузией) были заняты, то пограничный доход Шамиля прекратился. Имения наибов начали уменьшаться. Горцы, по привычке, начали грабить друг-друга, началась междоусобная вражда". Итак, виновата была не одна недобросовестность наибов, или зависть их к имаму и его наследнику,—стали уменьшаться материальные средства имамата, и от этого зависело остальное. Нужно сделать еще один шаг и спросить себя: кто же доставлял эти средства? Доходы от военной добычи—на что указывает в данном месте наш автор—никогда не составляли главного ресурса для Шамиля: даже цифры, приводимыя самим дагестанским историком, достаточны, чтобы опровергнуть его предвзятое мнение. Лишь за один год он

[1]) „Низам Шамиля". Сборник сведений о кавказских горцах. III, стр. 14—15.

может указать 15.000 руб. доходу от „мугаджиров": так назывались, по примеру первых лет ислама, люди, бросившие все и всецело посвятившие себя священной войне; в другие же годы доход этот падал до 1.000 рублей. При всей бедности Дагестана в деньгах это сумма слишком ничтожная, чтобы играть какую бы то ни было роль в государственном бюджете,—каким все-таки был бюджет имама. Зато подати с хлеба собирались ежегодно до 435.000 пудов,—по самой скромной цене, тысяч на 80 руб. Мы уже упоминали (см. выше 2. Горцы и мюридизм) о том странном факте, что % хлебного сбора был значительно выше той пропорции, в которой „зекат" взимался со скота и даже с денег: в первом случае—12½%, во втором—1 или 2%. И это дает нам ответ на вопрос: кто, в действительности, содержал государство Шамиля и оплачивал расходы „священной войны". Это не мог быть Дагестан, который никогда не в состоянии был прокормиться своим хлебом. Это могла быть только житница и самого Дагестана, и всего восточного—а отчасти и западного—Кавказа: Чечня.

Значение Чечни для имамата с необыкновенной яркостью выступает в той бесхитростной биографии великого дагестанского вождя, которую мы так часто цитировали. Следуя за этими полулетописными отметками, вы отчетливо видите, как один Дагестан был совершенно не в силах упрочить положение Шамиля хотя бы на короткое время. Идея блокады Дагестана, которую мы впервые встречаем в одном документе Александровских еще времен, цитированном выше (см. 2. Горцы и мюридизм), была, несомненно, правильной военной идеей. Дагестан мог дать одну-две отчаянных битвы русским: долго держаться он не мог. „Потеряв решительное дело, в Дагестане все усмирялось и успокаивалось на некоторое время", говорит военный историк Кавказа, характеризуя военные приемы различных горских племен. „Обстоятельства, вынуждавшие их или на открытый и решительный бой или на скорую покорность, заключались, во-первых, в ограниченности земли, удобной к возделыванию, а во-вторых, в трудности доставки леса для построек. Недостаток возделанной земли заставлял горца дорожить своим родным ущельем, небольшим куском поля и сада. Бросить аул значило отказаться от материального обеспечения и сделаться нищим—тем более, что в большей части Дагестана приходилось, за неимением в горах арб и арбяных дорог, тащить лес волоком за 40, 50, а иногда и 70 верст" [1]). Таким образом, экономическая обстановка делала первый военный народ Кав-

[1]) Дубровин. «История войны и владычества русских на Кавказе». I. стр. 611—615.

каза [1]) наименее стойким и упорным из наших противников. Пока за Шамилем были силы только одних дагестанцев, т.-е. до 1840 года,—он, по словам его биографа, „не извлек никакой пользы из своих набегов“ и уже в 1839 г. был очень близок к тому положению, в каком застал его двадцать лет спустя Барятинский. Большинство его единоплеменников бросило его после первых неудач, часть даже перешла на сторону русских. В его распоряжении оставалось только одно укрепленное убежище, где он и держался со своими мюридами,—Ахульго. В этой крепости, очень напоминавшей Гуниб и своим расположением (Ахульго с трех сторон было окружено неприступными обрывами), он был заперт войсками ген. Граббе, которому помогала „вся конница Дагестана“, т.-е. дружины враждебных Шамилю дагестанских беков и ханов,—и, как мы уже упоминали, едва спасся, всего с семью мюридами. На нем „не осталось даже черкески“, как рассказывали тогда между горцами. А всего через полтора года мы встречаем его полновластным повелителем всего восточного Кавказа, население которого он „слил в один народ, готовый исполнять все его приказания“, „прекратив междоусобные брани и родовые неприязни“. И вся эта феерическая перемена объяснялась только тем, что в 1839 году в Чечне вновь вспыхнуло восстание, вызванное причинами, совершенно аналогичными тем, какие действовали и прежде в подобных случаях—притеснениями и грабежами русских властей (на этот раз в лице некоего генерала Пулло),—и отпавшие от русского правительства чеченцы признали имама своим государем; что чрезвычайно характерно, его власть тотчас же признал снова и покинувший было его Дагестан. У русского военного начальства был в то время в ходу афоризм: „горы наши, плоскость наша“: почему оно и старалось проникнуть со своими экспедициями возможно дальше в глубь Дагестана. Афоризм этот был замечательно верен наоборот: кто владел чеченской плоскостью, тот был хозяином и в горах Дагестана.

Но Чечня восстала против русских не для того, чтобы променять один деспотизм на другой. Она готова была временно подчиниться военной диктатуре Шамиля—но для государства мюридов с его своеобразной пуританской дисциплиной сравнительно зажиточная и мало наклонная к аскетизму Чечня

[1]) Вот что говорит об этом ген. Дубровин: «Чеченцы и дагестанцы одинаково искусно пользовались местностью, но последние превосходят чеченцев в искусстве укрепляться; и эта часть у них доведена была до некоторого совершенства. Завалы и все укрепления их всегда имели сильный перекрестный огонь. Против действия нашей артиллерии они вырывали канавы, с крепкими навесами, засыпанными землею, где было довольно безопасно от ядер и гранат, а для большей безопасности защитников делали иногда крытые ходы и устраивали подземные канавы (!) в несколько ярусов или рядов. Вообще же завалы делались из камня или деревянных срубов, переслоенных землею,—а не просто из навваленных деревьев, как у чеченцев. Ibid.

представляла плохую почву. Режим Шамиля с его наибами здесь невольно наводит на воспоминания о режиме Кромвеля и его генерал-майоров, подготовившем в Англии XVII века антиреспубликанскую и антипуританскую реакцию. „Употребление крепких напитков, песни, пляски, музыка—словом, все, что отвлекает мысль от Аллаха, было строжайше запрещено. Точно такому же преследованию подвергался и каждый курящий или нюхающий табак. Житель, пойманный с крошечною на тонком чубуке трубкою в зубах или спрятанною за околышем папахи подвергался в первый раз штрафу, а во второй раз ему продевали чубук сквозь ноздрю; иногда же продевали сквозь ноздрю бечевку и на ней привешивали трубку или табакерку. За пристрастие к вину виновный подлежал смертной казни; уличенный в пристрастии к музыке подвергался сам аресту и палочным ударам, а его инструмент—немедленному сожжению. Охотников потанцовать наказывали палками или пачкали им лицо грязью, иногда сажею, и, посадив верхом на ишака лицом к хвосту, возили в таком виде по аулу“ [1]). За каждую попытку сопротивляться власти имама или даже просто уклониться от исполнения его приказания, виновная семья или целый аул подвергались военной экзекуции,—своего рода драгонаде: к ним ставили на постой дагестанские войска. Этот последний прием придавал власти Шамиля над Чечней характер форменного иноземного господства,—и чеченцам оставалось выбирать, что лучше, быть ли под властью русских или под игом лезгин. О частом применении смертной казни и, как ее последствии, конфискациях, мы уже упоминали выше. Пока русская опасность была близка, а русский гнет в свежей памяти, этот режим еще переносился—с глухим ропотом, но без открытого протеста. Но старая неволя быстро сглаживалась в памяти, а опасность вторичного русского завоевания, именно благодаря поддержке имама чеченцами, казалось, все более и более удалялась. Пять следующих за восстанием Чечни лет (1840—1845) были периодом самых блестящих военных успехов Шамиля. К 1843 году все русские укрепления в Дагестане и Чечне были разрушены и взяты, гарнизоны их частью истреблены, частью попали в плен: до 700 русских солдат и офицеров и десять русских орудий оказались в руках горцев. Сам командующий русскими войсками в Дагестане, генерал Клюки-фон-Клюгенау был заперт в Хунзахе и едва выручен войсками князя Аргутинского. Перейти в наступление против Шамиля и оба соединившихся русских генерала, однако, не сочли себя в силах, и Шамиль блестяще закончил кампанию этого года взятием Гер-

[1]) Дубровин. цит. соч., стр. 179.

гебиля, главного опорного пункта русских в северном Дагестане. После этого вся чеченская плоскость перешла в руки имама—и места, где русские отряды беспрепятственно ходили еще во времена Ермолова, стали теперь для нас, по словам одного современника, „чем-то фантастическим". Попытка русских вернуть себе утраченное (экспедиция Лидерса и Аргутинского в следующем году) кончилась неудачей; обаяние Шамиля так возросло, что даже дагестанские беки, находившиеся в русской службе и имевшие в ней высокие чины, стали переходить к нему: все это, вместе взятое, побудило императора Николая к решительным мерам. На Кавказ, в качестве императорского наместника с чрезвычайными полномочиями, был назначен кн. Воронцов, и в его распоряжение были предоставлены невиданные прежде в этих местах военные силы. Команду над главной экспедицией к столице Шамиля, Даргам, принял на себя сам наместник: Дарги были взяты, но Шамиль перехватил транспорт с провиантом, шедший за русскими колоннами; Воронцов был вынужден отступить, и во время этого отступления его отряд подвергся полному разгрому—при чем не редки были минуты, когда казалось, что никому из русских не вернуться домой из этой экспедиции. Весьма возможно, что не подоспей во-время помощь, в лице ген. Фрейтага, наместника в чеченских лесах и действительно постигла бы судьба Вара с его легионами. Никогда еще не было такого ликования в горах. „Бедняк, который прежде не имел осла, приобрел несколько лошадей и оделся в суконную чуху; тот, кто прежде и палки в руках не держал, добыл хорошее оружие", рассказывает биограф Шамиля. „Наибы и народ, в особенности чеченцы, которых даже жены нападали на солдат и обирали их, торжествовали, видя неожиданные свои успехи, как будто бы русских более не осталось, кроме тех, которые убиты". Попытки Воронцова загладить даргинскую неудачу в ближайшие годы ни к чему не приводили: осада Гергебиля, предпринятая с очень большими силами, закончилась неудачным штурмом, стоившим русским весьма тяжелых потерь.

Это было в том самом 1847 году, когда предприятия Шамиля, по словам его историка, „начали быть безуспешны". Не в военном отношении, как видим: но этот год дагестанский историк отметил указанием на начинавшийся ропот народных масс—на совещание в Андии—рядом уступок этим массам и косвенным самоосуждением всего режима. Уже скоро после этого Барятинский мог спекулировать на чеченской оппозиции Шамилю, устраивая для недовольных шариатом особый суд по адату, под председательством русского офицера (см. выше). А сильные и влиятельные люди бежали теперь не от русских к има-

му, а обратно: на эти годы падает переход к русским такого влиятельного вождя, как Хаджи-Мурад, одного из лучших наибов Шамиля, долгое время бывшего его правой рукой. Параллельно с этим и военные экспедиции русских начинают быть все успешнее: вторая осада Гергебиля (в 1848 г.) Аргутинским и Барятинским кончилась уже удачнее первой—укрепления аула были разрушены, и только удержать его за собой окончательно русским не удалось. Русские отряды теперь все чаще и чаще появляются на плоскости и проходят ее из конца в конец без особенно неприятных для себя последствий. Все большее и большее количество чеченцев перебегает от Шамиля к русским,—предпочитая спокойное рабство вечной тревоге жителей „немирной" Чечни. Повидимому, сам имам начинает понимать около этого времени, что здесь струна слишком натянута,—и, помимо мер к обузданию своей администрации, старается и военные действия против русских переносить в противоположную сторону от Чечни: в Кабарду (в 1846 г.), в юго-восточный Дагестан, к Ахтам (в 1848 г.) на юго-запад, к Закаталам (в 1852 г.) и, наконец, в Грузию (в Кахетию)—в 1854 г. Это была последняя крупная экспедиция Шамиля, кончившаяся для него удачно. Она была предпринята в связи с начавшеюся восточной войной (1853—1855 гг.) и представляет собою попытку горцев комбинировать свои действия с операциями турецкой армии (движение Омера-паши на Кутаис). Дальнейшее зависело от успехов этой последней. Русское военное начальство считало свое положение очень рискованным: шла уже речь о совершенном прекращении военных действий в Дагестане; несколько позже на этой же почве зародилась идея о примирении с Шамилем на основе признания его власти собственно над Дагестаном—и отказа его от военных действий против русских; идея, упорно державшаяся в петербургских сферах даже еще и во время похода Барятинского к Гунибу. Но и страхи, с одной стороны, и надежды—с другой, оказались преждевременными. Как-раз в азиатской Турции война кончилась победой русских войск [1]). Отсроченная, благодаря войне, на три года развязка стала быстро приближаться. Военные действия опять были перенесены на самую неудобную теперь для Шамиля территорию—в Чечню. Имам уже отчетливо сознавал, что он не пользуется здесь прежней популярностью, и что прежней беззаветной преданности чеченцев, основы его побед в первой половине 40-х годов, нет и следа. В своих обращениях к народу он старается теперь возбудить в нем инстинкт самосохранения,—пророчит, например, горцам, что русское на-

[1]) См. главу «Крымская кампания».

чальство превратит их в подобие крепостных крестьян и станет брать их в рекруты. „Они отберут у вас оружие и даже не позволят иметь ножа. Всех почетных ваших сошлют в Сибирь, и вы будете после того как мужики. Вы подождите немного—и увидите, что будет после. Вы будете раскаиваться и грызть себе пальцы; но ничто вам тогда не поможет"—говорил имам на собрании в ауле Шали осенью 1858 года. Или же старался подействовать на самолюбие чеченцев, говоря: „Во всем Дагестане нет храбрее вас, чеченцы! Вы свет религии, опора мусульман. Вы были причиною восстановления исламизма после его упадка. Вы много пролили русской крови, много забрали у них имений, пленили знатных их. Сколько раз вы заставляли трепетать сердца их от страха!" Но, говорит его биограф, когда главнокомандующий (Барятинский, назначенный в 1856 г. наместником Кавказа) „выступил с большим отрядом в Чечню, народ толпами с покорностью стал приходить к нему со всех сторон. Главнокомандующий ласково принимал покорных и делал им щедрые подарки, которых они от Шамиля никогда не видели. Они забыли Шамиля и данную ему присягу, прельстясь золотом и серебром, а еще более обещаниями оградить их от переносимых ими насилий и притеснений. Даже самые приближенные, доверенные его лица, наибы и самые дети (Шамиля) втайне хотели передаться русским" [1]. При такой обстановке даже и без помощи нарезного оружия успех русских был обеспечен. 1 апреля 1859 года Евдокимов взял Ведень (Дарги). А 26 августа Барятинский имел возможность издать свой знаменитый приказ по войскам: „Гуниб взят. Шамиль в плену. Поздравляю кавказскую армию".

Падение военно-религиозной организации, созданной мюридизмом на восточном Кавказе, в сущности, кончало кавказскую войну. До 1864 года оставался незамиренным западный Кавказ—но тут не могло образоваться такого центра сопротивления, как государство Шамиля. Мюридизм проник и сюда, и в лице Мегмет-Амина Шамиль имел здесь своего представителя. Но более аристократический строй черкесского общества сам по себе плохо мирился с новым учением. В описанной нами социальной вражде (см. выше) русское господство имело твердую точку опоры: черкесское дворянство всегда было более склонно к соглашениям с русскими,—если не прямо готово изменять своим землякам. Партия войны находила себе поддержку преимущественно у наиболее демократизированных пле-

1) Сказание очевидца о Шамиле». Стр. 32, 34, 36. Автор как-раз в это время был секретарем имама, почему его показания и обычно ценны.

мен (шапсугов, абадзехов и натухайцев): но и они действовали врозь. Покорение здесь было, главным образом, военной задачей, лишенной той политической примеси, которую оно имело в Чечне и Дагестане: было слишком ясно, что западные горцы, охваченные русскими с двух сторон—Кавказской линией по Кубани и Черноморской вдоль морского берега—не могут вести сопротивление сколько-нибудь продолжительное время; завоевание замедлялось, главным образом, наличностью помощи со стороны Турции, номинальными подданными которой состояли черкесы до Адрианопольского мира 1829 г., когда они стали столь же номинальными подданными России. Крымская война заставила даже на время вовсе бросить Черноморскую береговую линию, т.-е. выпустить черкесов из русских тисков. Затем, уже с начала 40-х годов война с Шамилем настолько занимала и время, и средства русского правительства, что на западном Кавказе поневоле приходилось ограничиваться обороной. Конец Шамиля был сигналом к решительному наступлению на западный Кавказ—и уже здесь не находили нужным церемониться с населением, привлекая его на свою сторону кротостью и соблазном лучшей жизни, как это делал Барятинский в Чечне. Благодатные причерноморские земли решено было сделать вполне русскими, и черкесам было предложено на выбор: или переселиться на Кубань, или вовсе оставить Кавказ и выселиться в Турцию. Около 30 тысяч согласились на первое—а 100,000 предпочли второе. Из черкесских племен только кабардинцы, самые старые соседи русских, почти окончательно „усмиренные“ еще Ермоловым, остались под русским подданством в полном составе; зато шапсуги выселились почти сплошь в Турцию. Западный Кавказ не стал от этого русским—на добрую долю он просто превратился в пустыню, усеянную развалинами, свидетельствовавшими о некогда завязывавшейся здесь культурной жизни. Да и население восточного Кавказа довольно скоро начало разочаровываться в тех благах, которые сулило русское господство: первое восстание чеченцев уже в качестве настоящих русских подданных, имело место всего через год после того, как они восторженными толпами встречали кн. Барятинского. Вспышки не раз повторялись и позже: крупнейшая из них ознаменовала русско-турецкую войну 1877 года. Но это уже не была война, требовавшая „покорения“: это был лишь „бунт“, который нужно „усмирять“. Рескрипт Александра II, учреждавший—в 1864 году—особый знак отличия для участвовавших в кавказской войне, был прав, констатируя окончание „многолетней кровавой борьбы, поднятой для ограждения наших владений, сопредельных с кавказским краем“. Он только умалчивал, кто был настоящим владельцем этих мест...

Восточный вопрос.

От парижского мира до берлинского конгресса.

(1856—1878).

Отмена парижского трактата.

Во внутренней политике Александра II мы не видим резкого разрыва с предшествовавшим царствованием: то же было и во внешней. Здесь даже еще более Александр Николаевич являлся верным сыном своего отца и продолжателем его системы.

Полуфеодальная Россия попрежнему считала себя присяжной противницей „духа времени“, который теперь официально именовался „партией всесветной революции, всюду стремящейся к ниспровержению порядка“. И ее дипломаты не уставали обличать его, какую бы по внешности приличную, даже почтенную форму ни выбирал он для своего проявления. Нет даже надобности и говорит, что в таком, например, случае, как неаполитанская революция 1860 года, русская дипломатия была всецело на стороне дикого деспота, мучившего и разорявшего „Обе Сицилии“, а никак не на стороне его подданных: хотя их восстание и закончилось самым, казалось бы, полным удовлетворением принципов порядка и законности, в форме подчинения Неаполя умеренно-конституционному королю Пьемонта, и хотя этому восстанию не оказывало в косвенной поддержке даже весьма мало революционное правительство Наполеона III. В ответ на присоединение Неаполя к владениям Виктора-Эммануила русский посланник был отозван из Турина, а глава русского министерства иностранных дел, кн. Горчаков, в документе, комментировавшем эту суровую меру, объявил поведение сардинского правительства совершенно „нетерпимым“ и стоящим „в вопиющем противоречии с началами народного права“. „Здесь речь идет не об итальянском вопросе,—писал он,—но об интересе, общем всем правительствам, о вечных законах

без которых никакой общественный порядок, никакой мир, никакая безопасность не могут существовать в Европе. Государь император не считает возможным оставлять долее свою миссию свидетельницею поступков, осуждаемых его совестию и убеждениями". Что негодование русского правительства было в этом случае вызвано отнюдь не захватом сардинцами чужой территории, а именно потворством революции, в этом и самые непонятливые должны были убедиться четыре года спустя, когда тоже правительство отнеслось с полным сочувствием к захвату немцами Шлезвига. Зато, когда пруссаки потом выступили было с предложением решить вопрос о Шлезвиге плебисцитом местного населения, они встретились с самым категорическим протестом русского уполномоченного на конференции. „Было бы противно основным началам русской политики допустить, чтобы поданных спрашивали, хотят ли они остаться верными своему государю", заявил барон Брунов. „Нельзя доверить шлезвигским крестьянам решения вопроса, над которым трудятся собранные в конференции уполномоченные великих держав". Но и здесь был еще случай слишком элементарный, и отношение к нему русского правительства слишком само собою разумелось. Достойно внимания, что даже когда революция совершалась сверху, была делом не народа, а правительства, она вызывала с русской стороны не менее решительное осуждение. Когда Пруссия низложила в 1866 году целый ряд мелких немецких династий,—при всей дружбе короля Вильгельма с императором Александром II, последний высказал свое полное неодобрение прусской политике в этом пункте. Он говорил, что поведение прусского правительства преисполняет его ужасом, что это не утверждение монархического начала, а унижение его, так как династии эти царствуют божией милостью, не более, не менее, как и сам прусский королевский дом. Прусский король должен был объяснять своему племяннику (Александр II был сыном его сестры), что в этой мере нет ничего революционного, что, напротив, „ничто не вредило более монархическому началу в Германии, чем существование этих маленьких и немощных династий, и что от сосредоточения борьбы с революцией в одних руках дело порядка может только выиграть". При этом король ручался, что по отношению к германскому рейхстагу он будет держаться столь же твердо, как держался он по отношению к ландтагу Пруссии. Так как поведение Бисмарка в этом последнем случае представлялось и с русской точки зрения вполне доброкачественным, то русское правительство успокоилось.

Как и в первую половину столетия, общий тон политики отражался и на восточных делах. После того, как грандиозное предприятие императора Николая претерпело полное крушение,

и Россия из единоличной вершительницы судеб Оттоманской империи—такова, как мы знаем, была иллюзия этого государя—превратилась в одну из наименее влиятельных на Балканском полуострове держав, ей нужны были союзники для того, чтобы удержать за собой хотя какую-нибудь долю влияния. Наименее враждебным из вчерашних противников была Франция. Ее старое экономическое соперничество с Англией в Леванте оказывалось как этого и можно было ожидать, гораздо прочнее той церковной ссоры, которая отделила в 1853 году Францию от России. Когда „угнетение" православных в Иерусалиме не было более предлогом для нападения на Константинополь, насчет церковных дел сговорились очень скоро, и обе вчерашние соперницы мирно принялись чинить купол „гроба господня" на общие средства. Тогда как с Англией у Наполеона III постоянно возникали недоразумения, несмотря на формально продолжавший существовать союз. „С самого заключения парижского мира,—пишет дипломат-биограф Александра II,—Франция придерживалась на Балканском полуострове политики, вполне сходной с политикою русского двора, постоянно благоприятствуя христианским народностям и содействуя развитию их автономии. Так, в Дунайских княжествах она, вместе с нами, высказалась за соединение Молдавии и Валахии; в Сербии за водворение династии Обреновичей и за признание за нею наследственного права. Когда, в 1858 г., между Турцией и Черногорией завязалась кровопролитная борьба, одно появление в Адриатическом море русских и французских военных судов вынудило Порту отказаться от отомщения за понесенное турками поражение на Гороховском поле и согласиться на новое разграничение, на выгодных для Черногории основаниях. Действуя сообща во всех делах европейского Востока, России и Франции постоянно приходилось пререкаться с Англией и Австрией, упорно отстаивавшими права султана и начало независимости и целости Оттоманской империи" [1]).

Правда, первую роль во всем этом играла не Россия, а Франция, и для русского самолюбия было особенно больно, когда сами балканские славяне давали понять, что они это чувствуют и учитывают. В 1860 году Иван Аксаков ездил в Черногорию, и то, что он видел и слышал при дворе единоверного князя, прямой креатуры русского правительства, вдобавок, наполнило душу его горечью. „На самой видной стене гостиной (княжеского конака) красовались в богатейших золотых рамках портреты во весь рост Наполеона III и императрицы Евгении—подарок французского двора. Портрета русского императора мы

[1]) Татищев, „Александр II".

не заметили". За обедом, пишет Аксаков, „вокруг меня раздавался французский язык,—сидели мы за столом, изготовленным французским поваром и сервированным французским метрд'отелем,—разговор шел большею частью о Париже, о котором присутствовавшие отзывались более или менее с нежностью, припоминая не только его улицы, но и переулки и переулочки". Сам князь Данило охотно говорил по-французски и, повидимому, гораздо менее охотно по-русски: по крайней мере, даже дипломатические сношения с русским консулом он пытался вести на французском языке, чего, впрочем, русский дипломат не допустил [1]). Все это приводило, разумеется, московского славянофила в крайнее негодование: но князь Данило мог бы, если бы захотел, сослаться в свое оправдание на поведение самого петербургского двора, где раболепство перед могущественным союзником России ничуть не менее бросалось в глаза. Морни, посол Наполеона III, писал своему государю, что при всякой с ним встрече русские великие князья и великие княгини „не упускают случая осведомиться о здоровье императора и императрицы французов в выражениях самых любезных и приветливых". Что же касается самого Александра Николаевича, то „между нами сказать, нельзя быть любезнее этого государя". О главе русской дипломатии Морни писал: „князь Горчаков и я, мы не переговариваемся, как посол с министром, а как два друга. Его прежняя политика согласуется с новым положением, он рад установившемуся между нами согласию и делает, что может, дабы сохранить его". Приводимые Морни подробности их дружеских бесед вполне подтверждают, что русский вице-канцлер делал все, что мог для достижения этой цели: принося покаяние за прежнюю политику России, перед крымской войной, он шел гораздо дальше даже того, что позволял себе кн. Орлов во время парижского конгресса. „Император Александр,—говорил, будто бы, Горчаков,—в бытность великим князем, не одобрял политики императора Николая". Покойный самодержец должен был повернуться в своем гробу, в Петропаловском соборе, узнав о таких речах... Нужно вспомнить при этом, что все эти комплименты и откровенности изливались перед великосветским авантюристом, которого, вероятно, и на порог императорского дворца не пустили бы при иной обстановке.

Тем не менее, хотя и не без ущерба для чувства собственного достоинства, Россия, благодаря союзу с Францией, все же понемногу восстановляла свое положение на Балканском полуострове. Раз уже решились спрятать самолюбие в карман, то, казалось, оставалось только итти по этой дороге возможно

[1]) Сочинения И. С. Аксакова, т. I., стр. 67, 72, 75.

дальше и настойчивее. На самом деле, союз с Францией, однако, очень быстро испортился, а под конец обратился даже в нечто в роде союза против Франции, к явному ущербу наших балканских дел. Преодолеть свою социальную природу оказалось гораздо труднее, чем свое тщеславие. На ближнем Востоке Австрия была столь же очевидной соперницей России, как Франция союзницей; воспоминания о крымской кампании, со своей стороны, никак не могли внушить русскому правительству австрофильских тенденций. Собираясь воевать с Австрией, в 1859 году, Наполеон III очень желал иметь на своей стороне Россию, в виде резерва. Желание это было так сильно, что император французов шел на чрезвычайно капитальную, для тогдашнего времени уступку: по собственной инициативе предлагал пересмотр парижского трактата. Нужно вспомнить, что для Александра II не было в те годы более тяжелого воспоминания, чем этот мир, заключенный им, как мы помним, против его личной воли—только потому, что он не нашел себе никакой поддержки в окружающих. Несколько лет спустя, он при одном случае публично квалифицировал свое поведение в 1856 году, как „трусость" (une lâcheté), и дал слово, что в другой раз он этого себе не позволит [1]). Возможность отделаться от последствий этой „трусости" должна была быть для него очень привлекательна: тем не менее, ни он ни его правительство не сделали, повидимому, никаких усилий, чтобы использовать эту возможность. Россия нехотя оказала поддержку Франции, но настолько слабую и ничего реального не обещавшую, что Наполеон III предпочел столковаться непосредственно с Францем-Иосифом, опираясь не на свою восточную союзницу, а на впечатление Маджента и Сольферино [2]). Уже самое вмешательство французского императора в пользу дела столь подозрительного, как объединение Италии, должно было охладить симпатии петербургского двора к Наполеону III: а то, что последовало за войной 1859 года и под влиянием данного ею толчка, не могло не вызвать даже чувств прямо противоположных. В официальных бумагах старались несколько смягчить эту перемену, но уже самая форма, в какой это делалось, не сулила ничего доброго. „Россия отделяет интересы Франции от прискорбных явлений, совершившихся в Италии после Виллафранкского мира,—писал князь Горчаков,—и считает необходимым соглашение великих держав, чтобы противодействовать злу". В Париже поняли-было

[1]) С. Горянов, „Босфор и Дарданеллы", стр. 128—129.

[2]) Теперь стало известно, что дело дошло до заключения формального русско-французского договора (3 марта 1859 г.), но общая характеристика положения продолжает сохранять свою силу.

это „соглашение великих держав“, при помощи которого русское правительство надеялось разделать то, что Франция только что сделала на Апеннинском полуострове, как начало формальной коалиции против Франции, и Александру II пришлось успокаивать французского посла, что имеется в виду именно только „соглашение“, а пока еще не коалиция (non de la coalition, mais de la conciliation). Но в более интимных разговорах русский император не скрывал перемены своего настроения. „Доверие мое к политическим видам Людовика-Наполеона сильно поколеблено,—говорил он своему послу во Франции, гр. Киселеву:—его приемы не безупречны. Нужно внимание, чтобы не даться в обман“. Под впечатлением итальянских событий (а отчасти, конечно, и начинавшегося уже брожения в Польше) „всемирная революция“ снова начинала тревожить русского императора, непосредственно после Парижского мира собиравшегося было ограничить свое внимание исключительно внутренними делами. И этим новым его настроением не преминули, конечно, воспользоваться правительства, желавшие расстроить русско-французский союз. Во главе их была Пруссия, которою тогда уже управлял, от имени своего помешанного брата, дядя Александра II, тогда еще принц Вильгельм, вскоре и сам ставший королем. „Его личному влиянию следует приписать возбуждение подозрений царственного племянника против Наполеона, которого он в письмах своих и беседах выставлял, как орудие всемирной революции, неустанно стремящейся к ниспроверженню законного порядка в Европе“ [1]). Когда в 1860 году Киселев, несколько отставший от последних петербургских взглядов, вздумал представить своему государю проект формального договора России и Франции, Александр написал на нем: „против кого“? В самом деле, не против же единственных держав Европы, на благонамеренность которых можно было положиться,—Австрии и Пруссии?

Так забота о торжестве охранительных начал на Западе загоняла нас снова в ту комбинацию сил на Востоке, которая издавна не обещала России ничего, кроме неудач и унижений. Польский вопрос окончательно поссорил Россию и Францию: Наполеон III чувствовал для себя так же морально невозможным не вмешаться в пользу поляков, хотя бы только на словах, как невозможно для него было не вмешаться в итальянские дела. Но уже первая попытка его в этом направлении (на свидании с русским императором в Штутгарте, в сентябре 1857 г.) привела Александра II в столь сильное раздражение, что он не мог даже его скрыть перед своей свитой. Обещания

[1]) Татищев.

данные в критическую минуту парижского конгресса, не были забыты,—кое-какие реформы Польше были обещаны официально,—но напоминания о них уже не переносили. Скоро исчезли и эти добрые намерения, и новое вмешательство Франции, в 1863 году, наткнулось уже прямо на враждебный отпор. Одновременно с этим, выступления России на Балканском полуострове начинают вдохновляться тем же консервативным настроением, которое окрашивало некогда политику Александра Павловича по отношению к греческому восстанию. Когда вспыхнула борьба на о. Крите (во второй половине 60-х годов)—исторически составлявшая прямо продолжение именно этого восстания—Россия хотя и выступила с инициативой различных „реформ" на острове, но практически не решилась пойти дальше дружеских советов султану. А когда тот учтиво уклонился от следования этим советам, русское правительство не нашло ничего лучше, как оказать Турции косвенную поддержку в борьбе с восставшими критянами. Главную помощь последние получали, конечно, из независимой Греции: Россия, от имени созванной по ее почину конференции великих держав, предъявила ультиматум королю Георгу, только что женившемуся на русской великой княжне, требуя, чтобы он не допускал „образования на своей территории вооруженных шаек для нападения на Турцию и вооружения в греческих гаванях судов, предназначенных содействовать какими-либо способами попытке восстания во владениях султана". Маленькая Греция не могла не подчиниться требованиям России,—и с изолированными таким путем критянами турки справились очень скоро.

Дружба с Турцией принесла, однако, с собой и некоторую выгоду, которую, правда, трудно назвать „реальной", потому что Россия ею вовсе не воспользовалась: но личное самолюбие Александра II и его дипломатов получило, тем не менее, большое удовлетворение, когда, 20 февраля 1871 года, был отменен парижский трактат в его наиболее обидной для достоинства России части—в том, что касалось ограничения ее прав на Черном море. Внешним поводом для этого радостного русскому правительству события была франко-прусская война. Внимание Западной Европы было так отвлечено ею, что на ближнем Востоке, впервые после долгого промежутка, Россия оказалась почти без соперников, с совершенно развязанными руками. Александр II давно мечтал о таком моменте, который дал бы ему возможность ликвидировать тяжелые обязательства, по „трусости" принятые им на себя в 1856 году. Когда, после разгрома Австрии, король Вильгельм благодарил своего племянника за дружественный нейтралитет, так облегчивший Пруссии

ее победу, и спрашивал Александра II, чем может Пруссия отплатить России за ее дружбу, император назвал отмену парижского договора. Вильгельм обещал свое полное содействие, — и сдержал обещание, поскольку это ему ничего не стоило. Но в 1866 году то было чисто платоническое пожелание: тогдашняя Германия не имела и подобия ее теперешнего флота, а французская армия, даже и без помощи английских кораблей, была гораздо ближе к Константинополю, чем прусская. После Седана мечта вдруг стала реальностью. В распоряжении Англии не было более сухопутных сил, которые она могла бы противопоставить России на Балканском полуострове. В случае войны Турция на сухом пути оказывалась изолированной: в 1877 году, когда дело шло о жизненных интересах Оттоманской империи, а Россия выступала, как ее открытый враг, Турция не побоялась войны и при таких условиях. Но за семь лет раньше положение и в этом пункте было упрощено до чрезвычайности. „умиротворяющее“ поведение России в критском вопросе, с тех пор постоянно повторявшееся ею, как скоро начинали волноваться какие-либо христианские подданные султана—сербы, болгары или греки,—внушило последнему такое доверие к северному соседу, что, по подлинному выражению Абдул-Азиса „если бы он имел в своем распоряжении три миллиона солдат, то и тогда бы он не решился предпринять войну, разве бы Россия напала на него“. С своей стороны Россия не осталась в долгу и доводила свою „лояльность“ по отношению к турецким интересам почти до предательства интересов опекаемых ею балканских славян. „Уже много лет,—писал Порте кн. Горчаков в 1870 году,—мы не переставали твердить христианским народностям под владычеством султана, чтобы они терпели, доверяясь добрым намерениям своего государя. Наши советы способствовали успокоению Востока. Кроме того, уже с год мы предложили начало невмешательства во внутренние смуты Турции, обязавшись держаться этого принципа, если остальные державы примут его также к руководству своих действий“.

При таких условиях, самым простым путем к отмене нейтрализации Черного моря было бы соглашение с правительством султана. С таким предложением и выступил русский посол в Константинополе, генерал Игнатьев, еще раньше Седана как только выяснилось, что война идет неблагоприятно для Франции, и что эта создательница парижского трактата будет во всяком случае надолго парализована. Турецкий великий визирь Аали-паша высказывался насчет подобного соглашения вполне сочувственно, намекал только, что и Порта, с своей стороны, желала бы таким же путем упразднить те статьи договора 1856 года, которые ее стесняют. Он имел в виду, глав-

ным образом, международную опеку над проливами, Босфором и Дарданеллами, установленную еще лондонскими конвенциями 1841 года: тогда Турция, напуганная аггрессивными действиями Николая I, охотно шла на это ограничение верховных прав султана в его собственных водах, теперь она предпочла бы быть полной хозяйкой у себя дома, так как со стороны России более опасности не предвиделось. Генерал Игнатьев обнадежил визиря, что со стороны России здесь, конечно, препятствий не встретится. Словом, дело, казалось, готово было разрешиться совершенно мирно и без шума—не без ущерба для принципов международного права, положим—но опротестовать их нарушение было бы некому. Ближайше заинтересованная Турция сама являлась бы соучастницей преступления, Англия была далеко и в данный момент бессильна, Франции было и подавно не до Константинополя в ту минуту, когда пруссаки шли на Париж. Такой компетентный судья в деле, как Бисмарк, находил, что даже и запутывать дело формальным договором было бы не к чему: просто, России следовало начать строить военные корабли на Черном море и дожидаться, пока ее спросят, что это значит: при добрых отношениях к Турции возрождение черноморского флота к этому времени уже давно было бы совершившимся фактом.

Но германский канцлер исходил из правильной, без сомнения, оценки реальных интересов России, как государства. Он упускал из виду другой момент, в данном случае гораздо более важный: психологию действующих лиц. Александру II было не столько важно право строить броненосцы на Черном море,—он семь лет после обладал этим правом и не построил ни одного, годного для войны, а когда она пришла, ее вели с наскоро вооруженными коммерческими пароходами. Ему нужно было загладить свою „трусость", воспоминания о которой так угнетали его,—загладить каким-нибудь „смелым" поступком, который бросился бы в глаза Европе и внушил бы ей уважение к силе и могуществу России. Словом, нужен был реванш. Только этой психологией императора, которой вполне проникся и руководитель его иностранной политики, можно объяснить в высшей степени странную депешу, разосланную кн. Горчаковым всем державам, участницам парижского договора, 19 октября 1870 года. Смысл этой депеши заключался в том, что, так как договоры вообще плохо соблюдаются, а в частности парижский нарушался уже неоднократно, то Россия не считает себя связанною этим последним. „По отношению к праву,—писал кн. Горчаков,—наш августейший государь не может допустить, чтобы трактаты, нарушенные во многих существенных и общих статьях своих, оставались обязательными по тем статьям, которые

касаются прямых интересов его империи; по отношению же к применению, его императорское величество не может допустить, чтобы безопасность России была поставлена в зависимость от теории, не устоявшей перед опытом времени, и чтобы эта безопасность могла подвергнуться нарушению вследствие уважения к обязательствам, которые не были соблюдены во всей их целости". Логическим выводом из этого было бы, что Россия вообще не считает для себя обязательными международные соглашения, ибо какое же из них когда-либо не нарушалось? Но грандиозное вступление кончалось выводом, неожиданно скромным: русское правительство заявляло, что оно, вопреки парижскому трактату, будет строить и держать военные суда на Черном море. При этом в виде момента, усиливающего правоту России в данном случае, указывалось на введение броненосных судов, „неизвестных и не предвиденных договором 1856 года". Но так как военная техника совершенствуется непрерывно, то посылка и здесь была шире заключения: если броненосцы могли оправдать нарушение парижского трактата, то, например, введение самодвижущихся мин могло оправдать нарушение следующего за ним, и так далее, до бесконечности.

Чтобы оценить впечатление депеши 19 октября на европейские дворы, нужно иметь в виду, что всего за четыре года перед этим, по поводу перетасовки, произведенной на территории бывшего германского союза войною 1866 года, тот же князь Горчаков категорически высказался, что по общим началам права, которыми руководствуется русское правительство, никакое изменение в международном договоре не может быть допущено иначе, как с согласия всех участвовавших в его составлении сторон. Сам автор депеши сознавал, каких тяжелых жертв требует он от логики, здравого смысла и установившихся веками дипломатических обычаев. В частных разговорах он выражал желание „пожертвовать собой" „для чести своей родины", если бы Александр II нашел вынужденным отречься от шага, сделанного его канцлером. Нет надобности говорить, что эти патриотические речи держались на том же безукоризненном французском языке, каким была в подлиннике изложена и сама депеша, с этой стороны вызвавшая истинный восторг в некоторых иностранных дипломатах. Но, к сожалению, этой стороной восторги и ограничивались. Что касается содержания, то самым мягким был отзыв старого прусского короля, находившего, что хотя декларация русского правительства сама по себе и правильна, но явилась она некстати. Бисмарк без околичностей называл русскую дипломатию „наивной" (candide). „Обыкновенно думают, — говорил он,—что русская политика чрезвычайно хитра и искусна, полна разных тонкостей, хитроспле-

тений и интриг. Это неправда"... Но если „друзья" России только бранились, более или менее дипломатически, то противники ее усмотрели в наивности русского правительства крупный козырь, которым они и поспешили воспользоваться. Помешать России строить военный флот на Черном море было, конечно, нельзя: но можно было призвать ее к порядку перед лицом всего цивилизованного мира за ту форму, в какой она принялась за это дело. Это, к тому же, давало возможность попутно закрепить остальные статьи договора, Россией еще не нарушенные, и тем затруднить несколько их нарушение на будущее время [1]). Как Англия, так и Австрия ответили на декларацию кн. Горчакова решительным протестом, ссылаясь на совершенно необычную и невозможную в сношениях между цивилизованными странами форму отказа от исполнения международного обязательства, избранную Россией. Хотя было совершенно ясно, что протесты не пойдут дальше слов, в крайнем случае, дальше разрыва дипломатических сношений (этим вполне определенно угрожала Англия), русское правительство не могло остаться равнодушным к общественному мнению всех европейских кабинетов. А все они (не исключая даже и прусского, как мы видели) разными способами осуждали шаг, предпринятый Россией. Моральное давление было слишком сильно, чтобы кн. Горчаков и его государь могли устоять: и, как это ни было обидно, после столь решительного начала пошли уступки. В ответ на заявление английского кабинета русское министерство иностранных дел поспешило согласиться, что обсуждение на обще-европейской конференции тех статей парижского трактата, которые не затрогивали державных прав России на Черном море, возможно и даже желательно, во избежание всяких недоразумений, что Россия протестует только против ограничения этих прав и не против чего больше. Это согласие, повидимому, несколько успокоило совесть самого русского канцлера, встревоженную его собственным поступком:—„мы открываем дверь для соглашения,—с чувством удовлетворения писал он русскому послу в Лондоне,—мы открываем ее даже настежь, но мы можем пройти в нее только под условием—не наклонять головы". Кн. Горчаков желал выразить этим, что русское правительство никогда не согласится на пересмотр только-что сделанной им декларации. Но англичане, сильные своей логикой и солидарностью с ними всей европейской дипломатии (открыто стать на защиту русской декларации не решались даже турки, по существу ничего не имевшие против нее, так как они сами

[1]) Бисмарк очень удивлялся, что Россия не отвергла договора в целом: тогда говорил он, ей были бы благодарны, если бы она потом признала хоть что-нибудь.

раньше вели переговоры о подобном шаге, но сконфуженные крайне необычной формой русского выступления),—англичане были неумолимы. Под страхом общеевропейского остракизма пришлось уступить до конца: согласно английской формуле, конференция была созвана „без заранее предвзятого заключения“ (without assumption of any foregone conclusion), другими словами, России предоставлялось отстаивать свою декларацию на конференции, но для конференции эта декларация не была обязательной,—она могла рассматривать вопрос в его целом, не считаясь ни с какими шагами, сделанными уже русским правительством.

Эта была, несомненно, маленькая Силистрия: вместо демонстрации силы и могущества России, получилась демонстрация неловкости и трусости ее дипломатов. Для этой последней демонстрации, как нельзя более подходил русский представитель на лондонской конференции—наш посол в Англии, барон Бруннов [1]). Старый дипломат николаевской школы был, прежде всего, слишком дряхл для сколько-нибудь активной роли. Помимо того, он слишком закоренел в известных дипломатических привычках, чтобы сразу ориентироваться в положении, созданном необычайным поступком кн. Горчакова. Наконец, подобно очень многим слугам Николая Павловича, он после Севастополя чувствовал преувеличенное почтение к „морским державам“, которые так третировались ими ранее. Он видел, что английские министры недовольны, что английское общественное мнение встревожено, и ему уже чудились всякие ужасы, и он серьезно начинал хлопотать о спасении русских казенных сумм, лежавших в английских банках, и русских кораблей, плававших в английских водах. Англичане вовсе не думали воевать, конечно, но такое настроение русского представителя было им как нельзя более на-руку. Запуганного Бруннова заставляли принимать такие редакции протоколов, которые весьма существенно задевали выгоды России: и в конце-концов, защита русских интересов выпала на долю турецкого уполномоченного, Муссурус-паши. Главная задача противников России на конференции заключалась не в том, чтобы помешать русским военным судам появиться на Черном море: при соучастии Турции этого, очевидно, невозможно было достигнуть, да и важно это было прежде всего для той же Турции. Но для Австрии, а затем и для Англии было существенно, чтобы русский флот был изолирован в Черном море, чтобы он остался, так сказать, на положении озерного флота, и не мог ни появиться в Архипелаге и Средиземном море, ни соединиться когда-либо с балтийским флотом. Этой цели и отвечала придуманная австрийским

[1]) См. о нем т. II, стр. 605 и т. III, стр. 1 и сл.

министерством редакция статьи, предоставлявшей султану право открывать проливы для военных судов других держав, кроме Турции: в статье эти другие державы ближе определялись, как „неприбрежные“ (non riveraines). Бруннов не понял этой оговорки и, заметив, что австрийская редакция очень нравится англичанам, прилепился к ней всей душой, видя в этой, невинной с его точки зрения, прибавке дешевый способ умиротворить грозного противника. Не поняли сначала, в чем дело, и в Петербурге: Александр II написал на депеше Брунпова, сообщавшей об этой редакции, что она „удовлетворительна, насколько это возможно“. Но дипломатическую шараду очень скоро разгадали в Константинополе, и от своего тамошнего посла русское правительство впервые узнало, что невинная оговорка лишает Россию, как державу прибрежную к Черному морю, права проводить свои военные суда через Босфор и Дарданеллы, хотя бы и с согласия султана. Мы оказались „более турками, чем сами турки“, как с горьким юмором заметил Александр Николаевич, поняв промах своего лондонского представителя. Но тот уже был связан своим формальным присоединением к австрийской редакции—да, кроме того, кажется, и после всех разъяснений плохо понимал, в чем именно он ошибся. На помощь нам пришли турки: Муссурус-паша решительно настаивал, чтобы, вместо „неприбрежных“, державы были определены, как „дружеские и союзные“, под каковое название можно было, конечно, подвести и Россию. Англичане и австрийцы вынуждены были пойти на компромисс: конференция приняла, в конце-концов, итальянскую редакцию статьи, гласившую, что проливы могут быть открыты султаном только в том случае, если этого потребуют интересы сохранения парижского трактата. Так как было очень сомнительно, чтобы русские суда когда-нибудь явились в Средиземное море защищать трактаты, которые Россия, очевидно, стремилась упразднить, то фактически дело не очень изменялось к лучшему: но, благодаря туркам, Россия была все-таки избавлена от лишней дипломатической обиды. Александр II счел своим долгом выразить турецкому послу в Петербурге свою особенную благодарность, а государственный канцлер писал генералу Игнатьеву, что „положение, принятое великим визирем по отношению к России, было достойно всякой похвалы“.

Россия вышла из дела хотя и не с тою честью, как ожидала, но все же благополучно. Ей пришлось, правда, выслушать нечто в роде международного выговора за депешу кн. Горчакова: лондонская конференция 1871 года в весьма торжественной форме постановила, что „державы признают существенным началом международного права то правило, по которому ни

одна из них не может ни освободиться от договора, ни изменить его постановлений иначе, как по согласию договаривающихся сторон, посредством дружеского соглашения",—и под этим постановлением должен был подписаться и русский уполномоченный. Но статьи парижского трактата, устанавливавшие нейтрализацию Черного моря, были признаны отмененными, и в глазах публики, не посвященной в закулисные тайны дипломатии, русский двор мог торжествовать победу. Не без демонстрации Александр II ратификовал лондонскую конвенцию в годовщину подписания парижского мира—18 марта 1871 года. Князь Горчаков получил титул „светлости", а Бруннов, в письмах к канцлеру чрезвычайно наивно радовавшийся, что дело, наконец, пришло к благополучному разрешению,—из барона превратился в графа. Меньше всего пользы из этой морской конвенции извлекли морские силы России: добрые отношения к Турции, казалось, делали войну на Черном море вопросом такого отдаленного будущего, что русское правительство воспользовалось возможностью строить там военные суда лишь для некоторых военно-морских опытов. В результате, когда через пять лет на Балканском полуострове разразился кризис и в черноморском флоте почувствовалась реальная надобность, Россия увидала себя совершенно в таком же положении, как если бы никакой конвенции 1871 года вовсе не существовало.

2. Подготовка второй восточной войны. Дипломатия и публицистика.

Лондонская конференция доставила моральное удовлетворение Александру II за обиду, нанесенную России парижским миром. О вознаграждении материальных потерь, испытанных тогда Россией, в этот момент мало думали: да они и не были очень чувствительны. Что мы потеряли устья реки, которая всем своим течением лежала вне русских границ, что около сотни тысяч людей нерусского происхождения стали числиться румынскими подданными,—все это могло колоть разве очень придирчивого патриота и было совершенно безразлично для всего русского общества в целом. Но раз сделанный удачный шаг всегда побуждает к следующему. Возвращение Бессарабии уже мелькало на горизонте в период лондонских переговоров, в виде возможности. Международные отношения складывались так, что эта возможность становилась все реальнее. И от возвращения клочка земли, потерянного благодаря неудаче завоевательных планов императора Николая I, мысль, естественно,

переходила к восстановлению самих этих планов в их целом. Из-за вопроса о Бессарабии понемногу стал всплывать вопрос о Балканском полуострове,—а затем и о Константинополе.

У русского правительства едва ли бы хватило отваги на подобные мечты, будь оно одиноко и предоставлено своим собственным силам. В 1871 году дружба с Турцией, как мы видели, ценилась и была, действительно, выгодна. Но если, собственно, Бессарабия была для турок довольно безразлична, хотя насчет устьев Дуная в тесном смысле они и тут уже делали оговорки, то ко всему дальнейшему Россия могла пройти только через труп своего „друга". А от русско-турецкой войны мы, повидимому, были отделены тогда необозримым промежутком времени. „Отныне война между Россией и Турцией сделалась невозможною и бесполезною", писал еще во второй половине 60-х годов главный теоретик официального славянофильства, Н. Данилевский, вводивший, в то же время, в свою программу возвращение Бессарабии России [1]). Если пять лет спустя война эта стала казаться необходимостью, то в этом прежде всего виновата была та самая „Европа", от коварства которой так неустанно предостерегал своих соотечественников только-что цитированный писатель: и горькая ирония истории была в том, что славянофилы, сами того не замечая, шли к тому, что они считали своей целью, на поводу у злейшего, непримиримого, по их мнению, врага славянства,—на поводу у Германии. Дипломатическую историю того кризиса, который привел к войне 1877—78 гг., невозможно понять, не приняв в расчет тех отношений, какие сложились на востоке Европы в результате образования Германской империи, и той роли, какую играл в тогдашней дипломатии руководивший внешней политикою нового государства Бисмарк. Это новое государство сложилось на счет Австрии и при помощи России. Правительство Германии при всяком поводе готово было засвидетельствовать свою признательность этой последней. Император Вильгельм писал в одном письме Александру II, что Германия никогда не забудет услуг, оказанных ей Россией в 1864—71 гг. Князь Бисмарк при одном случае выразился еще сильнее: „если бы я только подумал отнестись враждебно когда-нибудь к императору (Александру II) и к России, я счел бы себя изменником", говорил он одному из своих петербургских знакомых весною 1873 года, во время визита императора Германии к своему племяннику. И самый этот визит был формальным выражением благодарности за поддержку во время франко-прусской войны 1870—71 гг., когда дружественный нейтрали-

[1]) „Россия и Европа", изд. 1871 г., стр. 347 и 413.

тет России обеспечил тыл и фланги Пруссии. Но вовсе не в интересах Германии было ни уничтожать Австрии, ни дать образоваться на востоке Европы второй империи Николая I. Наоборот, Австрия, по мнению Бисмарка, была теперь в общей системе европейских государств нужнее, чем когда бы то ни было. Старый император Вильгельм ездил в Вену еще раньше своего путешествия в Петербург, а еще ранее, совсем вскоре после Кениггреца, Бисмарк уже намекал австрийской дипломатии на возможность найти утешение за потерянные Австриею итальянские области на Балканском полуострове. Оккупация австрийцами Боснии и Герцеговины,—казавшаяся впоследствии русскому общественному мнению чем-то в роде „отступного", данного Австрией за сан-стефанский мир 1878 года, на самом деле была решена помимо участия России, еще при свидании австрийского и германского императоров в 1872 году. Повернутая фронтом к Константинополю, Австрия не только не была теперь опасна Германии, а, наоборот, являлась в высшей степени желательным авангардом, прокладывавшим германскому капитализму пути в новые области, до тех пор эксплоатировавшиеся исключительно Францией и Англией. И в то же время—за это говорила вековая традиция—на Балканском полуострове Австрия должна была доставить столько хлопот России, что и эта последняя поневоле должна была бы повернуться фронтом туда же, на юг, к тому же Константинополю. Чтобы помочь совершиться этому повороту, Бисмарк готов был „предоставить все свое влияние на Востоке в полное распоряжение России". Наоборот, ему было в высшей степени неприятно видеть, как Александр II пытается подражать своему отцу в роли „вершителя судеб" Западной Европы. В 1875 году Германия готова была принять меры, чтобы положить конец начинавшемуся военному возрождению Франции: в дело вмешался русский император, решительно ставший на сторону последней. Бисмарк позволил себе по этому случаю мысли, отнюдь не дружелюбные по отношению к стране, перед которою Пруссия была связана „долгом чести", и даже выражал эти мысли довольно громко. „Вы, конечно, не будете иметь повода радоваться тому, что рисковали потерять нашу дружбу ради пустого удовлетворения собственного тщеславия,—говорил он кн. Горчакову.—Скажу вам открыто: я добрый друг моих друзей и враг моих врагов". Как раз около этого времени, весьма кстати, возобновилось движение между славянами Балканского полуострова: по сведениям русского посольства в Вене, инсургенты получали денежные пособия „из таинственного источника через Прагу". [1])

[1]) „За кулисами дипломатии"—„Русская Старина", 1908, февраль, стр. 342.

В своих стремлениях—„занять“Россию балканскими делами и столкнуть ее на этом пути с Австрией,—Бисмарк нашел себе внутри России союзника, о котором он, конечно, совсем не думал. Тем не менее, помощь, оказанная этим неожиданным союзником видам германской политики, была самая существенная: без нее правительство Александра II едва ли зашло бы так далеко, пытаясь реставрировать планы Николая Павловича. И Германии едва ли пришлось бы выступить на берлинском конгрессе вершительницей судеб Восточной Европы. Этим союзником была та самая нео-славянофильская публицистика, о которой мы уже упоминали. К семидесятым годам девятнадцатого века из двух сторон славянофильства, положительной—веры в мессианическую роль славянства, призванного заменить сгнивший Запад, и отрицательной—ненависти и презрения к этому Западу—вторая решительно взяла верх. С этой поры, и даже ранее, мы имеем перед собою уже не столько славянофилов, сколько европо- и в частности германо-фобов. Уже цитированным нами Н. Данилевским вражда России и Европы была, как известно, возведена в закон истории, столь же непреложный, как законы природы. „Не надо себя обманывать,—писал он,—враждебность Европы слишком очевидна: она лежит не в случайных комбинациях европейской политики, не в честолюбии того или другого государственного мужа, а в самых основных ее интересах. Внутренние счеты ее не покончены. Бывшие в ней зародыши внутренней борьбы развились именно в недавнее время; но весьма вероятно, что они из числа последних; с улажением их, или даже с несколько продолжительным умиротворением их, Европа опять обратится всеми своими силами и помыслами против России, почитаемой ею своим естественным, прирожденным врагом“ [1]). Данилевский был доктринер и фанатик своей идеи. Но уже гораздо раньше практический общественный деятель и совсем не фанатик, Иван Аксаков, говорил то же самое. „Пора догадаться, что благосклонности Запада мы никакою угодливостью не купим,—писал он в 1861 году.—Пора понять, что ненависть, нередко инстинктивная, Запада к славянскому православному миру происходит от иных, глубоко скрытых причин; эти причины—антагонизм двух противоположных духовных просветительных начал и зависть дряхлого мира к новому, которому принадлежит будущность“. „Вся задача Европы состояла и состоит в том, чтобы положить пределы материальному и нравственному усилению России, чтобы не дать возникнуть новому миру—православно-славянскому, которого знамя предносится единою

[1]) „Россия и Европа“, стр. 425—426.

свободною славянскою державой, Россией, и который ненавистен латино-германскому миру",—писал он же несколько лет спустя, почти одновременно с Данилевским [1]).

Такая острая борьба за существование, естественно, должна была оттеснить на задний план „духовные и просветительные" задачи славянского объединения. И Данилевский, по старой памяти, говорит, что главная цель всеславянского союза—„не политическая, а культурная". Но она рисовалась теперь в отдаленном будущем. „...В чем могут заключаться для России ближайшие, осязательные политические выгоды от образования всеславянского союза (о высшем культурно-историческом значении которого мы здесь не говорим)? Конечно,—в увеличении внешнего могущества, в обеспечении (как себя, так и своих союзников) от напора враждебного Запада..." [2]). Россия нужна славянам,—поэтому и славяне должны послужить России, послужить непосредственно, материально и осязательно. Данилевский, на досуге и не спеша, с наслаждением предается тому же статистико-этнографическому прожектерству, которое услаждало душу Погодина в черные дни первой восточной войны. Он основательно перечисляет все племена, долженствующие войти в будущий союз—не забывая отметить, сколько каждое даст миллионов жителей, готовых в случае нужды грудью защищать свою руководительницу и наставницу Россию. Он насчитывает их даже гораздо более, чем Погодин, смело причисляя к славянам и греков, потому что они православные, и даже мадьяр, которым все равно некуда деваться среди славянского моря. Но иные перспективы ближайшего будущего должны были осветить иным светом не только комбинации в области внешней политики, а и основные линии политики внутренней. Старое славянофильство, как известно, не жаловало государственного начала; не восставая против него, оно отводило ему второстепенную, подсобную роль—щита, прикрывающего до поры, до времени свободную деятельность общины. Попытки государства выйти из этой узкой сферы рассматривались, как посягательство на духовную свободу народа, и с этой точки зрения русское самодержавие послепетровской эпохи, т.-е. то реальное самодержавие, которое было слишком хорошо знакомо, чтобы его можно было идеализировать, как скрывающуюся в туманной дали Московскую Русь,—это самодержавие только терпелось Константином Аксаковым и его современниками, но отнюдь не было предметом их горячей любви. Совсем иначе дело представлялось Н. Данилевскому, который в России видел

[1]) Собрание сочинений, т. I., стр. 5 и 108.

[2]) „Россия и Европа", стр. 433.

прежде всего военный стан, осажденный врагами. Для него самодержавие—и именно то полицейски-военное самодержавие, которое имелось в наличности,—было не оболочкой, сверху надетой на народ, а его внутренней сущностью. Самодержец для него есть „живое осуществление политического самосознания и воли народной, так что мысль, чувство и воля его сообщаются всему народу процессом, подобным тому, как это совершается в личном самосознательном существе". От славянофильской формулы—„государству—свобода действия, народу—свобода мнения"—здесь не остается и следа. Свободу мнения, как и свободу действия, имеет только один,—а всем прочим предоставлена одна свобода—повиноваться. Такая картина, в чисто-азиатском духе, вероятно, до глубины души возмутила бы К. Аксакова. А. Н. Данилевского она приводит в восторг и он с упоением рассказывает своему читателю, как „русский народ может быть приведен в состояние напряжения всех его нравственных и материальных сил, в состояние, которое мы называем дисциплинированным энтузиазмом,—волею его государя, независимо от непосредственного возбуждения отдельных единиц—личностей, составляющих народ, тем или другим интересом, событием или вообще возбуждением" [1]).

Эта черта нео-славянофильства и помогла ему сделаться официальной философией истории при Александре III, когда „Россия и Европа" Данилевского настойчиво рекомендовалась всем преподавателям истории в качестве настольного руководства. А в ожидании этого счастливого времени оно нашло себе высоких покровителей и при дворе Александра II. Его жена, императрица Мария Александровна, несмотря на свое немецкое происхождение, была горячей сторонницей славянофильства, а как она его понимала, это видно из того, что в наставники своему сыну она выбрала К. Победоносцева. При дворе его воспитанника, цесаревича Александра Александровича, это было уже признанное учение, и поскольку наследник престола мог оказывать влияние на внешнюю политику, он вел ее в духе „России и Европы" и поздних статей Аксакова. Здесь была реальная точка опоры для нео-славянофильской идеологии, и здесь же была точка соприкосновения узкого придворного кружка с более широкими общественными слоями. Потому что обожествление крепостного режима в образе „дисциплинированного энтузиазма" входило в классовую идеологию дворянства 60-х—70-х годов, как и в официальную идеологию правительства,—какими бы „либералами" ни выказывали себя подчас иные помещики под влиянием тех или других случайных

[1]) Ibid., стр. 488.

условий. „Борьба с Западом“ здесь незаметно сливалась с борьбою против „духа времени“, которую так настойчиво вело в свое время правительство Николая I и не прочь было продолжать, как мы видели, правительство его сына. Европа, которая будто бы только и ждала удобной минуты, чтобы поглотить несчастное „славянство“, была лишь символом буржуазного строя, надвигавшегося на русский феодализм и вынудившего уже у этого феодализма столько уступок в 60-х годах.

Но поле битвы с врагом постепенно суживалось. В начале века Священный союз брал на себя защиту „вечных начал нравственности и порядка“ на всем протяжении Европы—до Пиренейского полуострова включительно. Николаю Павловичу в 1848 году пришлось ограничиться приведением в порядок только Восточной Европы—по сю сторону Дуная и Одера. Арена его продолжателей была еще менее широка. От тлетворного влияния „Европы“ надеялись спасти только славянские племена,—да и тут приходилось делать крупные вычеты. Первым из них были поляки, „верные прихвостни Западной Европы и латинства, давно изменившие братскому союзу славян“ [1]). Само собою разумеется, что этим отверженцам не могло быть отведено самостоятельного места во „всеславянском союзе“: мы находим здесь и королевство Чехо-Мораво-Словакское, и королевство Булгарское, и даже королевство Мадьярское—но Польского королевства мы не найдем. Данилевский даже предвидит возможность—одну из трех,—что „русская рука в общем ходе дел все-таки принуждена будет чаще и чаще надевать ежовую муравьевскую рукавицу, и все крепче и крепче сжимать ее“ [2]). Такая перспектива постоянного содержания в карцере одного из союзников тем менее сулила доброго всему предприятию, что западные панслависты смотрели на дело с совсем противоположной точки зрения: Ригер, например, ставил примирение России и Польши непременным условием политического сближения австрийских славян с Россией; тюремщице Польши чехи стеснялись протянуть руку, как ни нужна казалась им тогда русская помощь. Но у русских нео-славянофилов и сами австрийские славяне были под большим сомнением. Во-первых, большая часть их—и сами чехи в том числе—были католики. Но в наивном миросозерцании русского феодала католик и европеец были синонимы. Только стершие с себя позорное пятно, эти отщепенцы могли быть допущены во всеславянское общение. „Если славяне хотят остаться славянами,—писал И. Аксаков в 1867 году,—и не только остаться славянами, но исхитить свою сла

---

[1]) И. Аксаков. Собрание сочинений, I, стр. 109.
[2]) „Россия и Европа“, стр. 416.

вянскую душу из цепей духовного плена, сковывавших их с судьбами латинского мира,—то на вопрос, предлагаемый им современною историей, они должны дать ответ решительный и неуклончивый, должны отречься от Рима и всех дел его, всенародно и гласно, без сделок и изворотов". „Мы не видим причины, почему, пользуясь свободой вероисповедания, ограж денною конституцией, не могли бы те из славян-католиков, которые разделяют наш образ мыслей, отречься от латинства, присоединиться к православию, воскресить древнее славянское богослужение и воздвигнуть православные храмы и в Праге, и в Берне, и в прочих олатиненных местах". Но уже эта ссылка на конституционные гарантии достаточно свидетельствовала, насколько положение казалось Ив. Аксакову отчаянным: вообще говоря, конституция у славян была таким же клеймом европеизма, как и католицизм. В свое время Аксаков очень сожалел, что эта вещь завелась в Сербии, а впоследствии настойчиво предостерегал болгар: „пусть не заботятся ни о конституциях, ни о европеизме вообще". Чтобы привлечь к себе славян, готовы были прибегнуть к услугам даже окаянного духа времени,—но и тут, Аксаков не мог этого не сознавать, было мало надежды. Чего же было ждать от славян-католиков, когда даже православные сербы, оказывается, гораздо более тяготели к своему австрийскому правительству, нежели к России? „Тяжело в этом сознаваться, но нельзя утаить правду: из австрийских сербов выходит австрийских военных генералов премножество, мучеников народности—ни одного. Австрийские сербы употребляются Австриею на дипломатической службе в Турции, как самые надежные исполнители ее антиславянских политических видов" [1]).

После таких признаний, вовсе не единичных—мы привели одно только для примера—можно было сколько-угодно восклицать, что „над племенным эгоизмом, над индивидуальным народным сознанием каждого славянского племени возобладало значение всеславянства, и сознание это явилось уже не отвлеченною, а живой реальной силой",—как писал Аксаков по поводу съезда славянских литераторов и ученых в Москве в 1867 году [2]). Литература оставалась литературой, а в „живой реальности" славянский вопрос мало-по-малу суживался до пределов балканского вопроса. Только Балканский полуостров, населенный наиболее отсталыми славянскими народностями, представлял еще сколько-нибудь годную почву для новой схватки с „Европой". Правда, и здесь дело обстояло не совсем благопо-

[1]) И. Аксаков, там же, стр. 23,—46, 177—8, 261.

[2]) Ibid., стр. 193.

лучно. О французоманстве черногорского княжеского двора, так огорчавшем вождя русских славянофилов, мы уже упоминали выше [1]). Но и с Сербией было немногим лучше. „Сербия, или, лучше сказать, ее правительство старалось поскорее перенять внешние формы европейской гражданственности и придать себе вид благоустроенного сложившегося государства,— жаловался Аксаков еще в 1862 году [2]).—Прямо от первобытных форм быта, суда и расправы, оно круто перешло к формам и приемам старой европейской администрации, обзавелось бюрократией, „апелляционным“ и „кассационным“ судом, министерствами и всевозможными присутственными местами“. В то время Аксакову еще нравилась сербская „скупштина“, но и она уже начинала напоминать ему „какое-то жалкое европейское представительство“. Словом, европейский яд был и тут. Надежнее представлялось „забитое, забытое“ болгарское племя. Его воспитанием в духе русского панславизма и занимался преимущественно образовавшийся около 1860 года в Москве „Славянский благотворительный комитет“, уже в 1862 году содержавший на своем иждивении 12 молодых болгар, учившихся в России, и снабжавший книгами болгарские школы. Но и здесь сам глава Славянского комитета, Аксаков должен был признаться, что на 12—15 человек болгар, учащихся в Москве, приходится несколько сотен болгар, слушающих лекции в германских и французских университетах. А люди, наблюдавшие „забитое и забытое“ племя вблизи, находили, что болгарская интеллигенция очень напоминает европейскую буржуазию и, что было еще ужаснее, совершенно не сознает ближайшей исторической миссии славянства: изгнать турок из Европы и водрузить православный крест на св. Софии. „Нам одно желательно,—говорил К. Леонтьеву один образованный болгарин, да еще вдобавок духовное лицо,—чтобы султан стал со временем и царь болгарский. Это выгоднее всего для нашей незрелой народности; это лучше всего может предохранить ее не только от греков, но и от поглощения сербами и... от других“. А когда султан стал на сторону болгар в их церковной распре с греками, он сделался прямо популярен среди этой интеллигенции, и болгарские учителя внушали своим питомцам одновременно ненависть к „грецкому патрику“, т.-е. православному патриарху Константинополя, и преданность к „отеческому правительству султана, спасающему болгар от греков“ [3])... Словом, отличие от австрийских славян было только в том, что здесь можно было еще надеяться возвратить заблудших овец на путь истинный,—

[1]) См. гл. I настоящего очерка.
[2]) Ibid., стр. 23.
[3]) К. Леонтьев, „Панславизм и греки“ (написана в 1873 году).

тогда как там, по-настоящему, даже и этой надежды не было. Но инициативу во всяком случае приходилось на себя брать России—русскому народу, как старались уверить себя славянофилы. Трогательно видеть, как Ив. Аксаков старается доказать сам себе, что в славянском деле действительно заинтересован народ, народная масса. Все ему кажется тут знаменательным—и толпа простонародья, окружившая павильон в Сокольниках, где московское общество чествовало обедом членов славянского съезда: хотя не было ничего легче, как собрать в летний день большую толпу в подмосковных Сокольниках, и хотя приезд в Москву персидского шаха собирал ничуть не меньшую толпу. И то, что самый обед был устроен на средства московского купечества, которое „по самому роду своих занятий и по своему общественному положению ближе к народу, чем класс литераторов, чиновников и вообще дворян. Оно исконн причислялось к земщине. Здесь мы уже слышим прибой народной волны, за ним начинается океан народный". Но по поводу того же славянского съезда он проговаривается одной маленькой подробностью, которая лучше поясняет нам, какую публику собирали эти славянские торжества, нежели все фразы о „народном океане". „Стоило прислушаться,—говорит он,—при разъездах из торжественных собраний, которые давались в честь славян, на каком наречии преимущественно объяснялась наша публика. Наблюдатель открыл бы, что вместе с русской речью особенно обильно слышалась речь французская" [1]). Дворянское славянофильство варилось в своем собственном соку, а народное движение в пользу „всеславянского союза" в России так же трудно было вызвать, как и в Болгарии. Оставалось возложить надежды на традиционную силу—государственную власть, в распоряжении которой были дипломатия и штыки. Дипломатия и делала в тиши своих кабинетов дело, которое должен был делать „русский народ": а штыки закончили работу дипломатии.

Исходной точкой для дипломатической кампании 1875—76 годов, приведшей сначала к сербско-турецкой, а потом и к русско-турецкой войне, были события, разыгравшиеся летом 1875 года в Герцеговине и в Боснии. Начавшееся здесь движение имело всего меньше общего с панславизмом,—в особенности с православным панславизмом. Герцеговинское восстание было прежде всего аграрным бунтом крестьян, задавленных невыносимо тяжелыми повинностями по отношению к местным помещикам; некоторую роль играли и налоги, введенные турецким правительством, но второстепенную. Помещики были магометане, но славянского происхождения; крестьяне были по боль-

[1]) Сочинения, I, стр. 151—152 и 164.

шей части христиане, но среди них католиков было больше, чем православных. В соседней Боснии восстанием и руководили католические патеры. Мы видели, что современники подозревали здесь тайное соучастие Германии,—а поддержка Австрии восстанию была почти явной. Австрия же открыла и дипломатический поход. Австрийский министр иностранных дел, гр. Андраши, выступил с проектом обращения к турецкому правительству; обращение должно было заключать в себе три требования: 1) свободы вероисповедания для христиан, 2) прекращения отдачи податей на откуп и 3) выкупа феодальных повинностей, которые и были главной причиной восстания. Турция была очень смущена этим влиятельным заступничеством за ее мятежных подданных. Этим смущением воспользовался русский посол в Константинополе, генерал Игнатьев—„вице-султан“, как в шутку называли его дипломатические его коллеги: официально, „дружба“ России и Турции не прерывалась, и русский посол был самым авторитетным членом дипломатического корпуса в Константинополе. По его совету были изданы султанские „праде“ и „фирман“, которыми удовлетворялись два первых требования Андраши еще раньше, чем они были официально предъявлены. Так как для издания „праде“ и „фирмана“ ничего не требовалось, кроме бумаги, то это было очень легко сделать: не то было с третьим требованием. Для выкупной операции нужны были деньги, а их у Порты не было. А так как для инсургентов феодальные повинности составляли, очевидно, самое главное, то восстание продолжалось. Проект реформ, выработанный гр. Андраши (в окончательной редакции он имел уже пять пунктов—прибавились требования, устанавливавшие, в сущности, фискально-административную автономию восставших областей), был официально предъявлен турецкому правительству и поддержан всеми державами, не исключая и России. Такая солидарность „Европы“ еще более смутила турок. На словах они на все согласились; инсургентам была дарована амнистия и военные действия против них были временно прекращены. Затем, дело окончательного умиротворения взяла на себя Австрия; один из ее генералов должен был уговориться с вождями инсургентов насчет дальнейшего. Но тут выяснилось, что единодушное вмешательство держав имело свое психологическое действие и на восставших: видя уступчивость Турции, они, вполне естественно, сочли себя победителями. В предъявленном ими длинном каталоге требований значилось, между прочим, что мусульманское население Боснии и Герцеговины (составлявшее и там и тут около трети,—притом ислам исповедывали как раз правящие классы) должно быть обезоружено,—что при данной обстановке равнялось превращению христиан в господствующую часть

населения, а магометан—в подчиненную. Это была, в сущности, социальная революция под формою религиозной—и значение ее подчеркивалось первым и основным требованием инсургентов: чтобы треть земель, принадлежавших мусульманам, была передана в руки христиан,—т.-е. отнята у помещиков и передана крестьянам. Все это вполне логично вытекало из аграрного характера восстания, но в то же время все это делало совершенно ясным, что на почве благожелательной опеки со стороны европейских держав вопрос отнюдь не мог получить разрешения. Между тем итти дальше такой опеки эти державы, за исключением Австрии и России, вовсе не собирались. Европейский „концерт" расстроился, и турки в первую минуту очень обрадовались этому, приготовившись возобновить военные действия против повстанцев и помогавшей им Черногории. Но в самый разгар энергичных военных приготовлений Порта неожиданно услыхала от генерала Игнатьева, что дальнейшее продолжение борьбы и, в особенности, нападение на Черногорию „может повести к разрушению Оттоманской империи". Одновременно с этим просьба турецкого правительства—воздействовать на Черногорию в обратном смысле, отсоветовав ей помогать герцеговинцам—была резко отклонена кн. Горчаковым. А на депеше ген. Игнатьева, попрежнему державшегося старой колеи—прямых соглашений с турецким правительством,—против того места, где посол говорил о преданности султана Абдул-Азиса русскому императору, Александр Николаевич написал: „я не нуждаюсь в его дружбе" [1]).

Крутой поворот русской политики долго объясняли у нас давлением общественного мнения, будто бы уже в эту пору властно требовавшего заступничества за единоверных славян, угнетаемых неверными. Удовлетворив это требование, русское правительство—так думали многие—хотело, одновременно, и отвлечь внимание общества от внутренней политики, и помириться с ним возможно дешевой ценой. Что подобного рода соображения на заднем плане присутствовали, в этом едва ли может быть сомнение; но если бы русское правительство, очертя голову, кинулось в балканскую борьбу, не заручившись союзниками, то это была бы не самая дешевая, а самая дорогая плата за „политику отвлечения". В настоящее время не может быть сомнения, что решили дело не эти соображения внутренней политики, а нечто другое. Начало крутого поворота, сделанного русской дипломатией, хронологически совпадает с миссией в Петербурге принца Александра Гессенского, брата императрицы Марии Александровны, игравшего довольно странную

[1]) „Je ne que faire de son amitié". См. Карцев „За кулисами дипломатии". „Рус. Стар." 1908, февраль, стр. 343.

роль—посредника между русскими высокопоставленными славянофилами и лейб-врагом славянства, австрийским правительством. Соглашением этих двух сил, принципиально, казалось бы, столь враждебных, а практически попавших в это время на одну и ту же дорогу, и объясняется, прежде всего, дальнейший ход дипломатической кампании.

Летом 1876 года Александр II сам поехал в Австрию и в Рейхштадте имел свидание с императором Францом-Иосифом. Состоявшееся здесь соглашение подводило итог переговорам, тянувшимся уже довольно давно, и имело в виду—на крайний случай—ни более ни менее, как разрешение той задачи, которая так неотразимо притягивала к себе еще Александра Павловича, а позднее его младшего брата: раздела Турции. Но расстояние—и огромное—между этими разновременными планами достаточно выражалось тем, что теперь уже речи не было о присоединении к России не только Константинополя, но даже и вообще каких бы то ни было задунайских областей. Из обломков турецкой империи в Европе должны были быть образованы несколько самостоятельных государств—по крайней мере, три; часть этих обломков увеличивала собою уже существовавшие балканские государства—Грецию, Сербию и Черногорию. Россия, кроме Бессарабии, получала право на земельное приращение в Азии,—где она могла взять себе Батум. Зато Австрия получала часть Боснии и Герцеговины. Обе договаривающиеся стороны обеспечивали себе каждая свою долю, и на худший случай—если Турция останется существовать в Европе. Невыгоды этого случая несли на себе балканские славяне, которые тогда не увидали бы образования новых независимых славянских государств. Недопущение же образоваться одному большому государству на полуострове,—т.-е. недопущение объединения балканского славянства—было основным условием рейхштадтского соглашения.

Это соглашение наносило славянофильским иллюзиям самый тяжелый удар, какой только себе можно представить. В конце 60-х годов одна мысль о том, что Австрия может заявить притязание на какую бы то ни было славянскую область Балканского полуострова, вызывала у Ив. Аксакова самое воинственное настроение. „При первом движении австрийских войск за Дунай или Саву, русские войска занимают Галицию", писал он в 1868 году. Рейхштадтскую сделку—в особенности то что, касалось уступки австрийцам Боснии—решено было поэтому держать в строжайшем секрете не только от общественного мнения обеих стран [1]), но даже от той части русской дипломатии,

[1]) Она вызвала бы взрыв негодования не только у русских славянофилов, но, по совершенно иным мотивам, и у венгерцев, не допускавших мысли о соглашении с Россией.

которая слишком горячо, или слишком наивно, увлекалась славянофильскими идеями. Благодаря этому, о соглашении с Австрией ничего не знал главный руководитель русской политики на Балканском полуострове — генерал Игнатьев. Его авторитет среди славянских народностей, которые России были крайне нужны в начинавшейся ею игре, мешал его сменить, а на его дисциплинированность, видимо, не особенно надеялись и, кажется, были правы. „Вице-султан", которого турки называли еще иначе („отцом лжи"), был весьма наклонен к политическому интриганству, к тому, что называют „личной политикой" [1]). Он, как и все русское общество, остался в убеждении, что Австрия стоит нам поперек дороги, и соответственно с этим действовал: какая каша из этого получалась, не трудно себе представить. При чем ни ему, ни славянофилам в России не приходило в голову спросить себя, как же это „коварный враг" России и славянства так добродушно пропускает через свою территорию русские пожертвования и русских добровольцев, отправлявшихся на помощь восставшим славянам, а позже провиант для русской армии, действовавшей в Болгарии? По существу дела, соглашение с Австрией было совершенно необходимо, если России не хотела иметь против себя хотя частичное воспроизведение той коалиции, которая обрушилась на нее в 1854 году. Правда, один из членов этой коалиции—в военном отношении самый опасный—был теперь вне строя: Франция, и помимо благодарности лично к Александру II за его вмешательство в 1875 году, была слишком загипнотизирована непосредственной германской опасностью, чтобы сколько-нибудь активно вмешиваться в восточные дела. Зато Англия имела теперь все основания проявить гораздо больше активности, чем это было в дни лондонской конференции 1870—71 гг. Действия русских войск в Средней Азии (особенно хивинская экспедиция 1873 года) самым серьезным образом беспокоили английскую дипломатию, видевшую в них предварительные рекогносцировки на пути в Индию [2]). Россия должна была сделать

---

[1]) По манере деятельности и дипломатическим приемам Н. П. Игнатьев был homme d'action et d'expédients... Он любил прибегать к фортелям и в затруднениях находил новые выходы. Подчиненным редко удавалось сообщить ему новость, которую бы он не знал раньше. С наступлением темноты, к нему пробирались проходимцы, политические интриганы или попросту шпионы... Окруженный льстивыми „братушками" и заискивающими аферистами „русско-подданными", Н. П. Игнатьев, импульсивный по натуре, страсти своей к преувеличению все более давал волю. Члены русской колонии, армяне и греки, доставляли Н. П. Игнатьеву политические сведения; а он, в отплату, их административным и судебным делам оказывал защиту. Бывали случаи, когда по соображениям политическим, иногда по доброте душевной или из желания проявить свое всемогущество, он это покровительство простирал слишком далеко". „Рус. Стар." 1908, январь, стр. 91—92.

[2]) Подробности см. в главе, посвященной русской политике в Средн. Азии.

формальное заявление, что она считает Афганистан вне сферы своего влияния, т.-е. далее на юг не пойдет. Но англичан это плохо успокоило, тем более, что завоевания продолжались: в 1876 году Россия присоединила Кокан. При таких условиях, война на Ближнем Востоке, где Россия была под надзором всей Европы и, как показал уже неоднократный опыт, многого сделать не могла,—такая война являлась для Англии в высшей степени желанной диверсией. Английское правительство энергично поддерживало в Константинополе то прогрессивно-националистическое течение, которое и тогда уже носило название „младо-турецкого“ и стремилось одновременно к европеизации Турции в области политического устройства и к освобождению ее от позорного вмешательства чужих держав в ее внутренние дела. При английском покровительстве представители этого течения среди турецкой администрации пошли так далеко, что решились на дворцовый переворот: султан Абдул-Азис был свергнут (вскоре он был убит) и заменен сначала Мурадом, а затем, когда тот оказался мало подходящим к своей роли,—Абдул-Гамидом. Русскому влиянию этим был нанесен смертельный удар. „Тройственный союз [1]),—писал Игнатьев одному из своих ближайших подчиненных,—как я и предвидел, потерпел полное фиаско. Ради венских изобретений [2]) мы были связаны по рукам и по ногам а, между тем, английский флот явился в Безику [3]), и Англия открыто поддерживает мусульманскую революцию. Флот не имел с нашей стороны соответствующего противовеса. Здесь совершенная анархия, разгул фанатизма в провинциях. Дипломатического действия никакого быть не может, пока не образуется серьезное правительство, и султан не сделается хозяином. Теперь он пленник олигархии пашей“. Но в данный момент Россия и не нуждалась уже в дипломатическом влиянии на Турцию: еще раньше Александр II уже заявлял, что ему с дружбой султана „нечего делать“. России сейчас нужна была война, и если сам император еще колебался, то в Аничковском дворце, где жил наследник престола, Александр Александрович, настроение было совершенно определенное. По славянофильскому трафарету, Турцию представляли себе там умирающей: если славянофильским публицистам, напр., Ив. Аксакову, приходилось говорить об „Османе“, то он всегда представлялся им корчащимся в предсмертных судорогах, покрытым с ног до головы язвами, и т. д. Игнатьев раз-

1) России, Австрии и Германии.

2) Здесь имеется в виду, конечно, не рейхштадтское соглашение, которого в момент написания письма еще и не было, а упоминавшийся выше проект реформ гр. Андраши.

3) Бухта в Эгейском море, близ входа в Дарданеллы.

делял и, своим авторитетом знатока Турции, подкреплял эти иллюзии. То, что турки целый год не могли справиться с герцеговинскими повстанцами, казалось, вполне подтверждало мнение славянофилов, а что турки были в своих действиях связаны по рукам и по ногам европейской дипломатией, конечно, не принималось в соображение. В то же время, националистическое движение в турецких провинциях быстро вырождалось в настоящую черносотенную анархию, напоминавшую погромы христиан в 20-х годах, в дни греческого восстания. Жертвами черносотенных вспышек становились иногда даже европейские дипломаты (как это случилось с французским и германскими консулами в Салониках, в мае 1876 г.), но гораздо чаще страдала христианская „райя". Попытка восстания болгар в Родопских горах была поводом к такой свирепой резне, которая всколыхнула общественное мнение всей Европы и довела воинственное настроение русских славянофилов до крайних пределов. Но, в связи с предвзятым мнением о слабости Турции, это настроение вылилось в своеобразную форму: настоящую войну с этой насквозь прогнившей державой считали, пожалуй, и излишней. С Турцией, казалось, возможно справиться и косвенно—через посредство славянских государств Балканского полуострова, Сербии и Черногории—при некоторой материальной поддержке и руководстве со стороны России. Из этих государств Черногория уже состояла в войне с Турцией; оставалось втянуть в войну Сербию.

Чтобы понять тактику русской дипломатии относительно Сербии, надо иметь в виду, что никакого националистического славянского движения в 1876 году на Балканском полуострове не было. Существовала, правда, революционная националистическая организация („Омладина")—нечто в роде греческой гетерии начала столетия, но она по значению и влиянию далеко не могла равняться с последней. Общеславянского, тем более общехристианского движения уже потому не могло быть, что два главных славянских племени полуострова, болгары и сербы, относились друг к другу временами ничуть не менее остро, нежели к туркам, а греков болгары ненавидели безусловно, более, чем турок. Даже черногорцев, которые всегда были готовы воевать и жили, в сущности, в состоянии хронической войны со своими албанскими соседями, подданными Турецкой империи, приходилось специально заинтересовывать во всеславянском деле. Еще во время переговоров 1875 г. Игнатьев пытался им выхлопотать у султана прирезку территории и гавань на Адриатическом море, что было особенно важно, так как избавляло Черногорию от коммерческой монополии австрийцев. По отношению к Сербии пришлось пустить в ход еще более

энергичные меры воздействия. Русское правительство прямо советовало ей, под рукою, вооружаться „на всякий случай"; соответствующий доклад русского представителя в Белграде удостоился высочайшей отметки в духе категорического одобрения. Инструкции этому представителю фактически давал Аничковский дворец, и в интимных разговорах с ним кн. Горчаков просил его „не забывать, что, если государь против войны,— его сын, наследник престола, стоит во главе движения". На самом деле и Александр II был не „против войны", а против преждевременных, по его мнению, партизанских выступлений— в роде посылки в Сербию генерала Черняева, состоявшего в сношениях с цесаревичем Александром Александровичем через гофмаршала последнего Зиновьева. Но энергичнее всех действовал генерал Игнатьев. Прямой войны России с Турцией он не желал; в возможность для сербов справиться с турками он довольно твердо верил. В результате, он все делал, чтобы вызвать сербско-турецкую войну. По словам одного близко стоявшего к делам высокопоставленного серба, его соотечественники „начали войну 1876 г. только по наущению Игнатьева, уверявшего их, что Россия немедленно двинется на поддержку. Когда было получено официальное заявление государя (Александра II), что он войны не желает, Сербия обратилась к Игнатьеву за разъяснением этого противоречия. Он ответил: „Как же вы хотите, чтобы государь вам прямо высказал свое тайное желание? Разумеется, он этого не может. А я вам повторяю: как только объявите войну,—Россия за вами вслед". В этой уверенности сербы и объявили войну"[1]).

Одновременно с этим самая широкая агитация была развита и внутри России. На массовое истребление болгар турецкими черносотенцами славянский комитет в Москве ответил воззванием, по яркости красок в силе выражений не уступавшим любой революционной прокламации. „Неистовство, зверства, бешенный разгул самых диких страстей, сожигание заживо девиц" и тому подобные эксцессы турецких хулиганов без околичностей инкриминировались всей Турции—этой „азиатской орде, сидящей на развалинах древнего, великого православного царства". Турция объявлялась „чудовищным злом и чудовищной ложью", существующей, конечно, лишь благодаря „совокупным усилиям всей Западной Европы". Несмотря на то, что Россия официально была тогда (в июне 1876 года) с Турцией в мире, комитет открыто предлагал русским людям способствовать вооружению славян, борющихся против турок. Меры,

[1]) См. „Дневник" ген. Газенкампфа, стр. 469—72, разговор с полк. Катаржи, дядей сербской королевы, тогда княгини, Натальи.

принимавшиеся против этой агитации русским правительством, были едва достаточны, чтобы соблюсти минимальные дипломатические приличия. „Хотя министерство внутренних дел и сделало распоряжение о воспрещении земствам уделять в помощь южным славянам земские суммы,—пишет биограф Александра II,—зато сборы в их пользу производились в церквах, по благословению духовного начальства, путем подписки, постановлений чиновников разных ведомств о вычете на обще-славянское дело известного процента из получаемого ими содержания“ [1]). Одно место в одной из речей Аксакова (в заседании славянского комитета 24 октября 1876 г.) хорошо поясняет нам, почему именно „чиновники“ обнаруживали такое усердие к „общественному делу“. „К счастью,—говорит он,—в некоторых губернских городах нашлись настолько просвещенные и причастные всенародному чувству начальники, что они без труда разрешили местным жителям учреждать особые кружки для сбора пожертвований“. Словом, были приняты все меры к тому, чтобы дать картину широкого общественного движения, увлекающего за собою и правительство как бы против его воли. Одновременно славянский комитет энергично вел и военно-финансовую сторону дела. Через его кассы прошло более полутора миллиона рублей на нужды балканского восстания, не считая сумм, отправленных под его влиянием непосредственно в Черногорию, Герцеговину и Сербию [2]). Официально, все эти деньги имели „благотворительное“ назначение,—должны были итти в пользу пострадавших от турецких зверств, раненых и т. п. Но как мало этим стеснялись даже официально, показывает, напр., такая графа в отчете славянского комитета: „устройство военно-походного телеграфа в Сербии—9.007 р. 18 коп.“ Аксаков не хвастал, когда говорил, в той же речи, что „общество,—„точнее, сам народ“, спешил он оговориться, еще точнее следовало бы сказать: „славянский комитет“,—„вело войну“ с Турцией. Он только не прав был, когда утверждал, что это делалось „без всякой помощи государственной организации“. Косвенная помощь, помимо всего указанного выше, была хотя бы уже в том, что правительство не мешало открытому существованию в Москве, при комитете, форменного вербовочного бюро, для набора добровольцев в сербскую армию. Но людей русское общество дало, относительно, гораздо меньше, чем денег. Через славянский комитет было завербовано 1176 человек, а всего русских добровольцев в Сербии, по самым оптимистическим расчетам, считали до 6 тысяч. Это была капля в море против стотысяч-

[1]) Татищев, „Александр II“.

[2]) Напр., одно петербургское кредитное общество переслало ген. Черняеву 100 тыс. рублей.

ной турецкой армии. Шли преимущественно отставные военные, офицеры и солдаты, нередко помнившие еще Севастополь. Немало было бродячего люда, искавшего просто даровых хлебов: среди этой части находились и такие, которые в пьяном виде расстреливали самих же „братьев славян“, как об этом с горечью рассказывал сам ген. Черняев. Но шла и зеленая молодежь, сбитая с толку шумихой фраз об „освобождении угнетенных“ и о „всеславянском деле“. Эти возвращались из Сербии, по большей части, горько разочарованными.

В этом разочаровании всего меньше повинны были сами сербы. В Сербии и следа не было даже того, на три четверти искусственного, одушевления, какое можно было наблюдать в России. Сербский крестьянин, мирный скотовод и земледелец, и не думал о том, что его где-то считают „юнаком“, только и мечтающим о том, чтобы сложить голову в бою с неверными. Между тем сербская армия почти сплошь состояла из таких крестьян, взятых прямо от сохи и совершенно необученных, ибо в Сербии постоянной армии не было, существовала милиционная система в самом зачаточном виде. Турецкие регулярные войска во всех отношениях превосходили эту нестройную толпу и только полной неподготовленностью турок, по обыкновению очень медленно раскачивавшихся, объясняются первые успехи, вскружившие голову ген. Черняеву и его кружку. Как только турецкому правительству удалось сосредоточить на театре войны достаточные силы, Черняеву очень быстро пришлось перейти от наступления к обороне, а скоро он оказался не в силах даже и обороняться. 17 октября 1876 г. сербская армия была на-голову разбита под Дьюнишем, и дорога на Белград была открыта перед турками. Сам Черняев должен был признать, что дальше вести войну невозможно. Попытка справиться с „умирающим Османом“ руками самих балканских славян терпела полную неудачу.

Логическим выводом из этой неудачи было бы непосредственное вмешательство самой России в войну,—на что, как мы видели, и рассчитывало сербское правительство. Но неожиданно обнаружившаяся сила „умирающей“ Турции сильно обескуражила дипломатию Аничковского дворца. Недавно надеявшаяся, что достаточно будет посылки в Сербию нескольких тысяч русских добровольцев, она скептически относилась теперь даже к возможности поправить дело путем отправки туда двух русских дивизий, на чем очень настаивал князь Милан [1]). Последствия показали, что это был очень здоровый скептицизм: для того, чтобы справиться с Турцией, оказалось мало даже шести

[1]) Не добившись этого, он поспешил заключить мир с Турцией.

армейских корпусов, а не только двух дивизий. Но в первую минуту положение было весьма неловкое. На требование русского правительства заключить перемирие с Сербией на шесть недель, Порта, правда, тотчас же ответила согласием: она тоже еще не чувствовала себя готовой к войне с Россией. Но являлся вопрос, что же делать дальше? Шаг, на который решился Александр Николаевич непосредственно после известия о дьюнишской катастрофе, показывает, каким затруднительным казалось ему положение России: он обратился к посредничеству Англии, предложив ей созыв обще-европейской конференции по балканским делам. Тон, которым говорил император с английским послом по этому поводу, поражал своей трезвостью после фанфаронад славянского комитета и даже после официальных заявлений русской дипломатии в предшествующие месяцы. Александр II уверял своего собеседника, что „пока еще нет и речи о признании Румынии и Сербии независимыми королевствами", а что провозглашение королем Милана произошло без ведома России. Что русское правительство, далекое от того, чтобы поощрять „лихорадочное возбуждение" в России, на которое жаловался английский посол, наоборот, стремилось, будто бы, „пустить в него струю холодной воды", и что теперь, впрочем, возбуждение уже утихает. В особенности император старался отклонить от себя подозрение в каких бы то ни было завоевательных замыслах. „России приписывают намерение,—сказал он,—покорить в будущем Индию и завладеть Константинополем. Есть ли что нелепее этих предположений? Первое из них совершенно неосуществимо, а что касается до второго, то я снова подтверждаю самым торжественным образом, что не имею ни этого желания, ни этого намерения". В том, что он не намерен брать Константинополь, Александр Николаевич поручился даже своим честным словом.

Для Англии и руководимой ею Турции ничего не могло быть приятнее предложения русского императора, прежде всего потому уже, что последняя получала отсрочку в несколько месяцев на окончание своих вооружений. Конференция собралась в Константинополе 11 декабря и, по обычаю всех подобных совещаний, выработала программу реформ, которые должна была провести Турция в христианских областях Балканского полуострова. Программа шла несколько дальше требований, предъявленных Андраши в 1875 году: именно, административная автономия, которая там глухо подразумевалась, здесь была поставлена совершенно определенно. Отдельные области получали выборные областные собрания, и губернаторы их должны были назначаться с согласия великих держав. Но Турция не стала даже входить в подробное обсуждение того, что ей предлагалось:

турецкие уполномоченные на конференции ответили, что так как Оттоманская империя теперь есть держава конституционная (конституция была провозглашена в Турции 23 декабря 1876 г.), то все подданные султана, без различия исповеданий, пользуются одинаковыми правами и гарантиями. Младо-турецкое движение на минуту решительно взяло верх, и торжество его не могло означать ничего иного, кроме войны с Россией, против которой оно было направлено обеими своими сторонами, и поскольку младотурки были националистами, и поскольку они были западниками. Конференция разошлась 8 января 1877 г., ничего не достигнув. России оставалось на выбор—воевать или отступить и тем, конечно, потерять всякий кредит в глазах балканских славян. Александр II и теперь еще колебался. Повидимому, на него чрезвычайно сильно подействовали заявления министра финансов Рейтерна—на совещании в Ливадии осенью 1876 года, когда впервые вопрос о войне был поставлен деловым образом: Рейтерн доказывал, что война была бы финансовой нелепостью и должна привести к государственному банкротству. На одной депеше русского посла в Берлине, где говорилось, что война „могла бы помешать преуспеянию России, приостановить преобразования в ней, нанести удар ее богатству, ее развитию", император написал: „это-то и заставляет меня ее бояться". Но влиянию наследника, вероятно, удалось бы рассеять это опасение Александра Николаевича: было другое обстоятельство, удерживавшее не только императора, но и „партию действия" в Аничковском дворце. Для Австрии не прошла незамеченной перемена настроения, обнаруженная русским правительством после Дьюнина, и она ее немедленно учла: теперь она требовала гораздо более высокой платы за свое содействие и ставила несравненно более тягостные условия. Ей нужно было отдать теперь всю Боснию и всю Герцеговину, и при этом еще обязаться не распространять театра военных действий на соседние с Австрией области, т.-е. отказаться от непосредственного содействия Сербии и Черногории. Минутами венский кабинет делал даже вид, что он вообще удивляется намерению России вести войну на Балканском полуострове,—так как рейхштадтское соглашение предусматривало, будто бы, только военные действия в Азиатской Турции. Наоборот, о военном содействии России со стороны Австрии (в форме, напр., одновременного вступления русских войск в Болгарию, а австрийских в Боснию), на что у нас надеялись довольно твердо, теперь не было и речи. Переговоры принимали временами такой характер, что однажды у кн. Горчакова вырвалась фраза: „Австрия смешивает, повидимому, дружественный нейтралитет с враждебным". Попытка вызвать посредничество Германии ни к чему

не привела: Бисмарк, который мог теперь с большим удовольствием созерцать плоды своей политики, заявил, что на поддержку „прусских батальонов“ в восточном вопросе Россия отнюдь не должна рассчитывать. Россия, таким образом, была выдана головою „коварному врагу“ славянства... Пришлось согласиться на все требования австрийцев: 3 января 1877 г. была заключена русско-австрийская конвенция на условиях, предложенных Австрией. Нет ничего мудреного, что и после этого Александр Николаевич предпринял еще попытку добиться мирного исхода дела. Игнатьев, который по своей должности являлся козлом отпущения за все русские неудачи на Ближнем Востоке, отправился в круговую поездку по европейским дворам, хлопоча о вторичном вмешательстве держав в балканский кризис. Державы не отказались подписать еще один протокол, который имел судьбу всех предшествующих. Тем временем, часть русской армии была мобилизована уже с осени 1876 года и понемногу стянута в Бессарабию. Один из младших братьев императора, великий князь Николай Николаевич, назначенный главнокомандующим, уже с ноября жил в Кишиневе, где была главная квартира действующей армии. Содержание нескольких сот тысяч человек на военной ноге в финансовом отношении почти стоило войны. Конвенция 3 января как-никак, все же обеспечивала тыл и фланги русской армии,—от повторения печального опыта дунайской кампании 1854 года она была несколько застрахована. Неудача миссии Игнатьева решила дело: 12 апреля 1877 года Александр II, лично прибывши в Кишинев, подписал там манифест, возвещавший его подданным, что русским войскам приказано вступить в пределы Турции.

3. Война 1877—78 гг.

В воспоминаниях участников русско-турецкой войны поражает одна характерная черта: они никак не могли отделаться от призрака севастопольской кампании, докучливо возвращавшегося при каждом удобном случае. Идет ли между чинами императорской свиты речь о разных непорядках в армии—„крымская война нас недостаточно выучила“, прибавляет большинство рассказчиков. Жалуются ли на медленность сообщений,—„в прошлую крымскую войну безобразия до такого размера не доходили“. Одолевал ли припадок пессимизма самого императора,—он начинал говорить, „что опасается умереть во время этой войны, как умер император Николай I“, и делал, по этому случаю, „разные сопоставления и сближения“.

Эта навязчивая идея имела под собою более глубокое основание, чем могло казаться самим собеседникам. Параллели с

крымской войной оправдывались не только тем, что в кампании 1877 года не редкостью были моменты, способные воскресить унылое настроение Меньшикова после Инкермана: и даже не только тем, что сама война была воскрешением тех же планов, которые привели в свое время Николая Павловича к Севастополю. Благодаря войне 1877 года, на одном ярком примере лишний раз вскрылась та истина, с различными проявлениями которой мы уже неоднократно встречались на этих страницах,— что Россия семидесятых годов вовсе не так сильно отличалась от николаевской России, как это можно было думать, судя по „великим реформам". Тип общественных отношений остался тот же, а так как армия есть часть общества, то и армия, с которою Александр Николаевич шел „освобождать славян", не так уже сильно отличалась от армии, с которою его отец начинал крымскую кампанию.

„Реформы" и здесь были, повидимому, огромны. Во главе военного ведомства в продолжение почти всего царствования Александра II стоял один из образованнейших генералов русской армии, родной брат Николая Милютина,—Д. А. Милютин. Отчасти по его почину, а отчасти еще и ранее, был употреблен целый ряд усилий, чтобы сделать русские войска вполне «европейскими», вполне способными защищать честь и достоинство своей страны в борьбе с любой западной державой. Европеизация русской армии началась, как это часто у нас бывало, с покроя одежды: уже вскоре после Севастополя русский солдат получил новый мундир европейского образца, с сохранением только традиционного темнозеленого цвета, и легкое французское «кепи» сменило тяжелую каску николаевского времени. Потом пошли более серьезные преобразования. Уже ко времени польского восстания 1863 года почти вся русская пехота была перевооружена нарезным ружьем. Нарезная артиллерия была усвоена тотчас же, как только она появилась на Западе: в том же 1863 году в Польше действовало уже несколько нарезных батарей, в то время как большая часть батарей прусской, например, армии, стоявшей накануне своих блестящих успехов 1866 года, имела еще старые, гладкостенные орудия. После австро-прусской войны 1866 года у нас немедленно вводятся заряжающиеся с казны ружья и пушки. Далее, организация армии принимает также европейский вид; прежняя николаевская рекрутчина сначала ослабляется путем сокращения срока службы с 25 до 15 лет, при чем еще большая часть солдат увольнялась в бессрочный отпуск ранее и этого времени, а в 1874 году вводится, по прусскому образцу, и всеобщая воинская повинность, с шестилетним сроком действительной службы. При укоренившейся привычке публики

все «реформы» рассматривать под однообразным углом зрения, у нас и во всеобщей воинской повинности многие не прочь были видеть некоторый «высший смысл»; но само военное начальство не скрывало в своей мотивировке этого преобразования, что оно преследовало гораздо более прозаическую цель— по возможности увеличить количество обученных людей, которые могли бы быть призваны под знамена в случае войны, при возможном, в то же время, уменьшении наличного состава постоянной армии. Параллельно с этим сокращением срока службы ослабляется и ее тяжесть: телесные наказания, так процветавшие в николаевской армии, были, по крайней мере юридически, сведены до минимума еще в 1863 году. Ручная расправа и после этого, конечно, сохранилась: кроме художественного свидетельства Гаршина существование ее еще и в гораздо более позднее время официально засвидетельствовано известным приказом Драгомирова, начинавшимся словами: „В некоторых частях дерутся". Но русский солдат мог себя утешить тем, что его бьют теперь не по закону, а по обычаю. Кроме того, военное начальство принимало и косвенные меры к прекращению этого явления, путем поднятия нравственного и умственного уровня офицерства. Военная бурса кадетских корпусов, где все воспитание держалось на розге, а центром обучения была фронтовая выправка, была упразднена: вместо корпусов появились военные гимназии, с довольно широкой общеобразовательной программой, и где вовсе не учили фронту, а телесные наказания отсутствовали. Кроме того, институт „вольноопределяющихся", созданный всеобщей воинской повинностью, давал надежду, что ряды офицерства все более и более будут пополняться образованными молодыми людьми из „общества", чем кастовый дух военного сословия, со всеми его отрицательными сторонами, сам собою будет все более и более ослабляться. Наконец, чтобы поднять уровень специально военного образования, прохождение высшей военной школы сделано было непременным условием дальнейшей карьеры: командиром „отдельной части" мог быть назначен только офицер, окончивший курс одной из военных академий—своего рода военного университета. Чем, казалось, навсегда устранялась возможность существования полуграмотных генералов и полковников, столь изобильных в николаевской армии.

Все это, начиная от „кепи" и кончая образованным офицерством, придавало армии, действительно, довольно европейскую наружность, приятно поражавшую европейских наблюдателей при первом их соприкосновении с русскими войсками. Корреспондент „Times'a", впервые увидав в Румынии русскую кавалерию, готов был признать ее „лучшей кавалерией в Ев-

ропе", а он был свидетелем франко-прусской войны. Но именно кавалерия и дает нам первый случай вскрыть то, к сожалению, мало-европейское содержание, которое скрывалось под этой блестящей внешностью. Лошади русской конницы имели, действительно, очень эффектный вид, но для достижения этой цели нужно было или очень хорошо кормить лошадь, или заставлять ее по возможности меньше работать. Стремление „не потерять обычных сбережений от цен фуража" побуждало наших полковых командиров итти последним путем: „сбережение лошади посредством покоя, ей предоставленного, стояло иногда на первом плане",—констатирует официальное „Описание русско-турецкой войны 1877—78 гг.". „Неизбежные упражнения клонились вообще более в сторону удовлетворения смотровым, т.-е. парадным требованиям". Итак, на лошадях ездили ровно настолько, чтобы обучить их и самим обучиться парадным аллюрам, остальное время они стояли в конюшне. Это не могло, конечно, не отразиться и на привычке к езде и выносливости всадников. После больших кавалерийских маневров 1876 года официальный отчет должен был признать, что эта последняя стояла у русской кавалерии необычайно низко, в особенности у офицеров. „Ослабление нервов и вообще утомление проявлялись у последних до того, что многие из них бессознательно подчинялись разного рода галлюцинациям; другие дошли до того, что не могли делать какие бы то ни было обыденные распоряжения; и без преувеличения можно думать, что в действительности летучий отряд в 600 коней по окончании 120-верстного пробега был бы не в состоянии оказать какое-нибудь противодействие в случае нападения даже слабого противника; в особенности невыносливыми оказались регулярные офицеры" [1]). В итоге, кавалерия оказывалась совершенно неспособной нести главную свою работу в современной армии—производить разведки, благодаря чему все нападения турок „всегда являлись для нас неожиданностью", как горько жалуется один из участников кампании 1877—78 гг. Но немного лучше обстояло дело и с артиллерией, своим внешним видом напомнившей тому же английскому корреспонденту прусские батареи, разгромившие некогда парижские форты. Прежде всего, как ни быстро копировали мы заграничные образцы, материальная часть русской артиллерии в 1877 году оказывалась уже устарелой: у нас в полевой артиллерии были только медные пушки, тогда как у турок были стальные, допускавшие более сильный заряд, сообщавший, в свою очередь, более высокую начальную скорость снаряду: благодаря чему турецкие пушки (изготовленные

[1]) „Описание", т. I, стр. 180—182.

на заводах Круппа) били дальше и метче русских. Причиной была, повидимому, отчасти экономия,—стальные орудия стоили дороже медных,—отчасти слепое поклонение однажды усвоенному иностранному образцу: у пруссаков до 1870 года пушки были тоже медные, а пруссаки опять приобрели себе репутацию первой армии в мире. Но в 1870 году у противника прусской армии артиллерия была еще хуже. А затем опять-таки не так важны были орудия, как те, кто из них стрелял или учил стрелять: в числе причин отсталости нашей артиллерии в 1877 году то же „Описание" отмечает и „рутину строевого командного состава, воспитанного на принципах употребления гладкостенных пушек и недоверчиво относившегося к новым методам стрельбы". Оттого, вероятно, „упражнений в тактике огня", т.-е. учений в обстановке, по возможности, близкой к боевой, „тогда не существовало" [1]). Зато было введено одно изобретение, преследовавшее оригинальную цель—заставить нарезную пушку действовать наподобие гладкостенной. Последняя стреляла круглым („сферическим") ядром, имевшим, по мнению наших старых артиллеристов, одно драгоценное свойство,—оно могло рикошетировать, к чему продолговатые снаряды нарезных орудий были совершенно неспособны. И вот, чтобы восстановить рикошет, придумали особый снаряд (он назывался „шарохой"), соединявший коническую гранату со сферическим ядром: по разрыве первой, последнее и должно было делать рикошеты. Едва ли нужно говорить, что это „истинно-русское" изобретение постигла на поле битвы такая же плачевная участь, какая впоследствии досталась на долю другого, подобного же—полевой мортиры. Непригодность „шарохи" сознали, впрочем, еще до войны и стали ее отбирать, но не успели докончить этой операции, так что многие батареи пошли в поход с нею.

Но кульминационального пункта возрождение старой, николаевской традиции достигло не здесь: ее торжеством была тактика главного рода оружия,—пехоты. Уже неоднократно цитировавшееся нами официальное „Описание русско-турецкой войны" в одном мало заметном подстрочном примечании вскрывает необыкновенно любопытный факт: „последние до войны правила учения пехоты с артиллерией изданы были в 1857 году, то-есть до введения нарезных орудий; далее, войска пошли на новую войну 1877—78 годов с „Полевым уставом", изданным еще до крымской войны, а также без общеобязательной боевой инструкции" [2]). Автор отмечает рядом с этим, что „правила о

[1]) Ibid., стр. 190 и 194.
[2]) Ibid., 143, примеч.

смотрах и парадах" зато были очень свежие: последнее издание их относилось к 1872 году, и с тех пор они постоянно пополнялись и развивались; это, конечно, очень характерно. Но еще характернее, что новое вооружение пехоты ее начальство, видимо, рассматривало, как своего рода грехопадение,—как в высшей степени обидную для чести русского национального оружия уступку „дуре-пуле" того, что по праву принадлежало „штыку-молодцу". Стрельбу из нового нарезного и казнозарядного оружия по возможности старались приблизить к тому идеалу, который представляло собою старое гладкостенное, с дула заряжавшееся, ружье. „Господствовавшие в войсковых сферах и русской военной литературе идеи не были благоприятны использованию отличительных качеств нового оружия: дальнобойности и скорострельности". В распоряжении русской армии уже находился тогда самый совершенный тип ручного оружия, какой только существовал вообще в то время (до принятия магазинок),—винтовка Бердана. Но перевооружение ею пехоты, в принципе решенное еще в 1872 году, двигалось крайне медленно,—и „Описание" дает этому вполне определенную причину: „предложение о перевооружении,—говорит оно,—было отклонено многими войсковыми начальниками" [1]). И в самом деле, как должны были отнестись эти „начальники" к самому дальнобойному и скорострельному ружью своего времени, когда гораздо более примитивная „Крынка" (в сущности, „штуцер" 50-х годов, приспособленный после 1866 года для заряжания с казенной части) внушала уже им сильнейшие опасения? „Крынка" [2]) могла бить на 2.000 шагов, но ее предусмотрительно снабдили прицелом только на 600, чтобы отнять у солдата искушение стрелять так далеко. „Нормальным" же расстоянием признавалось 300 шагов—как-раз пределы досягаемости гладкоствольного ружья доброго старого времени: из сомкнутого строя дальше стрелять отнюдь не полагалось. Стрелкам в этом случае разрешались некоторые вольности—у них был прицел на 1.200 шагов. Но зато „боевые стрелковые цепи не считались серьезной боевой силой, а скорее—прибавкой к сомкнутому фронту; рассчитывалось, главным образом, на огонь залпами из сомкнутого фронта и штыковой его удар" [3]): главным оружием пехоты в 1877 году, как и в 1853-м, оставалось по прежнему холодное. Оно нашло своего философа в лице очень известного генерала Драгомирова. „Огнестрельное оружие,—писал он,—отвечает самосохранению; холодное—самоотверженню"... „Представитель самоотвержения есть штык, и

1) Ibid., стр. 123, примеч.
2) Она так называлась по фамилии «приспособителя» чеха Крынка.
3) «Описание», I, стр. 174, курс. наш.

только он один" [1]). Отсюда, учить солдата стрелять далеко и быстро значило его морально портить и губить. И главный комитет по устройству и образованию войск совершенно последовательно не только хлопотал об укорочении досягаемости нового ружья, но и отнесся отрицательно к проекту „ввести в какой-либо вид боевого огня учащенную пальбу" [2]). С этой стороны, плохое устройство ружья Крынка, из которого часто трудно было извлечь выстреленный патрон, являлось его несомненным преимуществом: оно иногда вместо нормальных 10 выстрелов в минуту давало всего 2—3. Это было немногим „хуже" старой гладкоствольки.

Всем вышесказанным достаточно изобличается недоразумение, в которое впала в свое время публика,—отчасти держащееся доселе: будто турецкое ружье 1877 года было гораздо лучше русского. На самом деле, турки имели те же два типа ружья, что и мы: более совершенный, соответствовавший нашей «берданке», хотя и хуже ее, — ружье Генри-Мартини, и более отсталый—современник нашей «Крынки», винтовку Снайдера. Вторым было вооружено несколько более 50% турецкой пехоты. Но у обоих турецких типов прицел был нормальный, т.-е. они не были сознательно испорчены, и турецких солдат учили стрелять на такую дистанцию, на какой только их ружья могли достать неприятеля. Вполне естественно, что в бою наши войска несли огромные потери от турецкого огня на таком расстоянии, на котором наш огонь был для турок совершенно безвреден. В довершение несчастья, первое же крупное дело в кампанию 1877 года, — переправа через Дунай 15 июня—как-будто подтвердило тактику ген. Драгомирова, руководившего этой операцией. Перед этим боем солдатам всячески внушали «беречь патроны», и после боя особенно демонстративного одобрения удостоились те, у кого патронные сумки оказались полными или почти полными. Что турок было здесь впятеро менее, чем русских, и что они притом были застигнуты врасплох,—этого, конечно, никто не захотел принять во внимание. Под Плевной 8 и 18 июля и 30 августа действовали по тому же принципу, и результатом был полный разгром.

Как видим, образованность отдельных исполнителей нисколько не мешала господству реакционных тенденций в военном деле: Драгомиров, профессор военной академии и талантливый писатель, конечно, не «по невежеству» придерживался своей философии штыка. Известные общественные условия с непреодолимой силой определяли известную тактику, как и со-

---

[1]) Из письма Д., к одному германскому генералу. «Рус. Стар.» 1908, март.
[2]) «Описание», ib., стр. 165.

ответствующую организацию центрального или местного управления. Но нужно сказать, что философия штыка и не требовала в среднем от массы исполнителей особенно высокого умственного уровня. Военные гимназии, а тем более военные академии, были тут, пожалуй, излишней роскошью: и высшие командные места в 1877 году занимали, по большей части, или бывшие николаевские офицеры, дослужившиеся до генеральских чинов, или питомцы привилегированного учебного заведения, которое во всё эпохи и царствования оставалось верным себе, — Пажеского корпуса. «Одно время,—писал из Болгарии доктор Боткин, насмотревшись на свиту Александра II,—судя по программе и предметам, которые там проходятся, я был недурного мнения об этом заведении, но теперь, познакомившись поближе с этими своего рода семинаристами, я поражаюсь недостатком развития; ведь, есть между ними и неглупые, и даже такие, которые помнят все то, чему их учили, но к жизни это не прилагается, остается каким-то совершенно побочным, ненужным матерпалом в голове; живут они по катехизису, составленному частью их няньками, частью наемными гувернерами, отчасти их дедами». Но тут, конечно, дело было не в учебном заведении, напротив, оно приспособлялось к общему тону. «Вглядываясь в наших военных, особенно старших,—пишет тот же доктор Боткин в другом месте,—так редко встречаешь человека с специальными сведениями, любящего свое постоянное дело; большая часть из них знакомы лишь с внешней стороной своего дела — проскакать бойко верхом, скомандовать: «направо, налево» да и баста! Много ли из них таких, которые следят за своей наукой, изучают свое дело? Военный человек в известном чине — это у них есть самое приятное, свободное положение человека, дающее ему право заниматься всем, чем хочет. Наиболее порядочные из них отлично занимаются своим собственным делом, устраивают именья, читают газеты, литературные произведения, посещают театры и пр., удовлетворяясь по военной специальности только тем, что приобрели в школе» [1]).

Исход русско-турецкой войны был заранее предрешен соотношением сил обеих сторон. В то время, как турки, при крайнем напряжении, смогли мобилизировать к началу кампании только 494.000 человек, на добрую треть почти необученных, Россия, начиная войну, располагала 1.474.000 вполне обученных солдат. Единственный союзник, на которого Турция могла рассчитывать, Англия, на сухом пути был крайне слаб; Австрия же, которую в публике считали другим союзником турок, на самом деле, как мы знаем, в силу секретной конвенции 3 ян-

[1]) Письма С. П. Боткина из Болгарии. 1877 г., стр. 316 и 138.

варя 1877 года, была союзницей России, хотя и на весьма тяжелых для последней условиях. России война только угрожала еще государственным банкротством, по словам ее министра финансов. Для Турции же частичное банкротство было совершившимся фактом: уже с 1876 года она платила лишь часть процентов по государственным долгам, причисляя остальное к капиталу. Словом, можно было сомневаться,—и некоторые сомневались с самого начала,—дадут ли России воспользоваться плодами ее победы, но в непосредственном успехе на поле битвы сомневаться не приходилось. Вопрос был только в том, чего этот успех будет стоить.

В публике было очень распространено убеждение, что русские военные сферы отнеслись к этому вопросу очень легкомысленно. На поход к Константинополю смотрели, будто бы, как на увеселительную прогулку. Турок, как противника, не ставили ни во что—и поэтому назначили для похода в Болгарию несоответственно малые силы. Главным виновником здесь общественное мнение считало Игнатьева, вводившего систематически военные власти в заблуждение насчет количества и качества турецких войск. Что Игнатьев был большим оптимистом в вопросе о борьбе с турками,—это не подлежит сомнению. Но к весне 1877 года для знакомства с тем, что представляла собою турецкая армия, не было уже никакой надобности в игнатьевских донесениях. Целый ряд русских офицеров, преимущественно гвардейцев, из кружков, близких к Аничковскому дворцу, имели случай непосредственно наблюдать эту армию, участвуя в качестве добровольцев в сербско-турецкой войне. Они весьма наглядно могли убедиться, что у турок солдат достаточно, и что эти солдаты вовсе не так уже плохи. Если в первоначальном плане кампании, составленном в первой половине осени 1876 года, и можно найти, действительно, довольно много легкомыслия, то в окончательном проекте этого плана, представленном Милютиным императору в марте 1877 года, дело ставилось вполне серьезно, и расчет турецких сил был весьма близок к действительности. По первому из этих проектов,—оба они составлены одним и тем же лицом, генералом Обручевым, о котором будет еще речь дальше,—русские войска должны были „перейти Дунай, так-сказать, мгновенно, затем разом очутиться за Балканами“ и остановиться не ранее Адрианополя, при чем для всего этого признавалось достаточным 5 пехотных и 2 кавалерийских дивизий с некоторым количеством казаков, т.-е. всего 60—70 тысяч человек. Но это было написано до Дьюниша, когда сербские войска еще стояли в поле и оттягивали на себя большую половину турецких сил, находившихся на Балканском полуострове. Затем, турецкая мо-

билизация к этому времени далеко не была еще закончена, вернее, только-что начиналась. Полгода спустя, тот же автор уже находил, что „для решительного ведения войны на европейско-турецком театре“ необходимо до 300 тысяч человек: силы, которые позже, к осени, действительно и пришлось там сосредоточить. Силы противника при этом он определяет на том же театре, приблизительно, в 160.000 чел.; в действительности турки имели в восточной части полуострова, между Дунаем и Константинополем, 189.000; ошибка была, как видим, не очень велика. Словом, вступая в Болгарию, русское военное начальство видело,—во всяком случае, могло видеть—обстановку перед собой довольно отчетливо. Скорей его можно обвинить в том, что оно преувеличивало трудности похода, чем в том, что оно их уменьшало. Мечтая о „всеславянском союзе“, у нас не очень заботились изучить географию тех стран, которые должны были в него входить. Главным пособием нашего штаба оказались, поэтому, две австрийские карты: одна—составленная известным путешественником Каницом, другая—официальная. Обе эти карты „оказались впоследствии далеко не полными, особенно в части средней Болгарии, занятой русскими войсками вскоре после переправы через Дунай у Систова“ [1]). Плохо зная театр войны, мы сочиняли себе воображаемые трудности и, готовясь их преодолеть, затрудняли себе работу уже вполне реально. Так, у нас придавали очень большое значение, как оборонительным линиям, Дунаю и Балканам: оттого „переход через Дунай“, „переход через Балканы“ и встречались русскою публикой с таким энтузиазмом. На самом деле, линия Дуная, как в этом достаточно убеждала история всех русско-турецких войн, начиная со времен Екатерины II, никогда не представляла для наступающей с севера армии серьезного препятствия, а на этот раз турки даже и не собирались держаться на ней. Согласно выработанному ими операционному плану, решительное столкновение с русскими войсками должно было произойти уже по ту сторону Дуная, в Болгарии. Большее значение турецкие стратеги придавали линии Балкан, но в этом случае они ошибались—и должны были убедиться в своей ошибке очень скоро: линия Балкан была прорвана русскими, в июле 1877 года, еще легче, чем линия Дуная. Этого и нужно было ожидать при хорошем знании местности: Балканские горы, крутые и отвесные с юга, с севера поднимаются довольно отлогими террасами и, сравнительно, легко доступны, особенно среди лета; к тому же в Балканском хребте „не было почти ни одного перевала, по побочным тропинкам которого

[1]) „Описание, etc“ I, стр. 26.

пехота не могла бы пробраться в тыл обороняющегося“ [1]). Но еще больше затруднений создал себе русский штаб организацией продовольствия армии. Предполагалось, что угнетаемая турками Болгария разорена и опустошена до последней степени, так что и само население в ней еле может просуществовать, не говоря уже о двухстах тысячах русских солдат. Поэтому за русской армией следовал огромный и в высшей степени тяжелый обоз, который в бездорожной стране был настоящим проклятием для войск, и был заключен целый ряд весьма убыточных контрактов с разными поставщиками. А „на самом деле, средняя Болгария, не говоря уже о Забалканье, оказалась страною настолько богатою хлебом и скотом, что при правильной организации довольствие армии могло бы быть обеспечено одними местными средствами“ [2]). Комическое изумление русских людей, которые ожидали видеть в Болгарии ободранных турками до костей несчастных нищих,—и встречали крестьян много более сытых и зажиточных, чем их освободители,—красною чертою проходит через все мемуары об этой кампании [3]).

В ближайшей связи с этим разочарованием стояло другое,—серьезнее отразившееся на чисто военной стороне похода. Если теперь даже и в славянофильских кружках не верили уже в возможность справиться с турками руками одних балканских славян, то все же надеялись на их помощь и были убеждены, что вступление русских войск в Болгарию будет сигналом для поголовного восстания угнетенного славянского населения. В чаянии этого, уже заранее, еще в Румынии, были сформированы кадры будущей болгарской армии. Но „расчет на активное соучастие болгар совершенно не оправдался“, писал в своем дневнике один из участников кампании в середине июля, через месяц приблизительно после вступления русских войск в Болгарию. „В высших сферах были убеждены, что добровольцы повалят массами отовсюду: только поспевай формировать новые дружины. Между тем, даже на пополнение шести существующих не поступило из болгар, до сих пор, ни одного человека“ [4]). В болгарских городах главную квартиру встречали молебствиями, приветственными речами и цветами, но дальше этого усердие к делу освобождения славянства не шло. В деревнях крестьянство держалось и совсем угрюмо и неприветливо, вызывая у наших солдат, и даже не у одних солдат, упреки в черствости и неблагодарности, едва ли осно-

[1]) „Описание, etc.“, I, стр. 20.
[2]) Ibid., 24.
[3]) См., напр., Боткин, стр. 79 и 90; Газен . стр. 50—51.
[4]) „Дневник“ Газенкампфа, стр. 61.

вательные, так как эти мирные люди и не думали звать к себе русские войска. Как бы то ни было, тот факт, что народное восстание между задунайскими славянами и не думало начинаться, и болгарская армия оказалась мифом, самым серьезным образом ослабляли силы русской армии, и без того, из-за финансовых соображений, рассчитанные по самому минимальному масштабу: вместо 300 тысяч, которые находили необходимым для энергического ведения дела Обручев и Милютин, за Дунай было двинуто всего около 193.000 человек, из которых для наступления могло быть использовано не более половины; остальные составили два обсервационные отряда: один на нижнем Дунае, другой, так-называемый „Рущукский", против четырехугольника турецких крепостей—Силистрии, Рущука, Шумлы и Варны.

Уже из этого видно, что мнения и соображения высшего военного начальства вовсе не играли в этой войне руководящей роли. Иначе, может-быть, и самая война не имела бы места, ибо военный министр, настаивая на том, что уже если вести войну, так вести ее не шутя, как следует, в то же время высказывал такие общие мысли: „Ни одно из предпринятых преобразований еще не закончено. Экономические и нравственные силы государства далеко еще не приведены в равновесие с его потребностями. По всем отраслям государственного развития сделаны или еще делаются громадные затраты, от которых плоды ожидаются лишь в будущем. Словом, вся жизнь государства поставлена на новые основы, только еще начинающие пускать первые корни. Война в подобных обстоятельствах была бы поистине великим для нас бедствием" [1]). Но решающий голос здесь, как и в области финансов, принадлежал вовсе не тем, кто непосредственно заведывал делом и нес на себе ответственность. Как там министр Рейтерн должен был взять на себя финансовую подготовку войны, которую он также считал „великим для нас бедствием", и ответственность перед общественным мнением за ее финансовые результаты, а распоряжались казенными деньгами, фактически, совершенно другие люди,—так и на поле битвы роль распорядителя не досталась ни тем, кто подготовлял армию к войне и вырабатывал план кампании, ни даже тем, кто непосредственно водил войска в бой. Как и под Севастополем, решающий голос оставил за собой „Петербург", — заставлявший в свое время Горчакова давать сражения, вопреки всякой очевидности и вопреки его собственной воле и убеждению. Только теперь „Петербург"—

[1]) Записка Милютина от 7 февраля 1877 года, в приложении к „Дневнику" Газенкампфа.

и это, конечно, еще ухудшало положение—непосредственно присутствовал на театре войны, притом даже в двух изданиях: в лице главной квартиры императора Александра II, проведшего в Болгарии большую часть кампании, и в лице штаба главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича Старшего.

Есть много оснований думать, что почетную роль главнокомандующего в войне „за освобождение славян", которая, в конце-концов, могла быть только победоносной, охотно взял бы на себя лидер высокопоставленных славянофилов, будущий император Александр III. Но подвергать репутацию наследника престола риску, хотя бы и небольшому, нашли, очевидно, неудобным: притом же Александр Александрович по военной службе далеко не был старшим из великих князей, а его отец был не меньшим поклонником военной формалистики и субординации, чем Николай Павлович [1]). Остановились поэтому на такой комбинации: главнокомандующим всей действующей армией был назначен старший из сухопутных генералов царской фамилии, бывший главнокомандующий войсками гвардии и петербургского военного округа, вел. кн. Николай; Александр же Александрович должен был стать командиром той из отдельных армий, которая должна была увенчать победоносную кампанию походом на Царьград. А пока, в ожидании этого блестящего конечного эпизода войны, великий князь наследник согласился занять скромный — но зато и нерискованный — пост начальника обсервационного „Рущукского" отряда. Обстоятельства впоследствии сложились так, однако же, что осуществить эту комбинацию стало невозможно, не вступая в самый резкий конфликт с общественным мнением всей армии, и моральному виновнику войны 1877 года так и не пришлось принять в ней видного участия.

Трудно сказать, какие данные имел вел. кн. Николай для того, чтобы распоряжаться действиями двухсот-тысячной армии. Вблизи поля битвы он был только однажды, в дни ранней юности: это было в севастопольскую кампанию, под Инкерманом. По довольно обычному порядку на такого высокопоставленного главнокомандующего падает только почетная, представительная роль, фактически же руководит ходом военных

---

[1]) „Военные занятия и упражнения служили" для Александра Николаевича „как бы отдыхом и развлечением",—пишет его биограф.—„Воскресный развод в манеже зимою, летом лагерный сбор в Красном Селе, постоянные объезды войск, расположенных в разных местностях империи, ученья, смотры, парады, маневры наполняли, так-сказать, жизнь государя. Он сам вникал в мельчайшие подробности строевой службы и военного быта, знал в лицо всех начальников отдельных частей, не только высших, но часто и низших, и себе одному предоставлял распоряжение назначением на должности и производством".

операций другое лицо—из настоящих боевых генералов. Так, во время франко-прусской войны номинально командовал германскими войсками сам король Вильгельм — фактическим же главнокомандующим был его начальник штаба, Мольтке. Милютин, повидимому, рассчитывал на такой обычный порядок и в данном случае и усиленно рекомендовал в начальники штаба Обручева, своего главного консультанта по стратегическим вопросам. Насколько Обручев оправдывал свою блестящую репутацию, мы лишены возможности судить, хотя впоследствии его поклонники ему исключительно приписывали конечный успех кампании в Малой Азии [1]). Во всяком случае, он принадлежал к тому же типу хорошо образованных русских офицеров, как и сам Милютин. Но у вел. кн. Николая было против него капитальное возражение—Обручев был несомненный „либерал", по крайней мере, в прошлом, когда он простер свою неблагонамеренность до того, что отказался итти на войну с польскими инсургентами (в 1863 году), считая ее „братоубийственной". Великий князь не допускал и мысли о том, чтобы начальником штаба при нем был подобный человек: а кроме того, он собирался быть главнокомандующим не на словах только, а и на деле—непосредственно руководя всеми действиями войск, до мельчайших подробностей. Генерал, имеющий собственный взгляд на вещи, уже по одному этому в начальники штаба ему не годился: подысканный для этой роли Николаем Николаевичем старик Непокойчицкий, бездарный и безличный, всю жизнь проведший в военных канцеляриях, соответствовал цели гораздо лучше. Непокойчицкий в одном был похож на Мольтке: он точно так же любил и умел молчать; но этим все сходство и ограничивалось. Молчаливость не мешала ему, однако же, прекрасно устраивать свои личные, материальные дела. Благодаря его влиянию, все продовольствие армии было передано в руки товарищества, один из главных распорядителей которого, Грегер, был „старым знакомым" Непокойчицкого [2]). Пользуясь таким влиятельным покровительством, „товарищество" систематически морило голодом солдат, которых выручало только изобилие местного провианта да часто попадавшие в русские руки турецкие магазины. Великий князь-главнокомандующий знал об этом, но... ничего не предпринимал. Так как стратегические познания и способности Непокойчицкого были, однако же, слишком очевидно недостаточны, к нему был приставлен, в качестве знатока военного искусства, бывший профессор военной академии Ле-

[1]) Действия русской армии за Кавказом тесно связаны с другим циклом событий, которого мы здесь не будем касаться.

[2]) См. Газенкампф, стр. 10—11.

вицкий, суетливый и раздражительный человек, обладавший, повидимому, только одним талантом—быстро становиться непопулярным в любой среде. К концу кампании не было человека, о котором больше ходило бы в армии анекдотов, чем о Левицком,—и все они были одинаково мало для него лестны.

Не трудно себе представить, чем могла быть, под таким руководством, главная квартира действующей армии—руководящий центр всей кампании. „Нельзя сказать, чтобы у нас процветал порядок", писал вскоре после перехода через Дунай один очевидец,—сам притом бывший одним из крупных чинов этой самой главной квартиры. „Телеграфу—непосильная работа: он так завален высочайшими и великокняжескими депешами, что даже служебных телеграмм не может передавать своевременно... Приказания посылаются без соображения с временем, необходимым для получения и исполнения. Масса лиц, состоящих без определенных занятий при обеих главных квартирах [1]), только мешает тем немногим, которые обременены делом выше головы. А между тем, тех управлений, которые нужны для правильного и безостановочного хода дела, нет налицо; даже $^2/_3$ полевого штаба еще где-то позади, а полевого казначейства, управлений интендантского, почтового и телеграфного до сих пор нет" (не забудем, что это пишется два слишком месяца спустя после начала войны!). „Бивак главных квартир поражает отсутствием самых элементарных требований чистоты и порядка: зады нашего бивака—чисто цыганский табор. В нашей главной квартире, за отсутствием большей части органов полевого управления, находящихся еще где-то позади, не организована даже правильная рассылка бумаг и депеш: вестовых и разносных книжек нет! Спешные бумаги и депеши посылаются со случайно подвертывающимися людьми, а потом, за суетою, забывается, с кем послано. Но всего печальнее то, что высокопоставленные лица уже свыклись с этим хаотическим состоянием и считают его неизбежным". Еще два месяца спустя тот же наблюдатель писал: „Главная квартира изумляет многочисленностью праздношатающихся дармоедов. Народу праздного, слоняющегося по целым дням без всякого дела и занятого одними сплетнями и пересудами—видимо-невидимо... Состояние „для поручений" и „в распоряжении" предпочитается должностям командным. Один состоящий для поручений генерал открыто и громко роптал на свое назначение бригадным командиром, как на незаслуженную обиду: впрочем, отчасти он был прав, так как это состоялось только для того, чтобы очистить его место для другого, только-что

[1]) Царской и великокняжеской.

произведенного генерала, пользующегося большим фавором... Один из состоящих при штабе полковников (только-что произведенный) испугался, когда ему предложили стрелковый батальон, и уклонился от этого назначения“ [1]). Но с точки зрения собственной выгоды эти „праздношатающиеся дармоеды“ рассуждали вполне разумно. Во-первых, „состояние при“ было самым безопасным состоянием, какое только можно было найти на войне. „Твое беспокойство о том, что я могу подвергаться опасности от пуль, меня просто заставляет смеяться“, писал своей жене лейб-медик Александра II, С. П. Боткин, вместе со всею свитой ездивший на позиции. „Не только мы—нечего и говорить обо мне—но, например, адъютанты великого князя Николая Николаевича до сих пор (24 октября), в добрый час сказать, ни одной царапины не получили“ [2]). А в то же время эта безопасная должность давала такое влияние, которому мог бы позавидовать любой строевой генерал. Не только адъютантов, простых ординарцев, почти мальчиков, главнокомандующий посылал с самыми серьезными поручениями; после неудачи под Еленой, например, один из них, в чине штабс-ротмистра, был послан производить следствие над проигравшими сражение генералами [3]). Словом, присутствие двора—и даже целых двух дворов—на войне давало все те результаты, каких можно было ожидать по всем предыдущим опытам, начиная от Аустерлица.

Руководимая этим живым хаосом армия не могла, разумеется, выполнять никакого определенного плана. Некоторое подобие системы можно было найти только до перехода через Дунай, т.-е. в то время, когда наши войска были еще вне непосредственного соприкосновения с противником. Период этот длился целых два месяца, с 12 апреля по 15 июня, и весь был занят медленной и осторожной подготовкой к предстоящей переправе. Когда этот первый шаг, казавшийся, как мы видели, не совсем основательно, чрезвычайно трудным, удался блестяще и с первого же разу, все сдерживающие центры тотчас же перестали работать. Отступление турок, входившее, как мы уже говорили, в их операционный план, казалось несомненным признаком окончательного „умирания“ Османа, давно уже корчившегося в предсмертных судорогах на страницах славяно-

---

1) Газенкампф, стр. 42—44 и 120—121.

2) „Письма из Болгарии“, стр 320.

3) Звание адъютанта великого князя заменяло даже специальные познания и образование. „Характерно, что офицеры генерального штаба всегда стремятся уйти из главной квартиры куда угодно“,—пишет один из этих офицеров, притом любимец главнокомандующего и большой его поклонник.—„Причина вполне понятна: во всяком отряде офицер генерального штаба на виду и в серьезной работе, а в главной квартире—совершенно заслонен адъютантами и ординарцами великого князя. Им даются все видные и серьезные поручения, а офицеры генерального штаба или корпят над бумагами, или принуждены слоняться без дела“. „Дневник“ Газенкампфа, стр. 224.

фильских газет. Спешили его добить, и до „первой Плевны“ (8 июля) кампания с нашей стороны превращается в сплошную авантюру. Наиболее ярким ее эпизодом остался кавалерийский набег за Балканы, создавший в первое время иллюзию, что война, в самом деле, может быть блестяще окончена в полтора-два месяца. Небольшой передовой отряд генерала Гурко[1]), сформированный сначала „для освещения местности к стороне Тырнова и Сельви“, весьма скоро получил уже приказание двинуться к Балканам, а затем—„двинуться за Балканы, утвердиться в долине Тунджи и захватить важнейшие перевалы прежде, чем неприятель успеет собрать значительные силы для их защиты“[2]). Отряд в 10.000 человек должен был выполнить то, что составляло задачу всей армии в течение всей первой половины кампании. Турки предполагались, при всем этом, совершенно неподвижными, в чем, конечно, они очень скоро и не преминули нас разочаровать. Сначала стремительный марш „передового отряда“, действительно, ошеломил турок, почти без боя отдавших важнейший из балканских проходов, шипкинский. Но уже две недели спустя к долине Тунджи ими были стянуты силы, вчетверо превосходившие отряд ген. Гурко. Чтобы удержать за собою плоды легких завоеваний, нужно было посылать за Балканы подкрепления; но тут оказалось, что для этой цели в распоряжении главнокомандующего, в упоении своими победами следовавшего чуть не непосредственно за „передовым отрядом“, имеется всего одна пехотная бригада. В результате, только-что так удачно занятый шипкинский перевал был брошен почти-что на произвол судьбы: и уже, конечно, не заслугой главного штаба было то, что он все-таки остался в русских руках. Больше всего помог этому главнокомандующий турецкой забалканской армией Сулейман-паша, оказавшийся, на наше счастье, большим поклонником драгомировской тактики. Имея полную возможность обойти с флангов позицию слабых русских сил на шипкинском перевале, он вместо этого решил взять ее непременно фронтальными атаками, при которых все преимущества местности были на русской стороне. Благодаря этому, защитники Шипки, с невероятными усилиями, продержались все-таки до того времени, пока ближайшему к Балканам корпусному командиру, Радецкому, не удалось стянуть к угрожаемому пункту большую часть своих войск. Чрезвычайно характерно, что в эту критическую минуту мы уже ничего не слышим о командире передового

[1]) Одна стрелковая бригада, болгарское ополчение (всего 6 дружин) и около дивизии конницы.

[2]) Из объяснительной записки главнокомандующего.

отряда, ген. Гурко, который всегда был на первом месте, пока военное счастье было на нашей стороне.

Как бы то ни было, Шипка была спасена. Это было тем более важно, что к этому времени (начало августа) русская армия уже в полной мере испытала впечатление человека, „темной ночью налетевшего на стену", как очень метко и образно охарактеризовал две первые Плевны один из участников. Мы уже знаем, что, благодаря особенностям русской кавалерии, темная ночь постоянно висела вокруг русской армии, что создавало, между прочим, постоянную атмосферу нервности, всегда готовой перейти в панику. Дня за три до первого плевненского сражения припадок паники охватил главную квартиру самого императора: прикрывавший ее с запада (со стороны Видднна, где стояла армия Османа-паши) 9-й корпус бар. Крюденера четыре дня не давал о себе никаких известий, а в то же время в Систове (месте переправы русской армии) померещились кому-то турки под самым городом. Александра Николаевича разбудили в четвертом часу утра, и он со своим штабом должен был сделать форсированный переход в 20 верст, спасаясь от воображаемого неприятеля. К вечеру пришло известие, что Крюденер не только цел, но еще взял Никополь. При данной обстановке это, конечно, вызвало общее ликование, среди которого легко позабыли, что 9-й корпус был отправлен брать не Никополь, устаревшую турецкую крепость, не имевшую никакого стратегического значения, а Плевну—главный дорожный узел всей западной Болгарии. Никополь же упоминался в данных Крюденеру указаниях только на втором плане—в виде возможного дополнительного успеха. Этот успех, довольно дешевый, так, однако, вскружил голову победоносному генералу, что он просто забыл о Плевне, которая и была тем временем занята пришедшими из Видднна войсками Османа-паши. Само собой разумеется, что и это движение турок было полной неожиданностью для русских военачальников, хотя для специального наблюдения за Плевной и была еще ранее отряжена целая кавалерийская бригада. Эта последняя, проглядев передвижение турок, не сумела даже произвести рекогносцировки уже занятой турками Плевны—и часть 9-го корпуса (несколько менее 1 дивизии), направленная к последней Крюденером, спешившим исправить свою ошибку, с размаха буквально наткнулась на весь корпус Османа-паши. Последний, считая, что перед ним лишь авангард, за которым непосредственно следуют более крупные силы, ограничился, однако же, отражением русского отряда и не перешел в наступление. В распоряжении русских генералов оказалось 10 дней, которыми всякая другая армия воспользовалась бы, по всей вероятности, для того,

чтобы прежде всего правильно определить размеры неожиданно появившейся опасности. У Османа было в это время не более 30 тысяч человек, и для наблюдения за ними было вполне достаточно одного русского корпуса, в крайнем случае 3 дивизий. Повторять нападение на плевненские позиции, тем временем основательно укрепленные турками, не было, казалось бы, никакого разумного основания. Вместо этого под Плевну было направлено почти два корпуса, но не для наблюдения, а для того, чтобы непременно взять турецкие укрепления штурмом. Исход этого второго плевненского боя (18 июля) был такой же печальный, как и первого: но теперь потерпел поражение значительный отряд—почти треть всей русской армии—и положение последней представлялось, действительно, рискованным. К тому же это не была просто отбитая атака, как старались утешить себя в русской главной квартире, а настоящее поражение, со всеми его моральными последствиями. Охватившая войска паника была так велика, что толпа беглецов донеслась до самого Систова и ломилась на левый берег Дуная, в Румынию: охранявшему мост отряду пришлось вступать с ними чуть не в рукопашную. Словом, картина очень напоминала то, что было, например, в Крыму после алминского сражения; при чем нашелся наследник даже и ген. Кирьякову, в лице командира 30-й дивизии Пузанова, который, в коляске, ускакал с поля битвы впереди всех. Если бы вскоре после этого Сулейману-паше удалось прорвать с юга линию Балкан и подать руку плевненской армии, русским войскам не осталось бы ничего другого, как отступить обратно в Румынию. Стойкость отряда, защищавшего Шипку, спасла судьбу кампании.

Но хотя, таким образом, русская армия спаслась от крайних возможных последствий второй плевненской неудачи, все же значение 18 июля в истории войны 1877 года остается громадным. На целых три месяца, до второй половины октября (начало движения гвардейского корпуса на Софию), русская главная квартира не выходит из-под гипноза Плевны. Все цели кампании на это время радикальным образом перестанавливаются: до конца июля ближайшей целью было завладение балканскими проходами, а следующей по порядку—поход к турецкой столице. Теперь все это было позабыто ради одной единственной цели—взятия Плевны. К этому городу стягиваются все вновь приходящие из России войска, в его окрестности переселяются обе главные квартиры; русская публика привыкает думать, что со взятием города, о котором еще вчера никто ничего не слыхал, кроме специалистов, связана судьба всей войны. Между тем, плевненский гипноз—как и полагается гипнозу—был чисто субъективным явлением. Решительно ни-

что не мешало нашему главному штабу последовать примеру прусской армии в 1870 г., когда она пошла прямо на Париж, оставив у себя в тылу Мец с запершейся в нем армией Базена, хотя у последнего в распоряжении было до полутораста тысяч человек,—почти половина всех германских сил, а у Османа и после 18 июля было не более одного русского корпуса. Но пруссаки твердо выполняли тщательно выработанный план, а у нас никакого плана уже не было со времени перехода через Дунай, были авантюристские похождения, неудача которых лишила главную квартиру всякого самообладания и всякой способности рассуждать. Против тридцати-сорока тысяч турок, запершихся в Плевне, теперь готовы были двинуть чуть ли не больше солдат, чем прежде считали нужным для разрушения всей Оттоманской империи. Немедленно после 18 июля была предпринята обширная дополнительная мобилизация, при чем на театр войны были вызваны самые отборные войска—гвардейский и гренадерский корпуса [1]): и все это должно было направиться к Плевне. А так как эти подкрепления не могли прибыть ранее полутора-двух месяцев, обратились, как это ни было неприятно, к помощи Румынии. Эта страна, не славянская и слишком очевидно проникнутая тлетворным западноевропейским духом, не внушала ни уважения, ни симпатии: в войне с Турцией она была необходимым пособником—без нее нельзя было пройти к Дунаю, но сначала надеялись использовать ее только как базу, не давая активной роли румынской армии. Теперь на эту армию—качественно гораздо лучшую, чем сербская—пришлось возложить чуть ли не главную надежду. Князь Карл румынский был сделан командующим всем плевненским отрядом (фактически вместо него распоряжался генерал Зотов, командир только-что прибывшего из России 4-го корпуса). К концу августа вместе с румынами было сосредоточено под Плевною до 80.000 человек, т.-е. на каждого турецкого солдата приходилось, по крайней мере, два русско-румынских. Такое соотношение сил ввело в соблазн—повторить еще раз попытку штурма. На этот раз решили его „тщательно подготовить": русская артиллерия в течение нескольких дней обстреливала плевненские укрепления. Это было совершенно невинное занятие: для разрушения земляных насыпей гранаты наших орудий совершенно не годились, благодаря крайне слабому разрывному заряду [2]), осадных же орудий у нас было ничтожное количество, притом они принадлежали к еще более устаревшему типу, чем полевые. После того, как

---

[1]) Пехота которых, между прочим, была уже перевооружена берданками.
[2]) См. „Описание", I, стр. 131.

„подготовка“ не дала никаких осязательных результатов, решено было, все-таки, штурмовать. Сначала было предположено сосредоточить атаку на одном, наиболее важном, пункте турецких позиций. Но против этого пункта командовали генералы кн. Имеретинский и Скобелев—люди новые и уже поэтому несимпатичные; кроме того, среди всеобщих неудач, они только что перед этим одержали победу, хотя и небольшую—взяли Ловчу, довольно важный укрепленный пункт на пути между Плевной и Балканами: переход в русские руки Ловчи окончательно гарантировал защитников Шипки от нападения на них с тылу, из Плевны. Дать Имеретинскому и Скобелеву сделаться еще и героями Плевны—это было уже слишком; должны же были отличиться и другие генералы. Нашли, что атака на ключ турецкой позиции будет „слишком кровопролитна“, и, чтобы уменьшить кровопролитие, решили произвести общий штурм всех плевненских укреплений. Фактический распорядитель дела, ген. Зотов, сгоряча назвал этот план „чистой бессмыслицей“; но, увидав, что сторону его изобретателя, ген. Левицкого, решительно принял главнокомандующий, Зотов замолчал. Влияние „Петербурга“ на третьем плевненском сражении было особенно чувствительно—придворные соображения вполне доминировали над военными. Самый день приступа, 30-е августа, был выбран, главным образом, для того, чтобы сделать „подарок“ Александру Николаевичу в его именины. Император—в первый раз за время войны—лично присутствовал на поле сражения. Нет надобности говорить, что для него было отведено место, вполне безопасное: при дальнобойном оружии это означало, что от императорской свиты до передовой линии войск, ведших наступление, было несколько верст. Но при императоре находились и вел. кн. Николай Николаевич, и румынский князь Карл, а при последнем—его номинальный помощник, ген. Зотов. Распоряжавшиеся боем лица наблюдали его, таким образом, очень издалека. Все сношения этого отдаленного пункта с наступающими колоннами велись через конных ординарцев: полевого телеграфа не было (у Османа-паши все позиции были связаны телеграфом с самого начала). Благодаря этому, донесения получались через два-три часа после отправки, когда картина боя успела уже решительным образом измениться, а следовавшие в ответ на донесения приказания приходили, когда уже все было кончено. В довершение всего, Зотов, слишком хорошо помнивший панику и дезорганизацию после 18 июля, принял на этот раз совершенно необычайные меры предосторожности: чуть не треть его пехоты была оставлена для прикрытия артиллерии, стоявшей на батареях, и он не соглашался „обнажить“ эти последние даже в самый критический момент,

когда посылка нескольких батальонов на левый фланг, в подкрепление Скобелеву, могла решить все дело.

Сражение 30—31-го августа, „третья Плевна“, кончилось полной неудачей; что касается собственно русских сил, Скобелеву удалось занять несколько укреплений, но он был из них выбит. В наших руках остался только второстепенный по значению Гривицкий редут,—но он был взят при участии румын, которые и оказались единственными победителями этих кровавых дней. В этом последнем отношении „третья Плевна“ далеко оставила за собой даже самые несчастные для нас бои крымской кампании: на одни русские перевязочные пункты было доставлено, по сведениям Боткина, 13.100 раненых. Но на левом фланге, у Скобелева, многих раненых не удалось вынести; кроме того, румыны также пострадали довольно сильно. Общая потеря была, вероятно, не менее 20.000 человек, доходя в некоторых колоннах (у того же Скобелева) до 70% всего состава.

Неудача 30-го августа имела, однако же, одно благое последствие: она ребром поставила вопрос о способности официальных руководителей кампании продолжать это дело. Между военным министром и главнокомандующим дошло до резкого объяснения, которое так взволновало Николая Николаевича, что он поспешил посвятить в него и свою свиту. Но теперь император, повидимому, был на стороне Милютина. Настроение в войсках становилось прямо зловещим; они не только не „рвались в бой“, но явно старались уклониться от совершенно бесцельной—и в то же время очень грозной, как показывал опыт,—опасности. Самой легкой раной не только офицеры, но и солдаты пользовались, чтобы быть эвакуированными в Россию. Мало того: по официальному заявлению одного, очень авторитетного, хирурга, можно было бы „составить целый полк из симулянтов, т.-е. ранивших себя в пальцы по примеру храброго сербского войска“ [1]). Что-нибудь нужно было предпринять хотя бы для того, чтобы поднять настроение. Решено было вызвать на театр войны одну из старинных знаменитостей, сданную было за старостью в архив, но репутация которой могла теперь оказать известное психологическое действие: 16 сентября под Плевну приехал Тотлебен. Он оказался в роли того классического „немца“, которому отдают на поправку хозяйство, разоренное бестолковыми опытами самого барина. Номинально он только заменил Зотова, фактически же к нему перешли все права главнокомандующего во всем, что касалось обложения Плевны. Попытки Николая Николаевича распоря-

[1]) Боткин, стр. 201. Слова Склифасовского, см. там же, стр. 218.

жаться встречали со стороны Тотлебена решительный отпор и должны были прекратиться[1]). Великий князь мало-по-малу превращался в то, чем он и должен был быть с самого начала: в почетного главнокомандующего, каким был румынский князь по отношению к армии, осаждавшей Плевну. Кроме заведения некоторого внешнего порядка, Тотлебен ничем, впрочем, не ознаменовал себя в этот период своей карьеры. Он был, очевидно, слишком стар, чтобы создать что-нибудь оригинальное[2]): рутинные же приемы дней его молодости совсем не годились в таком новом деле, как осада Плевны. В полную противоположность Севастополю, который представлял собою, собственно, укрепленный *город*,—город Плевна, сам по себе, не играл никакой роли в обороне. Его можно было разрушить дотла, и от этого Осман-паша с его солдатами даже не поморщились бы. То, что обозначалось условным именем „Плевны", представляло собою укрепленный *лагерь*, растянувшийся на тридцать верст. Разрушать эти временные полевые укрепления было бы довольно бесполезным трудом, даже если бы русская артиллерия и была к этому способна, потому что турки через два дня построили бы новые. Можно было попытаться овладеть отдельными, наиболее важными пунктами посредством медленной инженерной атаки, которую и вели на своем участке румыны. Но русская армия была всего менее подготовлена к такого рода осадной войне. Земляные работы у нас были в невероятном пренебрежении: достаточно сказать, что 30 августа в отряде кн. Имеретинского (более 20 батальонов) была всего одна только команда сапер из 40 человек при унтер-офицере, „да и то случайно туда попавшая"[3]). Лопаты в русской армии имелись в пропорции одной на 20 солдат. При господстве философии штыка все это было более, чем естественно: уж если ружье было „представителем самосохранения", то земляная насыпь и подавно могла только развратить солдата. Но если бомбардировка была бесцельна, а к правильной осаде мы не были подготовлены, то оставалось только прибегнуть к старинному средству, практиковавшемуся еще Владимиром „святым" при взятии Корсуня: попытаться взять Плевну голодом. Вместо осады решено было повести, в сущности, настойчивую *блокаду* Плевны, отрезав ей все пути сношений с внешним миром. С прибытием гвардии под Плевной у нас имелось, за всеми потерями, не менее 100.000 одной пехоты, не считая кавалерии, классически бездействовавшей в это время, как и

[1]) См. Газенкампф, стр. 155.

[2]) О впечатлении, какое производил Т. на окружающих, см. дн. Боткина, стр. 253.

[3]) „Описание", ibid, 199, примеч.

во все остальное. С такими силами можно было попытаться запереть лагерь Османа-паши со всех сторон. Главной артерией, связывавшей эту армию с забалканской Турцией, было софийское шоссе, где Османом, для обеспечения сообщений, были устроены на известном расстоянии друг от друга укрепленные этапные пункты. Гвардии была поставлена задача—завладеть софийским шоссе, вытеснив турок из этих пунктов. Несмотря на то, что три плевненские неудачи и целый ряд более мелких поражений в Малой Азии давно доказали всю нерасчетливость открытых штурмов укрепленных позиций при современном вооружении, гвардия начала с повторения уже проделанного другими войсками опыта и 12 октября штурмовала два из упомянутых этапных пунктов, Телиш и Горный Дубняк. Под первым атака была отбита, второй был взят; общая потеря при этом достигала 4.500 человек, тогда как турок было против нас всего не более 6.000. Через несколько дней был взят и Телиш, исключительно путем артиллерийского обстрела: так как казематированных помещений у турок не было, то они не выдержали града шрапнелей [1]), сыпавшегося на них в течение нескольких часов. При этом русская потеря не превышала десятка человек, и не было сомнений, что таким же путем можно было взять и Дубняк, так как тип укреплений был совершенно одинаковый. Третий этапный пункт, ближайший к Плевне—Дольний Дубняк, был после этого очищен турками без боя.

Теперь все выходы из Плевны были в русских руках. Оставалось терпеливо выжидать, пока голод сделает свое дело. Но так как гвардия шла из Петербурга, конечно, не для того, чтобы нести скучную блокадную службу, то надо было найти ей достойное ее занятие. К тому же победа, хотя и достигнутая довольно бессмысленным путем, снова окрылила прежние надежды и чаяния. Идея набега за Балканы вновь воскресла в главной квартире. Кстати же налицо был опять и генерал, так блестяще руководивший этой авантюрой летом: Гурко явился обратно на театр войны вместе с гвардией. Раз последняя стояла уже на софийском шоссе, отчего не попытаться было пойти по нему дальше, перевалить Балканы, завладеть Софией—и выйти, хотя и очень кружным путем, на дорогу к Константинополю? Гвардейские полки под Плевной были заменены подошедшими тем временем из России гренадерами — и второй „отряд ген. Гурко“ начал свою победоносную кампанию. Собственно военных трудностей ему предстояло не очень

[1]) Гвардейская артиллерия располагала уже усовершенствованным типом этого снаряда.

много: в этом отдаленном районе военных действий силы турок были очень слабы. Гвардии приходилось бороться больше с природой — и дневники участников этого похода больше напоминают записки полярных путешественников, чем рассказы о военных действиях. Втаскивать на обледянелые кручи Балкан орудия и обоз стоило неимоверных трудов, отмеченных знаменитым приказом генерала Гурко: „втащить зубами!“ — в ответ на донесение, что на один из перевалов артиллерию даже на руках поднять нельзя. Солдаты, мало терпевшие от неприятельских пуль, от лишений выбывали из строя тысячами: в гвардейских батальонах, выступивших из Петербурга при полном составе — более 800 штыков в каждом — к концу ноября оставалось не более, чем по 400 человек. Зато Гурко приобретал ту репутацию „железного“ генерала, которою он так славился впоследствии.

Большого стратегического значения этот отдаленный поход, без каких-либо изменений на главном театре войны, иметь не мог. Стоило туркам предпринять более или менее энергические действия на востоке, где в четырехугольнике крепостей, в полном бездействии пребывала главная турецкая армия, — и гвардию пришлось бы отзывать из-за Балкан. Не было сомнения, что было бы гораздо рациональнее купить теми же потерями и лишениями, например, разгром турецкой армии, стоявшей перед Шипкой, что впоследствии было достигнуто силами, даже меньшими, чем те, которые имел в своем распоряжении ген. Гурко. Но тогда последнему пришлось бы действовать под начальством ген. Радецкого... Как бы то ни было, поворотным пунктом кампании стал не второй забалканский набег: он еще не успел дать никаких осязательных результатов, когда достигла своей цели тактика Владимира святого, применявшаяся под Плевной. К концу ноября армия Осман-паши съела все свои запасы, 28-го он сделал попытку прорвать блокаду, был отбит — и в тот же день сдался со всеми своими войсками (даже теперь у него оказалось всего 43.000 человек, хотя до начала октября он правильно получал подкрепления). Все впечатление этого события можно оценить, только представив себе настроение высших военных сфер всего за несколько дней до этого. Еще 26-го ноября великий князь - главнокомандующий телеграфировал Гурко: „Получены сведения, что турки намереваются атаковать всю мою армию, не исключая и тебя. Да поможет нам бог выдержать!“ Поводом был разгром одного из мелких обсервационных отрядов под Еленой на юго-востоке. А еще несколькими днями ранее Николай Николаевич, под влиянием Скобелева, не видел никакой возможности покончить с Плевной иначе, как путем нового штурма. Тотлебену стоило

некоторого труда помешать этому, совершенно уже излишнему, кровопролитию. Теперь, когда страшный Осман был действительно в плену, восторгу не было пределов, и все стремилось к одной цели: возможно скорее решительными ударами покончить войну. 30 ноября, перед отъездом Александра II в Россию, у него происходил большой военный совет с участием главнокомандующего, князя Карла и Непокойчицкого, но также Милютина и Обручева. На этом совете решено было большинство войск плевненского отряда немедленно двинуть двумя массами за Балканы, одну часть вслед за Гурко на Софию, другую к Радецкому на Шипку. Решительный удар предполагался в последнем пункте, почему отряженная туда колонна и была поручена Скобелеву. Радецкий, войска которого только-что выдержали чудовищно-тяжелую зимнюю стоянку на вершине Шипкинского перевала [1]), был против наступления в эту пору года, и мнение его разделяли все опытные люди. При сколько-нибудь энергичном сопротивлении турок зимний переход Балкан, действительно, был бы невозможен, но турки уже были морально сломлены и материальные средства их приходили к концу. 27 декабря турецкое правительство уже прислало телеграмму с просьбой о заключении перемирия, и было так уверено в согласии противника, что поспешило оповестить о перемирии своих генералов, как о совершившемся факте. Это обстоятельство, в связи с густым туманом, скрывавшим от турок движение наших войск, несомненно, очень помогло успеху шипкинской операции. Колонны Скобелева и Святополка-Мирского, спускаясь на южную сторону Балкан, почти не встретили сопротивления. Шипкинская армия турок была захвачена врасплох— и после нескольких часов боя положила оружие. Сулеймана в это время уже не было под Шипкою, он уехал организовывать оборону Софии от русской гвардии, тоже спускавшейся с гор,— но действовавшие против Гурко турецкие войска были разбиты и София занята еще раньше, чем главнокомандующий забалканской армией успел прибыть на место. Сулейману с трудом удалось спастись от русской кавалерии, которая только теперь, к концу кампании, стала обнаруживать некоторую предприимчивость.

Наступал момент, когда Александр Александрович должен был стать во главе победоносной армии, идущей на Царьград. Отправляясь в Петербург, Александр II заехал в Рущукский отряд к наследнику и сообщил ему, что под его начальство переходят войска, которыми командует Гурко,—теперь, как мы

---

[1]) Условия жизни там были таковы, что, напр., 24-я пехотная дивизия, сразу попавшая на Шипку, растаяла в несколько дней.

знаем, еще усиленные освободившимися войсками плевненского отряда, так что всего у Гурко было почти три корпуса: самая крупная из самостоятельно действовавших масс, какая только имелась на театре войны. Самого „железного генерала“ предполагалось при этом разжаловать из главного командира всей этой массы в начальники кавалерии „западного отряда“, как официально именовались состоявшие под его начальством войска. Именно эта операция разжалования Гурко и явилась камнем преткновения: в данный момент нельзя было придумать меры менее популярной. У главнокомандующего были, кроме того, свои основания отстаивать в этом вопросе интересы справедливости: Гурко был его человек, дважды отмеченный его избранием и во второй, по крайней мере, раз, блистательно его оправдавший. А Николай Николаевич никогда не чувствовал себя более хозяином положения, чем теперь, после взятия Плевны и отъезда императора. Наследнику цесаревичу было отвечено, что сменять командующего генерала перед самым концом кампании крайне неудобно. Окончательно обострил отношения вновь всплывший „обручевский вопрос“: Александр Александрович не скрыл, что желал бы иметь начальником штаба именно Обручева, которого главнокомандующий не выносил. Почетная и уже довольно легкая роль—добивать остатки турецкой армии—осталась за Гурко.

Первые три недели января 1878 г. были вознаграждением за все, испытанное с июля прошлого года. Ослабленные на целую треть двумя капитуляциями, деморализованные целым рядом неудач, атакованные с запада сербами, которые поспешили возобновить войну после падения Плевны, турки почти не сопротивлялись. Тысячи пленных, десятки орудий доставались нам почти без боя [1]). 3—5 января Гурко добил последние остатки армии Сулеймана и занял Филиппополь, овладев таким образом, головой железнодорожного пути, ведшего к турецкой столице. В то же время Скобелев шел прямо на Адрианополь, который 8 января и был занят его кавалерией. О перемирии, конечно, и речи не было, но теперь турки просили прямо мира. Уже 1 января султан телеграфировал непосредственно Александру II, выражая глубокое сожаление по поводу „несчастных обстоятельств, повлекших за собою эту злополучную войну“, и пламенное желание „возможно скорее покончить с бесполезным кровопролитием“. А 9 января, на другой день после взятия Адрианополя, произошла первая встреча русских и турецких уполномоченных, которые должны были выработать предварительные условия мирного договора.

[1]) За эти недели отрядом Гурко было взято 110 орудий, Скобелева—53.

Мир был необходим не только Турции: в одинаковой степени он был необходим и России. С чисто-военной точки зрения, положение русской армии за Балканами было не более обеспечено, чем в 1829 году положение армии Дибича. „Наше победное шествие совершается теперь войсками в рубищах, без сапог, почти без патронов, зарядов и артиллерии, без всякого сообщения не только с Россией, но даже с Румынией и придунайской Болгарией“,—записал один из чинов главной квартиры 18 января. По его словам, даже Скобелев, как ни заманчива была для него перспектива дальнейших успехов, признавал, что „нам еще не под силу решать восточный вопрос окончательно“. Но, помимо ближайших материальных условий, дальнейшая кампания была еще и бессмысленна, так как не имела перед собою никакой осязательной стратегической цели. В свое время план Милютина-Обручева ставил русской армии альтернативно одну из двух задач: или разбить турецкую армию, или завладеть турецкой столицей. Автор плана считал более предпочтительным и легче осуществимым второе, так как выманить из-за укреплений турецкую армию он не считал возможным. На деле случилось именно последнее: турки дали себя разбить и даже больше, чем разбить: турецкая армия, как организованное целое, перестала существовать. Оставалось использовать эту удачу для того, чтобы положить конец резне на условиях, наиболее выгодных для России. Но великому князю главнокомандующему и его штабу теперь еще гораздо больше, чем после удачного перехода через Дунай, и вторично, после взятия Плевны, никакая перспектива не казалась невозможной. И конец кампании был ознаменован подготовкой новой, последней авантюры, ничего не стоившей России в чисто-военном отношении, так как вооруженного противника перед нею уже не было, но закончившей зато блестящий поход чувствительным моральным поражением. Николай Николаевич непременно хотел завладеть Константинополем. „Сегодня вечером,—записал тот же офицер главной квартиры под 12 января,—за чаем, великий князь высказывал опасение, как бы Горчаков и его дипломатические подручные, вечно оглядывающиеся на Англию и Австрию, не затормозили наше наступление. Идея дойти до Константинополя и Галлиполи вполне овладела великим князем: он только об этом и думает и говорит, и ужасно боится, чтобы государь его не остановил. Этим он объясняет и свое неудержимое стремление вперед без всякой заботы о своем тыле. Он говорил сегодня, что мало занять Константинополь и Галлиполи, а надо перебросить войска на азиатский берег Босфора и Дарданелл и, уже укрепившись на обоих берегах, диктовать свои условия не только султану, но и Англии и

Австрии“ [1]). В связи с этим главному командиру черноморского флота было предписано приготовить транспортные суда, на которых предполагалось перевезти в Босфор одну дивизию из Одессы, а в. кн. Алексею Александровичу, командовавшему минной флотилией на Дунае—отправить свои миноноски или, по крайней мере, все приспособления через Балканы,—чтобы использовать их в борьбе с турецким, а если понадобится, то и с английским флотом. Чтобы оценить это предприятие, нужно иметь в виду, что все наши активные силы на Черном море сводились к пяти вооруженным коммерческим пароходам,—тогда как в списках турецкого флота числилось более 20 броненосных судов, и он вовсе не был разбит, подобно армии. А сзади него, в виде резерва, имелась английская средиземноморская эскадра, которая, разумеется, немедленно была бы пущена в ход при первой попытке русских завладеть проливами. Английское правительство уже давно и совершенно недвусмысленно заявляло об этом. Тотчас же после перехода русскими войсками Дуная мальтийская эскадра пришла в Безику, а на о. Мальте был сосредоточен десантный корпус, часть которого была привезена из Англии, а часть из Индии. Первый же набег Гурко за Балканы вызвал со стороны английского правительства напоминание, что оно может быть вынуждено „направить свой флот в Константинополь для охранения европейского населения“. Тотчас после падения Плевны, когда в Англии стало известно о предстоящем зимнем походе за Балканы, напоминание повторилось в еще более категорической форме. Английский министр иностранных дел лорд Дерби передал русскому послу гр. Шувалову памятную записку, где говорилось, что занятие Константинополя русскими войсками, даже временно, возбудило бы в Англии чувство неудовольствия в народе, который потребовал бы мер предосторожности. Почему лорд Дерби надеялся, что никакой попытки не будет предпринято для занятия Константинополя и Дарданелл, иначе английский кабинет был бы принужден принять те меры, которые потребовались бы для обеспечения британских интересов [2]). Сопротивление не только турецких, но и английских броненосцев при попытке со стороны России захватить Босфор было, таким образом, гарантировано еще в декабре 1877 года, и, конечно, не с несколькими минными катерами и вооруженными коммерческими пароходами можно было сломить эту силу. Нет ничего мудреного, что в Петербурге не стали даже ожидать ее реального обнаружения, и на основании простого заявления английского правительства, еще раз повто-

[1]) См. „Дневник“ Газенкампфа, стр. 392 . 3 и 360.
[2]) С. Горянов. „Босфор и Дарданеллы“, стр. 326—327.

ренного по этому случаю, послали главнокомандующему категорический приказ,— воздержаться от занятия, как Галлипольского полуострова (т.-е. европейского берега Дарданелл), так и самой турецкой столицы. Но совершенно естественно также, что в виду уже обнаружившейся в этом вопросе ненадежности России (припомним, что перед войной Александр Николаевич давал „честное слово“ английскому послу, что у него нет никаких видов на Константинополь), англичане не ограничились теперь одними словами, и эскадра адмирала Горнби, пройдя Дарданеллы, стала на якорь у Принцевых островов, в виду Царьграда. Такое „вероломство“ страшно, разумеется, возмутило русское правительство и всех, кто разделял его точку зрения, хотя англичане только платили нам тою же монетой, принимая весьма естественную меру предосторожности против аналогичной попытки с нашей стороны. Особенно возмущен был сам император, теперь соглашавшийся даже и на вступление русских войск в Константинополь. Но то, о чем еще можно было мечтать в отсутствие английского флота (хотя он и тогда мог, разумеется, появиться каждую минуту), при его наличности было слишком явным абсурдом. И для спасения русского достоинства ничего не оставалось, как хлопотать о том, чтобы русские войска могли подойти хотя возможно ближе к Константинополю, не вступая в самый город. Это удалось: 12 февраля русская главная квартира была перенесена в Сан-Стефано, дачное местечко под самой столицей.

К тому времени, когда это совершилось, военные действия давно были прекращены: уже 19 января турецкие уполномоченные подписали главные основания мирного договора, что было выставлено с русской стороны, как непременное условие для заключения перемирия. Основания эти, выработанные в Порадиме, под Плевной, незадолго до падения этой последней, шли гораздо дальше того, на что соглашалась Россия в дни Константинопольской конференции конца 1876 и начала 1877 года. И разница эта касалась не только военных условий, непосредственно вытекавших из побед, одержанных русскими войсками на поле битвы (контрибуции в 1.400.000.000 франков, которую на $^3/_4$ русское правительство соглашалось заменить территориальными приобретениями в Малой Азии), но и чисто-политических последствий войны. Константинопольская конференция требовала для славянских областей только административной автономии: порадимский проект устанавливал фактически полную независимость от турок Болгарии, которая притом должна была быть на продолжительный срок оккупирована русскими войсками. Пределы этого новаго государства очерчивались по чисто-этнографическому принципу—пределами распростра-

нения болгарского языка: благодаря этому, половина Балканского полуострова — от Дуная до Эгейскаго моря с севера на юг, и от Охридскаго озера (в Македонии) до Черного моря с запада на восток — отрезывались от Турции. Что номинально новое государство оставалось вассалом султана,—нисколько не могло утешить последнего, тем более, что турецким войскам был закрыт в него доступ, русские же должны были остаться там на продолжительное время. Вполне прав был один из турецких уполномоченных, когда, увидав проект договора, он воскликнул: „Это конец Турции!“ Это был, действительно, конец Европейской Турции. Зато для Боснии и Герцеговины проект ограничивался административною автономией, ничего не упоминая о возможности оккупации этих областей Австрией.

Естественно возникает вопрос: как же согласовать этот документ с секретной русско-австрийской конвенцией 3 января 1877 года, сущность которой и сводилась к тому, что Боснию с Герцеговиной занимала Австрия, возможность же образования на Балканском полуострове крупного славянского государства раз навсегда исключалась. Предположение, которое высказывается некоторыми из писавших об этом вопросе, будто составители порадимского проекта ничего не знали о конвенции 3-го января, нисколько не разрешает недоразумения, ибо, помимо весьма малой вероятности того, чтобы им было неизвестно о соглашении с Австрией (в штабе главнокомандующего прекрасно о нем знали), о нем уже положительно не мог не знать утвердивший проект Александр II. В виду этого в проекте, кажется, не приходится видеть ничего другого, кроме приема, заимствованного российской дипломатией у российской коммерции и характеризуемого известной поговоркой: „Запрос в карман не лезет“. Заранее предвидя, что наш договор с Турцией будет потребован к пересмотру „великими державами“, и что нам придется многое уступить из своих требований, предусмотрительно ставили рамки последних так, чтобы было с чего „спускать“. В виде дополнительного соображения могла быть и мысль благоприятно подействовать на общественное мнение как Болгарии, так в особенности, России: перед русским обществом чувствовали все-таки некоторый конфуз за Плевну и старались загладить тяжелые впечатления прошлого широкими перспективами будущего. А если бы эти последние не удались, всегда можно было свалить вину на коварство завидующей нам Европы. По этим же причинам, договориться с турками был послан популярный в славянофильских кругах и в то же время знаменитый своей способностью торговаться Игнатьев, который, однакоже, как мы знаем, не пользовался полным доверием своего начальства и не был посвящен во все его планы.

Для заключения „демонстративного“ мира он годился, как нельзя более, а затем деловые уже переговоры с „Европой“ могли быть переданы и в другие руки.

Итак, заключая сан-стефанский мир (он был подписан 19-го февраля,—ровно через месяц после принятия турками основных его положений и заключения перемирия), русская дипломатия играла некоторого рода комедию, о чем невольно и проговорился Александр Николаевич в телеграмме, отвечавшей на поздравление главнокомандующего: „Лишь бы европейская конференция,—так заканчивалась телеграмма,—не испортила того, чего мы достигли нашей кровью“ [1]). Играли, с своей стороны, комедию и турки,—только совсем из других соображений. Им нужно было выиграть время для восстановления, хотя отчасти, своей армии и иметь поводы, чтобы вызвать вмешательство Европы: последнее было тем вероятнее, чем шире были уступки, сделанные России. Как только турецкое правительство постигло это, оно очень охотно пошло навстречу России в таком, например, пункте, как право прохода русских военных судов через проливы: оно прекрасно понимало, что уже один разговор об этом совершенно обеспечивает вмешательство в дело Англии. Тем временем в Константинополь усиленно свозились войска из очищенных турками на основании перемирия крепостей и с других театров войны. К началу весны турецкая столица была прикрыта стотысячной армией и основательно укреплена. Турция могла теперь спокойно выжидать результатов „европейской конференции“, которой справедливо опасался император Александр II.

В то время, как положение противника России, таким образом, с каждым месяцем улучшалось, положение ее самой становилось все затруднительнее. Переутомленная форсированным зимним походом армия быстро редела от тифа и других болезней. Попытка заключить займы фактически не удавалась,—большая часть облигаций так-называемых „восточных“ займов на первое время осталась в портфеле тех банкиров, которые предложили правительству свое посредничество. Приходилось покрывать экстренные военные издержки путем усиленного выпуска бумажных денег [2]). С перенесением театра войны на берега Босфора и Эгейского моря все большее значение при-

[1]) Самое поздравление носило такой же характер „драматического эффекта“: „В день освобождения крестьян,—писал главнокомандующий,—вы освободили христиан из под ига мусульманского“. Ради этого эффекта, чтобы ускорить переговоры и покончить дело к 19-му февраля, Игнатьев поступился кое-какими из первоначальных русских требований...

[2]) Их было выпущено за два года почти на 468 милл. руб. Общее количество кредитных билетов в обращении к 1879 г. составляло 1146 милл. р. Курс кредитного рубля упал за время войны с 87 до 63 коп. золотом за рубль.

обретал флот, но его, как мы уже неоднократно упоминали, не было, и не только в тех водах. Россия вообще имела в то время только один отвечавший современным требованиям броненосец и несколько панцырных крейсеров, пригодность которых не стояла вне всяких сомнений. За то вне сомнений была непригодность двух построенных для Черного моря броненосцев „истинно-русского“ типа,—так-называемых, по имени изобретателя, „поповок“. В конце-концов возникал вопрос, могут ли эти суда быть использованы, хотя бы как плавучие батареи, о службе же их в открытом море даже и вопроса не поднималось. Судов для крейсерской службы не из чего было даже импровизировать,—вооруженные для этой цели пароходы „Русского общества пароходства и торговли“, учреждения, субсидируемого правительством и почти казенного по своим привычкам, быстротою хода уступали даже турецким броненосцам, не говоря уже об английских. Совсем детской угрозой по адресу Англии было несколько купленных в Америке на собранные по подписке деньги посредственных пароходов, пышно окрещенных „Добровольным флотом“. Впрочем, в этом последнем случае едва ли не имелась в виду та же демонстрация,—желание показать, что правительство и народ готовы употребить все усилия для защиты достоинства России и „купленных кровью“ ее последних приобретений. Наконец, с переходом за Балканы и приближением русской армии к Константинополю, мы потеряли и последнего союзника, который у нас был: Австрия действительно заняла то положение, которое давно приписывалось ей общественным мнением, и вступила в соглашение с Англией.

Совершенно достаточным формальным предлогом для этого были те условия сан-стефанского мира, которые, как мы видели, резко противоречили условиям рейхштадтского соглашения и, тем более, конвенции 3-го января. Но что это был только предлог,—ясно доказывают переговоры гр. Андраши с Англией уже тотчас после первого перехода русских через Балканы, в июле месяце, когда еще никакого порадимского проекта не существовало. Переговоры касались ни более, ни менее, как совокупного вмешательства Англии и Австрии в том случае, если бы победы завели русскую армию слишком далеко, и опасность стала бы угрожать Константинополю. Точки зрения „друга“ России и ее явного врага различались только в том, что англичане не прочь были от немедленных шагов в этом смысле, граф же Андраши смотрел на дело хладнокровнее, справедливо предугадывая, что преждевременный переход Балкан малыми силами принесет России больше вреда, чем пользы. Когда это предвидение оправдалось, и в то же время выдвину-

лась Плевна, разговоры о вмешательстве сами собою прекратились, и Австрия снова сделалась верным „другом“ императора Александра II. В конце июля император Франц-Иосиф нашел нужным еще раз специально подтвердить свои дружественные чувства к России, что произвело очень благоприятное впечатление в русской главной квартире. Выработанный под Плевною проект мирных условий был, конечно, немедленно же сообщен австрийскому кабинету—на правах союзника. Нам, к сожалению, совершенно неизвестно, чем мотивировали при этом русские дипломаты явные и грубые противоречия этого документа с формально данными Австрии обещаниями. Но это и неважно,—по существу дела Австрия никогда бы не примирилась не только с образованием Болгарского царства величиною в половину Балканского полуострова, но и вообще с распространением русского влияния далее Балкан к югу. Мы видели, что и на вступление русских войск в Болгарию она, в свое время, согласилась не без труда, явно предпочитая, чтобы военные действия ограничивались Малой Азией. Ответ Андраши на порадимский проект нетрудно было угадать: австрийский министр заявлял, что проектируемая Болгария и есть то самое „сплошное славянское государство“, на образование которого Австрия ни под каким видом не согласна, а что заключение с Турцией отдельного мира, без участия Австрии, совершенно не согласуется с отношениями, в каких стоит это последнее государство к России; что в виду этого австрийское правительство может признать лишь договор, в котором интересы австро-венгерской монархии будут достаточно ограждены: при этом прибавлялось, что, поскольку договор касается интересов всей Европы, он должен получить утверждение и от всех держав, подписавших трактат 1856 года. Этою последней прибавкой Андраши явно становился на одну почву с Англией, которая в то же самое время заявила устами лорда Дерби, что „всякий договор, заключенный между Россией и Портой, касающийся договоров 1856 и 1871 годов, должен быть трактатом европейским и не будет действителен без согласия держав-участниц помянутых договоров“ [1]). Своей точки зрения ни Англия, ни Австрия не только не думали держать в секрете, но, наоборот, старались огласить ее возможно шире: оба правительства поспешили сделать в упомянутом смысле заявления и в Константинополе. После этого Порта, разумеется, могла смело подписать какое угодно обязательство: она могла быть уверена, что оно обойдется ей не дороже исписанного листа бумаги.

---

[1]) Татищев. „Александр II“.

Положение русских правящих сфер психологически было чрезвычайное трудное. Что будет торг, можно было предвидеть и, по всей вероятности, хорошо предвидели заранее. Необходимы были уступки,—это ясно сознавалось; но на чем должны были они остановиться? Тут-то и начинались мучения Тантала. С одной стороны, воспоминания о совсем недавних блестящих победах подстрекали быть возможно решительнее и запосчивее. После такого военного торжества, каким был поход из-под Плевны к Константинополю, стыдно, казалось, уступать угрозам, за которыми, может-быть, еще и не скрывается ничего серьезного. Ведь, Англия так слаба на сухом пути, Австрии же не даст начать войну наш старый и верный друг, император Вильгельм. Быть-может, обе они только пугают,—стоит не поддаться панике, и как много можно тогда выиграть! Но, с другой стороны, вдруг эти угрозы станут реальностью; вдруг Германия выдаст, и Россия окажется, действительно, перед коалицией 1854 г., воскресшей почти в полном составе? Повторение Севастополя,—это понимали все,—было тогда неизбежно, а обстановка внутри России была в десять раз хуже. Тогда был налицо лишь сырой материал для революции, которую некому было начать. Теперь революция и сама поднимала голову, не дожидаясь внешней неудачи, которая должна была удесятерить ее силы. Недаром в спешной, лихорадочной телеграфной переписке императора с главнокомандующим, рядом с монархами, дипломатами и генералами, неожиданно проскакивает „какая-то нигилистка“, в упор выстрелившая в „бедного Трепова“. При таких условиях из-за второго Севастополя выглядывал второй Седан. Что было предпринять? Может-быть, ничто так не характеризует смятение умов, царившее в Петербурге, как возникший там в марте 1878 года и настойчиво проводившийся проект—завладеть Босфором при содействии самой Турции! Предполагалось, что эта последняя, если ее хорошенько пугнуть штурмом Царьграда, легко согласится разоружить свою армию и отдать в наши руки укрепления, защищающие пролив со стороны Черного моря. Самый город Константинополь станет тогда нейтральным, а выход из него в Черное море будет в наших рукак. Как ни склонен был великий князь Николай Николаевич к рискованным предприятиям, но этот план даже ему показался до-нельзя диким. На месте всякому было ясно, не исключая, конечно, и турок, что штурм Константинополя, теперь прекрасно укрепленного и защищенного, может стать лишь третьей Плевной в квадрате, и что угрозы этой, очевидно, никто не испугается. От турок можно было ожидать содействия только, если бы оно было им очень выгодно, т.-е. если бы, например, Россия сама отказалась от большей части сан-сте-

фанского трактата. На это султан довольно прозрачно и намекал главнокомандующему при их личном свидании, но, ведь, все дело и было затеяно ради сохранения этого трактата в возможной неприкосновенности: сделка, на которую намекал султан, сама себя лишала всякой цены. Николай Николаевич отвечал сначала уклончиво, но, наконец, должен был высказать свое решительное несогласие с петербургским проектом. В ответ на это из Петербурга вежливо спросили: позволяет ли здоровье великому князю оставаться на своем посту? Главнокомандующий понял намек и подал в отставку. Но назначенный на его место Тотлебен мог только подкрепить прежний ответ всею силою своего военного авторитета: он категорически заявил, что на удачу при данных обстоятельствах рассчитывать нельзя, а неудачный исход операции на берегах Босфора будет равняться проигрышу только-что выигранной с таким трудом кампании, если еще не худшему. Действительно, являлось даже вопросом, удастся ли русской армии вернуться из-за Дуная в случае новой войны; не будет ли она там заперта со всех сторон и вынуждена положить оружие? Дело в том, что нашей заносчивости уже удалось приобщить к списку наших врагов и вчерашнюю союзницу России—Румынию, крайне оскорбленную как тем, что сан-стефанский мир заключили без всякого с ее стороны участия, так и в особенности тем, что, не спрашивая ее, уже решено было отобрать у нее населенную по большей части румынами Бессарабию в обмен на Добруджу, более обширную, но болгарскую, а не румынскую. А когда протесты Румынии вызвали в Петербурге один из горячечных проектов этой поры—разоружить румынскую армию—король Карл ответил, что его войска могут быть истреблены в бою, но добровольно оружия не отдадут. Между тем, при невозможности помешать английскому флоту занять Черное море, Румыния была единственным путем отступления для русской армии. Имея ее против себя, нельзя было рискнуть на войну даже с одной Англией, не говоря уже об англо-австрийской коалиции.

Когда в Петербурге угар от недавних побед стал понемногу проходить, и трезвое отношение к делу начало вступать в свои права, налицо оказалось только два возможных выхода: или обратиться к посредничеству неизменно доброжелательствовавшей нам Германии, или вступить в непосредственные переговоры со своими главными противниками. Первое было бы, конечно, приятнее для чувства собственного достоинства. Но Бисмарк, весьма довольный тем, что ему удалось столкнуть лбами Австрию и Россию на Балканском полуострове, держался строжайшего нейтралитета, заявлял, что Германия не прочь взять на себя роль „частного маклера“, если ее попросят о том

обе стороны, но не будет помогать ни той, ни другой. Оставались прямые переговоры: их начали с Англией, отношения к которой были особенно острыми,—начали, разумеется, в величайшем секрете. Очень скоро обнаружилось, что англичане, не уступая ни пяди в том, что касалось их действительных интересов, положения Константинополя и проливов, вовсе не склонны воевать из-за всего остального. В вопросе о Болгарии они выставили только требование, чтобы независимое княжество было ограничено страною к северу от Балкан, южная же Болгария удовлетворилась бы административной автономией. Утомленный всеми последними треволнениями Александр Николаевич выразился по этому поводу, что ему все равно,—пусть будут две или даже три Болгарии,—только бы дело это кончилось. Их в действительности и вышло три, так как в конце-концов пределы и южной Болгарии были ограничены филиппопольским генерал-губернаторством, и македонские болгары не получили даже административной автономии. К немалому удивлению русского правительства англичане не протестовали даже против присоединения к России Батума и потребовали только обратной передачи туркам Баязета, не имевшего никакого экономического значения, но, правда, большое военное. Против возвращения России Бессарабии они также ничего не имели. А по поводу военной контрибуции оговорили только интересы английских кредиторов Порты. На этих условиях, гораздо более благоприятных, чем каких ожидали в Петербурге, 18-го мая и были подписаны в Лондоне тайные конвенции, фактически ликвидировавшие все дело. Австрия после этой ликвидации могла желать только одного—получить свою долю, но об этом, собственно говоря, с нею и не предполагалось спорить. На берлинском конгрессе, заседания которого открылись две недели спустя после англо-русского соглашения, Австрия и получила удовлетворение: ей было предоставлено оккупировать своими войсками Боснию и Герцеговину.

После сделки с Англией этот конгресс, созванный Германией по просьбе русского правительства, не мог дать России ничего существенно нового ни в хорошую, ни в дурную сторону. В основных чертах он оформил согласием Европы условия секретной лондонской конвенции 18-го мая. Он покончил с фикцией зависимости от султана тех балканских государств, которые возникли в первой половине XIX века,—Сербия, Румыния,—фактически давно отпавших от Турецкой империи. Первая, как и Черногория, получила значительное территориальное приращение, а вторая отстояла устья Дуная: Бессарабия была возвращена России без них. Но все эти мелкие успехи и неудачи не могли закрыть главного, чем и решался вопрос о

том, что выиграла Россия от войны 1877 года. Это главное заключалось в судьбе русского влияния в Болгарии. Станет ли эта страна тем, о чем мечтали славянофилы, или передастся „Европе“ и в конце-концов станет одним из тормозов для распространения „истинно-русской“ идеологии? Мы видели, что история фактически ответила на этот вопрос еще раньше войны, и ответ этот уже знал наиболее чуткий из славянофилов, К. Леонтьев. Немного времени понадобилось, чтобы истина стала ясна и всему русскому обществу. Никакой конгресс тут ничего сделать не мог, и хотя в Берлине и были приняты некоторые меры к ограничению русского влияния за Дунаем,—в роде значительного сокращения срока оккупации русскими войсками Болгарии (вместо двух лет—девять месяцев),—но разве в этом было дело? Вполне понятно, почему берлинский конгресс в глазах известной части русского общества стал символом крушения надежд и упований, связанных с войной за „освобождение славян“, в особенности, если принять в расчет, что о лондонской конвенции это общество ничего не знало. Но значение его, как всякого символа, было чисто субъективное: в объективной обстановке он ничего изменить не мог.

Объективный смысл „второй восточной войны“ императора Александра Николаевича вскрылся гораздо раньше—на полях Плевны: не дипломатический финал войны, а еще она сама показала полную неспособность русской реакции бороться с европейским или даже хотя бы обученным европейцами противником. Если крепостной режим не хотел отказаться от самого себя, ему оставалось только тщательно воздерживаться от всякого вмешательства в дела Европы, заботясь только о том, чтобы и она в его дела не мешалась. Эту истину и сознал главный инициатор войны 1877 года—будущий царь-миротворец. Внешняя политика Александра III была прямым последствием опыта русско-турецкой войны. Двадцать лет спустя опыт был позабыт,—начались снова попытки „активной политики“, но уже на другом театре. История дала новое предостереженне—третье по общему счету; третье предостережение обыкновенно бывает последним...

Внешняя политика России в конце XIX в.

I. Русско-французский союз.

В январе 1887 года в Париж приехала болгарская депутация, которую народное собрание послало просить помощи у европейских кабинетов против России. Болгары желали, в сущности, немногого: освобожденные русскими, они хотели на практике воспользоваться этой свободой, выбрав себе такого государя, который был им по нраву. Бойкот, объявленный болгарскому трону русским правительством, лишал их всякой возможности к этому [1]). Но в силу берлинского трактата, охрана болгарской независимости не составляла привилегии одной России,—эту независимость обязаны были, наравне с нею, защищать все прочие державы, подписавшие трактат 1878 года. Апеллировать к ним против перешедшей меру дозволенного „освободительницы“ юридически было вполне правильно. Степень сочувствия, которое надеялись найти болгарские делегаты в европейских столицах, могла быть очень различна, в зависимости от тех или иных международных комбинаций; но что против „претензий“ болгарского народа нечего возразить по существу, в этом были одинаково уверены как те, кто ехал бить челом Европе на Россию, так и те, к кому челобитье было обращено. Прием, оказанный депутации в Лондоне, мог только ободрить; от Парижа не ждали иного,—не ждали, между прочим, и сами французские дипломаты. Но их глава думал иначе. В ответ на заявление болгар об их непререкаемом праве, французский министр иностранных дел Флуранс напомнил депутации о чувствах, которые болгары должны питать к их освободительнице, России. Он дал понять при этом своим гостям, что собственно он вовсе не обязан с ними разговаривать: так как Болгария—вассал Турции, то она и не имеет никакого права самостоятельно сноситься с европейскими державами. А, так-сказать, по дружбе, он, Флуранс, советует болгарскому народу не ссориться с русскими и делать то, что они

[1]) О русско-болгарских отношениях см. ниже, стр. 204 и след.

прикажут. Таков был, по крайней мере, „краткий смысл“ его „длинной речи“.

„Такое поведение“ руководителя французской иностранной политики „глубоко тронуло русское правительство“,—пишет историк русско-французского союза. Получив известие о совершенно неожиданном выступлении Флуранса, петербургский кабинет, по словам этого историка, простил республике то, что она некогда отказалась выдать революционера, покушавшегося на жизнь императора Александра II, и даже то, что тот же французский кабинет осмелился отозвать из Петербурга генерала Аппера, пользовавшегося всеми симпатиями русского двора,—отозвать под тем, совершенно недостаточным предлогом, что Аппер был орлеанист, а не республиканец. Все было забыто. „Флуранс поставил первую веху на пути русско-французской дружбы“,—так резюмировал значение этого достопамятного события другой историк этой дружбы [1]).

Русское правительство имело возможность тотчас же дать на деле доказательства своих чувств. Спустя всего три недели после приема болгарской делегации французский министр иностранных дел мог с торжеством предъявить своим коллегам зрелые плоды своего, несколько экстравагантного и в первую минуту немного смутившего этих коллег поступка. 1886—87 гг. были весной буланжистской агитации во Франции; какую роль и в ней играла русско-французская дружба,—мы увидим после. Провал буланжизма оборвал эту любопытную историю на самом любопытном месте; но к началу 1887 года, если не в области русско-французских, то в области международных отношений вообще, деятельность „бравого генерала“ уже давала себя чувствовать. С восточного берега Рейна очень внимательно наблюдали за тем, что делалось по ту сторону Вогезов, и бряцание сабель, начавшее слышаться во Франции, не могло укрыться от чуткого слуха немецких сторожевых. А когда Буланже—тогда военный министр Франции—без всякой видимой причины стал концентрировать военные силы республики на ее восточной границе, в Берлине решение было принято. Раз Франция хочет воевать, ее нужно предупредить. А так как Россия была привычным тыловым заслоном Германии в подобных случаях, то естественно было обратиться к ней с запросом, намерена ли она и в 1887 году держаться той же политики, которая привела пруссаков в Париж в 1871 году. Но теперь Германия своей болгарской политикой задела русский кабинет в том, что для него было наиболее чувствительно, а Франция в этом

---

[1]) E. Daudet, „Histoire diplomatique de l'Alliance franco-russe“, pp. 203—206. J. Hansen. „Ambassade á Paris du baron de Mohrenheim“, p. 26.

именно сумела быть ему приятной. Аудиенция германского посла в Петербурге, генерала Швейница, окончилась таким заявлением его высокого собеседника, к которому Бисмарк едва ли был совершенно готов, как ни ясно уже чувствовалось некоторое охлаждение старинной русско-немецкой дружбы. Россия уже три раза выручала Пруссию,—таков, будто бы, был смысл заявления,—не может же это продолжаться вечно. Особенно теперь, когда Германия в союзе с Австрией, которая стоит поперек дороги России в болгарском вопросе. Россия не считает себя в праве допустить разгром Франции, что совершенно нарушило бы европейское равновесие; она не может, поэтому, не только обещать какое-либо содействие Германии, но не обещает даже сохранить и нейтралитет в случае новой франко-немецкой войны [1]).

Вместо тылового заслона прусская армия могла теперь рассчитывать на нападение с тылу. Вместо изолированной франко-прусской войны получалось европейское столкновение невиданного со времен Наполеона I масштаба. Это заставляло задуматься. Есть все основания предполагать, что Бисмарк знал истинную цену фанфаронадам генерала Буланже: безусловной необходимости воевать для Германии еще не было. Но что сейчас война была бы выгоднее немцам, которые, по словам Мольтке, были готовы, как никогда,—чем французам, только-что приступившим к перевооружению своей армии малокалиберным ружьем,—в этом также нельзя было сомневаться. Как опытный дипломат, Бисмарк умел пользоваться провокацией и в международных отношениях: если нельзя объявить войну Франции, не рискуя нажить хлопот на восточной границе, то нельзя ли заставить Францию объявить Германской империи войну? Увидев французов в роли нападающих, России будет вдвое труднее разорвать дружбу со старым Вильгельмом I,—дружбу, еще недавно заново скрепленную скерневицким соглашением 1884 г., которому формально и срок еще не вышел (он истекал лишь в сентябре 1887 года). Зная темперамент генерала Буланже, с одной стороны, нараставший шовинизм французской буржуазии, с другой, на какую-нибудь необдуманность со стороны Франции можно было рассчитывать с достаточной степенью вероятности, если только умело взяться за дело. На такой почве вырос „инцидент Шнебеле“, арест французского чиновника на германской почве по обвинению в измене... Германской империи. Но признательность русского двора к его новому другу помогла последнему выдержать и это испытание.

---

[1]) Hansen, op. cit., 30—31 со слов барона Моренгейма, тогдашнего русского посла в Париже.

Русский император написал Вильгельму I письмо, из которого видно было, что русское правительство понимает арест Шнебеле именно, как провокацию, и сообразно с этим будет действовать. К большому огорчению Мольтке, войну пришлось отложить,—Флуранс мог торжествовать еще раз.

Прием болгарской депутации французским министром имел место в первых числах января, а „инцидент Шнебеле" мог считаться исчерпанным к концу апреля; четыре месяца, отделяющие эти два события, весна 1887 года, были весною и русско-французского союза. Новые друзья России не прочь были формально закрепить его тогда же; но в этот момент русский кабинет еще не чувствовал себя готовым формально стать союзником республики, внутренняя политика которой продолжала возбуждать в нем некоторые сомнения. Республика должна была представить своего рода свидетельство о благонадежности,—а она могла это сделать, как увидим, только к концу десятилетия, в 1890 году. До этого времени Флуранс и его коллеги должны были довольствоваться „добрыми чувствами" русского правительства, не обеспеченными никакой юридической гарантией. Пока это был еще не союз в собственном смысле этого слова (alliance), а только „доброе согласие", или „взаимное понимание", как можно, грубо этимологически, перевести слово „entente".

Приведет ли оно к чему-нибудь более прочному, весною 1887 года этого еще нельзя было сказать наверное. В прошлом дипломатических отношений между обеими странами были моменты, когда „доброе согласие" казалось еще более обеспеченным, но какая-нибудь несчастная случайность всегда мешала делу дойти до конца. Присматриваясь к этим прошлым неудачным попыткам русско-французского союза, можно, однако, заметить, что случайности не лишены были некоторой системы. В первый раз, после наполеоновских войн, о „союзе" зашла речь в те дни, когда армия Николая Павловича начала испытывать некоторые затруднения в своей задунайской кампании 1828 года. На престоле Франции сидел тогда последний Бурбон, Карл X, по своим политическим симпатиям и антипатиям как нельзя быть более солидарный с русским государем, который искал теперь его помощи. В обмен за эту последнюю Николай предлагал, во-первых, Алжир (как видим, награждать за услуги в Азии кусками Африки было уже и тогда в обычае), а, во-вторых, некоторые перспективы на возвращение Франции ее „естественных границ", т.-е. западного берега Рейна. Министров Карла X особенно соблазняли эти перспективы, по поводу которых королю был представлен очень красноречивый доклад, написанный Шатобрианом. Союз скоро стал нужнее

Франции, чем России, потому что из своих балканских затруднений Николаю Павловичу, благодаря победам Дибича, скоро удалось высвободиться. К Франции Карла X, однако, он и после этого продолжал относиться благосклонно, и некоторые свидетели не считают невозможным, что самый договор русско-французского союза был уже составлен, если не ратифицирован окончательно. Но с ним, во всяком случае, не спешили; а французский народ, со свойственной ему нетерпеливостью, не стал ждать, пока политика Карла X принесет все возможные плоды. Июльская революция низвергла последнего Бурбона, а как Николай Павлович относился к его преемнику, это мы уже видели в своем месте. Нараставшее отчуждение от новой, буржуазной и капиталистической Франции закончилось Крымской войной. Мы опять-таки уже видели, что этот тяжелый урок не прошел бесследно. Французский император, сравнительно с которым столь презиравшийся Николаем Людовик-Филипп был образцом аристократизма и законности, стал на-время другом и даже покровителем. Но страх прошел, а привычки остались. Уже с 1863 года Россия шла по привычной, торной дороге, рука об руку с юнкерской Пруссией, находя и ее по временам чересчур радикальной. В 1870 году ничто не могло заставить русский кабинет сойти с этого пути. Не только Россия все время держала за руки Австрию, не только просьба императрицы Евгении о русском посредничестве осталась без всякого ответа, но еще, что менее известно, русское правительство избавило Пруссию от крайне неудобной для нее диверсии со стороны французского флота на Балтийском море. Французы могли рассчитывать на успех, лишь пользуясь датскими гаванями. Дания, помня 1864 год, вероятно, не очень расположена была этому противиться; в свое оправдание она всегда могла сослаться на force majeure, ибо, действительно, между датскими морскими силами и флотом второй в то время в Европе морской державы не было никакого соответствия. Но русский посланник в Копенгагене решил дело; по его настоянию, русское правительство формально заявило, что вмешательство Дании во франко-прусскую войну вызовет немедленное вмешательство в войну России. Флот Наполеона III остался без базы в Балтийском море, и, как известно, его операции там окончились ничем; пруссаки могли спокойно увести все свои войска во Францию, не боясь, что им высадят десант в тылу. Стоит отметить, что достигший этого русский дипломат был тот самый барон Моренгейм, который впоследствии, в Париже, был одним из творцов русско-французского „доброго согласия". Это был его первый дипломатический успех, с него началась его карьера [1]).

[1]) Hansen, o. c., IX.

Как это ни странно, но превращение Франции в республику скорее улучшило, чем ухудшило взаимные отношения. Наскоро надевшие на себя фригийский колпак роялисты времен Тьера и Мак-Магона казались в Петербурге гораздо более благонадежными, нежели слуги демократической, хотя бы только по вывеске, диктатуры Бонапартов. Уже в правительстве национальной обороны Россия имела друга в лице графа Шодорди, директора дипломатической канцелярии при Гамбетте, того самого, что так энергично противился приглашению Гарибальди во Францию и усердно звал на службу республике 4 сентября папских зуавов и бретонских шуанов; того самого, который по поводу занятия Рима войсками Виктора-Эммануила счел нужным прежде всего другого напомнить, что Франция и в ее новом, республиканском костюме остается „старшей дочерью католической церкви". На константинопольской конференции в январе 1877 года он был „с русскими", конечно, не потому только, что пославший его на эту конференцию Мак-Магон приказал ему быть с ними [1]). Между французскими дипломатами этого типа и руководителем русской внешней политики, кн. Горчаковым, скоро установились очень теплые, почти интимные отношения. Французский посол в Петербурге, генерал Лефло, был человек, совершенно чуждый политике, и в этом кн. Горчаков не без основания видел его большое преимущество. Александр II, видимо, ценил его. Когда в 1875 г. русский император своим вмешательством предотвратил рецидив франко-прусской войны [2]), это было столько же результатом добрых личных отношений, сколько симптомом начавшегося поворота в русской внешней политике. И надо было, чтобы внутренняя политика Франции испортила именно эти личные отношения, когда они только-что так хорошо наладились. Осенью 1878 г. режим Мак-Магона пал, и место костюмированных роялистов и бонапартистов заняли люди, имевшие некоторое право говорить о республике. На берлинском конгрессе Францию представлял уже не Шодорди, а Ваддингтон, который был не „с русскими", а „с англичанами". Дело „союза" опять потонуло на много лет.

Оно, однакоже, должно было выплыть рано или поздно. Если Франция хотела вести активную внешнюю политику, а не превратиться в государство, так-сказать по профессии „мирное", как Бельгия или Швейцария, она не могла обойтись без союзника на европейском континенте. По совершенно спра-

---

[1]) „Vous serez avec les Russes!"—сказал президент республики Шодорди на прощальной аудиенции. См. Daudet, op. cit. p. 69.

[2]) См. об этом выше, „Восточный вопрос".

ведливой оценке одного военного авторитета, главное значение той ампутации, которую совершили над Францией в 1871 г., отрезав от нея Лотарингию и Эльзас, было не в оскорблении национального самолюбия французов — моральные факторы редко имеют решающее значение в вопросах внешней политики,—а в том, что Франция стратегически попала в положение, по крайней мере, втрое худшее, чем ее восточная соседка. В то время, как разгром германской армии в первых битвах на границе означал для этой армии только отступление за Рейн—не более, и даже после потери линии Рейна Берлин оставался достаточно прикрытым, для французов первая же неудача означала перенесение театра войны под стены Парижа и повторение всех ужасов осады 1870—71 годов. Победить в первом же сражении для немцев было бы лишь очень желательно, для Франции—было необходимо [1]). Но другого ценного в военном отношении союзника против Германии, кроме России, найти было негде. Вот отчего французские националисты всех оттенков всегда сходились на руссофильстве, а скептическое отношение к России сделалось уделом групп и партий, отказывавшихся от активной политики, —хотя бы только для Европы. Сторонники франко-германского соглашения, как и сторонники союза Франции с Австрией, всегда представляли ничтожное исключение. Корреспондент националистского „Gaulois“ бывший в России на коронации Александра III, в 1883 году, больше всего был занят вопросом о возможности русско-французского союза. Он с удовольствием отмечает непопулярность, как ему кажется, немцев среди русского народа и с тревогой— влияние их в правящих кругах. Он охотнее всего устроил бы тройственный союз против Германии из Франции, России и Австрии, но в крайнем случае готов удовлетвориться и двумя первыми. И если горячие речи и тосты в честь Франции на банкете, устроенном русскими журналистами своим иностранным коллегам (пили, между прочим, и за возвращение Эльзас-Лотарингии французам), оставляют его довольно холодным, то больше потому, что он хорошо сознает все ничтожество русской прессы, как политической силы. Он больше надеется на русское правительство, чем на русское общественное мнение, а боится больше всего, как бы Россия не попала в руки „нигилистов“ [2]).

Это опасливое внимание к таинственной силе, одинаково враждебной как буржуазии, так и самодержавию, отнюдь не

---

[1]) См. Stoffel, „De la possibilité d'une future alliance franco-allemande“. Автор делает из этого факта иные выводы, чем сделала история, но мы берем лишь его военные аргументы.

[2]) Louis Test, „Alexandre III et la Russie, lettre au *Gaulois*“, Paris 1883.

было личной особенностью нашего автора. Мы скоро увидим, что именно „нигилистам“ суждено было стать сначала яблоком раздора, а потом, в известном смысле, залогом согласия двух правительств. Но не только симпатии и опасения, а и стратегические расчеты, сами по себе, не могли бы нам объяснить, почему был заключен в исходе восьмидесятых годов союз, с точки зрения военной логики необходимый уже в семидесятых. Причины двенадцатилетней оттяжки решительного момента приходится искать около самой оси всякой внешней политики—в области экономических отношений.

Франко-прусская война положила конец не только господству династии Бонапартов во Франции, но и всяким надеждам на господство французского капитализма над капиталистической Европой. Уже всемирная выставка 1867 года показала французским предпринимателям, что они занимают на европейском рынке не второе место (первого никто еще не решался оспаривать у Англии), а, пожалуй, третье. Война и созданный ею пятимиллиардный долг Франции немцам решили дело окончательно. Французские „сбережения“ целых пять лет должны были итти на оплодотворение не национальной, а чужой, германской, промышленности. Когда, в половине семидесятых годов, это кровопускание закончилось, об обратном отвоевании потерянного европейского рынка так же мало могла итти речь, как и о возвращении отнятых в 1871 году восточных департаментов. Приходилось искать сбыта где-нибудь в другом месте. Ответом на эту потребность и была колониальная политика Жюля Ферри (1880—1885). Впоследствии, когда эта политика потерпела неудачу, французские публицисты из руссофильского лагеря и здесь усмотрели „интригу“ князя Бисмарка, толкнувшего, будто бы, республику в заморские авантюры, чтобы развязать себе руки в Европе. Но германский канцлер был тут ни при чем: националистская публицистика смешала причину со следствием. Это Жюлю Ферри нужно было поддерживать хорошие отношения с Германией, чтобы печальные европейские осложнения не испортили ему как-нибудь внеевропейских конъюнктур, а к этим последним его толкала экономическая необходимость. Как бы то ни было, несомненно, что правление Ферри отмечено одновременно и чем-то в роде entente franco-allemande, и рядом колониальных захватов. Первой намеченной жертвой французского капитализма в новой стадии его развития стал Тунис. Но полуварварская страна с ограниченными потребностями могла служить лишь очень плохой заменой утраченного в Европе. В более далеких областях восточной Азии, на границах захваченной еще Наполеоном III Кохинхины. французская промышленность могла найти потре-

бителя совсем иного рода, в лице многолюдного, трудолюбивого и относительно высококультурного населения южного Китая. Как набеги кочевых племен на границы Алжира,—набеги, на которые до конца семидесятых годов никто не обращал решительно никакого внимания,—дали предлог к оккупации Туниса, так испокон века грабившие аннамитские разбойники в начале восьмидесятых годов вдруг обеспокоили французское правительство: явился повод для тонкинской экспедиции. То было главное поле битвы французского колониализма: война с аннамитскими разбойниками очень скоро перешла в форменную, хотя и не объявленную формально войну с Китаем. Падающая на этот же период первая экспедиция на Мадагаскар была, сравнительно с тонкинской войной, ничтожным боковым ответвлением колониальной политики Франции в первой половине восьмидесятых годов.

Но и в этом мелком деле, как и в самом крупном, Жюля Ферри ждали одинаковые неудачи. В Тунисе французы третьей республики оказались такими же усердными администраторами и такими же несчастливыми колонистами, какими были они в заморских странах в дни Кольбера. Захват Туниса европейцами открыл туда дорогу не французской, а итальянской колонизации. В то время как в 1881 году в Тунисе было всего 20.000 итальянцев, в 1896 их считали уже 50.000. Но еще хуже кончилась восточно-азиатская авантюра: франко-китайская война ознаменовалась событием, совершенно неслыханным и неприятным для Франции не только в своем местном значении, но и как симптом того, что французская военная сила страдает едва ли не такими же дефектами, как и в 1870 г. Французские войска вынуждены были отступить перед китайцами, и как ни старалась патриотическая французская пресса объяснить эту неудачу мудрыми стратегическими расчетами французских генералов, не понятными для непосвященных,—она только лишний раз досадно напоминала аналогичные объяснения военного министра Второй империи после мецких неудач армии Базена. 322 миллиона франков денег, брошенных на ветер, и десять тысяч человеческих жизней составили итог Тонкина; этого итога оказалось достаточно, чтобы Жюль Ферри сделался на несколько лет самым непопулярным человеком во Франции.

Из колониальной политики ничего не выходило,—надо было искать выхода в другом месте. Весною 1885 года кончилась политическая карьера Ферри, а год спустя один бойкий публицист, ухитрявшийся быть патриотом двух стран одновременно, и России, и Франции, уже прославлял финансовое могущество Франции на страницах „Московских Ведомостей“.

А еще несколько месяцев спустя президент французской республики, отпуская с одним интимным поручением в Россию другого патриота двух отечеств, в числе прочих аргументов желательности русско-французского сближения, приводил и ту поддержку, какую могут оказать России французские капиталы. В то же самое время один мелкий банкирский дом Парижа, делавший свою карьеру на „добром согласии“ самодержавной монархии и демократической республики, стал публиковать особенно подробные и тщательные отчеты о положении русских финансов. Из отчетов, предназначенных для французской публики, вытекало, разумеется, что у нас все обстоит более чем благополучно [1]).

Зверь бежал в данном случае на ловца. До сих пор роль придворного маклера по части заграничных займов играли в России берлинские банкиры. Их клиэнтелой была немецкая буржуазия. Но немецкому капиталу было достаточно дела у себя дома, чтобы итти за границу на слишком льготных для этой заграницы условиях. К тому же колониальная горячка была своего рода эпидемической болезнью, переходившей из страны в страну: как-раз во второй половине восьмидесятых годов первые пароксизмы этой болезни начинали чувствоваться уже в Германии. Различные экзотические бумаги пользовались на берлинской бирже гораздо большим фавором, чем русские. Обострение политических отношений из-за Болгарии докончило дело. Союзница Австрии, Германия, прямо была заинтересована в том, чтобы лишить Россию финансовой возможности начать войну против покровительницы болгарских „мятежников“. Малый интерес, который представляли русские займы для немецкого рынка, позволял вести против этих последних прямую кампанию, не особенно стесняясь. Дошло до того, что имперский банк вовсе отказался принимать в залог долговые обязательства русского правительства, а по его примеру стали бойкотировать русские ценности и частные банки. Если этим надеялись загнать русского министра финансов в тупик, то, нужно сказать, момент был выбран не слишком удачно. Деньги давно так не были дешевы на европейском рынке, как в 1887—1888 годах: сравнительно с началом десятилетия доходность капиталов упала на 10 и даже на 12% [2]). В то самое время, как германские капиталисты почувствовали вкус к заморским предприятиям, к ним утратили вкус французские. Вопрос о том, кому первому принадлежит идея „свя-

[1]) См. E. de Cyon (sic!), „Histoire de l'entente franco-russe“, p. 142. Hansen, „Alliance fr.-r.“; 37.

[2]) Цион. „Итоги финансового управления г. Вышнеградского“, Париж, 1892, стр. 12.

зать два народа союзом интересов" и дать, так-сказать, металлическую прочность русско-французским симпатиям, вопрос этот был предметом довольно острой полемики на страницах печати известного типа. Тот патриот двух стран, который первый стал „восхвалять" могущество французского капитала в русских газетах, приписывал всю инициативу себе [1]); но, кажется, правильнее видеть здесь результат сотрудничества целого ряда биржевых агентов. Среди них не последнее место принадлежало одному русскому патриоту, датского происхождения, но натурализованному во Франции и стоявшему во главе той самой парижской банкирской конторы, которая строила свое будущее не столько на зыбком песке чисто-биржевых спекуляций, сколько на солидном основании политических и даже придворных связей, и потому с особенной симпатией относилась к русскому министерству финансов. История первого займа, заключенного при его посредстве, не лишена драматических моментов и по праву занимает не одну страницу в летописях русско-французского сближения. Г. Госкье—так звали этого банкира,—исполненный бескорыстного усердия к обоюдным интересам как России, так и Франции, сделал несколько поездок из Парижа в Петербург, предлагая свои услуги, но все было тщетно. В министерстве финансов привыкли к Берлину, а еще больше боялись его. Наконец, когда соблазн воспользоваться дешовым кредитом стал особенно велик, а отношение германского правительства к русским фондам не допускало уже более никаких иллюзий, г. Госкье получил из Петербурга приглашение прибыть туда для переговоров. Путешествие было обставлено величайшей таинственностью: цель визита была известна только ближайше заинтересованным лицам, а сношения велись при помощи шифрованных телеграмм. Войдя в роль, парижский банкир одно время думал даже ехать совсем конспиративно—под чужим именем; но ему объяснили, что это уже лишнее. Драматические подробности переговоров между представителем французской биржи и Вышнеградским,—которому его звание министра финансов не мешало, в сущности, с таким же полным правом быть представителем биржи русской,—впоследствии оспаривались; и весьма возможно, что все происходило гораздо проще и прозаичнее, чем рассказывали потом. Но не было надобности в ночных свиданиях и тому подобном, чтобы некоторая приподнятость тона чувствовалась все время около событий, и достойнейшим их завершением была высочайшая аудиенция, данная парижскому банкиру в знак призна-

[1]) „Мысль о перенесении рынка наших фондов во Францию принадлежит мне", — заявлял г. Цион в только-что цитированной нами брошюре, стр. 36. Ср. стр. 11—12.

тельности за оказанные последним России услуги [1]). Мы не будем касаться чисто-финансовой стороны дела: она достаточно детально рассмотрена в другой главе настоящей книги [2]). Для нас важно установить политическое значение факта: начиная с 1888 года, судьбы французского капитала были тесно связаны с судьбами российского самодержавия. „Французский народ, — говоря словами историка союза,— засвидетельствовал свое горячее желание быть связанным с русским также и общностью интересов". Русский крестьянин, когда из него выколачивали недоимку, мог теперь утешать себя мыслью, что деньги за отнятую у него корову пойдут, хотя отчасти, в дружеский карман.

Казалось, теперь ничто уже не мешало окончательному сближению и обоих правительств. С обычной точки зрения, рассматривающей франко-русский союз, как выражение общности военных и в особенности финансовых интересов, действительно, остается необъяснимым, почему для окончательной формулировки отношений понадобилось еще три года временами довольно томительных переговоров. Чтобы понять это, нужно постоянно иметь в виду, что у русско-французской дружбы восьмидесятых годов, кроме политической стороны в общем смысле, была еще сторона политическая в том более специальном смысле, в каком говорят о „политическом преступлении" или о „политической полиции". Позабыв об этой стороне, мы многого не поймем во взаимных отношениях французской дипломатии и русского двора. В Петербурге были более верны традициям старого порядка, чем, может-быть, где бы то ни было в Европе. Вещи, совершенно естественные не только в республиканской Франции, но даже и в монархической Англии, вызывали здесь припадки самого тяжелого недоумения, парализовавшие добросовестнейшие усилия друзей России в Париже. Твердо помня принцип невмешательства в дела другого государства, когда речь шла о своих, русских делах, наша официальная публицистика ежеминутно забывала его, как скоро речь заходила о французских. Катков, по поводу которого один из иностранных дипломатов иронически выразился однажды, что он не знает хорошенько, кто в России министр иностранных дел,—г. Катков или г. Гирс,—на страницах „Московских Ведомостей" имел случай обмолвиться как-то раз, что Россия может быть союзницей только монархической Франции, и довольно открыто,—через г. Циона,—поддерживал отношения с генералом Буланже, которого республике скоро пришлось судить, как заговорщика. Только жгучая потребность

---

1) См. обо всем эпизоде у Daudet, op. cit., pp. 246 ssq.
2) См. „Гос. хоз. Росс.", стр. 96, в т. VI.

в русской армии на случай войны с Германией и горячие симпатии парижской биржи к русскому казначейству могли заставить проглатывать молча подобные вещи. С другой стороны, в русских сферах никак не могли привыкнуть к французскому парламентаризму—к смене министерств в связи с изменением большинства в палате, хотя, за давней привычкой, подобное же явление в Англии никого уже не шокировало. „У вас не знаешь, к кому обратиться,—совершенно искренно было сказано однажды французскому послу в Петербурге: — сегодня одни люди, завтра другие". К тому, что вышедшие из рядов буржуазных парламентариев министры—такое же „правительство", как и составленное из тайных советников и генерал-адъютантов, тоже привыкли не сразу. О французских министрах в Петербурге иногда выражались так, что нужно было опять-таки очень много доброжелательности, чтобы с этим мириться. Но представители французской буржуазии, в качестве истинно-деловых людей, мирились не только с этим. Когда в 1887 году сформировался радикальный кабинет, с Флоке во главе, русский посол вспомнил, что когда-то, в дни юности, Флоке при посещении русским императором Palais de Justice позволил себе крикнуть: „Vive la Pologne, monsieur!" Барон Моренгейм заявил, что с таким президентом совета он не может вести никаких сношений и, вероятно, вынужден будет даже уехать из Парижа. Президент республики (тогда Греви) завел с русским послом форменные переговоры... по поводу состава французского кабинета. Дома, в Петербурге, потом были несколько удивлены таким оборотом дела, находя, что Моренгейм не должен бы был ставить вопрос так круто. Но французские парламентские круги нашли, повидимому, все дело совершенно естественным: в конце-концов, Флоке отказался от принятого им уже на себя поручения составить министерство, место председателя совета занял Рувье, а иностранные дела взял Флуранс, скоро, как мы знаем, успевший заслужить доверие русского двора в высокой степени. Только в начале следующего, 1888 года опасность почти неминуемой войны с Австрией и Германией из-за Болгарии заставила русскую дипломатию пойти на уступки в этом важном вопросе; Флоке был принят в русском посольстве, и в 1889 году Моренгейм уже не противился образованию кабинета Флоке, но заявил, что затруднился бы вести с ним самим официальные сношения, как с министром иностранных дел. Флоке очень желал именно этого портфеля, но подчинился и на этот раз и уступил его Гобле.

Отношения принимали еще более щекотливый характер, когда дело заходило не о чувствах, а уже об интересах русского правительства в данной области. Три случая этого рода

связаны с историей русско-французской дружбы, и только в последнем из них, так-сказать, с третьего разу, французское правительство оказалось на высоте, желательной для его нового союзника. Первым из них, если не считать задушенного графом Шодорди в самом зародыше проекта правительства национальной обороны помиловать Березовского, было очень нашумевшее в свое время дело Гартмана, одного из организаторов покушения на Александра II на Курской дороге, в ноябре 1879 года. Избегнув ареста, он нашел себе убежище в Париже. Когда об этом узнала французская полиция, она, по взаимной солидарности, связывающей все полиции мира, поспешила его арестовать. Но затем французское правительство стало перед вопросом: что же делать с Гартманом дальше? Русский посол (тогда еще кн. Орлов) потребовал выдачи Гартмана. Министерство Фрейсине отнюдь не хотело ссориться с Россией, но выдача несомненно политического эмигранта настолько противоречила веками сложившемуся праву убежища, что французские министры заколебались. Несмотря на добросовестные усилия кн. Орлова им помочь, формулировав обвинение против Гартмана, как „покушение произвести крушение пассажирского поезда", Фрейсине и его коллеги не могли принять русскую формулировку, ибо слишком очевидно было, что квалификация преступления определяется его мотивами, а отнюдь не объектом. Гартман был освобожден из-под ареста и имел возможность уехать в Америку. В Петербурге были очень раздосадованы этим делом и долго его помнили. Кн. Орлов получил приказание уехать в отпуск,—и уехал весьма демонстративно, не сделав ни одного официального визита. Но в те дни о союзе не было речи, и французское правительство не очень больно почувствовало удар. В гораздо более деликатное положение попало министерство того же Фрейсине, когда в 1885 г. оно амнистировало кн. Кропоткина, в качестве анархиста отбывавшего наказание по приговору французского суда. Весьма возможно, что в Париже просто не отдавали себе ясного отчета относительно значения Кропоткина в русской революции и были немало удивлены, когда узнали от ген. Аппера, что, по петербургским представлениям, этот акт французского правительства делает союз едва ли не навсегда невозможным. Только в 1890 году правительству республики удалось взять реванш за все свои неудачи на этом поприще, но нужно сказать,—реванш был блестящий [1]).

[1]) Нижеследующий эпизод хорошо известен всем, кому приходилось читать „Былое" последних лет. Но так как эти книжки журнала вряд ли имели большое распространение, к тому же последняя публикация Hansen'a („Ambassade de Mohrenheim") дает две-три новых детали, мы находим нелишним изложить его здесь. (Примечание 1909 г.).

Весной 1890 года русский министр внутренних дел довел до сведения французского правительства, что в Париже, по его сведениям, готовится заговор. Сведения были безусловно точны, и русские агенты во Франции скоро указали местной полиции тех лиц, которые принадлежали к организации. Им тем легче было это сделать, что во главе всего предприятия стоял тоже русский полицейский агент, некто Ландезен, под другим именем игравший впоследствии видную политическую роль. Была ли эта подробность неизвестна барону Моренгейму, или он очень торопился закрепить русско-французское „доброе согласие“ еще прочнее, чем это могли сделать займы, но только он требовал от французского министра внутренних дел, известного своей энергией Констана, немедленного ареста нигилистов. Но французской полиции—вернее всего через Ландезена—известно было, повидимому, что заговор еще весьма далек от полной зрелости, а декорум, который и в этом деле хотело сохранить республиканское правительство, требовал, чтобы виновные были захвачены непременно с поличным, с их „адскими машинами“. Пока Ландезен не доставил, куда следует, этих „машин“, все дело могло быть провалено из-за чрезмерной торопливости. Констан даже явно бравировал положением, собравшись уехать из Парижа вместе с президентом Карно и запретив своим агентам приступать к аресту до его возвращения. Моренгейм, крайне встревоженный этой непонятной для него небрежностью, обратился с новыми настояниями уже к премьеру Рувье и к министру иностранных дел и, заручившись их согласием, поспешил повидать Констана уже на Лионском вокзале, где тот дожидался Карно. Главный начальник французской полиции еще раз успокоил русского дипломата и весьма ловко использовал его необычайный визит для новой франко-русской демонстрации: как-раз в эту минуту президент республики прибыл на вокзал, и Моренгейм, конечно, должен был, вместе с Констаном, его приветствовать. Карно был очень польщен, а газеты на другой день отметили этот факт, обставив его соответствующими комментариями. Невольный виновник торжества в эту минуту был у крайнего предела отчаяния: ему только-что донесли, что главный из русских нигилистов не сегодня-завтра уезжает в Россию. За Констаном послали чиновника в провинцию, чтобы добыть от него необходимый приказ. Но министр внутренних дел выдержал характер до конца и арестовал „нигилистов“ только после своего возвращения в Париж. Нет сомнения, что он руководился правильным представлением о деле, отказываясь торопиться; хотя заговорщиков судили и без присяжных, обвинив их не в заговоре, а только в хранении взрывчатых веществ с преступными целями, все же

не обошлось без оправдательных приговоров: улики были еще не все налицо. Но русское правительство было довольно и этим: как-никак, а это была первая услуга на том поприще, где услуги всего более ценились. Моренгейм официально благодарил французское правительство, и один очень хорошо осведомленный в закулисной стороне дела свидетель, не обинуясь уверяет, что только с этой минуты окончательно была признана возможной прочная дружба с Францией [1]). День 29 мая 1890 года—день ареста русских „нигилистов"—сделался одной из самых знаменательных дат в истории русско-французского союза.

Так исполнила, наконец, республика то обещание, которое давал некогда графу Шодорди Гамбетта, настаивая, чтобы тот принял пост русского посла в Петербурге: сделать все, что потребует русское правительство в интересах его борьбы с революционерами. С прозорливостью крупного государственного человека вождь оппортунистов правильно нащупал нерв всего дела. И теперь, зная, какое значение придавалось в Петербурге этой политической стороне „доброго согласия", мы не удивимся, встречая на страницах истории союза на каждом шагу имя Рачковского,—имя, достаточно хорошо известное русской публике, чтобы оно нуждалось в комментариях.

Майские события 1890 года разбили лед,—и с тех пор дело пошло быстрым ходом. Уже конец этого года отмечен первой официальной манифестацией „доброго согласия" Франции и России: президент республики получил орден Андрея Первозванного, министры Фрейсине (военный) и Рибо (иностранных дел)—ленты Александра Невского. В то же время весьма быстро пришли к желательному результату уже довольно давно тянувшиеся переговоры о манифестации, несравненно более широкой. Французский посол в Петербурге, де-Лабуле, давно хлопотал, чтобы Россия официально приняла депутацию военной Франции—в лице эскадры французского военного флота, со времени крымской кампании ни разу не бывавшего в русских водах. Зимою 1890—1891 года и это дело было окончательно улажено, и в июле 1891 года четыре французских броненосца, командуемые адмиралом Жерве, пришли в Кронштадт. Это было, можно сказать, русско французское лето, как весна 1887 года была весною „доброго согласия" двух правительств. В Москве в эти же месяцы была устроена выставка произведений французского искусства и промышленности, главным организатором которой был тот же знаменитый Флуранс, теперь уже не бывший министром, но остававшийся, тем не

[1]) Hansen, „Mohrenheim", p. 115.

менее, добрым гением русско-французской дружбы. Встреча французских моряков населением Петербурга—современные наблюдатели почему-то отмечали на первом месте чиновников и офицеров, но нет сомнения, что и „véritable peuple russe“ действительно в большом количестве был на улицах—была „незабвенным событием“. Особенно ярким проявлением дружбы к Франции казалось явное сочувствие русской публике к „Марсельезе“. Один очевидец передает такой трогательный факт: в цирке, во время представления какой-то батальной пьесы, на арене маршировали отряды войск разных наций под звуки соответствующих национальных гимнов. Когда появились зуавы и послышалась „Марсельеза“, восторг зрителей не знал пределов: они успокоились не прежде, чем французский гимн был повторен несколько раз. Это наглядное доказательство любви русских к Франции произвело на умы французских наблюдателей неизгладимое впечатление. „Марсельезу“ слушал с непокрытой головой и сам император... Нет надобности говорить, что французских наблюдателей это приводило в еще больший восторг, чем все остальное. Но уже тогда русская публика, при несколько более критическом отношении к делу, могла бы убедиться, что в дни Третьей республики великий гимн свободы, неразрывно ассоциировавшийся в умах русской молодежи с великой революцией, имеет несколько иное значение, чем имел он в 1792 году.

Народные восторги не мешали, однако, заботиться и о деловой стороне союза. В августе того же 1891 года отношения России и Франции впервые были закреплены документально формальным соглашением, в силу которого каждая из договаривающихся сторон обязывалась всеми средствами помогать другой в случае нападения на последнюю какой-либо третьей державы. Около того же времени французские казенные фабрики приняли заказ на изготовление ружей для русской армии, и был поставлен вопрос о дополнении дипломатического договора военной конвенцией, подобной той, которая связывала с 1888 года государства тройственного союза (Германию, Австрию и Италию). Инициатива и здесь шла от французского правительства, подтверждая этим наблюдение, которое мы не раз уже имели случай сделать,—что союз был гораздо нужнее Франции, чем России. В самом деле, России соглашение Германии с Австрией в 1879 году (лишь почти десять лет спустя, в виду русско-французского „доброго согласия“, дополненное привлечением к союзу и Италии, конкурировавшей с Францией из-за Туниса) угрожало только со стороны Балканского полуострова, где, несмотря на весь славянофильский шум и семидесятых годов, и позднее, крайне трудно разыскать кровные

русские интересы. Оттого австро-германский союз и не мешал ни скерневицкому соглашению 1884 года, ни позднейшим проявлениям русско-германской дружбы, тогда как Франция все время была под страхом нового немецкого нашествия, и 1887 г. мог об этом только еще раз напомнить. Осенью 1892 г. военная конвенция была подписана генералами Буадефром и Обручевым, начальниками штабов обеих армий—французской и русской.

Окончательной ратификации как этой конвенции, так и предварительного соглашения, подписанного Рувье и Моренгеймом в августе 1892 года, едва не помешала снова внутренняя политика Франции, нагнавшая еще раз последнее облачко на безоблачный, казалось бы, горизонт русско-французской дружбы. Облачком на этот раз была знаменитая „Панама". Широкий доступ, открытый к фондам знаменитой компании для некоторых—весьма многих—политических деятелей Франции, с одной стороны, тесная близость этих деятелей и русских „сфер"—с другой, сами по себе, так-сказать, a priori наводили на искушение спросить: а не простиралась ли близость и на эти фонды? Таинственный чек на 500.000 франков, получатель которого был покрыт маской, непроницаемой даже для следственной комиссии, которая, видимо, боялась, как бы неосторожное показание кого-нибудь из свидетелей не сорвало этой маски, и с этой целью вела по отношению к данному именно чеку политику, вызывавшую общее недоумение,—явное давление на соответствующих свидетелей со стороны доверенных агентов русского посольства,—все это наводило на ту же ассоциацию идей уже a posteriore. Корреспондент одной венгерской газеты назвал имя барона Моренгейма в связи с „Панамой", и хотя министерство Рибо поспешило арестовать корреспондента и выслать его из Парижа, в Петербурге все это произвело как нельзя быть более тягостное впечатление. Моренгейм угрожал, что он будет отозван и на его место никто не явится. Вдобавок дипломатические, повидимому, соображения мешали русскому послу разрешить дело наиболее простым и убедительным для всех образом—привлекши клеветников к суду; а дуэль одного из друзей русского посольства с автором особенно обидной для последнего статьи мало разъяснила вопрос. В конце-концов, не осталось ничего другого, как покрыть инцидент забвением и „перейти к текущим делам". Карно очень охотно пошел навстречу такому исходу, написав нечто в роде извинительного письма. Осенью 1893 года русская эскадра в Тулоне ответила на кронштадтский визит французов,—ответ был задержан на год именно теми тягостными событиями, которые мы только-что описали,—и французская публика своим востор-

гом далеко затмила все, что мог показать холодный Петербург в 1891 году. А весной 1894 года окончательный акт оборонительного союза России и Франции был подписан одновременно в Париже и Петербурге французским министром иностранных дел, Казимиром Перье, с одной стороны, и русским—Гирсом, с другой.

II. В поисках внешнего рынка.

1. Средняя Азия.

Русско-французский союз прочно спаял судьбы русских финансов—а через них и господствующего в России политического строя—с судьбами европейского капитализма. Но развитию капиталистических отношений в самой России союз способствовал лишь косвенно. Через посредство казенных заказов, ссуд и субсидий французское золото оплодотворяло, разумеется, и „отечественную промышленность". Но с помощью того же золота в России искусственно продолжали держаться такие общественные условия и политические порядки, которые, в конце-концов, ставили дальнейшему развитию этой промышленности непереходимую преграду. Во всю свою широту эта антиномия развернулась лишь в начале XX в., когда благополучие русского государственного кредита за границей, высокий курс русских бумаг на европейских биржах совпали с глубоким промышленным застоем внутри страны. Но подготовлена она была всем предшествующим развитием,—и чем больше французских миллиардов переходило русскую границу, тем кризис становился ближе и неизбежнее. Было бы, однако, несправедливостью по отношению к русскому правительству думать, что его внешняя политика за все это время была только пассивной и сводилась только к подчинению России западно-европейскому капиталу. На Западе после Севастополя это было, действительно, так: минуты оживления здесь были очень коротки и за них, как за „освобождение славян", например, приходилось расплачиваться дорогою ценою. Зато была громадная область, где успехи казались легкими—хотя и не всюду в одинаковой степени—и прибыль с лихвой окупала затраты. Этой областью был „Восток", в широком смысле этого слова, от Черного моря до Тихого океана, от Болгарии до Кореи включительно. Смиренно идя под игом европейской биржи на Западе, здесь русский капитализм стремился наложить свое ярмо на шею народов, бывших, или по крайней мере казавшихся, экономически и политически слабее русского. На три четверти феодальное в своей внутренней политике, вполне феодальное в своих отно-

шениях к Западу, здесь, на Востоке, русское государство уже десятки лет назад было той буржуазной монархией, какую желали бы видеть в нем некоторые теперь. Ему тем легче было вести здесь „буржуазную“ политику, что для этого оно вовсе не должно было изменять своей феодальной природы. Колониальный капитализм, пробивавший себе дорогу в эти, часто вчера еще совершенно неведомые страны, нуждался в бронированном кулаке феодала больше, нежели в чем-нибудь другом. То, что внутри страны загоняло капиталистическую индустрию в безвыходный тупик, вне ее было желанным другом и союзником, раскрывавшим перед этой индустрией такие горизонты, о которых в обычной мирно-буржуазной обстановке и думать не приходилось. Явление это слишком хорошо знакомо колониальной истории всех стран, чтобы стоило на нем настаивать. Но, кажется, нигде, даже в британской Индии, оно не выступает со столь резкими чертами, в столь обнаженном виде, как в русско-азиатской политике. Когда говорят о „завоевании рынков“, то это всегда приходится понимать несколько в фигуральном смысле: завоевание, собственно, создает лишь наиболее выгодные условия для капитала завоевателей,—а самое подчинение завоеванной страны этому капиталу происходит уже более или менее „мирным“ путем. Только у нас рынки прямо брались приступом: „покупатель“ сливался с военнопленным, и боевые генералы непосредственно являлись представителями национального капитализма. И недаром один из отделов одной из первых русских промышленных выставок (так-называемой „политехнической“, 1872 г.) был украшен типичной фигурой туркестанского солдата в белой рубашке и малиновых замшевых шароварах. Города-лагери русской Средней Азии, так радовавшие взор одного патриотического путешественника своими „истинно-военными“ порядком и чистотою, мало походили на закопченные и неопрятные фабрики Московской или Владимирской губернии, но это были две части одной организации. И до тех пор, пока русский штык торжествовал над коварными, правда, но в общем очень мирными азиатами, владельцы этих фабрик имели все основания быть оплотом российской благонадежности. Они изменили этой роли лишь после того, как горький опыт их убедил, что время штыка прошло даже в Азии.

Восточная политика России, если распределять ее эпизоды географически, по районам, идя от запада к востоку, дает три крупные отдела: первый составит болгарская политика 80-х и начала 90-х годов, второй—завоевание Средней Азии, третий—то, что ежедневная пресса непочтительно окрестила именем „маньчжурской авантюры“. Лишь в наши дни, уже в XX сто-

летии, отчетливо обрисовался четвертый отдел, который, в параллель третьему, можно было бы назвать „персидской авантюрой". Он лежит хронологически за пределами нашего изложения. Но те же хронологические соображения заставляют несколько изменить и порядок трех первых отделов. Движение русских в Среднюю Азию началось очень давно, даже если считать изолированным „историческим островом" экспедиции петровских времен: от походов времен еще Николая Павловича вплоть до занятия Мерва и битвы на Кушке тянется ряд событий, связанных между собою, как звенья одной цепи. Основные мотивы, общая обстановка, ближайшие цели у всех экспедиций этого периода вполне аналогичны. Меняется время-от-времени только интенсивность движения. Разгар его падает, как и должно было быть, на те годы, когда Россия более чем когда-либо за все дореволюционное время была „буржуазной монархией": на шестое и седьмое десятилетия XIX века. С феодальной реакцией 80-х годов движение затихает,—чтобы вспыхнуть вновь уже в конце 90-х на другом театре. Между блестящими и довольно прочными успехами времен Александра II (текинская экспедиция принадлежит целиком этому царствованию, хотя ее заключительный момент, занятие Мерва, и пал на 1884 год: решительным ударом здесь было взятие Скобелевым Денгиль-Тепе за два месяца до катастрофы 1 марта) и еще более блестящими, хотя оказавшимися не столь прочными, захватами последних лет столетия царствование Александра III представляет характерную паузу,—но паузу лишь относительную. К этой эпохе в области восточной политики вполне применим латинский стих: ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Если сил нехватало, была, по крайней мере, похвальная попытка,—очень интересная попытка применить приемы колониальной политики в почти европейской обстановке. Неудача этой попытки должна была показать, что для Европы—хотя бы полу-Европы—русские порядки уже не годятся. А это, естественно, должно было усилить интерес к Азии, притом возможно более дальней, глухой и дикой Азии. Что на самом дальнем конце этой глуши оказались японцы,—это была такая же фатальная неожиданность, как и то, что православные болгары предпочли иметь немецкого государя, нежели сделаться русскими подданными. Не одна Западная Европа, весь божий мир обгонял феодальную Россию, заставляя ее переходить от наступления к обороне,—в ожидании того, что другие будут обогащаться на ее счет, как она обогащалась раньше на счет других. В этом трагическом несоответствии средств и целей неудача политики 80-х годов в Болгарии была грозным предзнаменованием для политики первых лет XX столетия—своего рода

прелюдией маньчжурской неудачи. Восьмидесятые годы прошлого века были переломом не в одной внутренней политике, а конец девяностых лишь кажущимся поворотом к лучшему.

Естественный порядок изложения получается, таким образом, следующий: сначала мы рассмотрим политику России в Средней Азии за все XIX столетие, затем ближне-восточную политику Александра III и, наконец, дальне-восточную политику царствования Николая II, поскольку она успела обрисоваться к первым годам нынешнего века.

Когда русской дипломатии нужно было объяснять Европе причины неудержимого стремления русских в Среднюю Азию, эта дипломатия старалась дать России возможно более пассивную роль. Россия отнюдь не посягала на чужое, она лишь защищала свое, то, на что она имела неоспоримое право. „Положение России в Средней Азии одинаково с положением всех образованных государств, которые приходят в соприкосновение с народами полудикими, бродячими, без твердой общественной организации",—писал в одном из своих циркуляров, в 1864 г., князь Горчаков. „В подобном случае интересы безопасности границ и торговых сношений всегда требуют, чтобы более образованное государство имело известную власть над соседями, которых дикие и буйные нравы делают весьма неудобными. Оно начинает прежде всего с обуздания набегов и грабительств. Дабы положить им предел, оно бывает вынуждено привести соседние народцы к более или менее близкому подчинению. По достижении этого результата эти последние приобретают более спокойные привычки, но, в свою очередь, они подвергаются нападениям более отдаленных племен. Государство обязано защищать их от этих грабительств и наказывать тех, кто их совершает. Отсюда необходимость далеких, продолжительнейших периодических экспедиций против врага, которого общественное устройство делает неуловимым". Объяснение руководителя русской иностранной политики имело в виду успокоить, главным образом, англичан, но оно всего менее способно было удовлетворить английских дипломатов, знавших Среднюю Азию не по детским учебникам. На страницах этих последних по берегам Оксуса и Яксарта бродили, действительно, какие-то „кочевые народы", но более осведомленная деловая публика и тогда уже прекрасно знала, что, помимо кочевых киргизов—номинальных русских подданных уже со времени императрицы Анны, к югу от них имеется густое оседлое, земледельческое население, общественное устройство которого не во всяком, правда, вызвало бы симпатию, но было как нельзя более „уловимо". Брать штурмом Ташкент с его стотысячным населением и уверять, что борешься с какими-то бродячими

„народцами", которых никак не поймать,—это походило бы на насмешку, если бы не существовало полной уверенности, что сведения автора циркуляра по части новых владений России не шли дальше детского учебника. Во всяком случае заключительные строки документа, взывавшего, в качестве исторического примера, к колониальной политике Соединенных Штатов, Франции, Голландии и Англии, гораздо больше шли к делу, нежели предшествовавшие этому рассуждения о „диких странах, где расстояния с каждым сделанным шагом увеличивают затруднения и тягости". Более практичная русская дипломатия половины восемнадцатого века уже отчетливо сознавала, что бродячими народцами далеко не исчерпывается объект русской политики по отношению к Средней Азии. Инструкция так-называемой „оренбургской комиссии" на-ряду с защитой границ от набегов со стороны киргизов и действительным, не только номинальным, подчинением последних России, ставила, как одну из целей этой политики, развитие торговых сношений с оседлыми соседями этих киргизов. Военные операции 30-х годов девятнадцатого века были вызваны ближайшим образом заботами об охране торговых караванов. Первая экспедиция в глубь Средней Азии—хивинский поход Перовского в 1839 г.—одним из официально признававшихся мотивов имела „ограждение русских торговых интересов в Центральной Азии", и, сопоставляя с этим мотивом другие—обеспечение спокойствия русских киргизов или освобождение русских пленных, томившихся в хивинской неволе,—слишком нетрудно угадать, что заставило правительство Николая Павловича истратить более полумиллиона рублей в этих, так далеких от центров его внешней политики местах. Недаром и самую экспедицию официально называли не „карательной",—каковой бы она была, если мотивировать ее от хивинских набегов и грабежей, а „научной". Но именно в отсутствии всяких научных сведений о театре будущей войны и заключалась Ахиллесова пята похода. Перовскому не удалось дойти до Хивы и даже вообще встретиться с хивинцами. Климатические условия рассеяли его отряд гораздо раньше, чем он сколько-нибудь приблизился к цели. Из 4.000 человек его солдат погибло 1.000 и 1.200 вернулись больными. Прямая дорога из Оренбурга на Хиву через степь оказалась, как это часто бывает, самой длинной. От нападения пока пришлось перейти к обороне, но главная цель всех операций и тут не была забыта. „Чтобы защитить своих подданных против киргизов, в 1845 году Россией было устроено в степи два новых укрепления, Тургай и Иргиз,—говорит один из историков русских походов в Средней Азии,—в короткое время здесь развилась оживленная меновая торговля".

До Хивы оказывалось трудно добраться—оставалось попробовать, не окажется ли доступнее другое из средне-азиатских ханств, Кокан, русский сосед на нижней Сыр-Дарье. Номинально подвластные хивинскому хану, кочевые киргизы продолжали попрежнему грабить киргизов, номинально подчиненных России, а также, при случае, и русские торговые караваны. Тем не менее, до средины 70-х годов Хива исчезает из района русских военных экспедиций. Зато внезапно оказываются ужасными грабителями коканцы, ничем особенно в этом отношении не выделявшиеся до последних лет царствования Николая I. Хивинское ханство нигде не соприкасалось непосредственно с русскими границами, Коканское было охвачено русскими владениями с двух сторон, со стороны оренбургского генерал-губернаторства и со стороны Сибири, и в него вела довольно удобная дорога вдоль Сыр-Дарьи. По ней начал двигаться уже Перовский: в 1853 году его войска взяли Ак-Мечеть (форт Перовский). То был первый удар по гнилому дереву: через 20 минут после начала приступа крепость, заслуживавшая название „глиняного горшка“ еще в гораздо большей степени, нежели Эривань, была в русских руках. Дальнейшие успехи Перовского на нижнем Сыре впервые обнаружили перед русскими военачальниками ту истину, которую впоследствии резюмировал генерал Куропаткин: „Главную трудность (в наших азиатских походах) представляла не борьба с людьми, но борьба с природой“. Там, где природа не ставила непреодолимых препятствий,—а это именно и было в хорошо орошенной долине Сыр-Дарьи,—русские войска доходили без особенных затруднений до любого пункта, назначенного им начальством. Для наступательных действий в поле не годились даже текинские туркмены—в военном отношении самый опасный противник, с каким только пришлось иметь русским дело в Средней Азии. Гораздо более смирные „сарты“ трех ханств (Хивинского, Бухарского и Коканского) в полевом сражении, собственно говоря, вовсе не являлись противником,—достаточно было одного меткого залпа, одной удачно попавшей гранаты, чтобы обратить в бегство целый отряд. Надо иметь в виду, что в блестящую пору средне-азиатских походов, в 60-х и 70-х годах, русская пехота была уже перевооружена дальнобойным нарезным оружием, тогда как „армии“ средне-азиатских ханов оставались при кремневых и фитильных ружьях. Выносить огонь противника, которого сам достать не можешь, не всегда удается даже хорошо дисциплинированным войскам,—для азиатских же полчищ это была задача совершенно непосильная. Вот отчего в обороне русские войска, если не были захвачены врасплох, согласно опыту, признавались абсолютно

непобедимыми: одной роты за сколько-нибудь сносным прикрытием считалось, по словам ген. Куропаткина, достаточно для отражения любого количества хивинцев, бухарцев и коканцев. Немногочисленные военные неудачи завоеватели Туркестана имели только при штурмах городов, если не считать истребления мелких отрядов, попадавших в засаду. Но использовать свою победу наши противники и в этих случаях никогда не умели, опять-таки не исключая даже и относительно воинственных текинцев. Одним словом, если отвлечься от „непреодолимой силы", в образе климатических условий, жестоких жаров летом, жестоких морозов зимой, при полном почти отсутствии воды в первом случае и топлива во втором, никогда не могло быть речи о неудачном походе: потерянное вчера всегда можно было наверстать сегодня. Полная противоположность кавказской войне, где отдельные удачные экспедиции нисколько не мешали тому, что в общем и целом все русские походы в горы, вплоть до 40-х годов, неизменно кончались отступлением.

Успешно начатую Перовским войну с Коканом прервала Крымская кампания. Как только оправились от севастопольского удара, за Кокан тотчас принялись снова. Наступление повели с обеих сторон —и из Сибири, из Верного, и из Оренбурга. Двух лет (1864—1865) оказалось достаточно, чтобы русские стали в долине Сыра твердой ногой. Кульминационным пунктом этого похода, связанного с именем генерала Черняева, было взятие Ташкента 29 июня 1865 года (первый штурм, осенью предшествовавшего года, был отбит). Два другие ханства смотрели сначала на разгром Кокана равнодушно. Неожиданно быстрое появление русских войск в самом центре Туркестана заставило, однако, выйти из созерцательного состояния, по крайней мере, ближайшую к месту действия Бухару. Любопытно, что истинного масштаба своих успехов тогда не представляли себе даже и победители. На вмешательство в дело бухарского эмира Черняев в первую минуту ответил предложением поделить Кокан между Россией и Бухарой. С Ташкентом он тоже не знал, что делать, и предполагал обратить его в самостоятельное ханство, под опекой России. Такая скромность ободрила злосчастного бухарского государя, и он решился „предъявить свои права". Он серьезно вообразил, что с ним будут считаться, как с равноправной стороной, и отправил в Петербург посольство—договариваться непосредственно с Александром II. Посольство не поехало дальше первого русского города, где его заключили под стражу. Одновременно, в виде репрессии за обнаруженную эмиром строптивость, были посажены в тюрьму все бухарские торговцы, какие нашлись в русских и занятых русскими коканских владениях. Эмир ответил

арестом русских торговцев и посланцев ген. Черняева, находившихся тогда в Бухаре, и стал готовиться к войне. В общем, однако, он был так мало воинственно настроен, что одного движения вперед русских войск оказалось достаточно, чтобы склонить его на уступки. Война затянулась, отчасти благодаря климатическим условиям, задержавшим наступление Черняева (дело было зимой), главным же образом, потому, что местные русские власти (сменивший Черняева Романовский и главный распорядитель всего дела Крыжановский, тогда оренбургский генерал-губернатор) вовсе не желали мириться. Им нужны были „блестящие победы", которые показали бы, что и после Черняева остается еще кое-что сделать. Ожидания их не замедлили оправдаться: при Ирджаре, 20-го мая 1866 года, армия эмира была совершенно уничтожена. После этого Бухара была согласна на все, но русские были уже ни на что не согласны. От эмира потребовали уплаты контрибуции в такой срок, который для небогатой наличными деньгами бухарской казны являлся совершенно непосильным. Один бухарский город переходил в русские руки за другим, и конец военным действиям положила только новая зима: тут припомнили неудачу Черняева и вернулись домой.

Ряд „блестящих побед" Крыжановского завершился довольно неожиданно миром, несомненно, гораздо более выгодным для Бухары, чем следовало бы, судя по русским реляциям о ходе войны. Эмир не заплатил ни копейки контрибуции, и даже часть территории, оккупированной русскими войсками, была последними очищена. Неожиданность исчезает, как скоро мы взглянем на оборотную сторону блестящих успехов. „В течение 8 месяцев 1867—1868 годов через лазареты прошло 12.000 больных, и с августа по апрель умерло 820 человек",— пишет генерал Куропаткин. Между тем, в туркестанском отряде не было полных 10.000 штыков: потери от лихорадки и тифа составляли почти 10% меньше, чем за год, т.-е. смертность была выше 100 на тысячу в год! Можно думать, что Крыжановский, в воинственности которого после описанного выше не может быть сомнений, знал, что делал, когда заключал мир. Но в Петербурге разлакомились легкими завоеваниями, и высшее начальство отреклось от шагов, предпринятых оренбургским генерал-губернатором. Заключенный им трактат был признан недействительным, вместе с тем Туркестан изъят из его ведения и превращен в особое генерал-губернаторство, во главе которого был поставлен генерал Кауфман. Едва ли нужно говорить, что, прибыв на место, новый начальник немедленно убедился в необходимости дальнейших завоеваний. Кауфман был лучшим из организаторов, каких имела Россия в Средней Азии.

и поход 1868 года был по своим результатам самым грандиозным из всего, что происходило в этих местах после взятия Ташкента Черняевым. Нам нет надобности останавливаться на внешних его эффектах, так тешивших современную русскую публику и с такой любовью изображаемых военными историками. Несмотря на то, что у эмира были теперь и какие-то „регулярные“ войска, одетые в красные мундиры, очень помогавшие русским в них целить, на поле сражения происходило то, что должно было происходить по установившемуся для Средней Азии своего рода канону. На одного убитого русского приходилось по тысяче убитых бухарцев, несколько рот брали крепости с десятитысячными гарнизонами, и бухарская артиллерия вывозилась в поле как-будто единственно для того, чтобы попасть в русские руки. Стратегический смысл побед Кауфмана заключался в том, что, завладев течением Зеравшана, откуда начиналась сеть оросительных каналов, охватывавшая всю Бухару, русские заняли в этих краях экономически господствующую позицию: кто был хозяином воды, был хозяином края. Сопротивление бухарцев было сломлено навсегда; кампания 1868 года была последней русско-бухарской войной, и эмир с тех пор стал верным другом и союзником России. А залогом этой дружбы были, как и следовало ожидать, льготы для русской торговли. Она не только была объявлена свободной на всем протяжении обоих ханств, Бухарского и Коканского (в уцелевшей части этого последнего сидел ставленник эмира и, стало-быть, тоже „друг“ России), но и поставлена в особо привилегированное положение, в смысле охраны, а притом почти совершенно освобождена от пошлин: пошлина с русских товаров не должна была превышать $2^1/_2\%$ с их стоимости. Но эти условия признавались еще, очевидно, недостаточно выгодными: в 1873 году, после взятия русскими войсками Хивы, эмир, в этой войне уже союзник русских, получивший за то лоскут хивинской территории, должен был согласиться на новые льготы русским купцам. На Бухару были распространены преимущества, предоставленные русской торговле только-что побежденным хивинским ханом. Резюмируя кратко, они сводились к полной экстерриториальности русских торговцев: пошлин они уже никаких не платили, судились за проступки и преступления только у русских властей, даже за содеянное на территории ханств. Если они являлись, как кредиторы туземцев, им при взыскании долга давалось первенство перед всеми туземными кредиторами. В то же время они пользовались всеми правами туземцев: могли покупать землю в обоих ханствах, устраивать склады, магазины и т. д. Нельзя было шире открыть ворота русскому капитализму в Среднюю Азию, чем это сде-

лали победы Кауфмана в 1868 и 1873 годах. Несмотря на наличность туземных государей, экономически берега Аму-Дарьи стали ровно столько же Россией, как берега Волги или Енисея. Юридическое упразднение одного из „самостоятельных" ханств, Кокандского, в 1875 году, прошло бы совершенно незамеченным, если бы не вызвавшие его причины. Последний русский поход в этих краях—первый большой военный успех столь знаменитого впоследствии генерала Скобелева—был войной не с местными властями,—они ползали у ног русских, а с восставшими против своих властей жителями. Кокандцы свергли своего руссофильского государя, Худояр-хана, и во главе войны против России стал инсуррекционный вождь, Абдул-Рахман-Автобачи. Восстание заранее осуждено было на неудачу: не говоря уже о тактических преимуществах русского войска, теперь еще во много раз усилившихся, с тех пор, как пехота получила скорострельную винтовку, а артиллерия нарезные орудия,—оно занимало великолепную стратегическую позицию, держа в своих руках ключ Кокана, крепость Ходжент, занятую еще в 1866 году Романовским. К весне 1876 года восстание кокандцев было подавлено, и самое имя Кокан стерто с лица земли: присоединенный теперь к России остаток ханства получил название Ферганской области, и столицей ее, вместо Кокана, был сделан не имевший до тех пор значения Маргелан.

Одного кокандского восстания 1875 года достаточно, чтобы разрушить сантиментальное предание, утверждающее, будто население Средней Азии приветствовало завоевателей радостно, как представителей порядка и гражданской, если не политической, свободы, и будто в завоевании были одни лишь светлые стороны, одно сплошное торжество цивилизации над „дикостью". Русское высшее начальство все делало, чтобы поддержать эту иллюзию. Вступление русских войск в Хиву сопровождалось очень эффектно освобождением всех рабов, томившихся в хивинской неволе: русское влияние в Бухаре тоже выразилось в отмене рабства, по крайней мере, на бумаге. Но цивилизаторы низшаго ранга иногда очень наивно проговаривались насчет того, как они понимали свою „культурную миссию". Адъютант Скобелева, А. Верещагин, так рассказывает в своих воспоминаниях о своем отправлении в текинскую экспедицию 1880—81 годов. „Перед отъездом меня осыпали вопросами: где такой Текинский оазис? Не знаете ли, не можете ли вы мне показать на карте его границы? Вы вот едете в текинскую экспедицию, объясните, пожалуйста, за что мы с ними деремся? И по правде сказать, я не мог хорошенько ответить. Попасть я желал в этот поход только ради того, что начальником экспедиции был Скобелев. Его я хорошо узнал в прошлый поход и

высоко уважал, как боевого генерала, и поэтому-то мне и захотелось служить с ним. Я был уверен, что Скобелев не сделает тех ошибок, какие были сделаны в предшествовавшие экспедиции, и поведет дело умно, энергично и быстро завоюет край. Кроме того, я хорошо знал, что все участники похода будут получать большое жалованье, не говоря уже о служебных наградах. Я не сомневался, что получу за поход следующий чин и очередную награду. А, оставаясь на Кавказе, я этого не получил бы и в десять лет". А, о стране, куда он направлялся, он имел представление, как о таком крае, „где жители, вольные, как птицы, нападают на всякого чужого, грабят и убивают его совершенно безнаказанно". В дальнейшем мы часто видим, как автор охотится за текинцами, именно как за „вольными птицами". Один раз его солдаты упустили патруль из пяти текинцев: открыли огонь слишком рано, и те ускакали, не оставив ни одного убитого. Потом он узнал, что ему решено было дать за это дело Георгия, если бы можно было доказать, что перестрелка имела серьезный характер, если бы были убитые или раненые. „Когда я услышал это,—говорит Верещагин,—мне еще более стало досадно за тех пятерых текинцев, которые ускакали у нас из-под носу. Вот, думаю, кабы они теперь лежали около нашей калы, так и было бы чем похвастать" [1]).

Так рассуждал простой, наивный солдат, но не забудем, что такие солдаты делались первыми администраторами завоеванного края. После взятия штурмом Денгиль-Тепе Верещагин стал его комендантом. А затем, лучше ли рассуждали, про себя, а не для публики, высшие руководители завоевательных походов? Скобелеву, в глазах его почитателей, очень немногого нехватало, чтобы быть настоящим государственным человеком. Мы уже не будем припоминать известного анекдота из дней его молодости, когда подчиненные уличили его в том, что он выдумал вовсе не бывшую схватку с туркменами, чтобы получить отличие. Тогда это был почти мальчик. Но под Хивой в 1873 году это был уже подполковник, начальник небольшого самостоятельного отряда; всего через четыре года этот подполковник стал самым популярным из русских генералов. И вот какой эпизод из хивинской экспедиции рассказывает близкий приятель Скобелева, известный художник Верещагин (брат предыдущего). „Один раз только еще (после упомянутого прегрешения дней его молодости) сделал ошибку Скобелев: он повел солдат на штурм города Хивы в то самое время, когда из других ворот выходила городская депутация с хлебом-солью, чтобы

[1]) „Дома и на войне", стр. 474—475, 477, 514.

выразить свое полное, безусловное подчинение главнокомандующему. Генерал Кауфман рассказывал мне, что он уже знал о сдаче города и готовился в него вступить, когда, к своему смущению и негодованию, услыхал ружейную пальбу и крики ура...“ А не менее близкий к Скобелеву человек, его бывший начальник штаба, Куропаткин, рассказывает нечто еще более любопытное уже из такой эпохи, когда Скобелев был сам главнокомандующим и отправлялся завоевывать текинский оазис. По словам Куропаткина, текинцы, сознавая, что им не справиться с русскими, собирались зимою 1879—80 года добровольно выселиться из Денгиль-Тепе,—которое потом русским пришлось брать приступом. Известия об этом преисполнили Скобелева большим „беспокойством“: ибо ему нужна была блестящая победа, а отнюдь не мирная оккупация Текке-Туркмении. Были приняты всякие меры, чтобы задержать уходившую добычу: по настоянию русских властей текинцев не пустили ни в хивинские владения, ни в Персию. А к своим родичам в Мерв они не могли уйти—те сами страдали от недостатка воды. Наконец, больше всего помогли Скобелеву английские агенты, по словам Куропаткина: они убедили текинцев, что русским сопротивляться можно, и тем подготовили Скобелеву новый блестящий успех.

Если мы припомним историю кавказской войны времен Николая Павловича, мы не найдем во всем этом ничего нового. Не нова была цель, не новы были и средства. Тот же В. В. Верещагин передает, между прочим, такие сцены из эпохи самаркандского похода в 1868 году. Город только-что был взят вторично: жители, добровольно подчинившиеся при первом приближении войск генерала Кауфмана, вновь „отпали“, когда русский отряд ушел дальше, а под Самаркандом появились состоявшие на службе эмира шахрисябцы. Попросту говоря, несчастные самаркандцы, по азиатскому обычаю, подчинились тому, кто был сильнее в данный момент. Они, однако, на этот раз прогадали: при всей незначительности сил, оставленных Кауфманом в самаркандской цитадели, взять эту последнюю обратно бухарцам не удалось. Город был жестоко наказан за свое непостоянство: между прочим, сожжен был огромный самаркандский базар, разгромлены мечети, минаретами которых пользовались нападающие во время осады цитадели. Что „зачинщики“ были без милосердия казнены,—это разумелось само собой, при чем судопроизводство было упрощено до последних пределов возможности: комендант цитадели называл командующему войсками „виновных“, а тот, покуривая папиросу, равнодушно приговаривал по поводу каждого: „расстрелять, расстрелять, расстрелять“. Это показалось чересчур простым даже раз-

делявшему взгляды военного начальства русскому художнику... Но самому начальству этого показалось мало, и оно вдобавок ко всему прочему разрешило солдатам в течение нескольких дней грабить город, не разбирая уже ни правого, ни виноватого. Один из руководивших грабежом, какой-то интендантский чиновник, так рассказывал Верещагину про свои подвиги: „Зашел я с солдатами в один дом, где старая-престарая старуха нас встретила словами „аман, аман" (будьте здоровы). Смотрим, а под цыновкой, на которой она сидела, что-то шевелится. И действительно, там оказался мальчуган, лет шестнадцати. Мы его вытащили и, натурально, убили вместе со старухой".

Самарканд не был взят приступом. В нем приходилось убивать безоружных хладнокровно, без опьянения предыдущим боем, и на это больше были способны интендантские чиновники, чем солдаты. Тотчас после штурма возможны были сцены, еще более яркие. Даем слово другому Верещагину, миросозерцание которого было еще проще, чем его знаменитого брата. Мы через несколько часов после взятия приступом Денгиль-Тепе, 12 января 1881 года. „В стороне, за большой, совершенно новенькой белой кибиткой, заметны фигуры двух солдат с синими околышами. Они спорят между собой из-за текинского мальчика, лет 4-х. Один солдат хочет заколоть его штыком, другой не дает, хватается за штык и кричит: „брось, что малого трогать—грех!" „Чего их жалеть? Это отродье все передушить надо, мало, что ли, они наших погубили!"—восклицает солдат и замахивается штыком. Завидя нас (офицеров), они оба скрываются между кибитками, а мальчишка уползает в какое-то отверстие в земле". „Вон партия солдат, человек 5—6, подходит к одной землянке. Она представляет из себя как бы берлогу и помещается под землей, только круглое отверстие или вход в нее чернеет издали. Из землянки доносится чей-то плач. Солдаты останавливаются, наклоняются, прислушиваются, толкуют между собой, просовывают в отверстие ружья и стреляют в темноту, на голос. Крики сначала замирают, но затем усиливаются. Солдаты хохочут, дают еще несколько выстрелов и, повидимому, совершенно довольные, двигаются дальше" [1].

Когда мы читаем потом у одного русского путешественника, бывшего в крае лет через десять после экспедиции Скобелева, что текинцы глядели на него и его спутников „с нескрываемым неудовольствием и подозрительностью", которое сменилось „нескрываемым сочувствием" лишь после того, как один из этих спутников оказался англичанином, нас не может

[1] „Дома и на войне", стр. 584—585.

это удивить [1]). Но текинцы—разбойники, по представлению не одних русских офицеров 70-х годов. Правда, тот же путешественник,—по своему патриотизму нимало не уступающий братьям Верещагиным,—приводит такие разговоры на эту тему местных старожилов, которые, по меньшей мере, значительно колеблют это представление. „Помилуйте, да у нас на Руси свой народ, а грабежи и убийства случаются чаще, чем здесь.— говорил г. Маркову один инженер Закаспийской дороги... только и слышно иногда об убийствах на кордоне по горам. Ну, да, ведь, это еще текинцы или нет?“ Возьмем, однако, сартов [2]): их нравственными качествами наш путешественник не может нахвалиться. Это—„мирный, трудовой народ, чрезвычайно способный и деятельный“, „отличающийся“ такой „душевной воспитанностью“, какой, к великому стыду нашему, так часто недостает нашему русскому простому человеку“,—народ, обративший свою страну в один „бесконечный сад“. И, тем не менее, когда наш автор пробирался через толпу этого, видимо, ему самому очень симпатичного народа, „везде кругом чувствовалась какая-то раздраженная и недовольная атмосфера. Сотни сердитых глаз с недоброжелательною суровостью следили за нашим торжественным шествием, и, казалось, можно было руками схватить эти отовсюду вонзающиеся в нас злые лучи“. А дело было еще на улицах Бухары, не испытавшей непосредственно ужасов русской расправы. Потом всюду, в Самарканде, в Ташкенте, в Фергане провожали путешественника „красивые, но неприятные лица сартов“, доведя его, наконец, до пессимистических рассуждений о том, как, „случись в России какое-нибудь крупное политическое или военное замешательство, и в Туркестане сейчас же начнется народное движение против русских“.

Мы после увидим, какие более глубокие причины придали длительный и прочный характер этому антагонизму; для нас важно констатировать, что исходным пунктом его были те условия, при каких край перешел в русские руки. Это отнюдь не была только замена дикой тирании туземных ханов и беков гуманным и цивилизованным управлением русских губернаторов. Это было завоевание в настоящем смысле этого слова—насильственное подчинение плохо организованного и отставшего в военном отношении народа. Этот характер „конквисты“, особенно ярко выступает в последнем по времени успехе русского оружия в Средней Азии—завоевании Ахал-текинского оазиса в 1880—1881 гг., которого мимоходом мы уже касались раньше. Повидимому, ни к кому фразы кн Горчакова о „по-

[1]) Е. Марков. „Россия в Средней Азии“.

[2]) Население Туркестана само себя называет „узбеками“. „Сарт“—полупрезрительная кличка, за которую извиняемся, но она принята была официальн. документами XIX в.

лудких бродячих народах", к которым приходится применять „меры обуздания", не подходят в такой степени, как к кочевым туркменам Закаспийской области, для которых „аламаны", набеги на персидские владения, составляли, действительно, почти правильно организованный промысел. Но мы, однако, уже видели, что и эти „разбойники", если только они могли быть в чем-нибудь опасны „русским пределам" (т.-е. военным постам на восточном берегу Каспийского моря,—ничего другого до 80-х годов здесь не было), вполне готовы были от этих пределов уйти возможно дальше по доброй воле. А затем, прослеживая шаг за шагом движение русских в закаспийские степи, по классической работе ген. Куропаткина [1]), вы приобретаете совершенно определенное и не возбуждающее никаких сомнений представление о том, кто на чьи пределы наступал. Русские впервые становятся здесь твердой ногой в 1869 году, когда был основан Красноводск. „В течение следующих 4-х лет,—говорит ген. Куропаткин,—мы предприняли целый ряд смелых разъездов мелкими отрядами через степь и проникли почти до Аму-Дарьи и Ахал-текинского оазиса. До столкновений не доходило почти нигде: помуды подчинялись без сопротивления, в то время как текинцы внешним образом (?) соблюдали мир". Автор хотел, очевидно, дать понять своему читателю, что коварные азиаты скрывали свои истинные чувства. Один эпизод, однако, который он сам же подробно рассказывает, свидетельствует, что текинцы не были столь лицемерны и действительно не хотели задирать русских. В 1873 году, во время похода на Хиву,—похода, подготовленного с особенным эффектом и явно рассчитанного, чтобы произвести особо сильное впечатление на туземцев,—один из отрядов был двинут с Кавказа через Красноводск. Хивинцы с ужасом должны были видеть, что „белые рубахи" идут отовсюду, и что нигде от них не укроешься. Климатические условия испортили эффект. Кавказский отряд едва не погиб от жажды (расстояние между колодцами оказалось вдвое больше, чем рассчитывало русское начальство,—а самые колодцы вдвое беднее водою). Он вернулся назад в самом жалком виде. Текинцам ничего не стоило перерезать истомленных русских солдат, и, однако, никого из них „степные разбойники" не тронули пальцем. Казалось бы, не было ни малейшего предлога начинать против них какие-либо военные действия: но при желании предлог всегда найти можно. Помуды были уже номинально русскими подданными: текинцы не сообразили, что это делает помудов столь же неприкосновенными для них, как и сами солдаты „белого царя". Они про-

1) „История похода Скобелева в Туркмению".

должали время-от-времени грабить номудов, как и номуды их, конечно, при случае. Этого было достаточно, чтобы „в 1877 г. возник план—занять город Кизил-Арват, ворота в Текинский оазис, при чем думали, что это может быть достигнуто без войны". Миролюбие текинцев, однакоже, не доходило до того, чтобы они позволяли русским занимать текинские „города" без сопротивления. Под Кизил-Арватом произошло первое сражение русских с текинцами, кончившееся, конечно, тем, что русские потеряли 12 человек, а текинцы 200. „Лед был сломан"—поприще для новых подвигов русского оружия открыто. За экспедицией 1877 года последовали мелкие набеги в 1878-м, на что текинцы с своей стороны ответили набегами. Война питает войну—в 1879 году большой русский отряд (по первоначальному расчету до 12.000 человек; географические условия заставили уменьшить его потом слишком вдвое, но осталось все-таки сила не меньше той, с какой в свое время были заняты Ташкент и Самарканд) двинулся уже прямо для завоевания оазиса. Текинцы оказались более серьезным противником, чем ждали, и военная неудача этого похода (штурм на Геок-тепе 28 августа 1879 года был отбит) с логической неизбежностью повела за собой экспедицию Скобелева.

Последним „военным действием" в Закаспийской области было сражение отряда ген. Комарова (30 марта 1885 года) уже не с туркменами, а с афганцами,—с войсками государства, занимавшего по отношению к Англии приблизительно такое же положение, как Бухара по отношению к России. Фактически это был заключительный акт текинской экспедиции: движение русских к Пенджде, давшее непосредственный повод для столкновения, было вызвано необходимостью прикрыть с юга Мерв, столицу закаспийской Туркмении, добровольно подчинившийся России годом раньше (весною 1884 года). Занятию этого пункта русскими войсками придавали большое значение англичане, серьезно относившиеся к фантастическим проектам завоевания Индии, периодически появлявшимся в русской военной и вообще националистической литературе (один из них, между прочим, принадлежал генералу Скобелеву). На самом деле в область реальных целей русской политики завоевание Индии входило так же мало, как мало сами англичане собирались завоевывать Туркестан. Но так как англо-индийским военным кругам угроза русского нашествия была выгодна,—она оправдывала английский милитаризм и создавала видимость какой-то крупной национальной задачи для британской армии в Индии, играющей, в сущности, чисто-полицейскую роль,—то время-от-времени этот призрак вызывали на сцену, и английская дипломатия, подстрекаемая англо-индийским офицерством, начинала тревожиться,

требовать от русской дипломатии гарантий и уступок, а на периферии русских средне-азиатских владений появлялись английские экспедиции и отдельные эмиссары. Первые русско-английские переговоры этого рода относятся еще к 30-м годам XIX века. В 70-х гг. было формально установлено, что Афганистан составляет нейтральную полосу, неприкосновенную для обеих сторон, но кризис 1878 года, когда между Россией и Англией едва не вспыхнуло войны из-за турецких дел [1]), имел последствием, что обе стороны решили отказаться от этого принципа. Обсуждая план войны против Англии, с русской стороны имели в виду и диверсию со стороны Туркестана; но тут выяснилось, что наши тогдашние владения, отрезанные от английских горами и пустынями, являются весьма неудобным исходным пунктом даже для диверсии, не говоря уже о серьезной войне с англичанами в Азии. Потребность подойти к самым границам английского соседа, эмира афганского, была одною из главных причин форсированного движения русских в закаспийские степи с 1879 года. В связи с этим английские страхи пред походом русских в Индию достигли максимального напряжения, какое только они имели за все время их существования. В Герате, на северо-западной границе Афганистана, появились англо-индийские войска, под видом „конвоя“ английской разграничительной комиссии генерала Ламсдена. Ободренные этим, афганцы и решились напасть на отряд ген. Комарова—и были разбиты на-голову. Ожидали немедленной войны между Россией и Англией. Ничего такого, однако, не произошло,—обе стороны мирно размежевались между собою: Англия от лица эмира афганского, Россия отчасти непосредственно за себя, отчасти за Бухару. Заключительным актом этой размежовки был раздел—между Россией, Англией, Афганистаном и Китаем—Памирской области уже в 90-х годах истекшего столетия. Без небольшого кровопролития не обошлось и здесь: в 1892 году русские уничтожили на Памире маленький афганский отряд. Но так как эта пустынная область, представляя громадный географический интерес, не имеет ровно никакого другого значения, то войны из-за этого подавно выйти не могло. После стычки 12 июня 1892 года на Памире русские в Средней Азии более не видали перед собою неприятеля.

Война кончилась, но Туркестан не перестал быть „военной“ страной, и картина, которую он давал в 90-х годах прошлого века впервые попавшему туда свежему человеку, лучше, чем

---

[1]) См. „Восточный вопрос“.

что-либо другое объясняла, как проникло в этот край русское господство и на чем оно держалось. „Тут все военное,—пишет о туркестанской столице, Ташкенте, г. Марков,—целые улицы полны солдат, казаков, джигитов, офицеров, генералов, идущих, едущих, скачущих: везде руки взмахивают под козырек, везде звенят шпоры, и быстро бегущий по тротуару рядовой то-и-дело молодецки делает фронт какому-нибудь проходящему начальству". „В Ташкенте не только крепость военная, не только многочисленные военные казармы, перед которыми сверкают штыки и пушки, но и большая часть чинов и учреждений, собранья, клубы, библиотеки, школы. Даже церкви тут военные. Вон, например, старый „Солдатский" собор на площади, а вон рядом с ним новый „Военный Спасопреображенский" собор. Войдите в него и не увидите там почти никого, кроме тех же солдат, офицеров, генералов да солдатских, офицерских и генеральских жен и дочерей. «Вольные» (так называют в Туркестане штатских) и тут незаметно тонут среди господствующей массы воинного люда".

Военные люди—военные и нравы. Нет надобности говорить, что чисто-полицейский порядок поддерживался здесь истинно-военными средствами. Г. Марков неоднократно имел случай убедиться, что отзыв его знакомаго инженера о Закаспийской области,—что в ней по части грабежей и разбоев гораздо тише, нежели в самой России,—может быть распространен на всю Среднюю Азию. „Но,—повествует он,—этот трепет азиатов перед русским именем был достигнут нелегко и стоил недешево. Необходимы были беспощадные кровавые расправы с туземцами за малейшую их попытку напасть на русского, прежде чем могло установиться в стране теперешнее, вполне безопасное положение. Целые кишлаки [1]) выжигались до тла за какое-нибудь одно тело убитого русского, найденное по соседству. И иначе поступать было невозможно с народом, для которого грабеж и убийство были обычной стихией". Мы уже видели, что в другом месте наш автор находил у этого народа такую „душевную воспитанность", какой, к его огорчению, он не замечал у „простого русского человека". Но не будем ловить его на словесных противоречиях: вот факты, которые передал ему „один очень авторитетный русский житель Ташкента, имевший возможность со всех сторон изучить быт туземцев". „Мы нашли тут, в Туркестане, такую строгость нравов, о которой у нас и понятия не имеют. Слово самого маленького начальника для них было законом. Послушание изумительное. Честность такая везде была,

[1]) Деревня.

что ни один дом на ночь не запирался; в Ташкенте, впрочем, и до сих пор они не запираются по старой памяти, хотя воровство удесятерилось против прежнего...“ „Авторитетный русский житель“ относил наступившее развращение нравов к влиянию новых русских судов. Но для нас важен его отзыв о туземных порядках до русского завоевания. Иной читатель, пожалуй, подумает, что для усмирения столь смирного народа жечь деревни было, может-быть, излишней роскошью: но что же было делать военному начальству в мирное время?

Мы сейчас увидим вполне серьезную экономическую подкладку этого режима „крови и железа“. Но нельзя пройти мимо тех эффектов, которые давал этот режим в областях наиболее мирных,—в области народного просвещения, например. Вот как в Ташкенте открывали учительскую семинарию. „Вдруг, — рассказывал ее бывший директор г. Маркову,—неожиданный приказ—ехать в Ташкент и непременно открыть к 30-му августа учительскую семинарию. Где взять учеников, учителей? Бросился я в Верный к генералу Колпаковскому; тот дал приказ станичным атаманам набрать сколько можно было грамотных казачат, и вот я, нагрузив ими почтовые тройки, явился со своею добычею в Ташкент и открыл семинарию к 30-му августа, как было приказано“. Откуда он взял учителей,—директор не рассказывал; мимоходом мы узнаем только, что в г. Перовске школьным учителем был унтер-офицер, смотревший за цейхгаузом. Само собою разумеется, что семинария произвела на нашего путешественника самое отрадное впечатление: „воспитанники все народ рослый и ловкий, смотрят молодцевато, по-военному“. Одно было жаль: „среди 58 воспитанников семинарии сартов только один, киргизов девять. Это и немудрено, потому что в семинарию поступают только воспитанники городских училищ, а в ташкентском городском училище нет ни одного сарта“ [1]). Автор видит здесь, конечно, лишнее доказательство злокозненности сартов и объясняет эту злокозненность очень оригинально. „Сарт, — говорит он, — исстари имеет свое собственное, хотя и жалкое, образование, свою собственную хотя и скудную литературу, свою собственную систему, хотя и никуда негодных, школ. Он и держится за них, как за знамя своей народности, своей религии, своей истории...“ Один из „знатоков края“, с которым беседовал наш путешественник, не видел другого средства загнать сартов в русские школы, как закрыть все сартские...

У более дикой части туркестанского населения, кочевых

[1]) Курсив г. Маркова, раньше курсив везде наш.

киргизов, своих школ не было, так что им оставалось пользоваться или русскими, или сартскими. „Киргизы охотнее поступали в русские учебные заведения,—говорит г. Марков,—потому что более доверчиво относятся ко всему русскому, да и мусульмане не бог знает какие строгие". Вы радуетесь: вот, наконец, нашелся разряд туземцев, для которого русское завоевание в самом деле было благодетельно. Увы, один настоящий знаток края, сам военный и, конечно, уж никак не менее патриот, генерал Гродеков, такими чертами рисует влияние заведенных русскими порядков на киргизский народный суд (суд биев): „При регламентации народного суда закон 1867 г. значительно уклонил его от суда обычного. Это обстоятельство столь существенно и вредно повлияло на развитие слабых сторон суда биев, что положение его оказалось весьма неудовлетворительным и повлекло за собою убеждение многих местных деятелей в необходимости уничтожения этого суда и замены его судом русским. Тогда как, по народному обычаю, стороны вольны обращаться для разбора дела к любому бию, закон 1867 г. обязал киргизов судиться только у биев, утвержденных военным губернатором. В случае весьма частого на практике несогласия сторон на третейский суд, закон вменял истцу в обязанность избирать бия непременно из волости ответчика. Так как при существовании родового начала всякий бий, естественно, стоит за своего родовича, то обязательный суд бия из волости ответчика равносилен отказу в справедливости, ибо от родовича ответчика истец не может ожидать беспристрастия. Даже внутри самой волости такая организация суда биев не гарантировала справедливого суда, потому, что, при обязательности обращения к волостным биям и при ограниченности их числа, бии сделались доступны корысти, подкупу, влиянию богатых и почетных людей и избирательных партий... В результате суд биев сделался судом подкупным, непопулярным и подчиненным туземным должностным лицам" [1]).

А положение этих последних хорошо освещает одна маленькая, почти анекдотическая черточка, которую мы встречаем все у того же г. Маркова. Его взоры особенно радовала масса зелени в русских городах Туркестана—роскошные аллеи пирамидальных тополей и других деревьев, и на улицах, и по дорогам. Но еще в закаспийской Туркмении он узнал, каким простым путем создавалась эта радующая глаз картина. „Прикажет генерал-губернатор сажать везде по аулам, по дорогам, по арыкам белую акацию или айлант, или другое какое-нибудь невиданное

[1]) Гродеков, „Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области", стр. 199—200.

кочевниками дерево, ну и сажают все без рассуждений, накупая деревца в питомнике, сколько какому аулу приказано. Аксакалы (старшины) знают, что им будет, если не будет исполнен во всей строгости приказ грознаго командира края" Масса привозных деревьев гибла от суровых зим Средней Азии,—казенные питомники больше уповали на приспособленность жителей к военному управлению, нежели сами приспособлялись к климату страны. Но это не считалось бедой. Вообще было принято, что „благоустройство" края оплачивают туземцы, а чего им это стоило,—не интересовались. „Вы упомянули думу,—спрашивал г. Марков своего ташкентского знакомого,—неужели ж и у сартов уже заведены русские порядки?"—„Видите ли, дума, собственно, в русском Ташкенте, но она заведует всем городом вообще, и азиатским, и нашим; 48 гласных русских выбирается, а 24 сартов".—„Азиатам, стало-быть, накладно выходит?"—„Как вам сказать? Действительно, все расходы благоустройства в русском городе падают и на сартов".

Мы не будем больше утомлять читателя выписками из путевых заметок словоохотливаго патриота. И приведенных фактов достаточно, чтобы знать, как следует понимать „цивилизаторскую миссию" русской администрации в Туркестане. Это было, в лучшем случае, создание русской цивилизации в крае силами и средствами местного населения. Но было бы, конечно, большой ошибкой считать капризную волю местного начальства конечной причиной и последним источником туркестанской цивилизации. Сажать по дорогам деревья, которые в первую же зиму замерзали—это был, разумеется, лишь каприз. Но эксплуатировать край для русских—это была основная линия поведения, диктовавшаяся всеми условиями русской конквисты. Русские затем сюда и пришли, чтобы эксплоатировать край, и недаром всероссийское купечество было так близко заинтересовано в завоевании, и рядом с именами Черняева и Кауфмана мы встречаем имена Хлудова и Первушина. Верещагин (художник) передает трогательную картинку кучки русских приказчиков, во время осады самаркандской цитадели скучившихся в темном углу перед иконами и трепетно бивших поклоны при каждом выстреле бухарских пушек. Как только пушечные выстрелы затихли, край был «замирен», русский капитализм вышел из углов, куда его загнала канонада, и поразительно быстро, едва ли не быстрее русских штыков, сделал страну своей.

В эпоху завоевания в Туркестане было широко развито кустарное ткачество шелковых и бумажных тканей. Двадцать пять лет спустя, в начале 90-х годов, шелковые материи местного производства находили здесь себе сбыт только среди приезжих русских, почему туземные ткачи и приспособлялись (иногда к

немалому неудовольствию покупателей, желавших иметь „настоящую азиатскую“ вещь) к русским цветам и рисункам. Зато местное население одевалось в ситцы ярких, истино-азиатских цветов, но привезенные из Московской или Владимирской губернии [1]). В 1893 году в Самарканд было привезено около 354.000 пудов русской мануфактуры—это была первая статья привоза по размерам; что еще характернее,—„пряжи и ниток всяких“ ввезено было около 36.000 пудов: „такой большой ввоз пряжи“,—говорит цитируемый нами автор,—„объясняется большим спросом на русскую пряжу у туземных ткачей для выделки местной ткани—алачи, вся основа которой ткется из русской пряжи“ [2]). Таким образом, и местное кустарное производство стало в зависимость от русского капитализма. Но еще более была зависимость от него местного земледелия. Туркестан стал форменной русской колонией,—может-быть единственной, заслуживающей этого имени: он должен был доставлять своей метрополии сырье и получать в обмен приготовленные из этого самого сырья фабрикаты. Вздорожание цен на хлопок в конце 80-х годов впервые натолкнуло русских мануфактуристов на мысль в широких размерах использовать климатические условия Средней Азии для того, чтобы избавиться от монополии американского хлопка. Хлопок в Туркестане и раньше был свой, но волокно местного хлопчатника не годилось для изготовления европейской пряжи. Теперь начинается форсированное распространение между туземцами американских семян. Началась хлопковая горячка. Гнали во-всю, агенты разных фирм старались только об одном—как бы отбить хлопководов друг у друга. „Семена сваливались тысячами пудов в общую громадную кучу на дворе, под сараем, в амбаре, а потому в таких скопищах, развивавших высокую температуру внутри себя, нежное семя хлопчатника, содержащее до 40% масла, неминуемо портилось. Перед выдачей задатков такие семена выдавались хлопководам без сортировки, и, понятно, лишь тот из них был счастливее других, кто получал семена с поверхности кучи“ [3]). Принимался хлопок тоже кое-как. В конце-концов, наступила реакция—в 1894 году в Самаркандской, например, области. было засеяно американским хлопком уже только 9.589 десятин,—тогда как в 1892—18.365 десят. (в 3½ раза больше, чем в 1890 году). Но хлопковая горячка уже успела дать результаты, и весьма своеобразные: за те же четыре года, 1890—1894,

---

[1]) Марков. I, 491.

[2]) Ю. Якубовский, „Ввоз и вывоз товаров“. Справочная книжка Самаркандской области на 1895 год, отд. IV, стр. 82, 85.

[3]) М. Вирский, „Обзор хлопководства в Самаркандской области за 1893—1894 гг.“, Ibid. отд. II, стр. 12.

цена хлеба в крае возросла более, чем в два с половиной раза. Более дорогой и прибыльный хлопок вытеснил более дешовую пшеницу, притом в громадных размерах: в 1892 г. почти семь с половиной тысяч десятин лучшей земли взято было из-под хлеба под американский хлопчатник, опять-таки в одной Самаркандской области. В Фергане хлопчатник занял, в различных местах, от $^1/_3$ до $^1/_2$ всех культурных земель. Спекуляция на хлопок, естественно, вела за собою и спекуляцию на землю, годную под хлопчатник. „Крупные спекулянты-туземцы,—говорит в другом месте тот же автор,—не занимаясь сами хлопководством, но, владея значительным количеством ирригационной земли, раздают последнюю мелкими участками от $^1/_2$ до 1 десятины исполу малоземельным сельским хозяевам с условием, чтобы весь урожай хлопка был доставлен им, владельцам, а они уплачивают испольщикам за половину сбора по продаже сырца на базаре".

Мы остановились подробнее на хлопке потому, что его история особенно характерна для типа ворвавшегося в Туркестан русского капитализма,—жадного, хищнического, спекулятивного, „хапавшего" направо и налево, не разбирая, во что ему самому это, в конце-концов, обойдется: на хлопке только в двух уездах, Самаркандском и Катты-Курганском, русские спекулянты потеряли до 500.000 р., нажились только спекулянты-туземцы. Конечно, как и во всякой другой колонии, и в русской Средней Азии капитализм являлся не только хищником: в этом огромное отличие завоевания Туркестана от кавказской войны. Там русское господство обратило в пустыню культурные области Западного Кавказа, населенные черкесами. Здесь в самом процессе войны, вместе с экспедицией Скобелева, врезывалась в край железная дорога, давшая колоссальный толчок развитию местного капитализма. Торговля не завоеванной непосредственно русскими Бухары с одной Россией доходила уже в 1891 г. до 15 миллионов рублей. Рядом с конторами спекулянтов мы встречаем на каждом шагу заводы и фабрики. Правда, заводы эти,—хлопкоочистительные, например, им, конечно, принадлежало первое место,—оборудованы крайне примитивно, работа на них велась почти без машин, вручную; гигиенические условия были ужасные,—от носящегося в воздухе волокна дышать было нельзя,—и все это хозяева откровенно объясняли тем, что здесь „рабочие руки очень дешевы". Но в стране, которая двадцать лет назад не знала никакой крупной промышленности, и это было успехом. С буржуазной точки зрения русской колонизации в Средней Азии было чем гордиться [1]).

[1]) О русской колонизации в собственном смысле, т.-е. о пичтожных русских земледельческих поселках в Средней Азии мы не говорим здесь: в XIX веке их значение было совсем третьестепенное. В наиболее подвергшейся обрусению Семиречен-

Но примитивности русско-туркестанского капитализма мы не должны забывать уже потому, что она дает нам ключ к объяснению того затяжного военного положения в крае, о котором мы говорили выше. Когда в 90-х годах прошлого века г. Марков ездил по русской Средней Азии, кругом него стон стоял от жалоб на засилье сарта. „Русским тут теперь делать нечего,— говорил г. Маркову один ташкентский старожил-еврей.— Тут теперь все сарт захватил. Половина домов в русском городе уже их. И строили их тоже они. Подряды опять-таки все у них, мастеровые, торговцы — все ж они. Куда ни кинься, все сарт да сарт". Под влиянием этих разговоров автор написал и свою характеристику сарта, уже отчасти цитированную нами выше. „Этот чрезвычайно способный и деятельный народ, вдобавок изумительно скромный в своих вкусах и образе жизни, очень быстро усвоил все полезные нововведения, внесенные русской цивилизацией, очень хорошо понял их выгоду для себя и в настоящее время сделал почти невозможным соперничество с ним в его родном краю,—где ему и углы помогают,—русских купцов, русских заводчиков и фабрикантов, русских подрядчиков, русских мастеровых... Можно предвидеть, что пройдет еще немного лет, и русский элемент в крае будет представляться только военным сословием да чиновным людом". „Одновременно с экономической силой сартов разрастается с каждым днем, по уверению местных русских жителей, и распущенность их нравов". Военный, знаток Туркестана, рассказывавший г. Маркову, как до прихода в край русских ни один дом в Ташкенте не запирался на ночь, сразу же объяснил своему собеседнику причины и „экономической силы", и „распущенности". Вся суть, по его словам, была „в новых судах", т.-е. введенном в крае русском судопроизводстве, без присяжных, разумеется, но с некоторыми европейскими обрядностями („признаете ли вы себя виновным? и тому подобные глупости..."). „Прежде, до этих судов, начальники наши военные гораздо короче и проще все разбирали. Жалоб было гораздо меньше. А теперь то-и-дело на самых уездных начальников с жалобами лезут..." Где же тут конкурировать русским с туземцами при таком разврате! Была железная рука, и русский капитализм, хотя представителями его частенько бывали люди „никуда не

ской области, где русские стали твердой ногой еще до Черняева, в 1890 году было несколько более 9% русского населения. В трех уездах Сыр-Дарьинской области в то же время русские составляли менее 1%, считая тут военных, чиновников и купцов. Собственно земледельческого русского населения во всем Туркестане было к концу 1891 года 11.560 душ обоего пола. См. для начала 90-х годов статью г. Дингельштедта „Наша колонизация в Средней Азии" („Вестник Европы", 1892 г., ноябрь). При всем оптимизме автора ему все-таки приходится изображать картину еле-еле обозначающегося процесса. А край был в русских руках уже 25 лет!

годные на родине, ничего не умеющие и ничего не имеющие", держал страну под своим игом крепко. Ослабела немного,— куда меньше, чем в остальной России,—эта рука, и весь аппарат капиталистического режима оказался в руках туземца.

Но и ему не дешево стоило это приспособление. Исследования наших средне-азиатских статистиков дают ряд красноречивых цифр, составляющих итоги русской цивилизаторской работы в крае. Во-первых, что стоила „цивилизация" населению непосредственно? Ответ на это дают размеры налога, падавшего на туземцев в начале XX века, сравнительно с тем, что они платили до начала русского владычества и в первые его годы. Вот один пример: Дагбитская волость Самаркандской области и уезда. „Ранее (до 1892 года) взимаемый налог, в сумме 320 рублей, ниже размера нового налога, в сумме 5107 р. 51 к., на 1496,09%". Вы думаете, что это исключение? Разве лишь в смысле яркости примера: перечтите итоги по другим местностям, вы увидите 87%, 135%, 264% превышения нового поземельного налога над старым. Всюду налоги в $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$ раза выше, относительно, чем в самой России. Меньше всего подвергалась фискальной эксплоатации из волостей Самаркандского уезда волость Дюрткульская,—ее новые налоги выше старых всего на 43,35%. Но надо знать, что такое Дюрткульская волость. Вот что о ней говорит официальная статистика: „К началу 70-х годов в этой волости было на счету русской администрации 45 населенных мест с 976 дворами, а спустя 20 лет, в 1893 году, здесь найдено 36 населенных мест с 817 дворами, т.-е. менее на 9 селений и 159 дворов". Но из наличных дворов 225 было выморочных, а 90—сиротских. „Если ко всему этому прибавить почти полное отсутствие людей в возрасте за 50 лет и наружный крайне захудалый вид населения волости, то понятным становится",—вы думаете, влияние русского управления на судьбу этой волости? Нет: „немаловажное значение санитарных условий" [1]).

Туземное население, в конце-концов, выдержало кризис. Оно не вымерло, а приобрело „экономическую силу" и, казалось, в общем и целом даже более примирилось с русскими порядками, чем думали наблюдатели 90-х годов. Даже такие „военные и политические волнения в России", как имевшие место в 1904—1905 годах, не вызвали здесь национальной революции. Андижанское восстание 1898 года до 1917 года оставалось одинокой вспышкой, характерной, без сомнения, как симптом, но не повлекшей за собою дальнейших последствий. Русский колониальный капитализм нашел здесь еще более

[1]) Справочная книжка Самаркандской области на 1895 год, ст. г. Вирского.

примитивные формы экономического быта, чем он сам, и постольку явился в Туркестане прогрессивной силой. В двух других случаях, которые нам придется разбирать дальше, реакционные черты его выступают уже гораздо яснее.

2. Ближний Восток.

К началу 80-х годов завоевание русским капиталом Средней Азии было в полном ходу. Но средне-азиатский рынок удовлетворял лишь известную часть русских предпринимателей — на нем наживались преимущественно мануфактуристы; были другие разряды — железозаводчики и железнодорожники, прежде всего, — которые так же не прочь были иметь свою „колонию". О Дальнем Востоке в те дни еще и помину не было, — как объект эксплоатации русского капитализма он выступил десятью годами позже. Была страна гораздо ближе, только-что освобожденная силою русского оружия, здесь несшего свою цивилизаторскую миссию так же, как и в Туркестане. Война за Болгарию 1877 — 1878 гг. не была войною за рынки: по своему происхождению, как мы видели, это была своеобразная форма самообороны русского феодализма от буржуазного строя, надвигавшегося на него в образе „Европы". В этом смысле война была проиграна, — пришлось согласиться на превращение и последних углов, где мог найти себе убежище „славянский дух", Сербии и Болгарии, в буржуазные государства шаблонного западно-европейского типа, с конституцией, свободой печати и тому подобными „дурачествами", употребляя счастливое выражение одного из советников Александра II, сказанное по другому поводу [1]). Правда, „освободители Болгарии" утешали себя надеждой, что освобожденные скоро раскаются в своем грехопадении, увидя на опыте все то зло, какое несут с собою эти западные дурачества. Военный совет, заседавший в Филиппополе летом 1878 г. и немедленно по получении там известий о решениях Берлинского конгресса занявшийся вопросом, что же делать дальше с освобожденной страной, был в этом твердо убежден. „При ограничении царствующего князя в законодательной власти и отсутствии в Болгарии способных людей для управления государственной машиной, — рассуждали русские генералы, — печать и собрания являются тормозом в правильном течении государственных дел; тем самым является застой в делах центрального управления, и усиливается неудовольствие населения против правительства и иногда даже против верховного главы государства. Тогда является необходимость в государственном перевороте. При существовании в стране

[1]) См. гл. „Крест. реформа" в III т., стр. 93.

подобного порядка вещей болгарский народ придет к сознанию необходимости протектората России и сам обратится к покровительству „Царя-Освободителя“ [1]).

Когда эти детские надежды совершенно не оправдались, болгарский народ обнаружил видимые симпатии к своей демократической конституции [2]) и стремился использовать ее возможно шире, возникла идея добиться цели иным путем. Эта попытка—осуществить, во что бы то ни стало, „необходимый“ для счастья Болгарии „государственный переворот“ — окутана таким густым облаком лжи, что рассмотреть ее действительную сущность нелегко. Апологеты русской политики, казалось бы, наилучше осведомленные в деле, по своему служебному положению, в роде генерала Соболева, не стеснялись утверждать, что „превратъ“ 15/27-го апреля 1881 года был совершен князем Александром Баттенбергом без ведома и даже чуть не вопреки прямо выраженной воле русского правительства. С первого взгляда, однакоже, крайне мало вероятно, чтобы болгарский государь, ставленник России и близкий родственник русского царствующего дома, которому он был всем обязан, решился на такую дерзкую попытку, как фактическое превращение себя из конституционного монарха в самодержца, не спросясь Петербурга. Чрезвычайно близкое участие в „превратѣ“ русских генералов и дипломатов,—участие сознательное, которого они не думали скрывать, которым некоторые из них позже даже хвалились,—тоже говорит против этого: в русских бюрократических кругах дисциплина в те времена не падала так низко, чтобы отдельные представители бюрократии помогали предприятию, действительно,—а не на словах только,—запрещенному начальством. А, наконец, у нас имеется и документальное доказательство, что еще за несколько месяцев до 15-го апреля 1881 года, при жизни Александра II, русское министерство иностранных дел знало о намерениях Баттенберга и совсем не расположено было ему мешать [3]). Министерство интересовалось одним,—

[1]) „Оккупационный Фонд“. Документы из секретного архива русского правительства. София—Берлин 1893. Русское министерство иностранных дел в свое время официально опровергло подлинность опубликованных в этой брошюре документов, начав, в то же время, против доставившего их лица судебное преследование за „кражу“ (а не за „подделку“) вверенных ему по службе бумаг. Герои драмы, непосредственно задетые разоблачениями, в своей частной переписке ни на минуту не сомневались в подлинности большей части бумаг. См. Golovine, „Fürst Alexander I von Bulgarien“, Wien, 1896, S. 495.

[2]) См. по этому вопросу И. Милюков, „Болгарская конституция“, „Русское Богатство“, 1904, 8—10.

[3]) См. секретный циркуляр министра иностр. дел Гирса у Головина, „Fürst Alexander I v. Bulgarien“, S. 133—4 и изложение разговоров по этому поводу в совете министров в „Оккупационном Фонде“, стр. 45—46. Последний в данном случае не имеет, конечно, значения документального источника, но приводимые им факты весьма правдоподобны.

как отнесутся к упразднению (на деле, а не на словах) болгарской конституции западные державы, так настаивавшие на ней во время Берлинского конгресса. При наличности их согласия на переворот, или хотя бы при отсутствии прямого противодействия с их стороны, Баттенберг мог дерзать с полною верою в моральную поддержку со стороны России. А посылка в Болгарию как-раз к нужному моменту генерала Эрнрота, на другой день после переворота ставшего во главе болгарского кабинета и при помощи таких энергичных мер, как введение полевых судов, восстановление турецкого закона о печати и практическое упразднение тайной подачи голосов на выборах, блестяще проведшего самоупразднение болгарского парламента, показывает, что при Александре III эта моральная поддержка понималась еще шире, чем при его отце. Что и русский генерал не мог осуществить своей программы без помощи местных элементов, в лице крупной болгарской буржуазии, представленной партией консерваторов [1]), это было слишком естественно и вовсе не ставило еще переворота в национальные рамки,—не делало его исключительно домашним болгарским делом. Притом, как только вскрылись экономические факторы, из-за кулис руководившие железной рукой генерала Эрнрота, солидарность русского правительства и его болгарских друзей быстро стала таять, а события весны 1881 года принимать вид попытки вторичного захвата того, что ушло из рук в 1878 году. В виду того, что вторичное завоевание Болгарии уже несомненно составляет один из эпизодов русской колониальной политики, следует заняться „превратом“ 1881 года подробнее.

Первый факт, который приходится отметить, это—что в России не только правительство, но и та часть общества, для которой интерес к балканским делам был своего рода монополией, были как нельзя быть более довольны всем совершившимся. О недоверии к „немцу“, как стали скоро называть Баттенберга, не было и речи; напротив, глава славянофилов, Иван Аксаков, считал Александра способным создать в Болгарии „истинно национальную“ систему управления. В разрушении конституции Аксаков видел один из главнейших залогов именно этой „национальности“: конституция, ведь, есть нечто наносное, западное; истинно-славянским принципом является местное самоуправление—классическим типом его для Аксакова была русская община—„без политического значения“. Народ не стремится—в России и других славянских странах—к верховной власти, не ищет господствовать в государстве, а требует

[1]) О партийной борьбе этих дней в Болгарии см. у г. Милюкова.

правительства, которое бы своей энергией, силой, „бескорыстием и своим народным характером внушало доверие“ [1]). Но на месте, в Болгарии, такой оптимизм скоро потерял под собою почву. Участие России в перевороте 27-го апреля исходило от мысли, что Баттенберг окончательно решил поступить на русскую службу,—стать своего рода генерал-губернатором „Задунайской области“: внешним образом это было выражено, между прочим, тем, что князю Александру было ассигновано жалованье из удельных сумм, по 100.000 рублей в год. Правда, болгарский князь уверял потом, что он ни копейки из этого жалования фактически не получил, но важен самый факт его назначения. На князя Александра надеялись, видели в нем „своего человека“. Но был ли Баттенберг на самом деле „свой“? Ближайший наблюдатель, русский дипломатический агент в Болгарии, Хитрово, усомнился в этом еще до „великого собрания“, вручившего князю чрезвычайныя полномочия [2]), во время своего совместного путешествия с Александром. Его смутили, прежде всего, безукоризненно хорошия отношения болгарского государя с представителями той самой „Европы“, которая, по традиции, считалась главным нашим врагом на Балканском полуострове,—в особенности с представителем явной русской конкурентки, Австрии. Хитрово сразу заподозрел здесь двойную игру, а наблюдение над личным характером князя очень скоро убедило его, что психологически такая двойная игра здесь вполне возможна и даже весьма вероятна. „Что касается до личных качеств принца Баттенбергского,—писал уже в июне 1881 года русский дипломатический представитель одному из своих подчиненных,—то я должен вам сознаться, что я его считаю способным на все пакости“ [3]). Подозрения перешли в уверенность, когда встал на очередь основной вопрос, составлявший экономический базис всего перево́рота,—вопрос о постройке железных дорог. Государственный совет, учреждение которого фигурировало в первом же из ультимативных требований, поставленных Александром „великому народному собранию“, затем и был нужен болгарским консерваторам, что при его помощи они надеялись достигнуть того, на что у них не было никаких шансов в народном собрании; передачи этого важнейшего для Болгарии предприятия в руки „консервативных“ грюндеров, в

[1]) Из письма Аксакова к кн. Александру, написанного в конце июля 1881 г., т.-е. месяца через три после переворота. См. Golovine, S. 187—188.

[2]) Постановления „великого собрания“ сводились к следующим трем пунктам: 1) князь в течение 7 лет может действовать, не стесняясь конституцией, даже в случае надобности, создавать новыя учреждения (государственный совет, например); 2) очередное народное собрание отменяется, при чем бюджет в силе остается прошлогодний; 3) князю предоставляется, до истечения 7 лет, созвать еще раз „великое собрание“ для пересмотра конституции.

[3]) „Оккупационный Фонд“, стр. 65.

роде крупного подрядчика и софийского городского головы Хаджиенова, кассира консервативной партии, недаром истратившего на „агитацию“ летом 1881 года несколько десятков тысяч франков. Уже в одном этом крылось очевидное руссофобство: ибо на столь выгодное дело были охотники и в самой России, в лице Полякова, барона Гинзбурга, ген. Струве и многих других. Русская дипломатия обязана была, конечно, отстаивать интересы этих последних; сердечное единение русского правительства и болгарских консерваторов не могло не пострадать от этого с первых же шагов. Хитрово добился личного согласия князя Александра на то, чтобы постройка железных дорог была передана барону Гинзбургу, но надо было добиться согласия еще той партии, которая, благодаря поддержке русского правительства, стояла теперь у дел в Болгарии, а это было прямо невозможно: консерваторы готовы были поддерживать русское господство чем угодно, но только не деньгами из своего кармана. Этот конфликт аппетитов весьма скоро осложнился конфликтом интересов, гораздо более крупного масштаба. „Национальный режим“ в Болгарии, выраженный в экономических терминах, означал превращение освобожденной русскими усилиями страны в рынок для русских фабрикатов. Недаром, по почину именно Аксакова, московское купечество снарядило специальную торговую экспедицию в Болгарию и стало усиленно хлопотать о понижении пошлин в Болгарии на русские товары. Экспедиция действовала почти как официальная власть, требуя от местных административных властей полного содействия,—за недостаточную предупредительность в этом отношении один префект был смещен. Картина российского купечества, явившегося хозяйничать в Болгарии вслед за русскими генералами, дипломатами и жандармами, тоже была не из тех, которые могли бы расположить к России сердца болгарских „предпринимачей“,—столпов консервативной партии. Но и это был еще только оттенок. Основной фон давал вопрос о направлении будущих болгарских железнодорожных линий. Для самой Болгарии наиболее выгодной являлась железная дорога, связывавшая центральные земледельческие округа страны с Черным морем—открытой и дешевой дорогой ко всем странам. Представители России настаивали на „русском“ направлении—от центра страны к Дунаю, именно к Систову; помимо технико-экономических соображений, возможности легко связаться с русской железнодорожной сетью, тут играли роль и стратегические: в направлениях Систово—Тырново и Систово—София шли главные операционные линии русского похода в 1877 году. Что „русское“ направление являлось самым дорогим из всех возможных, это, конечно, менее всего смущало

его защитников, а с точки зрения охотившихся за болгарскими железными дорогами русских грюндеров это был, разумеется, прямо плюс. Но тут-то и обнаружилась со всею ясностью „измена“ князя Александра. Он категорически настаивал на западном направлении будущей железнодорожной линии, София—Цариброд—Вакарель; оно было слишком вдвое дешевле „русского“ [1]), но связывало болгарскую сеть не с русской, а с австрийской. Впечатление получалось тем более тягостное, что в подтверждение своей мысли князь ссылался на желание держав, участниц Берлинского конгресса, и недвусмысленно давал понять, что он в этом случае надеется на поддержку Европы. Хуже этого ничего нельзя было придумать.

Позиция, занятая князем Александром в железнодорожном вопросе, решала все дело; с этого именно момента он начинает становиться тем „немцем“, какого постоянно рисовала потом казенно-славянофильская публицистика. Уже к осени 1881 года от прежнего благоволения славянофильских публицистов к Баттенбергу не оставалось и следа. „Михаил Никифорович (Катков) совсем сердится на нас—писал в октябре того года Хитрово одному из своих коллег.—Он говорит: вместо того, чтобы избавить Болгарию от лишнего немца, будто бы, мы выдали ему какое-то уполномочие на самостоятельную продажу славян. По его словам, немец и нас продаст за грош своим братьям. Почтенный Михаил Никифорович полагает, что в скором будущем мы будем призывать к нам на помощь тех из болгар, которых мы теперь заключили в тюрьму и выслали из пределов княжества. Наших же мнимых приверженцев мы сами будем называть изменниками обоих отечеств“. Но уже еще раньше в голове самого Хитрово сложился определенный план противодействия козням „изменившего“ России князя. Суть этого плана, быстро получившего одобрение в Петербурге, заключалась в том, чтобы использовать полученные Баттенбергом полномочия против самого Баттенберга и поддерживавших его консерваторов, назначив министром внутренних дел и председателем совета министров в Болгарии русского генерала. „Железная рука“ Эрнрота возрождалась теперь для разрушения того самого дела, которое она создала. Но роль нового освободителя Болгарии и спасителя ее, на этот раз от „немецкого“ ига, выпала на долю нового лица, так как теперь требовалась не только энергия, но и знание местных условий. Работать приходилось самостоятельно, не надеясь ни на чью помощь и поддержку—ни со стороны консерваторов,

[1]) По признанию самого ген. Соболева, „русская“ линия обошлась бы в 42 млн. франков, а „международная“—всего 18 м. См. „Русская Старина“, 1886 г., сентябрь, стр. 726, прим. 1.

теперь явно неблагонадежных, ни со стороны либералов, напуганных и совершенно основательно не доверявших России после той роли, какую она сыграла в перевороте [1]). В виду этого в Болгарию решено было послать человека, хорошо знавшего страну и принадлежавшего к тому кружку русских военных и дипломатов, которые еще в 1878 г. составили определенную программу действий относительно болгарского князя и его народа, в видах подчинения их более или менее непосредственно русской власти. Этим чиновником был бывший делопроизводитель знакомого нам „военного совета“ 1878 года, тогда полковник, а теперь уже генерал, Соболев. В октябре 1881 года, менее чем через полгода после переворота, назначение Соболева в Болгарию для борьбы с „немцем“ было уже делом решенным.

Баттенберг, своевременно извещенный о грозившей ему неприятности, продолжал вести свою двойную игру. Он или, вернее, руководившие им и правившие от его имени болгарские консерваторы прекрасно понимали, что „воля России“ для них единственный козырь перед народными массами,—что открытый разрыв с Россией будет их политической смертью. Они твердо решили избегать всякой видимости такого разрыва—и, едва узнав о кандидатуре Соболева, Александр поспешил воспользоваться первой же своей поездкой в Петербург, чтобы п р о с и т ь генерала себе в министры. Для глаз людей, не посвященных в подкладку дела, все выходило как нельзя более благополучно. А затем консерваторы рассчитывали, что они все-таки знают болгарские дела лучше Соболева, да и по части практической политики сильнее его, в чем они опять-таки были правы, так как им довольно легко удалось заставить русского генерала согласиться на избирательный закон, выгодный исключительно для консерваторов (закон уменьшал число депутатов, вводил непрямые выборы, имущественный и образовательный ценз), нимало не увеличивший популярности России и поставленного ею министра,—но всецело легший на его ответственность: закон так и получил название „соболевского“. Но никакая шахматная игра не была более возможна, раз выступили на сцену экономические интересы, а не выступить они не могли, ибо в них была суть дела. Как только снова стал на очередь железнодорожный вопрос, конфликт был неминуем.

А вопрос появился на сцене с первых же дней пребывания в Болгарии „генералов“, как в просторечии стали назы-

[1]) „Такие русские (как те, что содействовали князю Александру в „перевороте“),—писал Др. Цанков Хитрово летом 1881 года,—добиваются у нас того же, чего они добились в Сербии,—что болгары вспомнят слова, сказанные одним древним мудрецом пчеле: „я не хочу от тебя ни меду, ни жала“.

вать Соболева и его товарища, военного министра Каульбарса. „Железнодорожный вопрос все время не сходил с уст генерала Соболева“,—говорит биограф первого болгарского князя, Головин. Нам нет надобности входить в разбор и оценку тех личных мотивов, которые этот автор, все вообще склонный объяснить личными мотивами, подставляет в виде объяснения к каждой перипетии железнодорожного вопроса [1]). Для нас совершенно достаточно, что с этим „руссофобом“—в русском происхождении которого не сомневались, кажется, даже „Московские Ведомости“—вполне согласен, в основном, такой несомненный „руссофил“, как сам присланный из Петербурга первый министр Болгарии. „Главная суть дела заключалась в разрешении железнодорожного вопроса“—пишет в своей оправдательной записке генерал Соболев [2]). Так как, по его словам, консерваторы „уже имели готовый план железных дорог“, а в их руках были все министерские портфели, кроме „генеральских“, в том числе и министерство общественных работ, заведывавшее железнодорожным строительством, то вопрос с самого начала стал кабинетским. Соболеву непременно нужно было выжить из министерства Вулковича, консервативного министра общественных работ, с которым, не только номинально, были солидарны все вожди консервативной партии, заседавшие в министерстве—Начевич, Греков и Стоилов. Произошел ряд резких сцен, которые даже в заведомо смягченном изображении самого генерала Соболева дают чрезвычайно яркую картину внутренней жизни „солидарного“ болгарского кабинета в 1882 году. Русский генерал называл в глаза своего коллегу по министерству „агентом Гирша“ (строившего ранее в Болгарии железные дороги), а в своей „записке“ он откровенно приписывает консерваторам намерение „ограбить княжество“ [3]). Нельзя, конечно, не признать, что по существу он был совершенно прав, но беда была в том, что его противники могли усвоить все эти лестные эпитеты приверженцам русского плана. По плану, который отстаивал ген. Соболев, железные дороги в Болгарии должны были строиться не только русскими предпринимателями при содействии русских инженеров, но и рабочие для постройки должны были быть привезены из России, и подвижной состав должен был быть доставлен оттуда же [4]). А болгары по опыту прекрасно знали, что значило пользоваться подобными „даровыми“ услугами русского правительства; у них было еще свежо в памяти, например, как Россия „снабжала“

1) См. «Fürst Alexander I v. Bulgarien» S. 201, 293 sq., 206, 220 sq. etc.
2) „Русская Старина“ 1886, сентябрь, стр. 706.
3) Id. 710.
4) См. Golovine, S. 221; ср. Соболев, в „Рус. Стар.“, 76, примеч.

болгарское войско ружьями, ставя болгарскому правительству винтовки Крынка, признанные негодными для вооружения русской армии, по заводской цене, тогда как на рынке можно было купить те же винтовки чуть не за гроши. Нужно было быть слишком наивным человеком, чтобы не понять, что та же история повторится и с русскими рельсами, паровозами и вагонами. А уже кто не был наивными людьми, так это, конечно, болгарские консерваторы и стоявшие за их спинами Хаджиенов и К°. В борьбе с генералом Соболевым консерваторам, быть-может, неожиданно даже для самих себя, пришлось стать действительно защитниками национальных интересов, отстаивающими народный карман от покушений на него со стороны заграничных хищников. Партия, непосредственно после переворота настолько непопулярная, что могла держаться только угрозой русских штыков, становится теперь мало-по-малу приемлемой даже для более умеренной части болгарских либералов, типа Цанкова; перед лицом надвигавшейся хищнической конкуренции все слои болгарской буржуазии начали сознавать общность своих интересов. Своей „энергией“ русский премьер болгарского кабинета только подготовил тот блок консерваторов и либералов, о который разбилась, в конце-концов, его авантюра. Вытеснив Вулковича из министерства, он не нашел на его место ни одного болгарского министра, а так как на приглашение третьего русского в состав кабинета его коллеги решительно не соглашались, то Соболеву пришлось взять этот портфель самому. Фактическим начальником болгарских дорог стал кн. Хилков (будущий русский министр путей сообщения), нарочно для этой цели приглашенный Соболевым из России. Над министерством была, таким образом, одержана победа; но вопрос о постройке железнодорожной сети должен был пройти еще через народное собрание, а здесь русский генерал сам подготовил почву для своих противников, лучше которой они не могли и пожелать. Мы уже упоминали о „соболевском“ избирательном законе; уже его было бы достаточно, чтобы создать человеку, связавшему с ним свое имя, совершенно определенную репутацию среди болгарской интеллигенции. Но, твердо помня „удачные“ результаты тактики генерала Эрпота, его преемник и продолжатель на этом не остановился. Гражданам снова помогли найти достойных кандидатов в члены собрания, при чем выдающуюся роль в этой операции сыграли „драгуны“, так назывались в Болгарии наши жандармы. Тут на долю консерваторов досталась совсем выигрышная роль. Хотя они сами, конечно, нисколько не постеснялись бы пустить в ход совершенно подобные же средства избирательной агитации, но раз эти средства применяли не они, а русские гене-

ралы, позиция консерваторов была совершенно ясна. Начевич, Греков и Стоилов потребовали упразднения „драгунского“ корпуса и разыграли по этому случаю даже комедию министерского кризиса. Князь Александр,—неизвестно, было ли это продолжением двойной игры, или просто на дело повлияли его немецко-гвардейские привычки,—стал на сторону Соболева. „Драгуны“ остались [1]). Но выборы в собрание, несмотря на их участие, прошли дружно под лозунгом „Болгария для болгар“, и „соболевский“ закон нисколько не помешал тому, что выбранные на основании этого закона депутаты весьма решительно выразили недоверие генералу Соболеву, потребовав, чтобы министром общественных работ был назначен болгарин. Никакой надежды провести через такое собрание „русский“ тип железнодорожного проекта, разумеется, и быть не могло. В следующую сессию концессия на постройку железных дорог была передана одной болгарской компании.

Неудача с железными дорогами в свое время чрезвычайно мало обратила на себя внимание современников, за исключением, разумеется, лиц специально заинтересованных—Поляковых и Гинзбургов. Но, в сущности, это было начало конца. Недостаток места не позволяет нам сколько-нибудь подробно остановиться на перипетиях борьбы, которую вела русская дипломатия в Болгарии в последующие пять лет до дня 5 ноября 1886 года, когда страна-освободительница прекратила всякие дипломатические сношения с освобожденной ею страной. Мы напомним только, что весь этот пятилетний промежуток наполнен для русского правительства одними неудачами. Все попытки вернуть болгар к „исполнению своего долга“ лаской или угрозою ни к чему не приводили. Разорвав с консерваторами, „генерал“ думал опереться на либералов и, в залог будущей дружбы с последними, восстановить уничтоженную при участии России тырновскую конституцию: Баттенберг примирился с либералами и восстановил конституционный порядок раньше, чем Соболев и его коллега успели за это приняться. Тогда русская дипломатия, в виде постоянного средства завоевать симпатии болгар, стала подготовлять объединение северной и южной Болгарии (восточной Румелии); правительство князя Александра и тут кончило дело скорее, чем русские могли его начать. С момента унии (8 сентября 1885 года) русское влияние в Болгарии могло рассчитывать исключительно на факторы наиболее материального свойства—на деньги и штыки. Но первым не удавалось устроить больше нескольких

[1]) Эпизод этот подробно рассказан самим Соболевым. См. „Рус. Стар.“, отр. 712—727.

пронунциаменто, в роде низвержения князя Александра в августе 1886 года,—результаты которых не могли продержаться дольше двух дней. А вторых „Европа“ твердо решила не впускать вторично в Болгарию.

3. Дальний Восток.

Попытка средне-азиатскими приемами проложить русскому капитализму дорогу на Балканский полуостров кончилась полной неудачей. Еще раз отброшенный на Западе, этот капитализм имел теперь лишнее основание искать компенсаций на Востоке. Но средне-азиатский Восток был уже использован до конца к этому времени; после занятия Мерва двигаться дальше в этом направлении было нельзя, не рискуя опять встретить на своем пути „Европу“, в образе Англии. Было достаточно горького опыта, чтобы не чувствовать в этом случае особенной бодрости. Нужно было выбирать противника более по своим силам. И не совсем случайно параллельно с болгарскими неудачами в круг внимания людей, правивших судьбами России, вдвигаются берега Великого океана. В 1887 году иркутский генерал-губернатор, гр. А. Игнатьев, в своем всеподданнейшем отчете, особенно подчеркивал важность и необходимость постройки железных дорог в Восточной Сибири. Мысль была отнюдь не новая: первый проект железной дороги от Нижнего-Новгорода да берегов Амура относится еще к 1858 году. Но в то время, как тогдашние государственные деятели „не видели существенной надобности“ ни в чем подобном, слова Игнатьева нашли себе сейчас же очень живой отголосок. Император Александр III написал на отчете иркутского генерал-губернатора: „Уже сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен со стыдом и грустью сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора!“ Согласно с духом высочайшей резолюции, особое совещание о сибирских железных дорогах, образованное весною 1887 года, и решило вопрос в положительном смысле. „Основная точка зрения членов этого совещания,—говорит официальная история Сибирской железной дороги,—состояла в единогласном признании, что в общегосударственном и в особенности в стратегическом отношениях ускорение сношений Европейской России с отдаленным Востоком становится с каждым годом все более неотложным, несмотря на то, что проложение рельсового пути через Сибирь не обещает в ближайшем будущем, при ограниченном торговом сибирском движении, положительных выгод и может

окупиться лишь со временем". Сообразно с этим, совещание признавало необходимым „деятельное участие" в производстве изысканий для новой дороги и определении ее направления— „военного ведомства" [1]). С самого начала, таким образом, стало ясно, что дело идет не столько о нуждах „богатого, но запущенного края", сколько о новой операционной линии военно-коммерческих экспедиций и театре будущих колониальных войн.

По воспоминаниям о прежних подвигах в этих отдаленных областях задача казалась здесь едва ли не еще более легкой, чем в Туркестане. Ближайшим возможным нашим противником на Амуре были китайцы. Провербиальное отвращение этого народа к войне—профессия военного человека, в глазах китайца, как известно, ничуть не почетнее профессии разбойника— в конце 50-ых годов прошлого века было блестяще подтверждено „завоеванием" Амура гр. Н. Н. Муравьевым, самым оригинальным завоеванием, какое только можно себе вообразить, когда оказалось достаточным даже не выстрелов, а только угроз выстрелами, чтобы заставить противника уйти, уступив все, чего от него требовали. В Средней Азии все же приходилось на деле стрелять, и иной раз неоднократно, чтобы достигнуть такой цели [2]). Экспедиция Муравьева сама по себе чрезвычайно характерна, между прочим, своим хронологическим совпадением с экспедицией Перовского на Сыр-Дарье. Только вспомнив, что 40—50-е годы XIX века были периодом первого расцвета русского капитализма, поперек дороги которому стояло крепостное право, мы поймем эту „тягу на Восток" русских генералов, между собой не сговаривавшихся и, вероятно, очень смутно представлявших себе конечные цели своего наступления. Муравьев-Амурский видел в „завоеванных" им областях, главным образом, театр будущей русской колонизации, и в этом случае он, конечно, ошибался самым жестоким образом. Климатически поставленная в гораздо худшие условия, чем даже южная окраина Западной Сибири, не говоря уже о Туркестане,

---

[1]) „Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем"; Спб. 1908, стр. 72—73. Курсив наш.

[2]) Захват Муравьевым левого берега р. Амура долго оставался фактом, юридически не санкционированным, так как пекинское правительство отказывалось ратифицировать сделку, заключенную напуганными русской экспедицией местными китайскими властями с русским генералом. Отправленный в Пекин для окончательного разрешения этого вопроса генерал-майор Игнатьев (будущий, в 1875—76 гг., посол в Константинополе) приехал на место назначения как-раз в ту минуту, когда англо-французские войска готовились брать китайскую столицу. В такой обстановке перепуганные придворные богдыхана за посредничество готовы были отдать что-угодно, и договор 2 ноября 1860 г. не только утвердил за Россией левый берег, но и отдал ей, как бы в виде штрафа за медленность, еще весь Уссурийский край. Это был первый дипломатический успех будущего вершителя восточной политики,—с него началась блестящая карьера Игнатьева.

Амурская область и через сорок лет после Муравьева была почти такой же пустыней, как при нем. К 1 января 1895 года русское население области достигло с небольшим 100 тысяч человек (102.414 душ обоего пола), т.-е. менее 0,2 человек на квадратную версту. „Мощные и прекрасные на вид почвы области не могут равняться по своей производительности с черноземом России“,—говорит очень оптимистическое ее описание 1898 года. „Но что особенно затрудняет введение и развитие хлебопашества в крае—это его неблагоприятные климатические условия и, в частности, крайне неравномерное распределение осадков по временам года, к которым вовсе не приспособлены практикуемые ныне способы ведения сельского хозяйства. К тому же амурский хлеб не может рассчитывать найти сбыт и в соседних странах: Китае, Японии и Америке, как по плохому качеству своего зерна, так и по отсутствию там спроса на сельскохозяйственные продукты. В таком же положении находится в крае и скотоводство... Единственно что, судя по всему, может поднять производительные силы края—это развитие в нем обрабатывающей промышленности“ [1]). Только крупно-капиталистическое предпринимательство ради интересов которого и работал бессознательно Муравьев, как и его современники, Перовский, Черняев и Кауфман, могло внести жизнь в эти унылые и мертвые страны. Но для этого предпринимательства, на тогдашней стадии его развития, амурская перспектива была слишком далекой. Едва буржуазные реформы Александра II несколько развязали ему руки у себя дома, а завоевание Туркестана дало колониальный рынок,—Дальний Восток на-время был забыт.

До 80-х годов русская дипломатия имела дело с Китаем только посредственно, поскольку и он являлся русским соседом со стороны только-что завоеванного Туркестана. Восточная окраина этого последнего, Кульджа, со второй половины восемнадцатого века принадлежала к Китайской империи. Принадлежала юридически, фактически же как-раз в 60-х годах, когда одна область западного Туркестана за другой стали переходить в русские руки, мусульманское население восточного Туркестана прогнало от себя китайских чиновников, разбило посланные для его усмирения китайские войска и, видимо, готовилось образовать на восточной границе туркестанского генерал-губернаторства новое независимое ханство. Такая перемена вовсе не шла навстречу намерениям русского правительства, и так как китайцы были, очевидно, бессильны помешать возникновению нового туземного государства в Турке-

[1]) „Сибирский торгово-промышленный календарь“ на 1897 год. Курсив наш.

стане, эту задачу взяли на себя русские войска. В 1871 году они оккупировали Кульджу, население которой, очень довольное, что избавилось от китайцев, русским почти не оказало сопротивления. Юридически дело было поставлено так, что своей экспедицией русские оказывали соседскую услугу правительству богдыхана, „восстановляя порядок" за его счет и в его пользу; но об этой услуге в Пекине узнали уже задним числом и, повидимому, не были ею слишком обрадованы, считая не без основания, что переход Кульджи в руки России ничем не лучше потери ее всяким иным путем. Между тем, русское правительство намеревалось использовать непрошенную услугу возможно шире и не оставляло усмиренной им области почти десять лет под разными предлогами, между прочим, и под предлогом жестокостей, совершавшихся китайскими войсками в борьбе с восставшим мусульманским населением. Генерал Кауфман, несколько успевший забыть, очевидно, как сам он усмирял восставший Самарканд [1]), писал по этому поводу искренно негодующие письма китайскому главнокомандующему Цзо-Цзунь-Тану. Когда, наконец, Китай поставил вопрос о возвращении Кульджи ребром и отправил в Россию чрезвычайного посланника, с главною целью хлопотать об этом деле, русская дипломатия, приняв своего китайского собрата с довольно кислым видом (ему было дано понять, что появление китайского чрезвычайного посла в Петербурге „не предусмотрено трактатами", и трактовали его только как „представителя китайского правительства", без определенного титула), потребовала за оказанную в 1871 году добрососедскую услугу вознаграждения, совершенно необычайного по своим размерам. Китай не только должен был уплатить 5 миллионов рублей в виде непосредственного вознаграждения за расходы России по оккупации Кульджи, но еще русским подданным должны были быть предоставлены обширнейшие преимущества в их торговле с Китаем. По сухопутной границе эта торговля фактически должна была стать беспошлинной, и права русских торговцев во всем сравнивались с туземными, что, по справедливому заключению китайских чиновников, критиковавших трактат, должно было повести к экономическому завоеванию Россией всей Монголии и всего китайского Туркестана. Вдобавок к этому, русские торговцы получали почти неограниченный доступ во внутренние провинции Китая, что ставило их в привилегированное положение в ряду остальных европейцев, имевших право торговать лишь в немногих определенных „открытых портах". За все это Россия возвращала „законному обладателю"

[1]) См. выше, стр. 331.

не всю Кульджу, а лишь часть ее, сохраняя в своих руках стратегически наиболее важные пункты. Несмотря на все это, китайский чрезвычайный посланник без титула был так терроризован развернувшимся перед его глазами могуществом русского императора и властным тоном его чиновников, что не посмел не подписать трактата [1]). Но Цзунь-Ли-Ямынь в Пекине, не без влияния западно-европейской дипломатии, оказался храбрее и дезавуировал своего трусливого представителя. В первый раз за двести лет заговорили о войне Китая с Россией. К лету 1880 года Россия сосредоточила в Тихом океане большую часть своих морских сил, а в Кульджу было стянуто до 8.000 человек войска, на помощь которым готов был двинуться тридцатитысячный туркестанский корпус. Все это однако, имело лишь в виду поставить дипломатический торг в возможно более выгодные условия. Как только в Петербурге получили представление, что Китай идет на максимальные уступки, каких можно от него добиться, там тотчас согласились на пересмотр Ливадийского трактата. Петербургским трактатом (12 февраля 1881 года) привилегии русских торговцев и количественно—в смысле объема территории, на которую они распространялись,—и качественно были значительно сужены, оставшись все же очень большими, если принять в расчет чисто-средневековую исключительность китайцев в вопросах международного обмена [2]). Только самая западная часть Кульджи осталась в русских руках; но зато денежное вознаграждение было повышено до девяти миллионов золотых рублей [3]).

События 1879—80 годов интересны, главным образом, с той точки зрения, что они намечают передвижку русских экономических интересов в те области, куда их напрасно старался привлечь в свое время Муравьев-Амурский. На то же явление указывали и „научные“ экспедиции, посылавшиеся русским правительством в Китай в первой и во второй половине 70-х годов, хотя, вопреки их официальной „научности“, во главе их стояли не ученые, а военные люди. Первая из этих экспедиций—под руководством подполковника Сосновского—была подробно описана одним из ее участников [4]). Из его обстоятельной книги русская публика впервые узнала, что страшный Китай, где европейцу, якобы, угрожает неминуемая гибель от рук „диких“ туземцев, если его не будут непрестанно охранять пушки европейских эскадр, есть, в сущности, весьма куль-

[1]) Этот так-наз. „Ливадийский“ трактат, заключенный в октябре 1879 года, не был опубликован,—читатель сейчас увидит, почему.

[2]) Не нужно забывать, что все эти отзывы о китайцах относятся к концу XIX века, за четверть столетия до китайской революции.

[3]) Полный текст трактата см. у Cordier, „Histoire des relations de la Chine avec les puissances occidentales“; Paris 1902, т. II, стр. 223 и след.

[4]) Доктором Пясецким.

турная страна с мирным, трудолюбивым населением, где личная безопасность стоит во всяком случае не ниже, чем в России, и выше, чем в Персии или Турции [1]). А в русских официальных сферах отчеты Сосновского и его преемников должны были укрепить и без того достаточно твердо со времен Муравьева державшееся там мнение, что от китайцев всего можно добиться, если удачно выбрать время и быть понастойчивее. Груша зрела, оставалось только терпеливо дожидаться, пока она упадет. В половине 90-х годов, когда китайско-японская война лишний раз доказала все военное ничтожество „Срединной империи“ [2]), желанный момент, казалось, наконец, наступил. Китайский флот был уничтожен, китайская армия, обновленная по европейским образцам, о которой так много толковали перед войной, самым блестящим образом опровергла эти толки. Между победоносными войсками маршала Ямагаты и Пекином, в сущности, ничего не было. Из держав, которые имели и интересы, и серьезные вооруженные силы в северной части Тихого океана, Англия и Соединенные Штаты были на стороне Японии. Не к кому было обратиться, кроме России. В 1895 году на берегах Пей-Хо повторилась сцена, разыгравшаяся в 30-х годах на берегах Босфора: Россия явилась в роли спасительницы беззащитного союзника, погибавшего под ударами врагов. Япония заняла обе стороны пролива, ведущего из океана в Желтое море, и Порт-Артур, и Вей-Хай-Вей, и желала удержать ключ от ворот китайской столицы в своих руках. По Симоносекскому договору (17 апреля 1895 года) Китай уступил своей победительнице Ляо-Дунский полуостров с Порт-Артуром и Талиенваном в вечное обладание и соглашался на занятие японскими войсками Вей-Хай-Вея и Шан-Дунского полуострова (vis à vis Ляо-Дуна) впредь до выполнения Китаем остальных условий мира. Русское министерство иностранных дел, едва условия договора стали известны, поспешило обратиться к остальным европейским кабинетам с заявлением, что переход в руки Японии Ляо-Дунского полуострова обозначает собой „постоянную угрозу столице Китая, делает в то же время призрачной независимость Кореи и в будущем явится непреоборимым препятствием для поддержания мира на Дальнем Востоке“. На русский почин откликнулась Франция, уже русская союзница формально, Германия, имевшая свои виды на японские завоевания, как обнаружилось очень скоро, и Испания, тогда еще владевшая Филиппинами.

---

1) Читатель не забудет, что речь идет о 70-х годах.

2) Как известно, употребительное когда-то название „Небесная империя“ есть продукт отчасти лести, отчасти невежества европейских миссионеров, неудачно переведших китайское выражение, означающее собственно п о д н е б е с н а я.

В ответ на совместное „представление“ этих держав японское правительство в первую минуту запросило-было своих главнокомандующих на суше и на море, считают ли они возможным оружием защищать приобретения Японии от кого бы то ни было. Но, получив ответ, что все военные ресурсы следует признать уже исчерпанными, дипломатия микадо вынуждена была пойти на уступки и, попытавшись сначала отстоять хотя бы один Порт-Артур, под конец отказалась от всяких территориальных приобретений за счет Китая, под условием увеличения денежной контрибуции. Китай был „спасен“: по словам одного европейского дипломата, очень близко наблюдавшего события, он в это время гораздо больше боялся своей спасительницы, нежели самих японцев [1]).

Появление России в роли супер-арбитра японо-китайского спора (в противоположность обычным супер-арбитрам, не выбранного ни тою, ни другою стороной и даже, как мы сейчас видели, едва ли желательного обеим) не было, конечно, такою неожиданностью, как может показаться из нашего краткого изложения. Один из историков русско-японской войны справедливо отмечает два события, гласных и официальных, которыми предвозвещалось близкое и активное выступление русского правительства на Дальнем Востоке: во-первых, торжественную закладку восточного конца великой сибирской магистрали во Владивостоке, 19 мая 1891 года; во-вторых, соединение сибирского телеграфа с китайскими телеграфными линиями,—факт крупного политического значения, потому что им была отнята у Англии монополия быстрых сношений с Пекином, и русская дипломатия не рисковала более быть отрезанной от своего центра в случае каких-либо недоразумений с этой стороны. Тот, кто мог бы проникнуть в это время за политические кулисы, увидал бы приготовления еще более обширного характера. В голове человека, готовившегося управлять судьбами России, Сибирская железная дорога далеко переросла не только ту скромную роль, какую ей предназначало правительство, но и сравнительно широкие перспективы русских стратегов. „Сибирская магистраль открывает новый путь и новые горизонты и для всемирной торговли,—писал осенью 1892 года Витте,—и это значение ее ставит сооружение ее в ряд мировых событий, которыми начинаются новые эпохи в истории народов, и которые нередко вызывают коренной переворот установившихся экономических сношений между государствами“ [2]). Но для того,

[1]) M. v. Brandt, „Drei Jahre ostasiatischer Politik“, S. 133.

[2]) F. Rey, „La guerre russe-japonaise au doint de vue du droit international“, I, Paris, 1907, pp. 10—11. „Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем“, стр. 114.

чтобы стать „мировым событием“, Сибирская дорога из скромной узкоколейки, по которой могли бы черепашьим шагом ползти через тайгу „теплушки“ с солдатами или переселенцами, должна была превратиться в европейскую „тихоокеанскую дорогу“ с международными экспрессами и миллиардами пудов груза, отбитого у океанских пароходов всех стран, до сих пор монопольно державших в руках обмен между Дальним Востоком и Европой. Такую дорогу нельзя было вывести к захолустному тупику, хотя бы и носившему громкое имя „Владивосток“. Логика Витте вела к повороту на юг, в сторону незамерзающего моря и крупных центров дальневосточной торговли. Удача русского министра финансов, как и всякая другая историческая удача, впрочем, всегда и везде, определилась тем, что логика фактов совпала с его личной логикой. Разгром Китая японцами в 1894—1895 годах сделал реальностью то, о чем можно было только мечтать за три года перед тем. Своим вмешательством в Симоносекский договор Россия уже привязала к себе Китай узами дружбы и благодарности; но в международных отношениях бескорыстной дружбы не бывает,—Китай потому так и боялся своего нового „друга“, что предвидел весьма тяжелую форму „благодарности“, какой от него потребуют. Витте же, с своей стороны, не ограничился одними моральными узами, а сразу дал русско-китайской дружбе весьма прочную конкретную оболочку. Очищение Ляо-Дуна японскими войсками было обусловлено, как мы помним, уплатою китайским правительством контрибуции в увеличенном размере. Надо было достать очень крупную сумму — 400 миллионов франков, — которой в казначействе богдыхана, само собой разумеется, не имелось, и которую не так легко было найти на европейском рынке на другой день после столь позорно окончившейся войны. Русское правительство, стоявшее тогда в расцвете своей дружбы с парижскими банкирами, немедленно и здесь предложило свои услуги. Русско-французский союз никогда еще не выступал перед светом в такой драстической форме. Во главе контракта (24 июля — 6 июня 1895 года), определявшего условия нового китайского займа, стояло имя „его превосходительства российского министра финансов“, а в непосредственном соседстве с ним следовали Crédit Lyonnais, Comptoir d'Escompte, Société Générale и т. д., и т. д. Все эти лица и учреждения сообща опекали его величество императора китайского, имя которого упоминалось только в конце и между прочим, как нечто совсем третьестепенное. К такому обидному для китайского самолюбия распределению имен было полнейшее основание: заем мог быть заключен, и притом на довольно льготных при данных обстоятель-

ствах условиях [1]), только благодаря тому, что русское правительство гарантировало исправную уплату по нем процентов. Быть кредитором Китая значило быть кредитором России; а западно-европейский сберегатель уже знал, что это положение приятное и достаточно обеспеченное. С другой стороны, русский министр финансов силою вещей сделался теперь вхож в китайские государственные дела, и притом с самого существенного их конца, со стороны казначейства. Свое влияние, теперь уже основанное не только на шатком устое „сердечной признательности", он использовал немедленно же и весьма серьезно. В декабре того же 1895 года те же банкиры, под официальным высоким покровительством России (указ 10 декабря этого года), образовали русско-китайский банк, которому в следующем году китайское правительство выдало концессию на постройку железных дорог в Манчжурии. Они должны были связать сибирскую магистраль с сетью строившихся китайских железных дорог; ближайшую к русским границам часть этой сети Россия бралась даже построить сама, в случае финансовой невозможности этого для Китая. Мы говорим „Россия", потому что уже тогда ни для кого не составляло тайны, что „русско-китайский банк" есть просто ширма, из-за которой действует русское министерство финансов, субсидируемое парижскими банкирами. Что новые манчжурские дороги будут простым продолжением сибирского железного пути, и притом не только технически, но и политически,—это концессия устанавливала совершенно прямо и определенно, оговаривая, что они не только будут строиться по русскому типу и под исключительным контролем русского правительства, но что, в виду пустынности и слабой заселенности местностей, по которым они пройдут, дороги будут охраняться „специальными отрядами кавалерии и пехоты, расположенными на главнейших станциях, для лучшей охраны железнодорожной собственности". Китай получал право собственности на эти дороги лишь через 80 лет, а выкупить их мог только через 36 лет: до этого момента дороги „русско-китайского банка" должны были оставаться настоящим государством в государстве, даже и с наиболее выразительным атрибутом „государственности", в лице вооруженной силы.

Общественное мнение европейских колоний Дальнего Востока было убеждено, что соглашение русского и китайского правительств в 1896 году далеко не ограничивалось железнодорожной концессией. Дальневосточная английская печать утвер-

[1]) Из 4% годовых, при выпускной цене для участвовавших в деле банкиров 94 1/8, а для публики 98,80 за сто. Куртаж союзников составлял, таким образом, около 4%—16 милл. франков на весь заем.

ждала, что знаменитый—несколько дутой, впрочем, известности—китайский реформатор Ли-Хун-Чанг, бывший в мае этого года в Москве, на коронации, в качестве чрезвычайного посла китайского императора, подписал там секретный договор с Россией, делавший последней широчайшие уступки уже чисто-политического характера. Главнейшие пункты этого секретного договора, получившего в европейской печати название „конвенции Кассини", по имени тогдашнего русского посланника в Пекине, сводились, будто бы, к тому, что Россия получала в продолжительную аренду порт Киао-Чао, на Шан-Дунском полуострове, долженствовавший быть связанным железным путем с Пекином и явиться, таким образом, южным выходом всей русско-китайской сети, и могла его использовать не только коммерчески, но и с военными целями, как базу для своего тихоокеанского флота. Порты Ляо-Дунского полуострова (Порт-Артур и Талиенван, впоследствии „Дальний") Китай обязывался также предоставить России для этой цели, но лишь в случае войны, в которой обе договаривающиеся стороны представлялись на протяжении всего трактата союзницами. До этого момента Китай обязывался принять все меры к охране этих пунктов от чужого захвата; а так как русское правительство имело основания сомневаться в военной готовности своего союзника, то Китай должен был в возможно краткий срок реформировать по европейскому образцу всю свою армию, под руководством русских инструкторов. В чисто-экономическом отношении „конвенция Кассини" дополняла железнодорожную концессию чрезвычайно важной привилегией — разработки минеральных богатств Манчжурии, что имело исключительное значение, в виду недавнего перед тем открытия богатых золотых россыпей в северной Манчжурии и не менее богатых залежей каменного угля в южной. Горячая фантазия одного французского публициста связала даже с этой привилегией введение в России золотой валюты год спустя.

Гораздо более сомнительно, чтобы и вся „конвенция" являлась лишь плодом фантазии англо-китайских журналистов. Широта ее захвата не должна нас удивлять, если мы вспомним, как близко к русско-китайским делам стоял тогда такой фанатический проповедник русской миссии на Дальнем Востоке, как кн. Ухтомский (председатель правления русско-китайского банка). То, что главные ее пункты не осуществились, еще не говорит против ее существования. Подписавший ее Ли-Хун-Чанг фактически уже не пользовался тогда прежним влиянием,—японско-китайская война рассеяла все обаяние его „реформ". Отречься от его подписи пекинскому двору было тем легче, что „конвенция" была секретная, и официальное оглашение ее вызвало бы невероятный скандал среди заинтересованных в дальневос-

точных делах европейских держав. Огласить же ее частным образом было очень ловким шагом со стороны китайской дипломатии (напечатавшая „конвенцию“ впервые англо-китайская газета утверждала, что документ ею получен из Цзунь-Ли-Ямыня); это было косвенной апелляцией против русского „засилья“ к Англии и другим конкурентам России. Предусмотреть непосредственное следствие этой апелляции китайцы едва ли могли, ибо оно, действительно, было не совсем обыкновенно. А именно. Германия, правильно оценив будущее значение Киао-Чао и не менее правильно рассуждая, что немецкие коммерческие интересы в Китае во много раз крупнее русских [1]), завладела названным портом в свою пользу (14 ноября 1897 года) и, после нескольких месяцев воплей со стороны Китая о полном попрании немцами международного права и всех дипломатических приличий, добилась от пекинского правительства арендного договора на Киао-Чао, аналогичного с тем, какой „конвенция Кассини“ проектировала для России. А то, что Россия ответила на этот шаг Германии приблизительно такой же — с несколько большим соблюдением дипломатических аппарансов — оккупацией Порт-Артура и Талиенвана, и что Китай на эту ампутацию согласился очень быстро и без особых споров, показывает, с одной стороны, что для России дело Киао-Чао было далеко не безразлично, а с другой — что и Китай был готов к чему-нибудь подобному. И то, и другое объяснится наиболее простым и удовлетворительным образом, если мы предположим, что аренда одного из китайских портов Россией, и притом именно одного из названных, принципиально была решена заранее, и арендный договор 15/27 марта 1898 года о Квантунском полуострове лишь осуществлял то, что можно еще было осуществить от давно намеченной сделки [2]).

Договор 15 марта (дополненный специальным соглашением 7 мая того же года) был, действительно, преддверием к „мировым событиям“. Дело шло уже не о Манчжурии, а о всем Дальнем Востоке, в самый центр которого вдвигала Россию новая сделка. Русское министерство иностранных дел само за три года раньше определило положение, заявив, что Япония, владея Ляо-Дуном, будет держать под шахом Пекин и сделает призрачной независимость Кореи. Но очевидно, что для Пе-

---

[1]) Об их сравнительном значении дают понятие следующие цифры: в 1897 г. — год захвата Киао-Чао — стоимость германского морского ввоза в Китай составляла 26 миллионов „таэлей“, русского — около 50 тысяч „таэлей“. Таэль — около полутора русских рублей по тогдашнему курсу. К этому надо прибавить русский сухопутный ввоз на $6^1/_4$ милл. рублей.

[2]) Одним из косвенных подтверждений этого предположения служит, между прочим, заметный интерес к киао-чаоской гавани, обнаруживавшийся еще задолго до захвата ее немцами „Котлином“, органом русского морского министерства. См. Brandt, цитир. соч., стр. 209.

кина и Кореи положение не менялось к лучшему от того, что на месте Японии в Ляо-Дуне хозяйничала Россия. То обстоятельство, что северная часть Ляо-Дуна была объявлена нейтральной, и русская оккупация распространялась лишь на южную оконечность полуострова, его Квантунский выступ, и что формально Россия была лишь „арендатором", а не собственником оккупированной территории, тоже ничего, конечно, не меняло. Как понималась русскими властями эта „аренда",—видно из того, что немедленно же по заключении договора последние стали требовать от иностранцев, вступающих на „китайскую" территорию, паспортов, визированных русскими консулами. Только после самых энергичных представлений Англии мера эта перестала применяться. „Нейтралитет" же Ляо-Дуна мог представлять какой-нибудь интерес для китайского населения и в особенности китайских чиновников, но никак не для конкурентов России в этих местах, ибо Порт-Артур и Талиенван—единственные пункты, ради которых можно было хлопотать о всем деле, согласно договору, должны были немедленно же быть связанными с русской Сибирской дорогой соединительной ветвью, поставленной, разумеется, в такие же условия, как и все русско-манчжурские дороги вообще, т.-е. представлявшей собою „государство в государстве", и притом государство русское. Фактически, русская граница была теперь на берегах Печилийского залива, и это было самое важное. Все остальное являлось совершенно второстепенным. Нужно сказать, что и в этой второстепенной области русские интересы были достаточно ограждены: никаких концессий на „нейтральной" территории Китай никому не мог давать без согласия России. Русский капитал и здесь, таким образом, гарантировал себе монополию. Но главный смысл захвата и его ближайшее значение были не только коммерческие: Порт-Артур должен был стать исключительно военной гаванью, вход в которую был закрыт для кого бы то ни было, кроме русских и китайских военных кораблей. Тогда как комерческая гавань Талиенван (скоро переименованная русскими солдатами в „Дальний" — каковое имя за ним и официально укрепилось, — а петербургской публикой в „Лишний") была открыта для судов всех наций. Из первого собирались „грозить шведу", а во второй ждали к себе в гости „все флаги".

История обманула оба ожидания. Но ее коварство обнаружилось далеко не сразу. В первую минуту можно было думать, что событиями марта — мая 1898 года, как в известном водевиле, „все остались довольны". Из держав, имевших крупные интересы на Дальнем Востоке. Германия только-что насытила свой аппетит в полной мере, Франция—колониально-капитали-

стическая Франция, о которой только и могла итти речь, — в сущности стояла за спиной России. Оставались Соединенные Штаты, Англия и Япония. Но первые по отношению к азиатскому континенту давно усвоили себе линию поведения, классическую для буржуазного государства: не стремясь к захвату ни клочка территории в свою собственность (типично феодальная форма завоевания), требовать доступа всюду для своих товаров на условиях наиболее благоприятных, какие только могут быть в данном месте достигнуты. Открытая гавань Талиенвана на первых порах была достаточным удовлетворением для американской политики „открытых дверей". В дальнейшем камнем преткновения могли бы послужить русские монополии в Манчжурии. Но это были дела уже, так-сказать, второй линии: в первой линии для Америки в это время стояли Филиппины, только-что отнятые Соединенными Штатами у испанцев. По отношению к Англии в нашей националистической печати долго держалась легенда о том, как будто бы только необыкновенной ловкости и смелости русских моряков удалось предупредить захват Порт-Артура британской эскадрой в самую последнюю минуту. В дипломатических документах эпохи этот романтический эпизод не оставил, однакоже, никаких следов. Напротив, содержание этих документов, а также и простая последовательность фактов заставляют предположить, что здесь постарались уладить дело с самого начала. Vis-à-vis Порт-Артура расположена китайская гавань Вей-Хай-Вей, в 1895 году, как помнит читатель, также взятая японцами. 2 апреля 1898 г. — менее, чем через месяц после перехода к России Квантуна — Вей-Хай-Вей, на таких же приблизительно условиях, был „арендован" Англией. Этим стратегически положение России и Англии у ворот Пекина совершенно уравнивалось, — уравнивалось теоретически, разумеется: практически оно было настолько выгоднее для Англии, насколько английская тихоокеанская эскадра была сильнее русской. Экономические же интересы обеих стран были мирно размежеваны соглашением 16/28 апреля следующего 1899 года. В силу этого соглашения Англия признала за Россией монопольное право на постройку железных дорог к северу от Великой Китайской стены, а Россия — такое же право Англии по отношению к долине Ян-Цзы-Цзяна. Оставалась Япония. Но в первую минуту и по отношению к ней, казалось, удалось вполне мирно размежеваться. Вознаграждением за русско-китайский договор 15 марта для Японии должна была послужить ликвидация русско-корейской авантюры, которую можно назвать первой авантюрой этого рода, чтобы отличить ее от предприятий статс-секретаря Безобразова, ликвидированных русско-японской войной. Об этой

корейской авантюре „первого призыва“ стоит сказать несколько слов как в виду характерности политической позиции, занятой в этом деле Россией, так и для лучшего понимания почвы, на которой разыгрались дальнейшие события этого рода.

Япония занимала в Корее совершенно исключительное положение не только в силу географической близости обеих стран и исторических воспоминаний о когда-то, триста лет назад имевшем место завоевания Кореи японцами, а главным образом потому, что Япония первая открыла Корейский полуостров для международной торговли. „Страна утреннего спокойствия“ из всех стран Дальнего Востока всегда была наиболее отсталой, далеко оставляя за собой в этом отношении даже Китай. Те сказки о дикости населения, которые распространялись европейскими купцами и миссионерами по поводу китайцев, по отношению к корейцам заключали в себе долю истины. Случаи истребления экипажей разбившихся у корейских берегов иностранных судов не были редкостью, а во внутренность страны европейцы чаще всего попадали в виде скованных пленников. Будь Корея такой же богатой страной, как южный Китай, этой „исключительности“ скоро был бы положен конец европейскими пушками. Но так как Корея—страна, относительно, бедная, то пушки действовали весьма вяло, и две экспедиции, французская и американская, внушили даже корейцам странную мысль о их „непобедимости“. Этот предрассудок суждено было рассеять японцам. Их молодая буржуазия не погнушалась тем, на что с презрением смотрели европейские торговцы опиумом, и в 1876 году Япония вынудила у Кореи заключение первого в истории этой страны международного торгового трактата, открывшего несколько корейских гаваней для японских купцов. Последние явились здесь фактически монополистами, и уже в 70-х годах японцы могли рассматривать Корею, как свою колонию. Но „старшие“, чем Япония, колонизаторы очень скоро заметили новую открытую дверь, и, так как войти в нее теперь не стоило никакого труда, международные трактаты с Кореей посыпались, как из рога изобилия. Сам почти столь же „исключительный“, по традиции, Китай явился в данном случае подстрекателем: считая Корею своим вассалом, но не считая себя в силах выгнать оттуда японцев, китайское правительство надеялось выжить их при помощи иностранцев. Прямой борьбы, впрочем, избежать не удалось. Уже в середине 80-х годов дело дошло до погрома японских колонистов в Сеуле, организованного не без участия китайцев, контр-погрома, устроенного уже японцами, и, наконец, до событий, где китайские войска прямо стреляли по японским чиновникам. Дело кончилось на этот раз победой китайцев и „патриотической“ реакцией корейского

населения против иностранцев (по словам одного хорошо знающего край английского наблюдателя, ничто так не чуждо корейцам, как патриотизм в европейском смысле). Как и всегда в подобных случаях, „народ“ играл роль статистов, а судьбами страны, под эгидой китайских мандаринов, правило местное дворянство („ян-бани“), повидимому, самое жадное и самое невежественное в мире, ведшее отчаянную борьбу с немногочисленной, усвоившей себе японскую культуру буржуазией. Эта последняя и выделила из своей среды корейскую „партию реформ“, на минуту ставшую у власти в 1884 году и быстро погибшую под натиском „патриотической“ реакции. Нашедшие себе убежище в Японии остатки ее были постоянной угрозой для китайско-дворянского владычества. Японская буржуазия относилась к этим корейским эмигрантам, как к своим, и во всякую минуту готова была поддержать их дело. Развязку тормозило японское правительство, само отчасти верившее в силу „реформированного“ Ли-Хун-Чангом Китая и не считавшее Японию созревшей для войны с ним. Но к началу 90-х годов корейский вопрос стал вопросом жизни и смерти самого японского правительства: только-что народившийся (с 1890 года) в Японии парламент обнаружил самое шовинистическое настроение, двукратный роспуск палаты дал прежнее большинство, в воздухе начало пахнуть революцией [1]), и в 1894 году микадо вынужден был послать свои войска в Корею, воспользовавшись, как предлогом, беспорядками, происходившими там, впрочем, едва ли не каждый год. На этот раз, вступив в Корею, японцы твердо решили не уходить из нее. Симоносекский договор покончил раз навсегда с юридической фикцией зависимости Кореи от Китая. Корея была признана „самостоятельным государством“, фактически же хозяином страны стал японский посланник. Партия реформ снова стала у власти, и на очередь была поставлена обширная программа преобразований, которые вкратце можно охарактеризовать, как „европеизацию Кореи“. С чего приходилось здесь начинать японским реформаторам, видно из того, что исходными пунктами стали: замена натуральных податей денежными и отделение частного хозяйства корейского короля от государственного. Но от XIV века довольно быстро шли в XVIII. Уже введение денежных податей выдвигало на первое место буржуазию, хозяйку денежных капиталов, — и местную, и японскую: в Сеуле возникло специальное общество, с целью „содействовать“ правительству в проведении финансовой реформы. В дальнейшем план преобразований намечал

[1]) Недостаток места не позволяет нам подробней коснуться этого движения, которое чрезвычайно важно для понимания остроты корейского вопроса в Японии. См. Brandt, цит. соч., особ. стр. 13 — 14.

целый ряд реформ в буржуазном духе: здесь было и упразднение дворянских привилегий, и уничтожение рабства, и отделение администрации от суда. Как и все реформаторы, действующие сверху — народ, в целом, относился к делу совершенно пассивно,—как и европейские „просветители“ XVIII столетия, японцы и их корейские друзья не могли удержаться в границах реально-допустимого и реально-нужного для этого молчащего народа. Интересы японской буржуазии подавили буржуазные интересы самой Кореи. Наивность и слабая теоретическая подготовленность преобразователей также внесли свое. Появились такие, например, распоряжения, как запрещение носить одежду традиционного покроя и цвета—из местной ткани, что косвенно вынуждало покупать привозную японскую материю. Народ стал выходить из пассивности, но не в пользу „партии реформ“. Тогда, опять-таки по примеру европейских просветителей позапрошлого века, пустили в ход силу. Главной опорой дворянской партии была королева, сама принадлежавшая к крупнейшему из местных дворянских родов. При почти совершенно открытом участии японского посланника составился дворцовый заговор, окончившийся убийством королевы. Затем таким же путем избавились от нескольких дворянских министров. Все завершилось „государственным переворотом“ самого необыкновенного характера: корейский король и его наследник в женском платье бежали в русское посольство, откуда и последовал высочайший манифест, отменявший все введенные и проектировавшиеся японцами реформы. Участие в подготовке этого переворота русской дипломатии почти столь же мало подлежит сомнению, как и участие японской в убийстве королевы. У японцев опять из-под носу похитили плоды их трудов, как в 1884 году: и как тогда не было иного исхода, кроме войны с Китаем, так и теперь не виделось иного исхода, кроме войны с Россией. Все, чего удалось добиться правительству микадо, это того, что с Японией „поделились“: соглашением 2/14 мая 1896 года был установлен „кондоминиум“ России и Японии над Кореей—дела этой страны должны были вершиться по соглашению русского и японского посланников. Россия, однакоже, заметно брала в этом случае перевес: корейская армия получила русских инструкторов, корейское министерство финансов—русского „советника“, фактически принявшего финансы „страны утреннего спокойствия“ в свое заведывание; был основан русско-корейский банк на условиях, аналогичных с русско-китайским. Словом, виделось совершенно ясно расширение русской „сферы влияния“ в этом направлении. Нужно заметить, что в то время, как японское влияние держалось на совершенно определенном экономическом фундаменте, русское—

было продуктом чисто-политических факторов: русская торговля с Кореей была еще ничтожнее, чем с Китаем, и все усилия привлечь туда русских торговцев были безуспешны. В марте 1898 года все это начинавшееся „экономическое завоевание" Кореи могло быть поэтому закончено с такою же волшебною быстротой, как и началось. В обмен на Квантун, Корея была всецело предоставлена японцам.

Корейская сделка была официально закреплена „соглашением" между Россией в Японией от 13/25 апреля 1898 года. „Соглашение", в десятый раз устанавливая, что Корея есть государство независимое и в своей внутренней политике совершенно самостоятельное, экономически отдавало независимую и самостоятельную страну в руки Японии. Россия обязывалась „в виду широкого развития японских торговых и промышленных предприятий в Корее, а равно значительного числа японских подданных, проживающих в этой стране, не препятствовать дальнейшему развитию торговых и промышленных сношений Кореи с Японией". Японцы толковали потом эту двусмысленную фразу в смысле передачи им Кореи в монопольную торгово-промышленную эксплоатацию. Но прямо и всеми буквами о монополии японцев здесь ничего не говорилось: русская дипломатия имела предосторожность оставить лазейку и для русских предприятий. В данный момент, впрочем, никаких подобных предприятий в Корее не было. Фактически, японцы были в стране монополистами. Несколько цифр и фактов покажут, как использовали они свою монополию. В 1897 году в Корее считалось 13.600 японских поселенцев; в 1902 году их было уже 18.000, а в 1904 г.—25.000. Девяносто процентов кораблей, посещавших корейские гавани, носили японский флаг. „Образовались общества для эксплоатации рыбных ловлей на берегах Кореи; японцы получили концессию на разработку большей части рудников (меньшая часть, нужно добавить, разрабатывалась англичанами и немцами, но ни один русскими); железная дорога от Чемульпо до Сеула, которую начали строить американцы, была в 1899 году выкуплена японским синдикатом; на железную дорогу от Сеула до Фузана, которая должна была связать столицу Кореи с южными портами, концессию получили также подданные микадо; главные японские банки открыли свои отделения в Корее. Один из них стал выпускать билеты, которые могли оплачиваться в японской монете; корейское правительство долго этому противилось, но должно было уступить настояниям и угрозам Японии. Правительство этой последней с величайшей энергией поддерживало начинания своих подданных: оно назначило консулов во все вновь (после 1896 года) открытые для торговли гавани, создало поч-

товые конторы, взяло на себя эксплоатацию телеграфных линий, субсидировало пароходные и железнодорожные компании, получило концессию на постройку маяков вдоль корейского побережья и т. д. В своих действиях оно опиралось на войска, которые, в силу соглашения с Россией, оно могло держать в Корее для охраны консульств и телеграфных линий" [1]).

В то время, как экономическое завоевание Японией ее доли „добычи" шло так ходко, русские перспективы на своем участке продолжали оставаться, несмотря на совершившиеся и готовившиеся совершиться „мировые события", самыми тощими. Русская торговля с Китаем еще в 1897 году носила ужасающе-пассивный характер; китайских товаров в Россию ввозилось несравненно больше, нежели русских в Китай: на 6,4 миллионов рублей русского вывоза приходилось 39,2 мил. рублей китайского ввоза [2]). Пассивный характер, хотя и не в столь ужасающей пропорции, оставался даже, если мы исключим чай, составлявший около 32,1 мил. рублей, из общей стоимости всех китайских продуктов, шедших в Россию: и тогда останется разница в пользу Китая приблизительно в 700 тыс. рублей. Нет надобности подчеркивать ничтожность самых цифр для двух государств, граничивших друг с другом на протяжении 8.000 верст. Когда начала строиться русско-манчжурская железная дорога, вывоз русских денег в Китай увеличился вне всякого сравнения с привозом китайских товаров в Россию. Оборудование одного порта Дальнего стоило почти 19 миллионов рублей; при чем устройство порта далеко не было закончено. Верста Китайско-Восточной железной дороги обошлась в 106—107 тысяч рублей, почти на 10.000 р. дороже версты Забайкальской ветви Сибирской дороги, „наиболее подходящей по условиям постройки к Китайско-Восточной", по признанию официального историка. Попытка его скрасить дело несколькими (кроме одного, весьма жалкими) туннелями, которые пришлось построить в Манчжурии, немедленно же рушится под натиском им самим приводимых цифр: эти туннели могли дать лишку, для Манчжурской дороги, не более 2.000 руб. на версту [3]).

Цитированная нами сейчас книга вышла в 1903 году,— 45 лет после того, как России удалось „ногою твердой стать" на берегах Тихого океана, восемь лет после того, как Россия выступила вершительницей судеб Китая, пять лет после того, как совершилось „мировое событие" захвата Порт-Артура, и более десяти лет с тех пор, как это событие было предугадано и начало подготовляться тогдашним руководителем русской по-

[1]) Rey, цитир. соч., стр. 122—123.
[2]) Для 1899 года соответствующие цифры будут 7,5 мил. руб. и 43,5 мил. руб.
[3]) „Сибирская железная дорога" стр. 283.

литики. И при всем том автору книги оставалось только констатировать „слабое развитие русского экспорта в пределах восточно-азиатских государств“: по вывозу в Китай Россия занимала тогда седьмое место (ниже Дании!), а по вывозу в Японию—просто „последнее“. Мы не будем критиковать его объяснений этого факта—сравнительной дешевизной морской перевозки и дороговизной сухопутной, ибо в распоряжении русских экспортеров был целый, созданный на казенные деньги, „Добровольный флот“, а Одесса по числу миль не дальше от берегов Китая, чем Марсель, и ближе, чем Соутхемптон. Суть дела и без того была совершенно ясна. На Дальнем Востоке дело шло иначе, нежели в Средней Азии, потому что последняя была физически изолирована от всех других капиталистических стран, кроме России; в Манчжурии же география отказывалась помогать, в этом случае российской коммерции. На помощь должна была притти политика: географически, благодаря океану, связанную со всем широким божьим миром страну нужно было изолировать искусственно, введя ее в русскую таможенную черту. Тогда Манчжурия (и Монголия) поневоле сделались бы русским рынком—рынком своего рода кpeпостным. С этой попыткой превратить „внешние“ (лежащие вне Великой стены) провинции северного Китая в русский крепостной рынок связан последний эпизод русской дальне-восточной политики, лежащей еще в хронологических пределах настоящего очерка, — захват Россией Манчжурии в 1900 году, во время „боксерского“ восстания в Китае.

Движение, известное под именем „боксерского“ [1]), тесно связано с двумя фактами, один из которых никогда не составлял секрета ни для кого, другой подразумевался многими еще тогда, а теперь может считаться также установленным вполне точно. Первый факт, это—совершенно своеобразное значение, которое получили христианские миссии в Китае. Весьма мало имея успеха в смысле собственно религиозной пропаганды (за 200 лет работы христианским миссионерам удалось обратить не более 1.000.000 китайских душ, т.-е. около $^1/_4$% всего населения империи), миссии давно приобрели выдающееся коммерческое значение. Вдвойне привилегированное положение миссионера в Китае—и как европейца, в силу трактатов неподсудного местным властям, и как особы священной, имеющей сугубые права на поддержку со стороны европейской дипломатии,—давно привели к тому, что покровительство хри-

[1]) Повидимому, не только вследствие неудачного перевода китайского названия „И-хе-туань“, иероглифы которого обозначали и „большой кулак“, и „физическую силу“ вообще, а и потому, что члены тайных обществ действительно занимались физическим спортом.

стианской миссии стало очень выгодно тем, кто к нему прибегал, и что эту выгоду руководители миссий привыкли, не стесняясь, использовать. Обанкротившийся китаец делался христианином—и становился неуязвим для своих кредиторов, оставшихся „язычниками“. Европеец в рясе забирал на честное слово огромные партии товаров у китайских купцов, и если он не хотел платить, принудить его оказывалось невозможным [1]). При таких условиях пресловутая „ненависть китайца к иностранцам“, о которой любили рассказывать миссионеры, живописуя опасности, каким они подвергаются „среди язычников“, являлась не чем иным, как ненавистью эксплоатируемого к эксплоататору, притом часто самому грубому и бессовестному, какого можно себе представить. Поднять восстание против христиан в Китае было всегда легче, нежели натравить чернь на еврейских ростовщиков в средние века, ибо еврейские ростовщики никогда не пользовались такими привилегиями, как христианское духовенство в Китае. Погромы христиан поэтому были явлением частым, но оставались изолированными и не сливались в общее движение, пока не нашлись силы, которые сверху стали руководить этим движением, утилизируя его в своих интересах. Эта сила в последние годы XIX века и оказалась на сцене, в лице китайского правительства. Здесь мы имеем второй из указанных нами фактов. Растаскивание Китая по частям иностранцами, открытое в 1894 году японцами, мало затронуло китайскую народную массу. Глубоко аполитичная, эта масса была совершенно равнодушна к тому, кто ею управляет [2]); и так как европейская или японская администрации были, конечно, лучше туземной, то китайское население Шан-Дуна, например, по словам вполне, повидимому, объективного наблюдателя, ничего не имело бы против того, чтобы попасть под управление немецкого генерал-губернатора Киао-Чао. Впоследствии, китайцы очень охотно помогали японцам в Манчжурии против русских, и сами русские должны были много сделать, чтобы вызвать против себя нечто в роде „национальной“ ненависти манчжурских китайцев. Но если население было равнодушно к „иностранным дьяволам“, поскольку те ему не вредили, то для китайского мандарината это был вопрос жизни и смерти, и прежде всего правившая в Пекине династия не могла относиться равнодушно к тому, что станется с китайским государством. Крайне непопулярная на Юге, в собственном Китае (который и остался нетронутым „боксерским“ движением), эта династия имела кое-какие связи с населением ближайших

[1]) Факты и документы, иллюстрирующие эти положения, см. у Alex. Ular, „Un empire russo-chinois“, Paris, 1903, главы IX, X, XI.

[2]) Еще раз напоминаем, что все это относится ко временам, теперь уже весьма отдаленным. Теперь Китай, конечно, представляет иную картину.

к столице провинций. Весной 1900 года стоявшая фактически во главе правления императрица-вдова, мать императора, принимая в специальной аудиенции одного из видных представителей чиновничьего китайского национализма, высказывала ему свое отвращение к „иностранным дьяволам“ и сочувствие к секте „боксеров“, около которой группировались наиболее фанатические враги миссионеров. Чтобы не оставить их без руководства, они были вверены особому попечению нескольких крупных придворных сановников. А беседовавший с императрицею националист, не скрывавший своей принадлежности к секте, очень скоро, с полным нарушением всякой служебной очереди был назначен губернатором столицы. Уже тогда, в мае 1900 года, людям, знающим Китай, было ясно, что готовится христианский погром особого рода и несравненно более грандиозного масштаба, чем бывало ранее. При более внимательном наблюдении признаки приближающейся бури можно было подметить еще за полгода: в декабре 1899 года корреспондент одной англо-китайской газеты писал, что „борцы за справедливость и согласие“ (одно из названий тайных обществ) теперь выступают под девизом „охранять династию, истреблять иноземцев“.

К числу людей, правильно угадывавших события завтрашнего дня, не принадлежала, как известно, русская дипломатия,— хранившая невозмутимый оптимизм чуть не до того момента, когда солдаты регулярной китайской армии стали стрелять на улицах Пекина в европейских дипломатов. Чем объясняется эта странная идиосинкразия? Не раз уже цитированный нами историк внешней политики Китая дает факту наиболее простое и, так-сказать, наглядное объяснение: по его словам, русские дипломаты, „мягко выражаясь, показали себя людьми посредственными“ [1]). Не оспаривая самого факта, можно, однако, возразить, что „простота“ ума измеряется отнюдь не простотой его комбинаций, а их целесообразностью. Посредственная голова может строить весьма сложные планы: только они ей, обыкновенно, не удаются. Один соотечественник цитированного нами автора—слишком горячий, чтобы быть вполне точным, что не мешает ему, однако, правильно угадывать смысл иных событий, — дает олимпийскому спокойствию представителей России иное, не менее простое, хотя и несколько неожиданное объяснение: русские не боялись просто потому, что *знали* о готовящемся и были глубоко убеждены, что их оно не коснется. Это последнее убеждение оказалось ложным, и в этом обнаружилась „посредственность“ русских соучастников китайской императрицы. Но свою долю пользы из своей „осведомленности“

[1]) Cordier, цитир. соч., III, стр. 597.

они все же извлекли, явившись на место раньше и лучше подготовленными, чем кто-либо, кроме японцев.

Автор, о котором мы говорим, Алекс. Улар (Ular), утверждает, что еще в марте 1900 года между русским и китайским правительствами была заключена в Кантоне секретная конвенция, устанавливавшая со стороны России обязанность поддержать китайское правительство против западных держав, а в случае надобности и против „боксеров", а со стороны Китая—согласие на оккупацию Россией „внешних" провинций, с сохранением в них лишь туземной, китайской администрации, действующей, однако, под русским контролем [1]). Само собой разумеется, что подлинность опубликованного Уларом документа была своевременно, кем следует, опровергнута. Он и сам, впрочем, не утверждает, что в его руках был подлинный документ: по характеру то, что им напечатано,—не то черновик, не то частное письмо, излагающее содержание переговоров. Но если бы мы приняли подлинность хотя бы не документа, а факта, облеченного неизвестно в какую дипломатическую форму, нам стали бы понятны слова ближайшего советника китайской императрицы, Кан-И, сказанные весною того же 1900 года и приведенные тогда же одной англо-китайской газетой. „Нам нужно свести счеты с Великобританией за ограбление императорского дворца,—сказал, будто бы, Кан-И в заседании китайского государственного совета,—с Японией за Формозу и с Соединенными Штатами, которые обращаются с китайцами на Филиппинах не лучше, чем с собаками. Против России мы ничего не имеем. Тем более, что если Франция поможет России, то, хотя мы глубоко ненавидим Францию, мы от этого станем только сильнее. Я настаиваю на самой тесной дружбе с Россией, так как, пока она за нас, мы можем смеяться над всем миром. Только когда Россия будет с нами, Великобритания склонит голову и оставит нас в покое" [2]).

Когда в Пекине началось движение против „иноземных дьяволов", русская дипломатия, при наличности таких чувств у вождей китайского национализма, могла быть спокойна не потому, что она ничего не подозревала, а потому, что кое-что она знала лучше, чем ее западно-европейские и американские коллеги. Что зверь, которым мандарины собирались травить своих врагов, несчастная, одурманенная боксерскими шаманами [3]) китайская народная масса, может сорваться с цепи и

[1]) См. назв. соч. Ular'a стр. 253—255.

[2]) „North-China Herald" от 16 мая 1900 г. Цитировано по Cordier, назв. соч., стр. 498.

[3]) О шаманизме боксерских вождей и религиозной истерии, характеризующей все движение, см. Ular, XVIII, и Cordier, назв. соч., 453—455.

броситься на своего господина и его друзей, об этом, с весьма характерным для обоих союзников презрением к народной массе вообще, просто „не догадались". Когда императрица и ее советники увидали, что волны устроенного ими наводнения топят их самих, они поспешили скрыться со сцены и бежали из Пекина, оставив своих разъяренных, но почти безоружных подданных лицом к лицу с пулеметами „западных чертей". А русским, вместо того, чтобы помогать мандаринам подавить движение, когда оно уже больше не будет нужно, пришлось начать со штурма фортов Таку, занятых регулярными китайскими войсками.

В план нашего изложения не входит рассказ о подробностях той трагедии „усмирения" и „возмездия", которая разыгралась под стенами Тянь-Цзина и Пекина летом 1900 года. В той общей форме, в какой она могла бы, по условиям места, быть рассказанной здесь, она у всех еще в памяти. Мы напомним только, что оккупация Манчжурии (будто бы условленная уже в марте этого года), благодаря боксерскому движению, совершилась с наилучшим предлогом, какой можно было найти, и притом в бесцеремонных формах настоящего завоевания. Азиатского завоевания, нужно прибавить, ибо в Европе даже и настоящие завоеватели не сумели бы показать ничего подобного таким сценам, как потопление в Амуре нескольких тысяч мирных китайцев, или систематический грабеж не менее мирных городов Манчжурии [1]). „17 августа генерал-лейтенант Грибский, военный губернатор оккупированной территории, опубликовал в „Амурской Газете" свод вводимых русских правил и постановлений. Он объявлял там, что территория на правом берегу Амура, занятая императорскими войсками, переходит под юрисдикцию русских властей. Китайцам, которые покинули берега реки, запрещено было туда возвращаться, и земли их были отданы русским переселенцам. Частным лицам было запрещено селиться в бывших городах Айгуне и Сакалине или в соседстве их; восстановление этих городов было запрещено, и китайские здания, которые не были разрушены, обращены в провиантские магазины и в казармы для войск" [2]). 4 августа того же года русские войска, прибывшие из Порт-Артура, заняли Нью-Чуан, единственный „открытый" для заграничной торговли порт Манчжурии. Таможня этого города перешла в заведывание русских властей,—факт, который из всего

[1]) См. обо всем этом у нашего старого знакомого по Средней Азии, Александра Верещагина, который и для манчжурской экспедиции дал не менее ценных подробностей, чем для текинской. У нас был под руками немецкий перевод, где благовещенские „нуайяды" описаны, со слов очевидцев, на стр. 16—18, а также на стр. 55—57, 63, 65—66 и т. д. „Quer durch die Mandchurei", Mühlheim am Rh., 1903.

[2]) Rey, назв. соч., стр. 41.

происходившего в Манчжурии вызвал наиболее энергичные представления со стороны иностранных держав, особенно со стороны Соединенных Штатов, видевших в попытке обратить нью-чуанскую таможню в русскую явное нарушение принципа „открытых дверей“. В свою очередь, русское правительство ни за что не держалось так цепко, как именно за Нью-Чуан с его таможней, и, при всех неоднократных обещаниях очистить снова Манчжурию, всегда находило случай сделать оговорку по поводу этого города.

Практические последствия захвата Манчжурии не имели времени развернуться. Развязка пришла раньше, чем ее ждали, из той страны, которая казалась окончательно покинутой в жертву японскому капитализму, из Кореи. История второй корейской анантюры и непосредственно вызванной ею войны лежит вне рамок настоящего изложения. Судьбе не угодно было дать русскому капитализму опыт чисто-экономического соперничества с капитализмом восточно-азиатским. Но исход, и без войны, можно было предугадывать, сравнивая успех русской и китайской колонизации на Амуре. Когда один русский офицер, участник манчжурского завоевания, впервые плыл по этой реке, его поразила полная пустынность левого, русского берега, тогда как на правом, китайском, довольно часто попадались возделанные поля, сады, деревни,—правда, в ту минуту по большей части покинутые жителями. Но между обоими берегами, по середине реки, двигалась сила, быстро уничтожавшая следы этой несправедливой привилегии правого берега. То был плывший на девяти пароходах отряд ген. Ренненкампфа. Стоило ему пристать к берегу, и китайские деревни пылали „со всех четырех концов и со всеми их запасами...“ На обоих берегах воцарялся одинаковый порядок.

Русский империализм в прошлом и настоящем[1]).

Когда появятся в печати эти строки, имя генерала Лимана фон-Сандерса, быть-может, будет уже забыто, а, быть-может, оно станет историческим. Так зовут, как помнит читатель, прусского генерала, фактически ставшего главнокомандующим турецкой армией. Его назначение вызвало,—говорят иностранные газеты,—сильное возбуждение русского „общественного мнения“ (читай: „Нового Времени“). Самым фактом назначения прусского генерала турецким пашой настоящему общественному мнению России, пожалуй, еще не стоило бы интересоваться. Но историку невольно приходит на память другой инцидент, случившийся в том же Константинополе лет шестьдесят тому назад. Инцидент еще более заслуживает сравнения с „копеечной свечкой“, чем теперешний: ключи вифлеемского храма (кто об нем теперь помнит, да и кто много знал о нем тогда?) из кармана монахов православных перешли в карман монахов католических. А через несколько лет от этих ключей гремела канонада под Севастополем, трагически сошел в могилу Николай I, и началась эпоха русских „великих реформ шестидесятых годов“. От копеечной свечки Москва сгорела... Будет ли генерал Сандерс такой же копеечной свечкой? Это зависят не от него, конечно (и не от „Нового Времени“), а от того „экономического базиса“, на котором он стоит, не столько даже в качестве „политической надстройки“, сколько в качестве политического флюгера, показывающего направление ветра. Во всяком случае, сравнить „экономический базис“ вифлеемских ключей и прусского генерала стоит труда, и мы не боимся наскучить читателям нашей исторической справкой.

У нас очень распространено мнение о николаевской, „дореформенной“ России, как о стране дворянской, феодальной, где все и вся определялось интересами землевладельцев, которые тогда были и владельцами крестьянских „душ“. Представление это достаточо нелепо само по себе, в особенности для марксиста: ведь, непосредственно за николаевской эпохой сле-

[1]) Напечатано в январской книжке „Просвещения“ за 1914 г.

довала эпоха „реформ“, а какими бы мы ни считали эти реформы, „великими“ или нет, нельзя отрицать их резко выраженного буржуазного характера. Одной замены сословных градаций имущественным цензом различных форм и видов (в земстве, в суде и т. д.) достаточно, чтобы на этот, по крайней мере, счет не оставалось никаких сомнений. Как же это на чисто-феодальном фоне появились вдруг буржуазные реформы? А если припомнить, что проекты реформы надолго опередили их осуществление (планы Сперанского, декабристов, крестьянской и судебной реформы при Николае I), то для историка-материалиста не останется иного выхода, как признать, что существовала какая-то буржуазная среда, питавшая эти планы и проекты. Мы не будем касаться политической роли этой дореформенной русской буржуазии во всей широте. Тут есть факты, на редкость характерные. Многие ли знают, например, что накануне 14 декабря на обедах виднейших петербургских коммерсантов „ораторствовали в самом либеральном духе“ (записки Штейнгеля)? Но если бы мы занялись ими, они слишком далеко отвели бы нас в сторону от нашей прямой задачи. Довольно указать, какое громадное влияние имел молодой русский капитализм на внешнюю политику Николая I. Все знают из учебников историю „побед и одолений“, которыми началось царствование этого государя,—все слыхали о персидских и турецких войнах его, Дибиче-Забалканском, Паскевиче-Эриванском, об Адрианопольском трактате. Но ни в одной исторической книжке—не только в школьной—не найдете вы попытки дать не только экономическое, но и просто разумное объяснение всех этих походов и завоеваний. А между тем, это экономическое основание давно подметили современники, а в русском государственном совете николаевских времен говорили на этот счет вполне определенно. Известный английский публицист тех дней, Уркуорт (имя, понадавшееся, конечно, тем, кто изучал биографию Маркса), писал, что персидский рынок, после победы России над Персией, оказался почти в монопольном обладании русского капитала: английским товарам приходилось вести с русскими фабрикатами ожесточенную и вначале далеко не всегда успешную борьбу; русская монета, русские торговые обычаи господствовали в северной Персии безраздельно. А не менее известный русский статистик того времени Арсеньев констатирует, что целый ряд шуйских текстильных фабрик жил персидским рынком. Крупнейшая шуйская фирма Посылиных до того освоилась в Закавказье, что в Тифлисе ее считали своей, местной фирмой, повидимому, совершенно забывая о ее шуйских фабриках. В нашей литературе анекдотической фигурой стал купец с персидским орденом „Льва и Солнца“. И теперь редко кто дога-

дается, что этот анекдот, как латы Дон-Кихота, напоминает о далекой героической эпохе русского промышленного капитализма: Посылин был первым кавалером этого персидского ордена из русских коммерсантов. Но Персии николаевским фабрикантам было мало. Из опубликованной в позднейшее время секретной переписки южно-русских администраторов (одесского ген.-губернатора Воронцова, кавказского главноначальствующего Розена и др.) с министром финансов Канкриным мы узнаем об обширных планах николаевского правительства—завладеть не только персидским, но и турецким рынком, отбить у англичан Трапезунд, главный впускной порт для английских товаров на южном берегу Черного моря. Чтобы достигнуть этих целей, николаевская дипломатия все больше и больше нажимала на Турцию, и добилась того, что в 1833 г., по так-называемому Хункиар-Искелесскому трактату, русский император стал почти таким же хозяином на берегах Босфора, как на берегах Невы. Этого уже англичане не выдержали, и в воздухе запахло войной. От Хункиар-Искелесского договора Николаю Павловичу через несколько лет пришлось отказаться, и опасность войны с Англией была отодвинута, но отнюдь не устранена навсегда. В последние месяцы своей жизни, летом 1854 г., Николаю I довелось-таки увидеть из окон своего петергофского дворца то, к чему он готовился в 1835 г.: английский флот, крейсирующий перед Кронштадтом.

Конфликт был длителен и упорен, он не мог разрешиться мирно потому, что он вовсе не был местным, восточным: спор из-за турецко-персидского рынка был только наиболее бьющим в глаза симптомом распри,—поле этой распри было несравненно шире. В начале XIX века Россия не считалась еще промышленной страной. Для Западной Европы—для той же Англии, прежде всех других—это был громадный склад сырья: леса, сала, пеньки, и все большую и большую роль начинала играть на европейском рынке русская пшеница. В обмен на это сырье „щепетильный Лондон" снабжал русское дворянство и чиновничество всеми нужными им фабрикатами—от сукна до почтовой бумаги и туалетных принадлежностей. Крестьяне одевались во все свое, домотканное. Фабрики и заводы были, конечно, но они применяли, большею частью, подневольный крепостной труд и жили не столько рынком, сколько казенными заказами. Промышленного капитализма, в собственном смысле, не было, как не было еще и промышленного пролетариата. Короткий период вынужденного русско-французского союза и невольного разрыва с Англией (1807—12 гг.) переменил картину до неузнаваемости: под влиянием навязанной России Наполеоном „континентальной блокады" (запрещение привоза английских

товаров на континент Европы), быстро, в течение каких-нибудь 5—6 лет, народилась русская текстильная промышленность. Еще в 1809 г. в Россию ввозилось американского хлопка всего ½ миллиона фунтов; в 1811 г. было ввезено 9½ миллионов. В 1808 г. в России появилась первая механическая прядильня (частная—раньше были только казенные); а перед французским нашествием, в 1812 г., их в одной Москве было 11. Война двенадцатого года положила конец континентальной блокаде для России, но Англии уже не пришлось вернуть себе потерянного места на русском рынке. „Национальная" русская промышленность держалась крепко: в 1812 г. в России было 2332 фабрики, в 1828 г. уже 5244; рабочих было в 1812 г. 120 тысяч.—пятнадцать лет спустя уже 225 тысяч, при чем половина из них были вольнонаемные. Это был уже настоящий капитализм, и очень скоро, после нескольких лет колебания, он решительно переходит в наступление. В 1822 г. русская граница была почти закрыта для английских товаров: изданный в этом году тариф иные из них прямо запретил к привозу, а большинство было обложено высокими „запретительными" пошлинами. За 6 лет, с 1820 по 1826 годы, ввоз заграничных материй в Россию сократился—бумажных вдвое, а шерстяных впятеро, зато соответственно увеличивалось производство русских фабрик. И так как внутренний русский рынок, благодаря крепостному праву и поддерживаемым последним натурально-хозяйственным отношениям, рос туго, только-что народившаяся крупная промышленность начала искать рынков заграничных. Персия и Азиатская Турция были вовсе не единственным предметом ее вожделений: московские и владимирские фабриканты добились включения в русскую таможенную черту всего Кавказа с Закавказьем, где раньше торговля была свободна; русские разведчики появились даже в Афганистане. Походом Перовского на Хиву (в 1839 г.) начато было завоевание Средней Азии; наконец, и в Китай была отправлена русская „духовная" миссия, весьма прозрачно прикрывавшая ту же торговую разведку, и находились прожектеры, уже мечтавшие вытеснить англичан и из Китая. Английская свободная торговля чуть не всюду, на всем земном шаре, наталкивалась на русский протекционизм. И не только увлекавшиеся журналисты, в роде Уркуорта, но и английские государственные люди начинали с тревогой смотреть на этот русский разлив. Борьба с „расширением России" становится первой задачей английской буржуазии, а ее политический вождь Пальмерстон—воплощением антирусской политики. И так как дорогу русскому капитализму всюду прокладывали русские штыки, дело и должно было решиться штыками. Под Севастополем „штык-молодец" сдал: год спустя после Париж-

ского мира, закончившего Севастопольскую войну, сдал и русский протекционизм; в 1857 г. Россия получила новый, „фритредерский“ тариф, опять дозволивший привоз в Россию заграничных товаров с более или менее умеренною таможенною пошлиною.

Как видим, России первой половины XIX в. был знаком империализм в самом подлинном его виде: высокие таможенные пошлины, дававшие „отечественной“ индустрии монополию внутри страны, стремление под защитой этих пошлин расширить свою хозяйственную территорию до необъятных размеров, ряд завоевательных войн и „экспедиций“, как последствие этого стремления—все, что мы привыкли соединять со словом „империализм“, было на своем месте, не исключая и политического отражения этого экономического факта. Империализм в современной Европе означает тяготение к сильной центральной власти, могущественной и „блестящей“, перед которой смиренно сгибают выю „чужестранные народы“, но которой зато и внутри страны прощается многое. Сила и блеск власти были главной целью Николая Павловича: он до того внушал своим подданным, что русский государь—хозяин всей Европы, что нет державы, которая осмелилась бы встать поперек дороги России,—что, кажется, под конец и сам уверовал в это. Трагедия, которою закончилось его царствование, в значительной степени была результатом этого самообмана. Но если господство России над Европой было иллюзией, то „сила и блеск власти“ внутри страны были совершенно реальным фактом. Чужестранные народы, может-быть, и не так боялись русского императора, как бы он хотел, зато собственные подданные были беспрекословно послушны, и в первом ряду купечество. Репутация непоколебимой благонамеренности этого класса идет именно с той поры,—либеральные увлечения предшествующей эпохи (когда еще не были утрачены все надежды на внутренний рынок) рассеялись без следа. Чрезвычайно характерно, что в последующей русской истории пробуждение империалистических вожделений всегда совпадало, по времени, с политической реакцией. Завоевание Средней Азии приходится как-раз на ту эпоху, когда, после польского восстания в 1863 г., правительство,—а с ним буржуазия,—круто повернули направо. Реакция 80-х годов была современницей попыток экономического завоевания Болгарии, любопытнейшего эпизода „расширения России“, который сейчас у нас нет времени рассматривать подробнее [1]). Наконец, крупнейший взмах империализма дореволюционной поры, маньчжурско-корейская эпопея, очень точно совпал с режимом Сипягина и Плеве внутри России.

[1]) См. о нем выше, стр. 345.

Вполне естественным и закономерным является, поэтому, расцвет новейшего русского империализма на фоне столыпинской реакции. И величайшим недоразумением является требование литературных представителей русской текстильной промышленности (г. Струве и „Русская Мысль“ вообще), чтобы русское правительство в одно и то же время „создавало великую мощь государства“ и было „либеральным“. Это значит требовать от одного и того же растения, чтобы оно цвело розами и давало вкусные груши... Что-нибудь одно, и, конечно, доверители г. Струве всегда практически предпочтут груши розе. Первое дело—быть сытым, а с разными приятностями жизни можно и подождать.

Как и в дни Николая I, русский империализм—это, главным образом, ситцевый империализм. В то время, как железоделательная промышленность России за первое десятилетие XX в. почти не подвинулась вперед (количество выплавленного чугуна в России в 1900 г.—170 милл. пудов, в 1910 г.—185 милл. пудов), текстильная достигла небывалого размаха (количество переработанного русскими фабриками хлопка в 1900 г.—16 милл. пуд., в 1910 г.—22 милл. п.). Никакого кризиса—за исключением непродолжительной заминки, вызванной непосредственно войной и революцией,—она не знала: все представления о русском промышленном кризисе дореволюционного времени созданы наблюдениями над „тяжелой индустрией“, которая для России, кстати сказать, вовсе не является типичной. Но сходство с эпохой Николая I не ограничивается „материалом империализма“, если можно так выразиться: оно идет гораздо дальше. Тогда, как и теперь, Россия была на другой день неудавшейся попытки изменить ее политический строй. Другими словами, попытки освободить ее производительные силы (тогда это выразилось бы в уничтожении крепостного права, входившем в программу декабристов), сжатые тисками устаревшего государственного механизма. Но задержка в развитии производительных сил,—и тогда, и теперь,—равносильна задержке в расширении внутреннего рынка: это особенно хорошо чувствует именно текстильная промышленность, главным покупателем для которой являются народные массы. Производство растет быстрее, чем внутренний рынок; значит, необходим рынок внешний. Национализм Столыпина логически вытекает из его победы над революцией. А победа этой последней надолго бы задержала развитие империализма: реакция не только обусловливается успехами последнего, но и сама его обусловливает.

Наибольшее внимание публики привлекал к себе до последних дней дальне-восточный театр русского империализма. О Монголии так много шумели, что мудрено о ней не слыхать.

Но шумом всегда стараются помочь делу тогда, когда оно само не идет. В Маньчжурии и в Монголии очень богатые перспективы, но в наличности, кажется, ничего еще пока нет: русская торговля с Китаем, в общем и целом, попрежнему остается пассивной, попрежнему мы гораздо больше покупаем у Китая, чем продаем ему. Совсем иначе стоит дело на Ближнем Востоке, старинной арене русского империализма. Здесь шуму меньше, но достигнутые здесь результаты, по крайней мере, в одном пункте, нельзя не назвать огромными. Если бы Уркуорт встал из гроба, то ужаснулся бы, увидя, что стало с Персией, где уже в его время житья не было англичанам от русских. Сейчас персидский рынок всецело в русских руках; по оборотам с Персией Россия занимает первое, притом далеко первое место среди европейских государств. Вот каковы были эти обороты в 1906—7 отчетном году:

Страны.	Тысячи фунтов стерлингов.
Россия	8.292
Англия	3.128
Франция	0.700
Австрия	0.277
Германия	0.182

И еще русские купцы кричат, что немцы „забивают“ их в Персии! Английский источник, откуда мы берем эти данные, откровенно признает не только абсолютное превосходство России в деле эксплоатации персидского рынка, но и постоянный ее прогресс. „В то время, как англо-персидская торговля в 1906—7 гг. оставалась почти в том же положении, как в 1897 г.,—говорит он,—торговля с Россией поднялась с 3½ милл. фунтов до 8¼, или на 137%“.

С тех пор, с 1906—7 гг., дело если и изменилось, то никак не к невыгоде России, как покажет следующая маленькая табличка ввоза в Персию:

	1910—11	1911—12
	(Тысячи фунтов стерлингов).	
из России	4.391	5.355
„ Англии	3.793	4.414
„ Германии	0.279	0.332

Германия и Англия вместе ввозят меньше, чем одна Россия. Словом, относительно русский капитализм в Персии занимает то же место, что и в 30-х годах XIX столетия, относительно потому, что абсолютные обороты, тогдашние и теперешние, несравнимы. При Николае I вся русско-персидская торговля оценивалась в 4 милл. руб., теперь она

подходит к сотне миллионов. Недаром и переработанный русскими фабриками хлопок тогда считали миллионами фунтов, а теперь миллионами пудов.

Восемьдесят лет назад из Персии русский империализм двинулся в Турцию, чтобы здесь потерпеть крушение. Теперь, после оккупации Северной Персии, на очереди стоит оккупация Армении, экономически и стратегически командующей восточной половиной Малой Азии; дорога от Черного моря в Персию и к верховьям Тигра и Евфрата идет через Трапезунд и Эрзерум, города армянского нагорья. В заграничных газетах о приготовляющемся движении русских в Армению говорят совершенно открыто, со слов русских министров, притом, как известно, они охотнее беседуют с французскими журналистами, нежели с кем-либо другим. Дают понять, что в Армении Петербург готов видеть компенсацию за инцидент с Лиманом фон-Сандерсом. Совершенно так же, как в 1853 г. Николай I нашел компенсацию за вифлеемские ключи в „дунайских княжествах"—теперешней Румынии. С оккупации русскими Румынии началась, как известно, Севастопольская война. Но не будем забегать вперед. Посмотрим, что представляет собою для России Турция уже теперь с экономической точки зрения. Вот опять небольшая табличка ввоза в Турцию тех же трех государств: Англии, Германии и России:

	1905—6 г. (тыс. ф. ст.).	(% к общей сумме).	1908—9 г. (т. ф. ст.).	(% к общей сумме ввоза).
Англия	9.642	(35.05)	8.257	(30)
Германия	1.163	(4.22)	1.698	(6.16)
Россия	1.597	(5.8)	2.188	(7.94)

Как видим, здесь на первом плане еще Англия,—как в течение всего XIX в. Но не только ее д о л я в турецком ввозе, а и а б с о л ю т н а я в е л и ч и н а английского ввоза в Турцию быстро падает; растут зато, и абсолютно, и относительно, русский и немецкий ввоз, при чем первый и абсолютно больше, и растет быстрее. В последующие годы быстрота роста русского ввоза проявилась еще резче: Россией было ввезено в Турцию в 1909 г. на 26 милл. р. (против 21,5 милл. предшествующего года,—русский и турецкий отчетные года не совпадают), в 1910 г. на 26,5 милл. р., в 1911 г. на 32 милл. р. С 1905 года русский ввоз увеличился вдвое. Правда, в сравнении русского и немецкого ввоза необходимо ввести серьезную поправку. Приведенные цифры говорят о ввозе только из самой Германии непосредственно. Но, несомненно, значительная доля германских товаров—трудно учесть какая,—идет через Австрию, а эта последняя ввезла в Турцию в 1910—11 гг., например, на 6.772 тыс. турецких фунтов (тур. фунт = $^{9}/_{10}$ английского ф. ст.). В сово-